ISSN 0869-6063

Номер 3

Июль - Август - Сентябрь
2001

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ



Главный редактор
В.И. Гуляев

http://www.maik.ru

"НАУКА"
МАИК "НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА"

Российская академия наук
Институт археологии

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№ 3 2001

Журнал основан в январе 1957 г.
Выходит 4 раза в год

Редакционный совет:

Р.М. Мунчаев (председатель),
Т.И. Алексеева, А.П. Деревянко, Ю.Ф. Кирюшин,
В.П. Любин, Н.Я. Мерперт, В.И. Молодин, М.Г. Мошкова,
Е.Н. Носов, А.Д. Пряхин, Б.А. Рыбаков, В.В. Седов,
А.А. Формозов, А.И. Шкурко, В.Л. Янин

Редакционная коллегия:

В.И. Гуляев (главный редактор),
Х.А. Амирханов, Л.А. Беляев (зам. главного редактора),
А.Н. Гей, И.С. Каменецкий, Г.А. Кошеленко,
Н.А. Макаров, В.С. Ольховский (ответственный секретарь),
Е.Н. Черных

Заведующая редакцией
Т.С. Волкова

Адрес: 117036, Москва, Дм. Ульянова, д. 19
Телефон 124-34-42

Москва
Издательство "Наука"
Международная академическая
издательская компания "Наука/Интерпериодика"

© Российская академия наук
Институт археологии РАН, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2001

К вопросу о культовых постройках халафской культуры
Т. В. Корниенко 5

К истории горно-металлургического производства Колхиды
Г. В. Инанишвили, В. Г. Майсурадзе, Г. Г. Гобеджишвили, Т. П. Муджири 18

К истокам скифского искусства: происхождение мотива свернувшегося хищника
Ю. Б. Полидович 25

Ранняя Тверь по письменным и археологическим данным
(по материалам из раскопок в Тверском кремле)
Н. В. Жилина 35

Абсолютная дендрохронологическая шкала Твери XII–XV вв.
Н. Б. Черных, А. А. Карпухин 46

Публикации

Погребения на стоянке Караваиха
А. В. Уткин, Е. Л. Костылева 55

Новые вазы "керченского стиля" в собраниях крымских музеев
И. И. Вдовиченко 67

К вопросу о позднескифских зольниках
Т. Н. Высотская 77

Детали литых наборных поясов предсалтовского времени
с "перевязанной" пальметтой из Болгарии
Б. Иванов, О. Пелевина 88

Тюркское святилище Сугдеи
И. А. Баранов, В. В. Майко 98

Заметки

Новые находки каменных образков и матрицы прикладной печати из Вологды и Белоозера
Н. А. Макаров, А. В. Суворов 111

Образок Святого Матфея с перегородчатой эмалью
В. И. Кошман 118

История науки

Из истории отечественной археологической науки (несостоявшийся судебный процесс 1935 г.)
А. Ю. Ватлин, А. Р. Канторович 123

Критика и библиография

Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары
VII–II веков до н.э. Саратов, 1999
А. А. Малышев 132

Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары
VII–II веков до н.э. Саратов, 1999
А. П. Абрамов 137

Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики
X – первой половины XIII века. М., 2000
В. П. Даркевич 144

Arnis Radiņš. 10.–13. gadsimta senkapi latgalu apdzīvotajā teritorijā
un Austramlatvijas etniskās sociālās un politiskās vēstures jautājumi. Riga, 1999
В. В. Седов 150

Кольцов Л.В., Жилин М.Г. Мезолит Волго-Окского междуречья
(памятники бутовской культуры). М., 1999
А. Н. Сорокин 154

Хроника

Международная конференция "Срубная культурно-историческая общность
в системе древностей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи" (Воронеж, 2000)
А. Д. Пряхин, Е. Ю. Захарова 163

Конференция "Русь в XIII веке: континуитет или разрыв традиций?" (Москва, 2000)
В. Ю. Коваль 168

50-летний юбилей Хакасской археологической экспедиции
И. Л. Кызласов, Л. П. Мылтыгашева 172

40-я региональная археолого-этнографическая студенческая конференция (Новосибирск, 2000)
А. Ю. Борисенко, Ю. С. Худяков 182

Памяти Натальи Григорьевны Горбуновой (1927–2000)
Б. И. Маршак, Н. К. Качалова, Г. А. Брыкина, В. И. Козенкова 184

Памяти Владислава Серафимовича Долгорукова (1940–2001)
Группа товарищей 188

Правила для авторов 190

Contents

Number 3, 2001

On the Halaf structures of religious purpose
T. V. Kornienko 5

On the history of mining and metallurgical production in Kolchida
G. V. Inanishvili, V. G. Maisuradze, G. G. Gobedzhishvili, T. P. Mudzhiri 18

On the origin of Scythian art: the provenance of the curled predator motif
Yu. B. Polidovich 25

Analysis of written and archaeological records on early Tver'
N. V. Zhilina 35

Absolute dendrochronological scale of the city of Tver' (the 12th–15th centuries)
N. B. Chernykh, A. A. Karpukhin 46

Publications

Burials at the Karavaikha station
A. V. Utkin, E. L. Kostyleva 55

New vases of "Kerch style" from the museums' collections in Crimea
I. I. Vdovichenko 67

On the problem of late-Scythian cinder-heaps
T. N. Vysotskaya 77

The details of composed cast belts of pre-Saltovo period with "bound" palmetto motive from Bulgaria
B. Ivanov, O. Pelevina 88

Turkic sanctuary of the second half of the 7th–10th centuries in Sugdea
I. A. Baranov, V. V. Maiko 98

Notes

New finds of stone icons and seal-matrix from Vologda and Beloozero
N. A. Makarov, A. V. Suvorov 111

St. Mathew cloisonne icon
V. I. Koshman 118

History of science

From the history of national archaelogical science (the trial that did not took place in 1935)
A. Yu. Vatlin, A. R. Kantorovich 123

Critics and bibliography

Monakhov S. Yu. Greek amphorae in North Pontic area.
The assemblages of package pottery of the 7th–2nd centuries BC. Saratov, 1999
A. A. Malyshev 132

Monakhov S. Yu. Greek amphorae in North Pontic area.
The assemblages of package pottery of the 7th–2nd centuries BC. Saratov, 1999
A. P. Abramov 137

Medyntseva A. A. Literacy in Ancient Rus. According to the epigraphic monuments
of the 10th – first half of the 13th centuries. Moscow, 2000.
V. P. Darkevich 144

Arnis Radinsh. "Burial fields of the 10th–13th century in Latgallian territory on context of the ethnic, social and political history of Eastern Latvia". Riga, 1999
V. V. Sedov 150

Koltsov L. V., Zhilin M. G. The Mesolithic between the Volga and Oka rivers (Butovo culture sites). Moscow, 1999
A. N. Sorokin 154

Chronicle

The International conference "Timber-grave cultural-historical entity in the system of the Bronze Age antiquities of Eurasian steppe and forest-steppe" (Voronezh, 2000)
A. D. Pryakhin, E. Yu. Zakharova 163

The conference "Rus in the 13th century: continuity or gap in traditions?" (Moscow, 2000)
V. Yu. Koval 168

The 50th anniversary of Khakass archaeological expedition
I. L. Kyzlasov, L. P. Myltygasheva 172

The 40th regional archaeological-ethnographic students conference (Novosibirsk, 2000)
A. Yu. Borisenko, Yu. S. Khudyakov 182

In memory of Nataly Grigoryevna Gorbunova (1927–2000)
B. I. Marshak, N. K. Kachalova, G. A. Brykina, V. I. Kozenkova 184

In memory of Vladislav Serafimovich Dolgorukov (1940–2001)
Group of colleagues 188

Instructions for authors 190

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 5–17

К ВОПРОСУ О КУЛЬТОВЫХ ПОСТРОЙКАХ ХАЛАФСКОЙ КУЛЬТУРЫ

© 2001 г. Т. В. Корниенко

Институт археологии РАН, Москва

Феномен Халафа по праву считается одним из наиболее ярких явлений в археологии дописьменной Месопотамии. Датируемая V тыс. до н.э. халафская культура явилась на смену хассунской и предшествовала Убейду. Она охватила значительную территорию от бассейна Тигра до правобережья Евфрата. Основной областью распространения Халафа была Джезира. К сожалению, памятники халафской культуры изучены весьма неравномерно. Имеющиеся материалы содержат информацию о многообразии и сложности погребального обряда носителей халафской культуры, осуществлении ими других ритуальных действий как внутри некоторых построек, так и за их пределами. Широкую известность получило использование различных магических сюжетов повествовательного и символического характера в изобразительном искусстве халафцев. Публикации раскопок Телль Арпачии, Тепе Гавры, Телль Асвада, Ярым Тепе II и III, Телль Саби Абияда и некоторых других памятников послужили основанием для развертывания дискуссии о вероятности и особенностях существования культовых построек на раннеземледельческих поселениях в халафскую эпоху (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935; Mallowan, 1946; Tobler, 1950; Hijara, 1978; 1980; 1997; Oates, 1978; Copeland, 1979; Мунчаев, Мерперт, 1981; Merpert, Munchaev, 1987; Мунчаев, 1997; Ippolitoni-Strika, 1990; Akkermans, 1990; Антонова, 1990; 1998 и др.).

В настоящей работе предлагается рассмотреть известные на сегодняшний день памятники халафской культуры, материалы которых опубликованы и позволяют говорить более или менее уверенно о присутствии там древнейших обрядовых сооружений. Сравнительный анализ этих свидетельств позволит в какой-то мере наметить общие закономерности, а в некоторых случаях и локальные особенности архитектурного оформления культа на поселениях халафского времени. Это в свою очередь будет способствовать более полному изучению проблемы происхождения и развития религиозного строительства на территории Двуречья.

Известно, что распространение халафской культуры в Северной Месопотамии сопровождалось не только появлением совершенно оригинальной расписной керамики и своеобразной орнаментированной пластики. Оно вызвало здесь также заметное изменение архитектурной традиции. Вместо характерных для хассунской культуры многокомнатных домов прямоугольного плана в эпоху развития Халафа господствующей формой архитектуры становятся округлые в плане однокомнатные дома типа толоса с примыкающими к ним прямоугольными постройками (Мунчаев, 1997. С. 5 и др.).

Впервые остатки таких халафских сооружений были открыты английской экспедицией в середине 1930–х годов во время раскопок Телль Арпачии (Северный Ирак, район г. Мосул). В халафских слоях ТТ-7–10 самого телля и за его пределами было обнаружено 10 толосов. Как сообщают авторы раскопок, в основном от этих сооружений сохранились только каменные "фундаменты" (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935. P. 7, 34). Древнейшие из найденных толосов в слоях ТТ-10–9 представляли собой отдельно стоящие круглоплановые постройки, имеющие соответственно диаметр 7 и 5.5 м, толщину стен 0.7 и 1 м. Более поздние крупные, сложного плана толосовидные строения найдены в слоях ТТ-8–7, где внешний диаметр круглого помещения большого здания составлял 10 м, а вместе с примыкающей к нему прямоугольной постройкой абсолютная длина дома достигала 19 м. Толщина стен этого сооружения 1.35 и 1.65 м (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935. P. 25).

Авторы публикаций материалов Телль Арпачии отмечают, что самые крупные из раскопанных круглоплановых строений стояли в центре поселения, на основании чего можно предположить их особую значимость. Во-вторых, стены этих толосов заметно большей толщины, чем у современных им раскопанных зданий. В-третьих, последовательные перестройки не затронули каменных "фундаментов" указанных толосов, к которым, как считают М. Маллован и Дж. Роуз, население относилось с определенным почтением. Для каждого нового здания доставлялся камень и укладывался непосредственно поверх старых оснований. Также в районе толосов была обнаружена особая яма, которая содержала многочисленные статуэтки, в основном женские, и фрагменты расписных сосудов (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935.

P. 66). Два погребения G51 и G53, "включавшие наиболее качественную и красивую керамическую посуду", были обнаружены напротив внешней стены толоса TT-7; детское захоронение найдено в толосе TT-9. Признавая тот факт, что, по-видимому, погребение в пределах поселения считалось явлением желательным, авторы раскопок используют названные свидетельства захоронений как еще один аргумент в пользу следующего заключения: "Более чем вероятно, что толосы были светилищами, возможно, связанными с культом матери-богини" (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935. P. 34). На такую категоричность высказывания по поводу назначения круглоплановых сооружений повлияла и необычная планировка этих построек, которая была впервые зафиксирована для халафского времени.

Определение больших арпачийских толосов как построек культового назначения вызвало множество возражений. В частности, отмечалось, что их центральное положение на Телль Арпачии отнюдь не доказано, так как остается неизвестным план бóльшей части поселения. Связь погребений и других находок с толосами некоторыми учеными также представляется малодоказуемой. Наконец, последующие открытия остатков округлых в плане домов различного назначения, наряду с прямоугольными постройками, по всему ареалу распространения халафской культуры дают основания утверждать, что толосовидные здания в халафских поселениях не являются постройками необычного плана. Помимо названного, в качестве возражений авторам раскопок приводились и другие аргументы (подробнее см.: Akkermans, 1990. P. 300–302; Антонова, 1990. С. 214; 1998. С. 15).

Тем не менее представляется совершенно очевидным, что большие толосы (с диаметром круглого помещения в 10 м, при абсолютной длине сооружения в 19 м), располагавшиеся в центральной части Телль Арпачии, являются для халафского периода исключительными постройками. Даже если не принимать в расчет сопутствующие им археологические свидетельства, хотя контекст находок всегда играет важную роль и его нельзя игнорировать, сами размеры этих зданий несравнимы с параметрами известных круглоплановых сооружений, найденных в других халафских поселениях, диаметр которых, как правило, колеблется от 2.5 до 5–6 м (см.: Hijara, 1997. Tabl. 2).

Помимо арпачийских толосов, особого внимания безусловно заслуживает открытый английской экспедицией в верхнем халафском слое TT-6 так называемый "Сгоревший дом". Основание его покоилось на остатках предшествовавших круглоплановых строений в TT-7. Это здание прямоугольной планировки, самое крупное из раскопанных на поселении, располагалось в центральной части телля и состояло из многих комнат. Инвентарь "Сгоревшего дома" включал большое количество фрагментов полихромной расписной керамики, каменные вазы, украшения, кремневые и обсидиановые орудия. Там же было найдено множество нуклеусов, каменных сколов, "палетки" для растирания красок, "большой кусок охры" и другие остатки производственной деятельности. Вместе с тем "Сгоревший дом" содержал интересную коллекцию культовых объектов из камня и кости, а именно: плоскую известняковую женскую статуэтку, маленькую мужскую статуэтку из алебастра, миниатюрную стеатитовую чашу, пять каменных моделей фаланг пальцев и одну настоящую фалангу человека. Причем все перечисленные вещи были обнаружены вместе в одном конце комнаты и могут рассматриваться как набор ритуальных предметов (Mallowan, Cruikshank Rose, 1935. P. 16, 17, 99. Fig. 5 (a). Pl. x. (a)). По мнению Дж. Отс, материалы из "Сгоревшего дома", кроме того, указывают на проведение здесь особых обрядов "ритуального разбивания (Oats, 1978. P. 119).

О специальном назначении "Сгоревшего дома" красноречиво говорят и обнаруженные там печати, а также 8 дисковидных пластин и около 20 яйцевидных "булл", на поверхности которых сохранились разнообразные оттиски печатей (рис. 1). "Буллы" (комки глины) прикрепляли к узлам, обугленные остатки которых сохранились. На поверхность "булл" наносились со всех сторон оттиски. Дисковидные пластины не имеют следов прикрепления, а оттиски на них располагались с одной стороны. По предположению А. фон Викиде диски могли служить чем-то вроде квитанций. Оставляя на них или "буллах" оттиски своих печатей, люди, контролировавшие обменные операции, таким образом удостоверяли сохранность вместилищ (Wickede von, 1991. P. 153–155, 157; Антонова, 1998. С. 17, 18). На сегодняшний день находки из "Сгоревшего дома" являются одними из древнейших свидетельств существовавшей в Месопотамии системы учета и хранения. Вместе с тем важно еще раз подчеркнуть их находки в той же постройке, где были обнаружены следы проведения различных обрядов, множество ценных вещей, а также разнообразные свидетельства производственной деятельности. Представленные артефакты позволяют нам предполагать многофункциональное использование "Сгоревшего дома" в позднехалафскую эпоху, его очевидную значимость в общем контексте Телль Арпачии.

Дополнительные сведения об этом поселении были получены во время повторных раскопок. В связи с тем что экспедиция М. Маллована не довела исследование холма до материка, в 1976 г. И. Хаджара проводил специальные работы с целью изучения древнейших слоев памятника. В центральной части телля он заложил три узкие траншеи длиной более 60 м. В результате этих работ

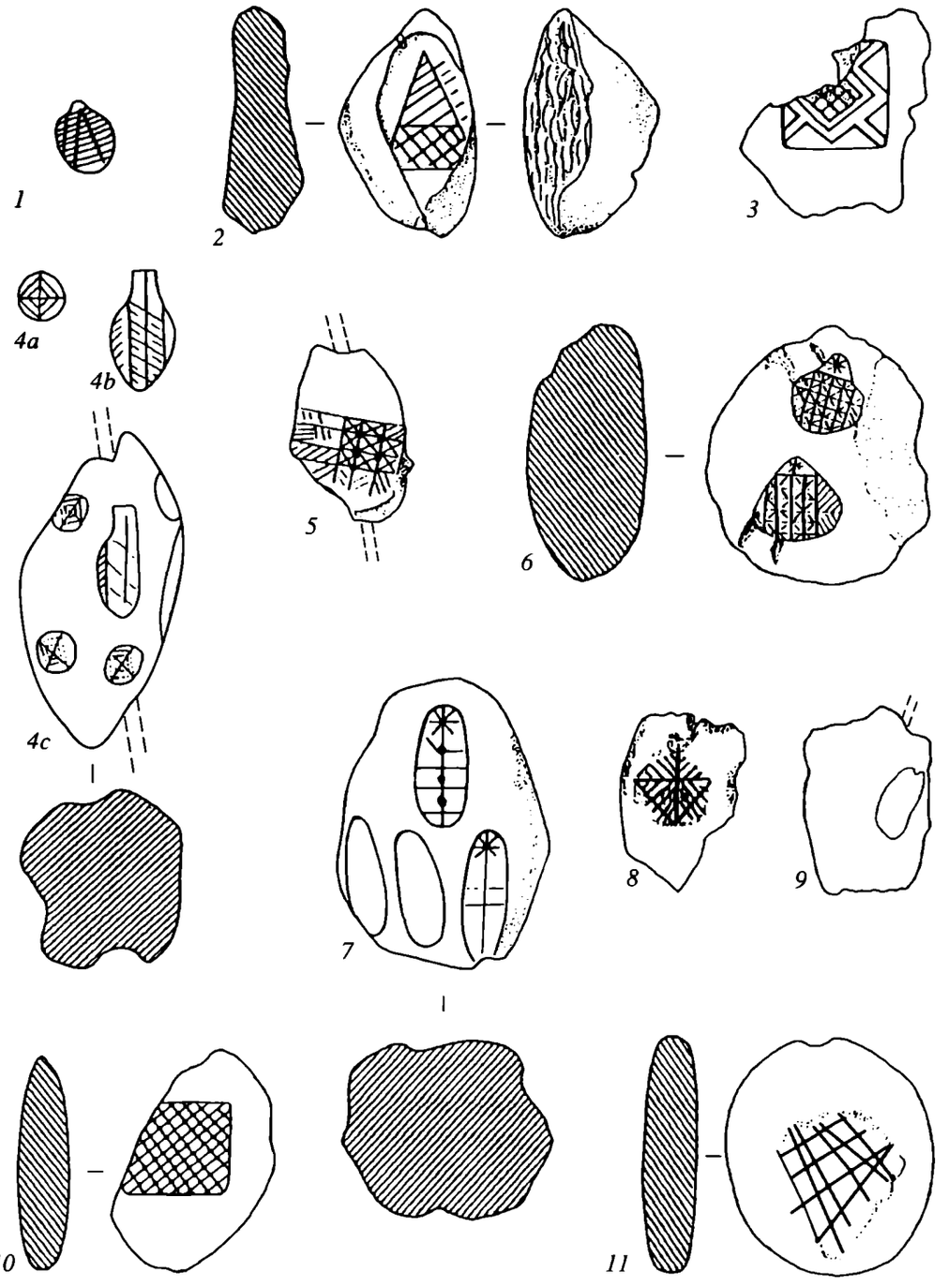


Рис. 1. Телль Арпачия. Образцы оттисков печатей из "Сгоревшего дома".

установлено, что халафский слой продолжается еще на 2.5 м ниже уровня ТТ-10, достигнутого М.Маллованом, и, таким образом, составляет 7.5 м. В столь мощном слое И. Хаджара выделил 11 строительных уровней, которые, с его точки зрения, характеризуют 4 архитектурные фазы развития поселения Телль Арпачии (Hijara, 1978. P. 125, 127). Пять верхних горизонтов – V–I, которые относятся к архитектурным фазам 3 и 4, по И. Хаджаре, соответствуют слоям ТТ-10–6, по М. Малловану.

И. Хаджара высказал предположение о том, что Арпачия занимала особое место среди халафских поселений округи. Он пишет, что фаза 1 (самая ранняя) представляла обычную деревню с теснящимися прямоугольными в плане домами, занимавшими большую часть поселения, тогда как в следующих фазах картина резко изменяется. Там теперь нет постоянных жилищ на окраинах поселения. Характер окраин ("outskirts"), сообщает автор раскопок, значительно отличается от района толосов ("tholos area"), который окружили обводной стеной ("an enclosure wall") (Hijara, 1978. P. 125, 127; 1980. P. 132). В этом районе не было обнаружено поселенческого мусора. Заполнение вокруг толосов состояло из чистой гли-

ны, принесенной издалека. Культурный слой 1-й и 2-й фаз показал, что население могло быть больше, чем на 3-й и 4-й фазах, для которых культурные отложения были не насыщенными и ограниченными в пространстве. Вероятное объяснение таких изменений, по мнению И. Хаджары, состоит в том, что в течение 2-й фазы Арпачия начинает занимать особое положение ритуального центра среди окружающих поселений (Hijara, 1978. P. 127; 1997. P. 102).

Как свидетельства особой ритуальной значимости Арпачии автором повторных раскопок были рассмотрены погребения черепов – G1 (слой VI) и G2 (слой VII), обнаруженные помимо других захоронений в пределах "tholos area" на поселении. И. Хаджара считал их уникальными для халафского периода (Hijara, 1978. P. 127). Открытие погребений черепов еще на одном хорошо исследованном халафском поселении – Ярымтепе II (погребения – 2/49; 8/55; 9/56) указывает на то, что подобные, очевидно, престижные захоронения не являются экстраординарными для халафского времени (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 208). Однако приведенный факт не отвергает основного положения И. Хаджары. Столь редкий и изощренный способ погребения наиболее значимой части человеческого скелета, вероятно, предназначался только для останков избранной малочисленной части населения, при этом место могилы должно было соответствовать статусу умершего.

Особенностью названных арпачийских погребений является обычай помещать черепа в сосуды. Большой интерес представляет один из горшков, обнаруженных в могиле G2 (множественном захоронении черепов). Сосуд имеет простую, характерную для Халафа форму. Роспись снаружи сгруппирована в пять метоп, разделенных вертикальными линиями. В одной из метоп изображены два персонажа обрядового действа, находящиеся по сторонам огромного сосуда; в четырех других можно увидеть ряд распространенных халафских мотивов, таких, как букрании, мальтийские кресты, треугольники, вьющуюся ленту-змею и др. Внутри на стенки чаши была помещена, по-видимому, единая реалистично изображенная сцена, в которой участвуют люди и животные. Дно сосуда с внутренней стороны украшено схематичным рисунком (рис. 2).

Этот великолепный образец халафской керамики – расписная обрядовая чаша, которая была разбита и восстановлена с помощью гипса еще в древности, неоднократно подвергался анализу со стороны исследователей (Ippolitoni-Strika, 1990. P. 147–174; Breniquet, 1992. P. 69–78; Антонова, 1998. С. 21–24 и др.). Освещение различных попыток интерпретации изображений на этом сосуде, бесспорно имеющих обрядово-мифологический характер, и подробное его описание выходят за рамки нашей работы. В целом, можно согласиться с выводом К. Бренике о том, что главной темой изображения является "защита стада, символа общины, от нападения врагов (хищника)", т.е., по большому счету, – обеспечение безопасности и процветания общины (Breniquet, 1992. P. 69–77). Мотив на дне чаши, центральный для восприятия и, соответственно, основной для понимания семантики сосуда, по мнению некоторых ученых, слишком условен, чтобы его можно было уверенно интерпретировать (Антонова, 1998. С. 21–23 и др.). По этому поводу в 1978 г. И. Хаджара писал: "Основание чаши украшено схематичным изображением, которое может представлять архитектурный рисунок или культовый объект, например алтарь или особое место для возлияний" (Hijara, 1978. P. 126). С таким объяснением согласна Ф. Ипполитони-Стрика (Ippolitoni-Strika, 1990. P. 161). В статье, специально посвященной этому сосуду из Арпачии, она предлагает наиболее целостное его толкование. Широко применяя межкультурные и диахронные сравнения для лучшего проникновения в суть вопроса, но в своих выводах преимущественно опираясь на арпачийские и близкие им материалы, исследовательница интерпретирует чашу из G2 как обрядовую ("a portable shrine") и считает, что та воспроизводит некий толос, возможно, теперь не сохранившийся, расписанный сценами ритуально-мифологического содержания подобно святилищам Чатал Хююка и выполнявший похожие функции. В архаичных обществах широко применялась практика помещать одинаковые, несущие определенную информацию сакральные изображения на различные объекты соответствующего назначения: печати, обрядовую посуду, стены святилищ, храмов и т.д. Вместе с тем форма интересующего нас сосуда действительно соотносима с формой халафских толосов простого плана. "Арпачийская чаша, – пишет Ф. Ипполитони-Стрика, – самое раннее на Ближнем Востоке свидетельство существования ваз, моделирующих архитектурное сооружение" (Ippolitoni-Strika, 1990. P. 148, 149). Далее автор статьи на ряде иллюстрированных примеров показывает, что развитие этой традиции в Древней Месопотамии продолжается в периоды Убейд, Урук, Джамдет-Наср, и кроме того, хорошо фиксируется на материалах из Суз III–II тыс. до н.э. (Ippolitoni-Strika, 1990. P. 163–166. Fig. U–Y).

Решение загадки арпачийской чаши, предложенное Ф. Ипполитони-Стрика, в настоящий момент нельзя считать окончательным. До сих пор на халафских поселениях не открыты достоверные прототипы, моделью которых мог служить сосуд из могилы G2. Однако вероятность их существования, исходя из современных знаний о халафской культуре в целом и особенно о духовной сфере жизни халафцев, мы отрицать не можем.

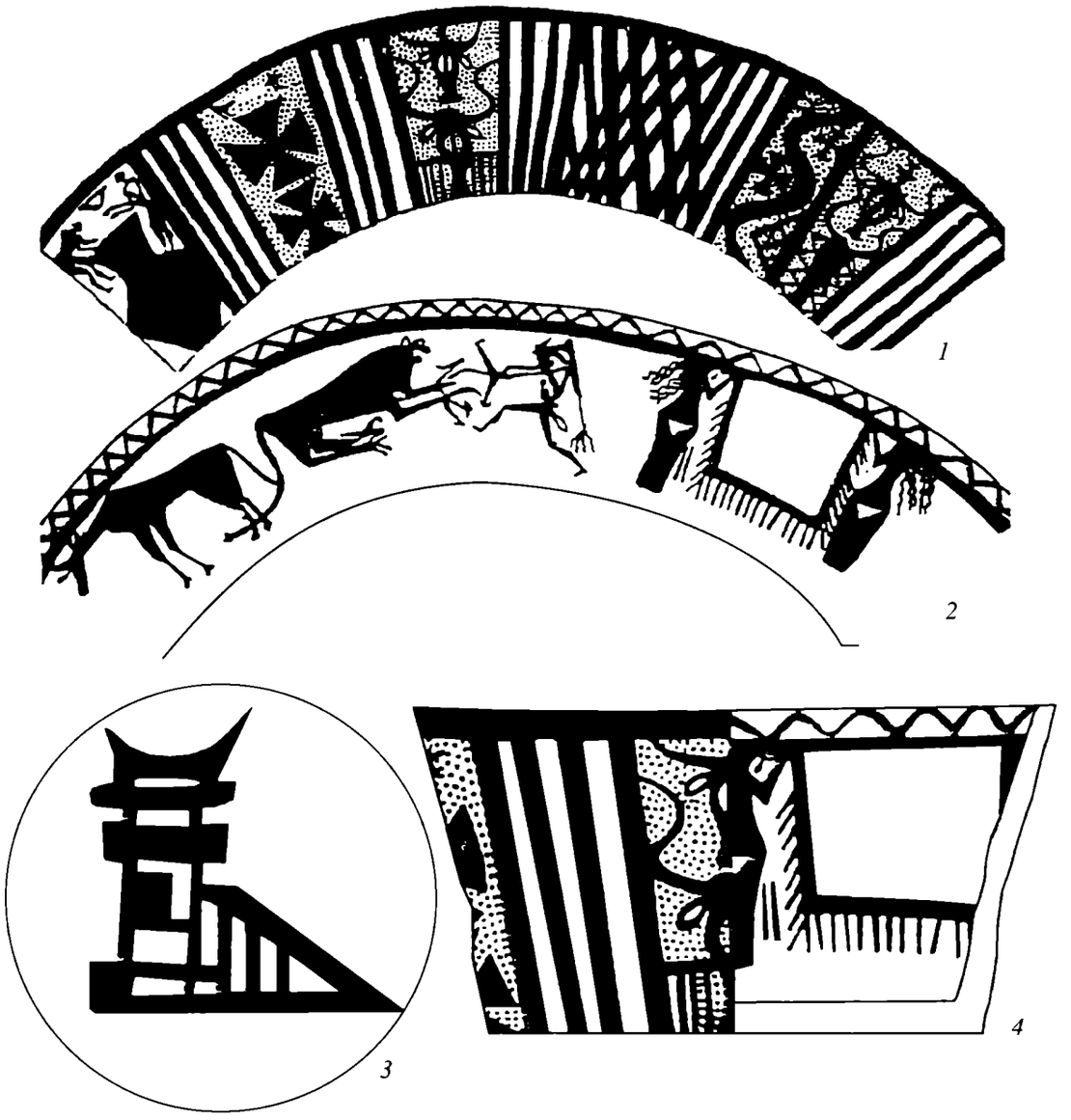


Рис. 2. Телль Арпачия. Обрядовая чаша из могилы G2:
1 – внешняя сторона чаши; *2* – внутренняя сторона; *3* – основание чаши (внутренняя сторона); *4* – общий вид.

Не исключено, что новые археологические открытия подтвердят высказывание Ф. Ипполитони-Стрика и тогда наличие арпачийского сосуда позволит нам оперировать дополнительной информацией об обрядовых постройках халафского времени.

Возвращаясь к гипотезе И. Хаджары, нужно отметить, что косвенное, но достаточно наглядное свидетельство определенного влияния Арпачии на соседние населенные пункты в халафскую эпоху было получено во время изучения химического состава фрагментов расписной керамики, собранных в зондаже северо-восточного участка и района А Тепе Гавры. В результате работы с халафскими образцами установлено, что 30–40% (!) обследованного материала было произведено на Телль Арпачии. Фактически все невысокие открытые чаши, расписные фрагменты которых происходили из халафского слоя шурфов Тепе Гавры, оказались арпачийского производства (Davidson, McKerrell, 1980. P. 161). Отметим интересное совпадение: очевидно, по форме эти изделия идентичны известному обрядовому сосуду из G2.

Подводя итоги исследования, Т. Девидсон и Х. Маккерел заключают, что халафское поселение Арпачии на протяжении какого-то периода времени являлось постоянным поставщиком расписных сосудов определенной формы для Тепе Гавры и, судя по всему, других соседних поселений, где обнаружена подобная керамика. При этом остальные виды глиняных изделий, фрагменты которых найдены на Гавре, местного производства. Весьма показателен тот факт, что среди черепков, собранных на Арпачии, ни одного гаврского образца не выявлено. Таким образом, сделанное еще в 1930-е годы М. Маллованом и

Дж. Роузом предположение о том, что в халафское время Арпачия являлась центром производства и распространения расписных (особо значимых) керамических изделий в округе, было подтверждено лабораторным путем через 50 лет (Davidson, McKerrell, 1980. P. 155, 163, 164).

Обобщив все рассмотренные выше материалы, мы вслед за И. Хаджарой считаем, что халафское поселение Телль Арпачии отличается некоторыми признаками, позволяющими предполагать его особое положение среди соседних пунктов. Большая толщина (7.5 м) халафского культурного слоя на памятнике, а также тот факт, что самые ранние из известных сегодня халафских материалов происходят из нижних уровней Телль Арпачии (Амиров, 1999. С. 236), служат свидетельствами, позволяющими предположить его основание первопоселенцами в регионе. Благодаря этому обстоятельству Арпачия могла обладать функциями обрядового родового центра по отношению к близлежащим "дочерним" поселениям. Понятно, что в настоящий момент такое заключение является предварительным, так как многие данные раскопок на Арпачии требуют уточнения, а соседние халафские памятники остаются, по большому счету, не исследованными.

К сожалению, исключением среди них нельзя назвать и Тепе Гавру, крупный холм, находящийся в 25 км к северо-востоку от Арпачии. Широкомасштабные раскопки этого объекта американской экспедицией, в целом, были посвящены более поздним историческим периодам, поэтому, достигнув верхнего халафского слоя (XX), археологи заложили лишь несколько предварительных траншей. В ходе работы особое внимание уделялось юго-западному району раскопа, который на уже исследованных уровнях XVII, XVIII, XIX являлся местом расположения "зданий религиозного назначения" (Tobler, 1950. P. 47). Открытие в юго-западном секторе XX слоя Тепе Гавры остатков толосовидной постройки (d – 5–5.25 м) не дало каких-либо дополнительных данных, позволяющих судить о ее назначении.

Дважды исследовавшимся "доисторическим" памятником Северной Месопотамии, материалы которого неоднократно рассматривались как убедительные свидетельства существования обрядовых построек в халафское время (Mallowan, 1946; Мелларт, 1982. С. 115; Антонова, 1990. С. 214 и др.), является Телль Асвад (район р. Балих). В 1938 г. М. Маллован впервые проводил там раскопки, в результате которых наиболее интересным открытием сезона стали обнаруженные на вершине холма развалины прямоугольного строения с длинными узкими комнатами. На основании того, что были зафиксированы некоторые архитектурные элементы внутреннего оформления этого помещения: череп быка, лежавший в дверном проеме, кости животных внутри и снаружи сооружения, а также фрагменты халафской керамики, М. Маллован предположил, что раскопанная постройка служила святилищем в халафскую эпоху (Mallowan, 1946. P. 123, 124. Fig. 2). Вместе с тем он отметил собрание интересной коллекции архаичных кремневых и обсидиановых изделий: ножевидных пластин, скребков, черешковых наконечников стрел, которые, по его мнению, принадлежали более раннему периоду обитания Телль Асвада (Mallowan, 1946. P. 124. Fig. 13. № 9–18). При повторных раскопках этого объекта в 1978 г. Ж. Ковеном на вершине холма были вновь обнаружены редкие халафские черепки. Однако в целом культурный слой памятника, начиная с верхних его уровней, составляли отложения неолитического поселения времени докерамического неолита (PPNB). В результате проведенной работы французские ученые пришли к выводу, что открытое М. Маллованом сооружение относилось к указанному периоду и было более древним, чем найденная на памятнике халафская керамика (Copeland, 1979. P. 151–153). Таким образом, учитывая результаты последних исследований, мы не можем использовать материалы Телль Асвада в качестве доказательства существования культовых построек в халафское время.

Материалы, обнаруженные в ходе недавних раскопок Саби Абияда (долина р. Балих), судя по доступным для нас публикациям, также не несут убедительной информации о присутствии культовых зданий в слоях 6–1, содержавших халафскую керамику (Akkermans, 1990; Антонова, 1998; Амиров, 1999).

В настоящее время наиболее широко изученным поселением халафской культуры продолжает оставаться Ярымтепе II, раскопки которого проводились отечественной археологической экспедицией в 1970–1980 годах. Памятник находится в иракской части Джезиры, как бы в центре ареала Халафа. В северной части холм почти смыкается с Ярымтепе III. Раскоп на Ярымтепе II был заложен в центральной части и доведен до материка на площади около 500 м^2. Мощность халафского слоя составила 7 м (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 165). Установлено, что помимо жилых и хозяйственных строений на Ярымтепе II функционировали, по всей вероятности, и специальные культовые сооружения (Мунчаев, 1997. С. 9. Рис. 1–4). Есть основания считать, что одним из таковых являлся заметно выделяющийся толос 67 – самая крупная круглоплановая постройка в древнейшем слое поселения диаметром (по оси север–юг) 5.3 м (рис. 3). Стены толоса стояли на специально подготовленной платформе в виде выровненной глиняной площадки. Перед тем как обмазать пол, в южной части указанной платформы было сделано небольшое углубление округлой формы (диа-

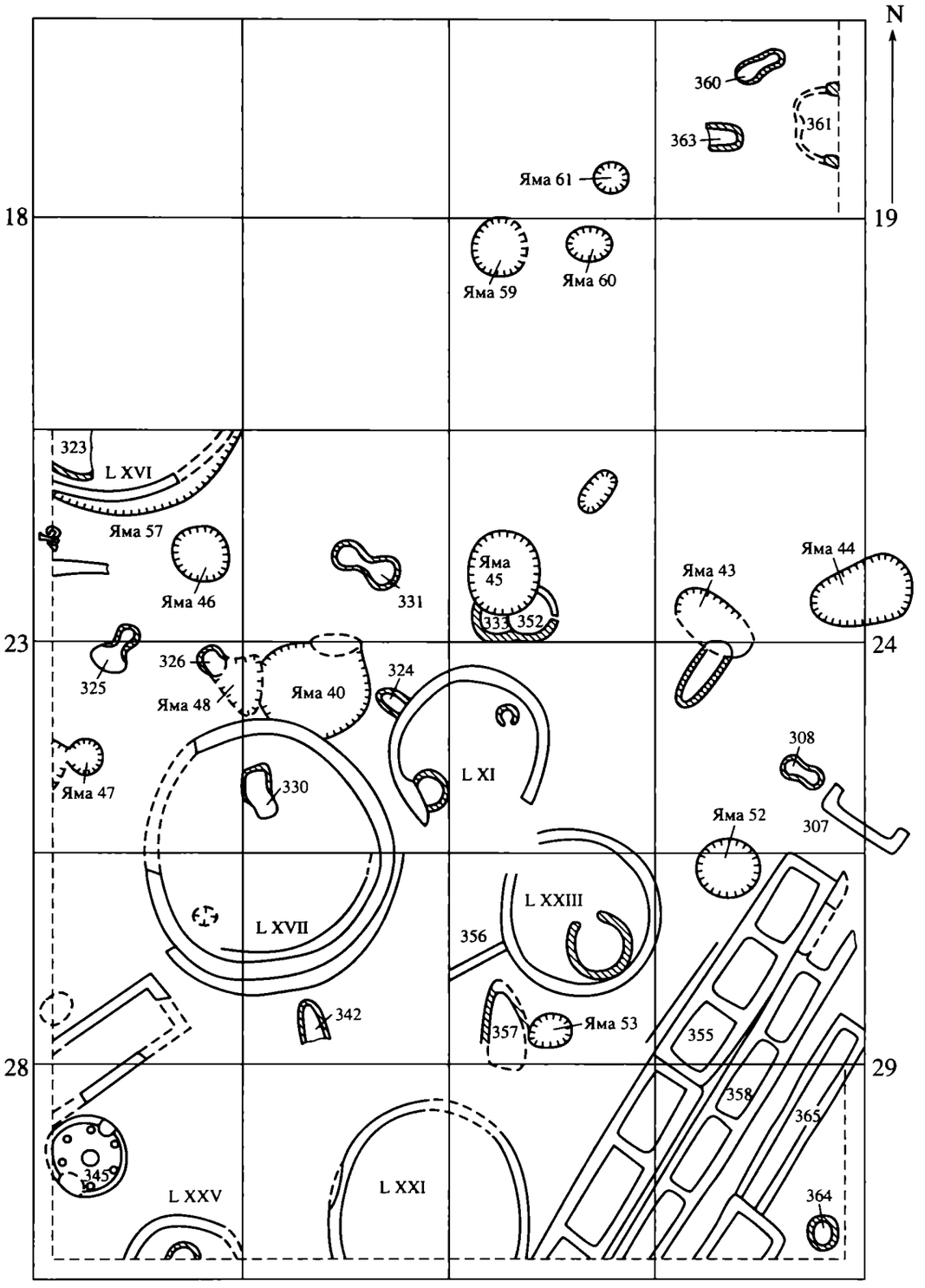


Рис. 3. Ярымтепе II. План древнейшего строительного горизонта.

метр 40 × 32 см, глубина около 7 см). В нем обнаружены обломки разбитого на мелкие куски расписного сосуда с рифленой поверхностью, а также три архаического типа обсидиановых микролитических трапециевидных орудия. Названные артефакты были засыпаны остатками костра. Помимо этого, при сооружении толоса 67 под его полы, примерно в 1–1.5 м к северу от ритуальной ямки, в слой глиняной забутовки, составляющей отмеченную платформу, были специально положены еще несколько особых предметов: алебастровая подвеска; подвеска из темно-серого плотного камня, украшенная циркульным орнаментом; плоская каменная подвеска овальной формы с ушком; семь пряслиц; обломок нижней части миниатюрной глиняной атропоморфной статуэтки и уникальная медная печатка-подвеска треугольной формы, украшенная резным узором в ви-

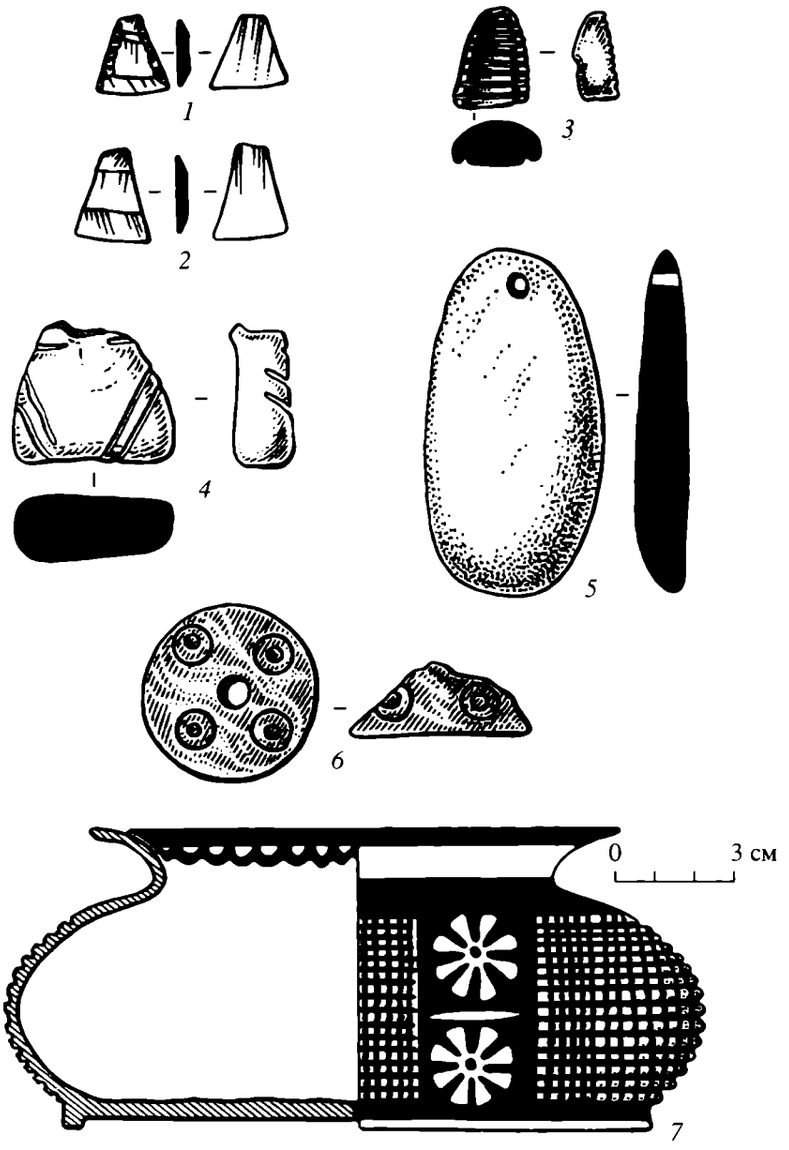


Рис. 4. Ярымтепе II. Культовые объекты из платформы толоса 67.

де продольных линий, имевшая петлю для подвешивания (рис. 4). В платформе также обнаружены кости животных и обломки разнообразных сосудов (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 178). Р.М. Мунчаев и Н.Я. Мерперт считают, что вряд ли названные находки сконцентрированы здесь случайно. Несомненно, подчеркивают авторы раскопок, что перед нами свидетельства культовой церемонии, проведенной непосредственно перед сооружением дома. Однако подобных находок ни в Ярымтепе, ни в других халафских памятниках пока не встречено. Известно, что обычай закладывать под стены и полы храмов особые предметы получает распространение в Месопотамии в последующие эпохи. Традиция эта, как установлено, ведет свое начало по крайней мере с хассунского времени (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 192, 224. Рис. 51–53; Мунчаев, 1997. С. 9 и др.). Авторы раскопок считают вполне допустимым предположение о том, что толос 67 являлся сооружением культового характера (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 192).

Не отвергая названную версию, Е.В. Антонова отмечает, что возможна и иная интерпретация: этот дом принадлежал семье лидера, с особым положением которого были связаны как размеры, так и другие особенности постройки (Антонова, 1998. С. 16). Однако полученные материалы IX строительного горизонта Ярымтепе II указывают на то, что в древнейший период существования поселка внутри жилищ обычно располагались печи типа танура или более простые очажные сооружения. Об этом свидетельствуют, например, данные полностью раскопанных толосов 61 и 73, идентифицированных исследователями памятника как постройки бесспорно жилого назначения (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 192). Отсутствие печи или какого-либо очажного со-

оружения внутри большого толоса 67 скорее говорит о нежилом характере этого помещения.

Вместе с тем дополнительные сведения о назначении интересующего нас сооружения выявляются при рассмотрении других достаточно выразительных составляющих археологического контекста древнейшего строительного уровня Ярымтепе II. Прежде всего следует отметить близкое сходство между обнаруженными под полами толоса 67 свидетельствами культа и иными многочисленными культовыми объектами, открытыми в нижних строительных горизонтах. Наиболее выразительными среди этих объектов являются обрядовые ямы, а также заброшенные очажные сооружения, содержавшие необычные предметы: иногда целые, а чаще осколки преднамеренно разбитых вещей (расписной посуды, статуэток и др.) и кости животных. В некоторых случаях названные артефакты несли свидетельства пребывания в огне и (или) были засыпаны сверху остатками костра, редко камнями (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 209, 210. Рис. 52, 59, 65, 67–70). Известно, что ритуально сломанные вещи зафиксированы и в более поздних шумерских памятниках, где они были непосредственно связаны со святилищами (Oates, 1978. P. 119; Антонова, 1990. С. 214–216).

О высокой значимости, которая придавалась подобным обрядам в ранний период обитания Ярымтепе II, говорит, с одной стороны, достаточно большое количество их обнаруженных свидетельств, а с другой стороны, наличие среди "погребенных" указанным способом вещей уникальных предметов, таких, как оригинальный зооморфный сосуд в виде свиньи или слона; известный антропоморфный сосуд в виде женской фигуры; медная печать-подвеска, а также микролитические орудия, найденные в ритуальной ямке под полом толоса 67. Традиция помещать жертвоприношения или остатки жертвоприношений в ямы прослежена в Месопотамии более позднего времени, в том числе исторического. Обрядовые ямы в виде оформленных специальным образом траншей зафиксированы в Уруке, Лагаше, Эреду, Уре, Хафадже, Ниппуре и, возможно в Тепе Гавре (конец IV–III тыс. до н.э.). Обычай совершения таких обрядов на одних и тех же местах поддерживался в течение длительного времени. Ямы с жертвоприношениями располагались в храмах, но могли находиться и поблизости от них (Van Buren, 1952. P. 76; Антонова, 1990. С. 216 и др.).

Таким образом, несомненно важен факт расположения большинства названных культовых объектов древнейшего слоя Ярымтепе II поблизости от толоса 67, на едином участке поселения. Характерно, что здесь рядом с толосом 67 в квадрате 23 открыта и могила 1/48 с расчлененным костяком (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 198, 208). Причем это же пространство служило местом концентрации уже упоминавшихся погребений черепов и всех пяти открытых в нижних уровнях телля редких для Халафа захоронений с остатками трупосожжений. Исследователи памятника считают, что трупосожжения проводили не на месте захоронения. После их совершения сохранившиеся останки были перенесены на определенный участок поселения (квадрат 23) и погребены в специальных ямах или на площадках. При этом происходила какая-то культовая церемония. С ней связаны следы костров, которые разжигали на местах захоронения, а также намеренно разбитые и брошенные в ямы глиняные сосуды (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 207, 208, 212. Рис. 45, 59). Е.В. Антонова высказала предположение, что захоронения с трупосожжениями могли и не быть погребениями останков людей, умерших своей смертью. Не исключено, пишет исследовательница, что остатки трупосожжений – следы каких-то жертвенных обрядов, сходных с теми, которые зафиксированы в ямах, обнаруженных на том же участке Ярымтепе II (Антонова, 1990. С. 82).

Рассмотренные выше культовые объекты (а именно: обрядовые ямы; заброшенные очажные сооружения со следами проводившихся обрядовых действий; свидетельства культа, обнаруженные в платформе толоса 67; захоронения с остатками трупосожжений) объединяются рядом существенных элементов своего материального оформления. Они, как и могила 1/48, а также погребения черепов были сконцентрированы в определенном южном участке раскопа, относящемся к центральной части телля. Судя по представленным материалам, все эти зафиксированные археологическим путем обычаи были тесно связаны между собой. Соответственно неординарный толос 67 являлся архитектурно оформленной частью выделяемого таким образом на поселении "сакрального" пространства в древнейший период обитания Ярымтепе II. Имеет значение тот факт, что некоторые элементы осуществлявшейся здесь обрядовой практики получили свое развитие в письменный период месопотамской истории, когда они уже непосредственно зависели от функционирования мощных городских храмовых организаций.

Как отмечалось, именно южный участок исследованной площади IX строительного горизонта Ярымтепе II был наиболее "защищен" разнообразными ритуальными действиями. В связи с этим заслуживает особого внимания открытие в названном районе большой двухъярусной гончарной печи довольно сложной конструкции (сооружение 345) и, вероятно, связанной с ней вместительной прямоугольной хозяйственной постройки, а также целого хозяйственного комплекса, состоящего из узких, прямоугольных, расположенных параллельно друг другу многокомнатных помещений 355, 358, 365 и, возможно, 307 (рис. 4).

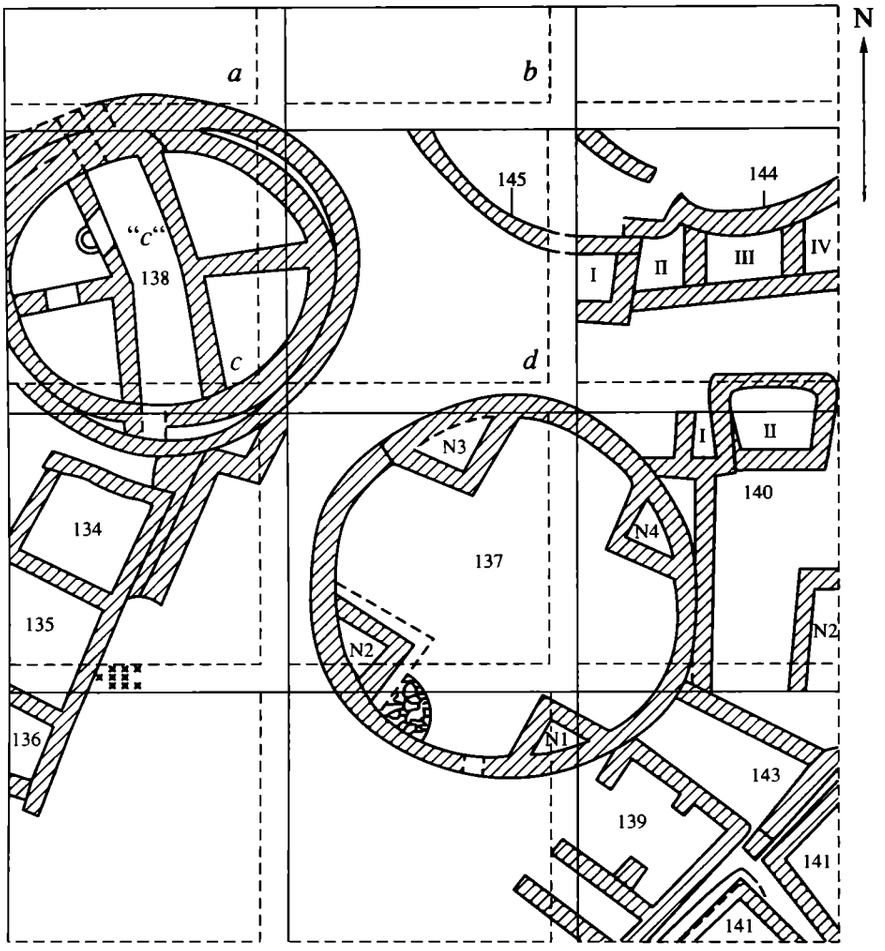


Рис. 5. Ярымтепе III. План третьего строительного горизонта халафского слоя. Толосы 137 и 138.

Авторы раскопок считают, что этот строительный комплекс служил зернохранилищем (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 166–170, 185; Merpert, Munchaev, 1987. P. 21). Отсутствие каких-либо пристроек для хранения к жилым домам на раскопанной площади древнейшего уровня Ярымтепе II, а также внушительные размеры хозяйственных сооружений 355, 358, 365[1] и место их расположения свидетельствуют в пользу того, что они функционировали как общественные хранилища. Сосредоточение в пределах особого "сакрального" пространства на поселении важных общественно значимых объектов хозяйственной деятельности, к каковым, несомненно, относились большая двухъярусная гончарная печь и комплекс зернохранилищ, по-видимому, было явлением закономерным. Широко известны письменные, а также археологические источники, которые сообщают о размещении крупных хозяйственных объектов в пределах теменосов древнейших месопотамских городов. Судя по всему, основы данной традиции закладывались уже в процессе развития предшествовавших раннеземледельческих культур.

Материалы III строительного горизонта халафского слоя Ярымтепе III, очевидно, могут служить еще одним подтверждением такого заключения. Здесь, в центральной части памятника, были обнаружены две необычные, располагавшиеся рядом друг с другом крупные круглоплановые постройки (рис. 5). Одной из них являлся толос 137 (d – 5.50–5.85 м). Это самое большое круглоплановое сооружение из всех раскопанных на Ярымтепе III. Внутри толоса находились четыре почти одинаковые по размерам угловидные конструкции. Они симметрично располагались на всю высоту стены круглопланового сооружения. Длина их сторон около 1.5 м. Подобные сооружения, отмечает Р.М. Мунчаев, до сих пор не открыты на других поселениях халафской культуры. Однако в Национальном музее Дамаска хранится крупная глиняная модель (диаметром 54 см) круглого дома с такими же угловидными конструкциями внутри помещения, которая происходит из Мари (на Среднем Евфрате) и датируется первой половиной III тыс. до н.э. (Мунчаев, 1997. С. 14, 15).

[1] Как это хорошо видно на плане (рис. 3), ни одно из рассматриваемых сооружений не было раскопано целиком. Однако длина вскрытой части наиболее полно исследованной постройки (355) уже достигала 10 м. Ширина камер хозяйственных помещений этого комплекса колебалась от 0.45 до 0.95 м.

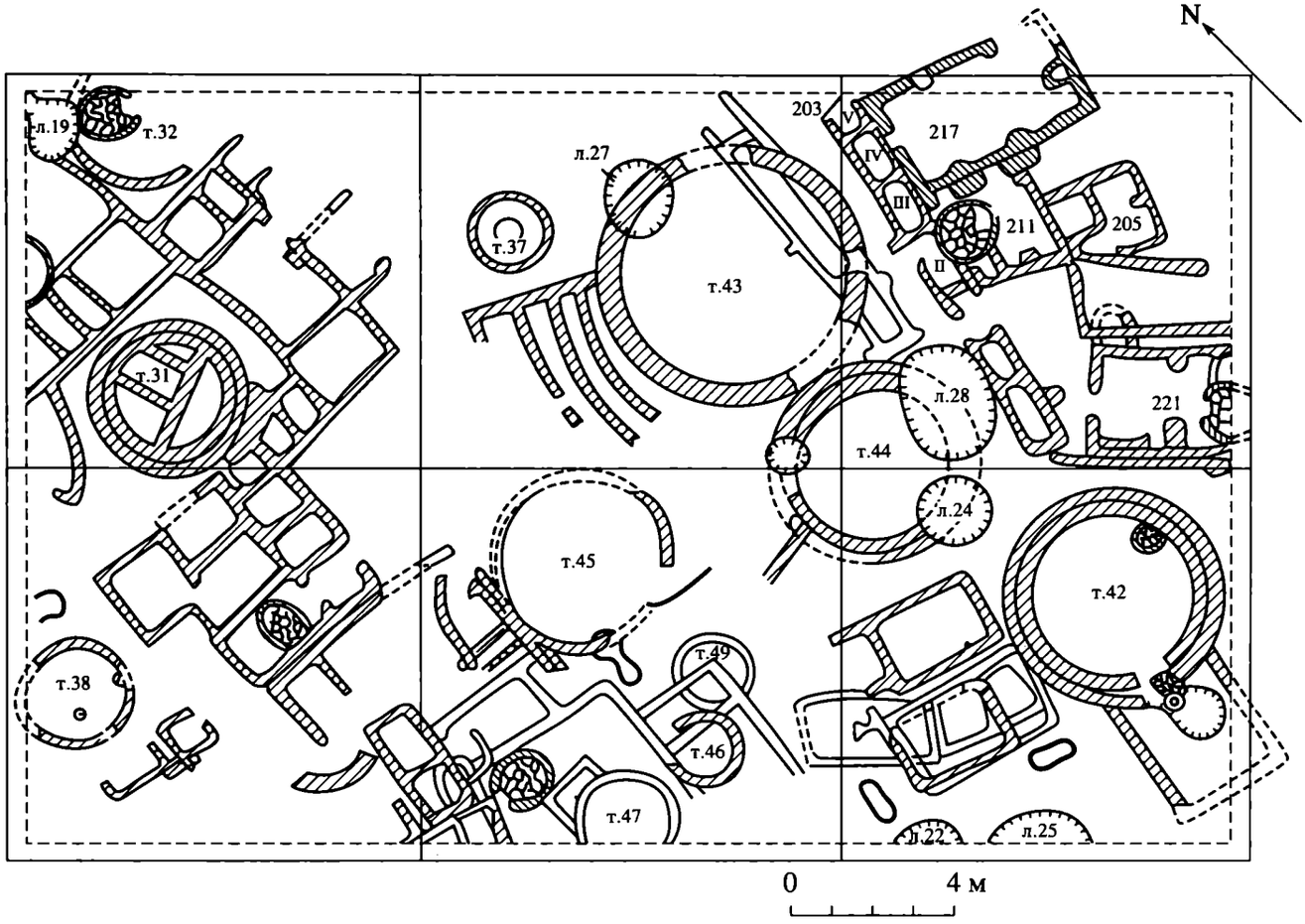


Рис. 6. Ярымтепе II. План четвертого строительного горизонта.

Вполне вероятно, что форма модели, соответствующая форме толоса 137, передает сложившийся в древности тип архитектурного оформления сакрального сооружения, символически отражающий образ "мирового пространства". В заполнении толоса 137 обнаружены кости животных, обломки сосудов, пряслица, зоо- и антропоморфные глиняные фигурки, а также большое количество "пуль для пращи", назначение которых до сих пор остается загадкой. Только в одной из угловидных конструкций их найдено не менее 700. Необычность внутренней структуры сооружения и артефакты, обнаруженные в пределах постройки, дают основания предположить ее культовый характер. В связи с этим Р.М. Мунчаевым уже отмечалось, что рядом с толосом 137 (к северо-западу от него) находилось другое, столь же интересное круглоплановое сооружение – толос 138 с примыкающей к нему с южной стороны трехкамерной постройкой (рис. 5). Вероятнее всего, считают авторы раскопок, хозяйственное (складское) предназначение указанного строения (Merpert, Munchaev, 1993. P. 174, 175; Мунчаев, 1997. С. 14, 15). В этом случае устанавливается еще один факт совместного расположения на халафском поселении неординарных построек культового и хозяйственного назначения.

Помимо известного объяснения функциональных особенностей толоса 67 (Ярымтепе II) и толоса 137 (Ярымтепе III) исследователями памятника ставился вопрос о культовом назначении некоторых других открытых ими сооружений, например четырехугольной постройки 205 (VI строительный уровень, Ярымтепе II) (Мунчаев, 1997. С. 12–15 и др.). С нашей точки зрения, постройкой особого назначения мог являться также толос 43 (VI строительный уровень, Ярымтепе II), располагавшийся с восточной стороны от крупного общественного хранилища (рис. 6). Толос 43 отличается от остальных помещений, раскопанных в VI строительном горизонте большими размерами (диаметр внутри по полу 5.60–5.65 м) и некоторыми конструктивными характеристиками (например, массивной платформой и необычными дугообразными хозяйственными пристройками) (Мунчаев, 1997, с. 12). Тем не менее в большинстве названных случаев (помещение 205, толосы 43 и 137) сопутствующие постройкам археологические материалы не являются столь выразительными, как комплекс объектов культового характера из древнейшего уровня Ярымтепе II. Соответст-

венно исследователями допускаются различные варианты интерпретации указанных сооружений.

Завершая краткий обзор имеющихся на сегодняшний день пока немногочисленных свидетельств существования культовых построек халафского времени, подведем некоторые итоги. Прежде всего следует отметить, что из всех известных материалов данные Телль Арпачии и Ярымтепе представляют наиболее полную картину развития долговременных халафских поселений, важным элементом которого бесспорно являлся идеологический фактор. Оба названных памятника расположены в центральной части ареала халафской культуры и во многих отношениях считаются эталонными для ее изучения. Что касается обрядовой практики, осуществлявшейся в конкретные периоды обитания на этих поселениях, то полученные свидетельства позволяют отметить как ряд характерных общих черт, так и некоторые локальные особенности ее материального оформления.

Наиболее важной аналогией в данном случае является очевидное присутствие особо выделяемого "сакрального" пространства на том и на другом поселении в определенное время их функционирования. Для халафского слоя Телль Арпачии "район толосов" зафиксирован на памятнике начиная со второй архитектурной фазы (по терминологии И. Хаджары). Самые выразительные данные о существовании "сакральной" территории на Ярымтепе II происходят из IX строительного горизонта. Так как общий план рассматриваемых населенных пунктов не ясен, то определить точно, в какой части поселений располагались указанные "священные" участки, мы не можем. Однако уже отмечалось, что они находились в центральной части теллей. По публикациям И. Хаджары известно, что такой участок на Арпачии был окружен стеной, а верхний слой его поверхности состоял из чистой глины, принесенной издалека. Данные раскопок Ярымтепе II не указывают на подобные признаки четкого выделения "сакрального" пространства из общего поселенческого контекста. Очевидно, столь выразительные характеристики оформления "священного" участка Телль Арпачии могли быть связаны с предполагаемым особым статусом этого поселения как обрядового родового центра по отношению к соседним халафским населенным пунктам.

Вместе с тем на "священной" территории как Телль Арпачии, так и Ярымтепе II (в отличие от других раскопанных участков этих памятников) неоднократно зафиксированы идентичные свидетельства разнообразных обрядовых действий, среди которых наиболее показательными объектами являются обрядовые ямы и весьма редкие для Халафа погребения черепов. Интересно, что на обоих поселениях выявлены случаи множественного захоронения черепов.

Следующей отличительной характеристикой присутствия особых участков на рассматриваемых поселениях является расположение в их границах важных общественных построек. В Арпачии к таким сооружениям можно отнести большие толосы из уровней ТТ-8, 7 и "Сгоревший дом" из ТТ-6. Вероятно многофункциональное назначение этих строений. Рассмотренные выше данные свидетельствуют о том, что толосы из слоев ТТ-8, 7, очевидно, являлись помещениями для проведения общественных собраний и совместного совершения обрядов. Тогда как остатки многокомнатного прямоугольной планировки "Сгоревшего дома" содержали артефакты осуществлявшейся здесь производственной деятельности, качественные образцы различных готовых изделий, а также выразительные свидетельства учета и хранения каких-то конкретных видов продукции. Кроме того, в ходе раскопок "Сгоревшего дома" получены материалы, указывающие на совершение в пределах этой постройки специальных культовых действий. По-видимому, обряды проводились с целью защиты и приумножения хранившегося в здании имущества, которое могло принадлежать общине в целом и расцениваться как собственность божеств (божества) – покровителей Арпачии. Фактический контроль над его распределением осуществлялся конкретными лидерами.

Данные IX строительного горизонта Ярымтепе II также фиксируют размещение важных общественных объектов в пределах исследованной части "сакрального" пространства поселения. В их числе уже были названы комплекс зернохранилищ, крупная гончарная печь и неординарный толос 67, который, судя по представленным свидетельствам, имел культовое назначение.

Такое совместное расположение мест и построек со следами проводившихся обрядов, объектов производственной деятельности и общественных хранилищ на территории особых участков Телль Арпачии и Ярымтепе II вполне объяснимо. В своей работе, посвященной проблеме происхождения храмового хозяйства в свете археологических данных "доисторической" Месопотамии Дж. Маккей, помимо прочих, анализирует артефакты из халафских памятников. Относительно рассматриваемого периода он заключает, что продукты питания, необходимые для существования общины, и излишки, используемые в различных обменных операциях, хранились в общественных амбарах и были, как правило, защищены многими религиозными обрядами и ритуалами, контроль над проведением которых осуществлялся святилищем. Таким образом, "сакральная организация" взяла под свою защиту общинные амбары и про-

дукты, хранящиеся там. Одним из самых простых путей выполнения этой задачи было строительство общественных хранилищ в пределах "священной" территории на поселении (Makkay, 1983. P. 3). В целом соглашаясь с представленной точкой зрения, добавим, однако, что все изложенное относительно применявшихся принципов расположения общественных хранилищ на раннеземледельческих поселениях в полной мере касается и общественно важных объектов производственной деятельности. По-видимому, "сакральные" участки, выявленные на Телль Арпачии, Ярымтепе II и некоторых других раннеземледельческих поселениях по своим функциональным характеристикам во многих отношениях являлись далекими прототипами монументальных храмовых комплексов, которые, как известно, служили не только религиозными центрами, но также выполняли роль организаторов хозяйственной деятельности и управления делами общины первых городов-государств Двуречья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Амиров Ш.Н. Tell Sabi Abyad the Late Neolithic Settlement. Report on the Excavations of the University of Amsterdam (1988) and National Museum of Antiquities Leiden (1991–1993) in Syria. V. I–II / Ed. P.M.M.G. Akkermans. Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul. 1996 // РА. 1999. № 2.

Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990.

Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. М., 1998.

Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982.

Мунчаев Р.М. Ярымтепе II: к изучению архитектуры Северной Месопотамии V тысячелетия до нашей эры // РА. 1997. № 3.

Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М., 1981.

Akkermans P.M.M.G. Villages in the Steppe. Amsterdam, 1990.

Breniquet C. A propos du vase halafien de la tombe G2 de Tell Arpachiyah // Iraq. 1992. V. LIV.

Copeland L. Observations on the prehistory of the Balikh valley, Syria during the 7th to 4th Millenia B.C. // Paleorient. 1979. V. 5.

Davidson T.E., McKerrell H. The Neutron Activation Analysis of Halaf and Ubaid Pottrey from Tell Arpachiyah and Tepe Gawra // Iraq. 1980. V. XLII.

Hijara I. Three New Graves at Arpachiyah // World Archeology. 1978. V. 10. № 2.

Hijara I. Arpachiyah 1976 // Iraq. 1980. V. XLII.

Hijara I. The Halaf Period in Northern Mesopotamia. London, 1997.

Ippolitoni-Strika F. A Bowl from Arpachiyah and the Tradition of Portable Shrines // Mesopotamia. 1990. V. XXV.

Makkay J. The origines of the "Temple–Economy" as seen in the Light of Prehistoric Evidence // Iraq. 1983. V. XLV.

Mallowan M.E.L. Excavations at the Balin Valley, 1938 // Iraq. 1946. V. VIII.

Mallowan M.E.L., Cruikshank Rose J. Excavations at Tell Arpachiyah // Iraq. 1935. V. II. Part I.

Merpert N.Ya., Munchaev R.M. The Earliest levels at Yarim Tepe I and Yarim Tepe II in Northern Iraq // Iraq. 1987. V. XLIX.

Merpert N.Ya., Munchaev R.M. Yarim Tepe II: The Halaf levels. Early Stages in the evolution of Mesopotamian Civilization. Tucson; London, 1993.

Oates J. Religion and ritual in sixth-millennium B.C. Mesopotamia // World Archaeology. 1978. V. 10. № 2.

Tobler A.J. Excavations at Tepe Gawra. V. 2. Philadelphia, 1950.

Van Buren E.D. Places of Sacrifice (Opterstatten) // Iraq. 1952. V. XIV.

Wickede A. von. Chalcolithic sealings from Arpachiyan in the collection of the Institute of Archaeology, London // University College. Institute of Archaeology. 1991. Bul. № 28.

On the Halaf Structures of Religious Purpose

T. V. Kornienko

Summary

The origin of outstanding temple architecture in ancient Mesopotamia is an important issue that repeatedly attracted the attention of numerous scholars. Judging by the archaeological data, the early stages of the tradition of building special religious structures in Mesopotamian settlements date back to the protoliterate period in the area under discussion. The Halaf culture dating to the 5th millennium BC is considered to represent one of the most vivid phenomena in the protoliterate Mesopotamia. The pyblished data originate from the sites characterised by significant excavated area – Tell Arpachiyah (Fig. 1, 2) and Yarim Tepe II and III (Figs. 3–6) – and present sufficiently impressive evidences of the religious practices performed at the discussed settlements. There is certain ground to believe that somw ceremonies took place in special buildings located within the boundaries of specific "sacral" areas within the sites. The analysis of the evidences has led the author to a conclusion that the "sacral" areas discovered at Tell Arpachiyah, Yarim Tepe II, and some other earliest agricultural settlements in many aspects of their material design and functional purposes appear to be distant prototypes of the monumental temple assemblages of the first Mesopotamian cities-states.

Отделение

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 18–24

К ИСТОРИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОЛХИДЫ

© 2001 г. Г. В. Инанишвили, В. Г. Майсурадзе,
Г. Г. Гобеджишвили, Т. П. Муджири
Центр археологических исследований Академии Наук Грузии, Тбилиси

Интерес к истории горнорудного производства, возникший еще в древности, не теряет своей актуальности и поныне. Этой проблеме посвящен ряд научных работ, в которых рассмотрены основные вопросы исторического развития горнорудного дела и металлургии.

В процессе социально-экономического развития общества доисторической эпохи огромную роль сыграло зарождение медно-бронзовой металлургии, значительные достижения которой во многом зависели от развития горного дела и металлообработки (Иессен, 1935; 1939).

Интерес к древним памятникам горнорудного дела и металлургии Закавказья возник во второй половине XIX в. Исследовательские работы этого времени были спорадичными и, естественно, давали скудную научную информацию (Стелецкий, 1932. С. 22–24). Археологические раскопки, осуществлявшиеся на территории Грузии с 20-х годов XX в., выявили интересные материалы для изучения памятников горнорудного производства. В последующие годы объектом пристального внимания становятся подобные памятники, расположенные на южных склонах Центрального Кавказа (Гобеджишвили, 1952. С. 183–190). Историко-технологический анализ памятников становится комплексным, привлекаются специалисты гуманитарных, естественных и технических наук (Муджири и др., 1987. С. 235, 236). Изучение исторического развития горно-металлургического производства показывает, что Закавказье является одним из его древнейших центров.

Благоприятные природно-геологические условия способствовали, как уже указывалось выше, развитию горнорудного дела и соответствующего уровня технической мысли уже начиная с III тыс. до н.э. (Чартолани и др., 1944. С. 10, 11).

Для воссоздания исторической схемы зарождения и развития горно-металлургического производства в Закавказском регионе мы рассматриваем географическо-геологические и геохимические данные, обусловившие развитие производства: залегание меди, сурьмы, мышьяка и полиметаллов, издревле являвшихся объектом обработки. Минералы этих месторождений различной мощности и отличающиеся генетическим многообразием, характеризуются высоким содержанием составляющих элементов и оптимальными характеристиками, необходимыми для металлургических процессов (Твалчрелидзе, 1958. С. 7–36).

Территория Грузии по своему географическому расположению и геологической структуре находится в основной зоне распространения минеральных ресурсов Закавказья (южная полоса Центрального Кавказа и большая часть Малого Кавказа).

Эти сложные геологические системы, в свою очередь, делятся на более мелкие тектонические подзоны. Особого внимания заслуживает южная часть Центрального Кавказского хребта, исторически являющаяся основным регионом распространения очагов горно-металлургического производства.

Эти очаги своей географической, геологической, исторической локализацией и историко-металлургическими особенностями располагаются в различных регионах горнорудной системы Закавказья. Основная их часть представлена пирротин-пиритовыми рудами меди. В этой зоне в виде отдельных групп залегания размещаются объекты системы рудопроявления меди Абхазии, Сванетии, Рачи, начиная с западной части Кавказского хребта в восточном направлении (рис. 1).

В нагорной части Абхазии, включая зону верховьев р. Кодори и ее притоков, система рудопроявлений меди распространяется на 25 км с выходами мощностью в несколько сот метров. Основными минералами здесь являются пирротин, пирит, халькопирит и галенит. Содержание меди в среднем 0.5–1.2%. В виде примесей прослеживается свинец и кобальт. В рудных жилах содержание меди 1.0–12.0%.

Зафиксированные при разведывательных работах в ущелье р. Бзыбь геологической партией Чхалта подземные пустоты, связанные с древними выработками, положили здесь начало археологическим работам специального назначения.

В верховьях рек Бзыбь и Кодори, на высоте 1800–2000 м от уровня моря, разведками выявлено до 20 древних рудников, которые сконцентрированы на мощных медных рудопроявлениях. Рудные

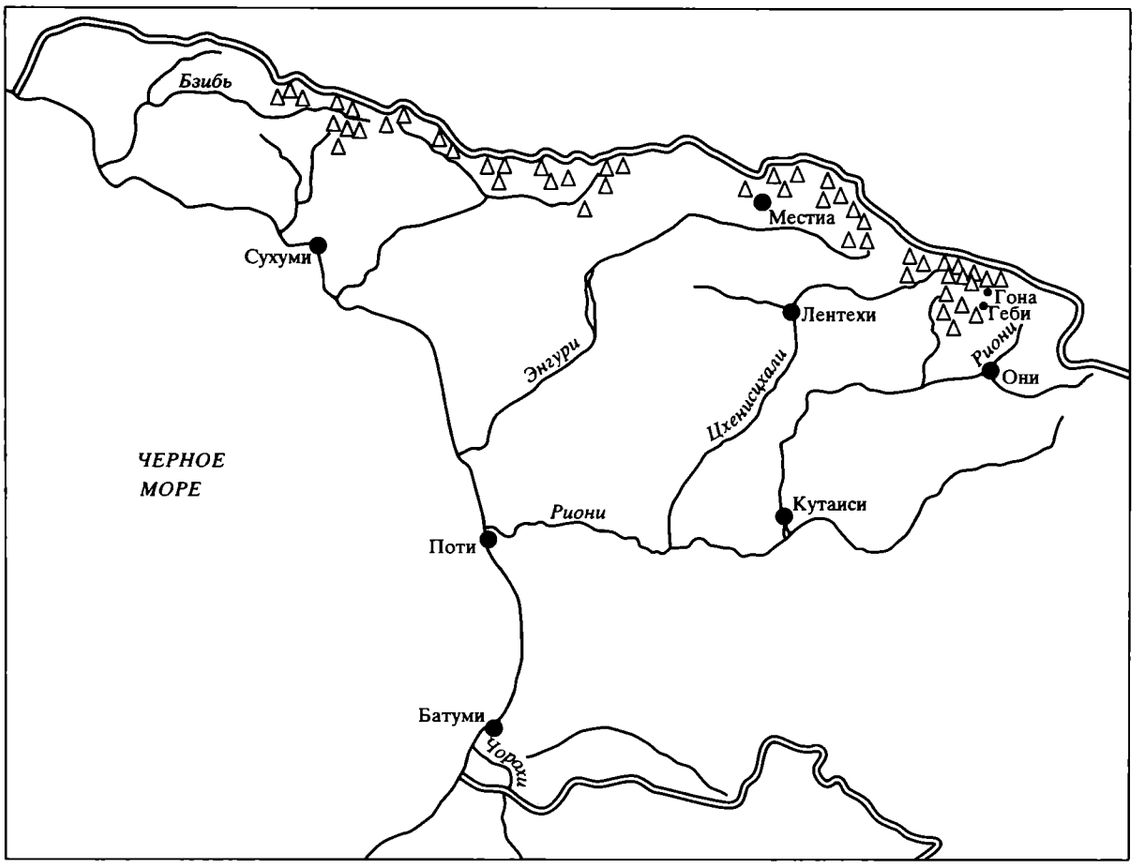


Рис. 1. Памятники древнего горнорудного производства Колхиды.

выработки различных размеров (40–60 м) и двух типов – закрытого и открытого, часть их покрыта отвалом пустой породы.

В зоне медных рудопроявлений Абхазии, с точки зрения инженерно-технологической специализации, емкую информацию дает разработка сложной конструкции Башкацара. Она состоит из двух ярусов, пролегающих вдоль рудных жил, и в сечении принимает форму объема распространения минерала; имеет единственную горизонтальную входную платформу (проем, в сечении 2.0 × 3.5 м), размеры штольни 4.30 × 1.2 × 1.4 м. В направлении распространения рудной жилы, в стенках разработки на различных уровнях имеются врезанные штольни разных размеров, пол их покрыт пустой породой, выбросы которой прослеживаются и с внешней стороны, в нижней части центрального входа. В систему горнорудного производства включены выявленные на нескольких объектах открытые карьеры (Шхабзия, Башкацара, Твибрашера).

В горных разработках в большом количестве найдены остатки производства, связанные с добычей и переработкой руды (каменные долота, рудный конгломерат). В ущельях рек Бзыбь и Кодори зафиксировано до двух десятков медных выработок. Памятники датируются II–I тыс. до н.э. (Каландадзе, 1964. С. 106).

При археологическом исследовании памятников горнорудного производства Абхазии добыт весьма информативный вещественный материал: каменные долота, отвалы пустой породы, шлаки, древесный уголь и др. Каменные орудия изготовлены из специально подобранных твердых пород (гранит, диабаз, габродиабаз) и отличаются большим разнообразием размеров, веса и форм. Из предметов, найденных в шахтах, внимание привлекают деревянные круглые корыта, вертикально-крепежные брусья и уголь.

Являясь географически продолжением абхазского горнорудного региона, в группу залегания медных руд Сванетского нагорья входит бассейн верховьев рек Ингури и Цхенисцкали. Основные меднорудные минералы здесь: пиротин, халькопирит, галенит. Средний химический состав меди 0.45–2.4% с примесью кобальта и никеля; по мощности распространения особо отличаются рудные выходы Джалади (в 10–12 км от Местиа). Согласно геохимическим данным, здесь фиксируется содержание меди 0.5–2.0% с примесью кобальта и свинца (Орбеладзе, 1958. С. 105–108). О существовании памятников древнего горнорудного производства на территории Сванетии стало известно с 1960-х годов после обнаружения древней выработки возле рудных залеганий Зааргаш и Лапури (в ущельях рек Ингури и Цхенисцкали Сванетской археологической экспедицией Центра архе-

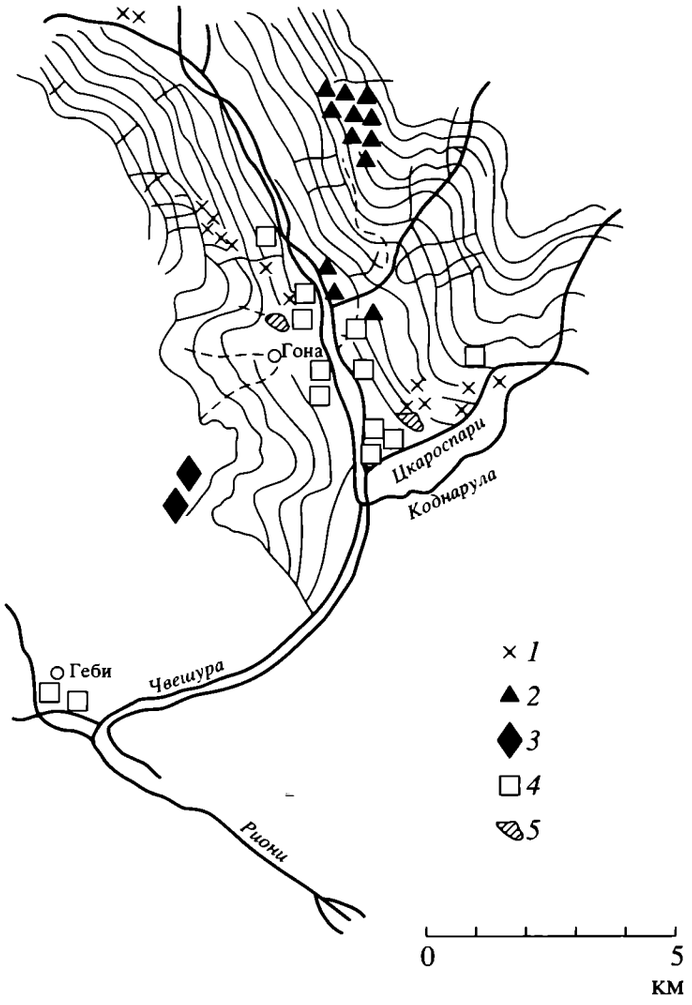


Рис. 2. Объекты горнорудного производства Рачи (Чкорналиани, Хвардзахети): *1* – медные рудники; *2* – сурьмяные рудники; *3* – мышьяковые рудники; *4* – современные геологические разработки; *5* – отвалы пустой породы.

ологических исследований Грузии выявлено несколько рудников, связанных с добычей и переработкой медной руды. Среди них особо следует отметить древние выработки закрытого типа (близ с. Местиа), распространяющиеся с северо-запада в юго-восточном направлении на высоте 2000 м от уровня моря. Из них комплексно изучены выработки № 1 и 2 (Чартолани, 1989. С. 126).

На объектах Зааргаша и Лопури сохранились орудия, связанные с древними горными разработками; в большом количестве каменные долота, большие и малые молотки и др. На древних рудниках Сванетии найдены деревянные брусья, обломки деревянных корыт и древесный уголь. Каменные орудия повторяют формы таковых из горных выработок Абхазского региона.

Памятники древнего горнорудного дела Сванетского региона отражают различные исторические этапы развития техники и технологии производства – от простых, открытых карьеров до подземных сложно-конструкционных выработок. По результатам радиокарбонных датировок и конструкционно-технологическим схемам древних разработок Сванетский комплекс горно-металлургического производства датируется началом II – серединой I тыс. до н.э.

В восточной части Большого Кавказа (восточнее Сванетии) расположена группа рудопроявлений меди горной Рачи. Основные характерные минералы залегания: пирит, пиротин и халькопирит. Содержание меди в них в среднем 0.5–1.9%. В металлогенной системе горной Рачи, наряду с месторождениями меди, известны мощные мышьяковые и сурьмяные руды, отдельные выходы которых обрабатывались еще в эпоху бронзы, являясь значительной базой для производства мышьяковой и сурьмяной бронзы.

Из горно-металлургических комплексов, расположенных в полосе медно-пирротиновых залеганий южных склонов Центрального Кавказа, особой мощностью отличается высокогорная Рача, непосредственно связанный с археологическими памятниками региона. Остатки горнорудного производства расположены в верховьях р. Риони и ее притоков Чвеше и Зопхитура. В высокогорной полосе на 1800–2500 м от уровня моря, из изученных горнорудных объектов, особый интерес представляют древние медные, сурьмяные и мышьяковые разработки. Здесь добыча руды производилась как открытым, так и подземным способом. По методам проводки, назначению, конструкции и объему эксплуатации стало возможно выделение различных типов объектов – от простых открытых карьеров до систем сложных многоярусных разработок (Гобеджишвили и др., 1983. С. 441).

Древнейшие медные, сурьмяные и мышьяковые рудники расположены в районе с. Гона (рис. 2). В ущелье р. Чвешура они локализуются на объектах Чкорналиани, Набослеби, Чвешо, Цкароспари. Чвешурская группа медно-пирротиновых залеганий представлена в виде природных линзовидных прослоек (мощность 0.7–1.3 м, в отдельных случаях – 8 м, угол падения – 45°–80°, глубина залегания 100–450 м); содержание меди в руде в среднем 0.7–3.3%, в богатых жилах достигает 10–14%. По геохимическим данным, рудники однотипны и лишь в виде примесей содержат кобальт (0.02–0.54%).

На сурьмяных месторождениях горной Рачи открыто и изучено 20 производственных очагов, на большей части которых зафиксированы остатки древнего горнорудного производства. Преобладающая часть памятников расположена в системе сурьмяных месторождений Зопхито, Сагеби и Хвардзахети. Среди них одно из значительных – месторождение Зопхито, расположенное в верховьях р. Зопхитура (левый приток р. Риони) на высоте 2300–2800 м от уровня моря, которое состоит из кварцево-сурьмяных жил (параметры: длина

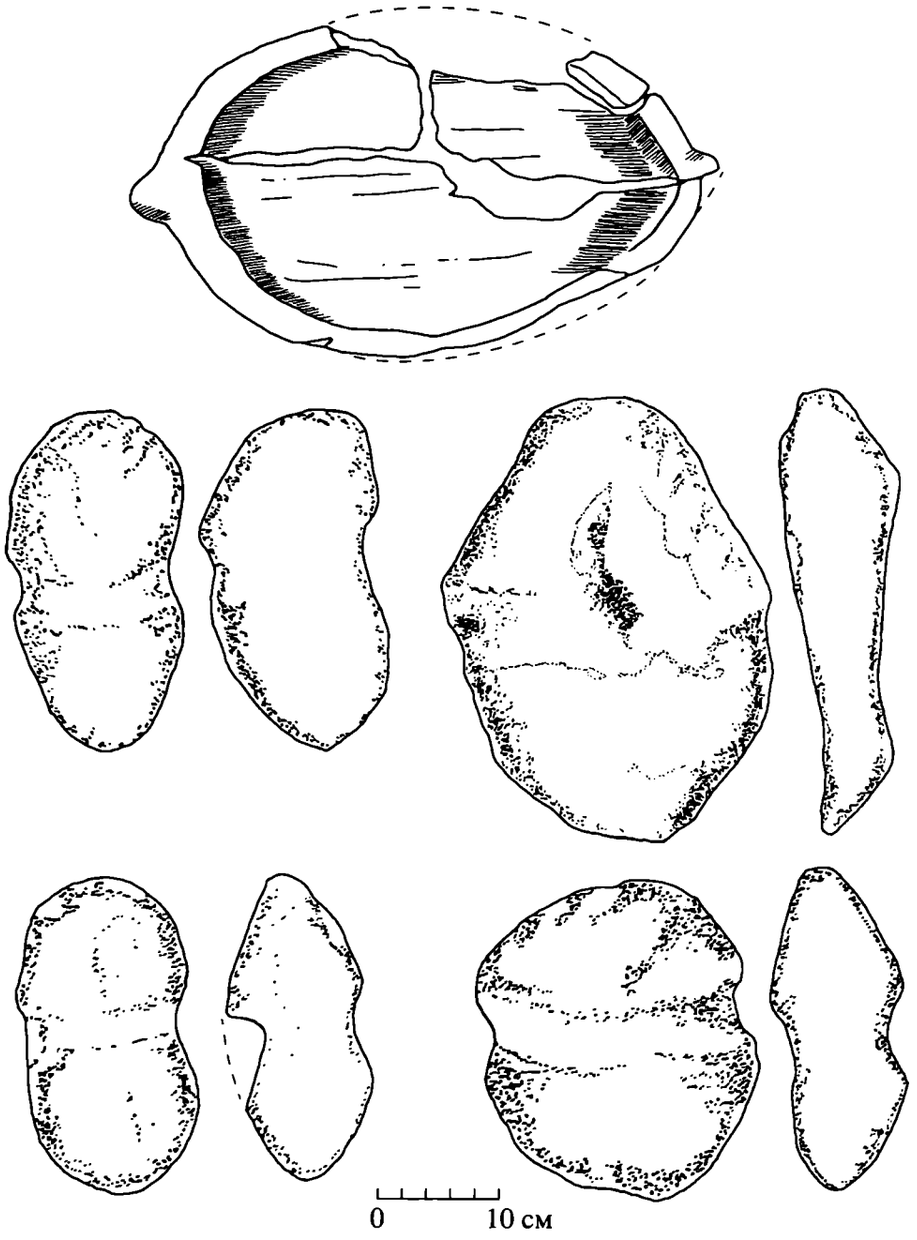


Рис. 3. Остатки горнорудного производства, деревянные корыта и каменные орудия.

распространения 150–500 м, мощность 0.4–3.0 м, угол падения 15°–50°). Месторождение в основном содержит сурьму, примесный элемент – мышьяк (арсенопирит), содержание основного элемента в среднем составляет 0.7–2.0% (Тогонидзе, 1958. С. 187).

Второе по мощности сурьмяное месторождение – Сагеби, также расположено в ущелье р. Зопхитура (параметры: мощность – 1.0 м, угол падения – 30°–50°). Остатки древнего производства найдены на Хвардзакетском сурьмяном месторождении, близ с. Гона, в ущелье р. Чвешура, на высоте 2200–2500 м над уровнем моря. Оно состоит из нескольких богатых жил с типичным линзообразным расположением (параметры: длина – 850 м, мощность 0.2–1.0 м, угол наклона 20°–45°). Месторождение богато сурьмой, в качестве примеси присутствует мышьяк (арсенопирит), по минеральному содержанию схоже с Зопхитским очагом.

В регионе горной Рачи известно 14 мышьяковых месторождений. Рудные жилы представлены реальгаром и аурипигментом. Они расположены в 10–15-км радиусе от с. Геби. Мощностью отличаются объекты Лухуми, Кодисдзири и Киртишо, находящиеся на высоте 2200–2500 м над уровнем моря, по мощности залегания это несколько однородных рудопроявлений (параметры: длина распространения 4–10 км, мощность 5–10 м), представленных реальгаром, аурипигментом и арсенопиритом. Среднее содержание мышьяка 0.5–30.0%, в богатых жилах достигает 25–47% (Каландаришвили, Харашвили, 1958. С. 214–218).

В процессе археологических работ на памятниках горнорудного производства в большом коли-

Таблица 1. Геологические характеристики основных месторождений Рачи, Сванетии и Абхазии, разрабатывавшихся в эпоху бронзы

Горнорудный район	Месторождение	Высота над уровнем моря, м	Мощность, м	Среднее содержание металла, %	Основной рудный минерал
Рачинский	Чвешурская группа медных месторождений	1800–2200	0.7–1.8 до 5.0–8.0 в линзах	0.7–3.3	халькопирит
	Сурьмяные месторождения				
	Зопхито	2200–2800	0.4–1.0 до 2.5–3.0	2.5–5.0 до 35.0	антимонит
	Сагеби	2000–2500	0.5–1.0	богатое	антимонит–ферберит
	Квардзахети	2200–2600	0.3–0.8	–	
	Мышьяковые месторождения				
	Кодис-дзири	2000–2200	5.0–10.0	2.3–6.3	реальгар–аурипигмент
	Лухумское	2200	6.0–6.5	7.0	реальгар–аурипигмент–арсенопирит
Сванетский	Медные месторождения Зесхо	2000	1.0–2.0	0.5–2.8	халькопирит
	Гульское	1800–2200	0.6–1.7 до 5.0 в линзах	0.3–6.0	»
	Мышьяковое месторождение Ценское	3000	0.6–1.8	1.0–8.0 до 44.0	арсенопирит
Абхазский	Адангейская группа медно-полиметаллических месторождений	1800–2300	0.5–1.8 до 60.0 в зоне рудной брекчии	1.0–2.5	халькопирит, сфалерит
	Кодорская группа медно-полиметаллических месторождений	1900–2100	0.6–2.0	0.8–3.0	халькопирит, сфалерит

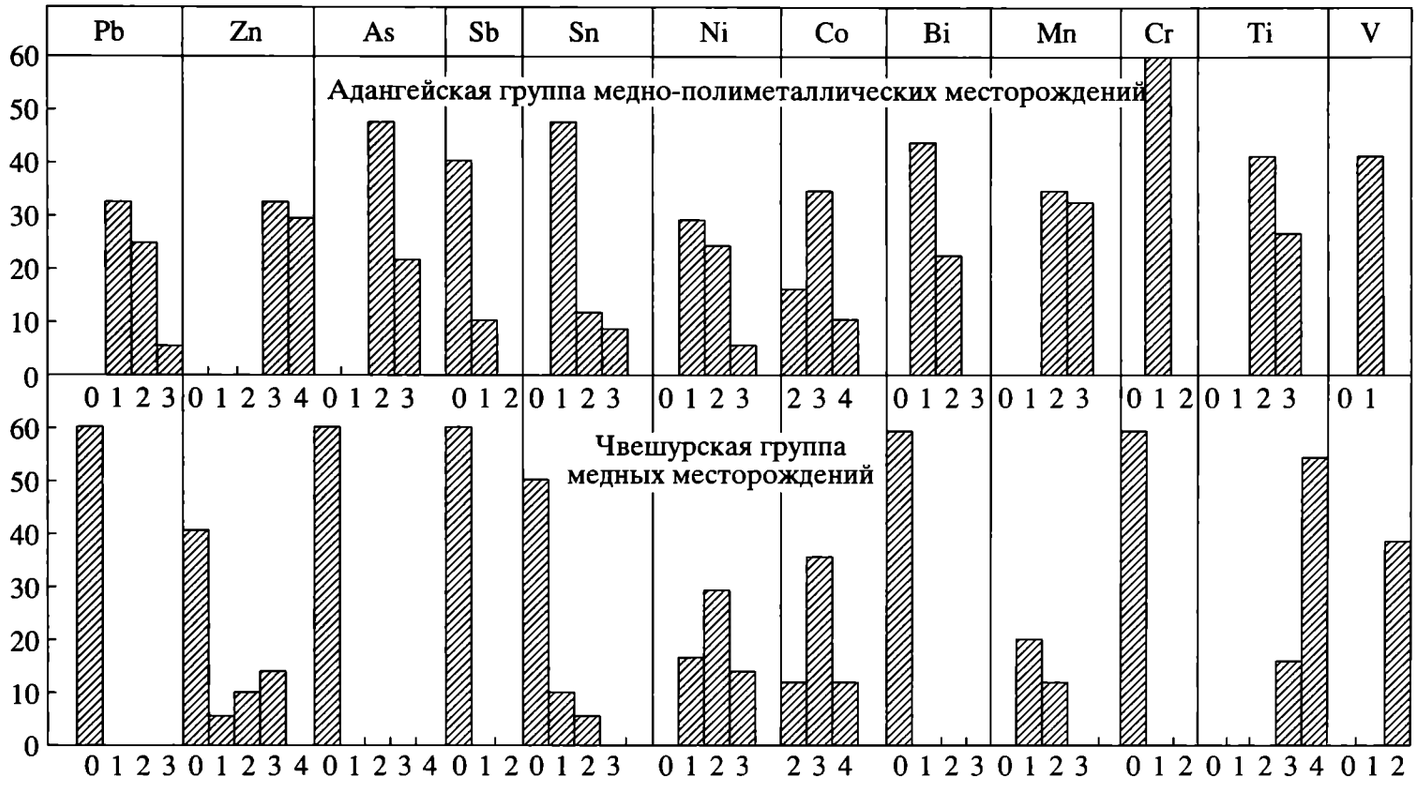
честве найдены: каменные орудия (долота, большие и малые молотки), деревянные предметы (корыта, вертикальные крепежные брусья), уголь и отвалы пустой породы. На стенках выработок прослеживаются следы применения металлических орудий. Своими формами и назначением здешние каменные орудия из разработок горной Рачи аналогичны найденным на горнорудных объектах Абхазии и Сванетии (рис. 3).

Памятники древнего горного дела Абхазии, Сванетии и Рачи изучены с привлечением новейших достижений геологии, металлургии, горно-инженерной техники и химии. Геологические характеристики выработок, изученных в системе медно-рудных залеганий Центрального Кавказа, сведены в таблицу (табл. 1). Итоги спектрального анализа рудных образцов, характерных для медных залеганий Абхазии (группа медно-полиметаллических залеганий Адангей) и Рачи (группа Чвешурских рудников), даны в виде гистограммы (табл. 2). Судя по гистограммам концентрации распределения примесных элементов в составах месторождений, в медных рудниках Рачи не отмечается присутствие мышьяка, сурьмы и олова. Для сванетских медно-полиметаллических месторождений содержание упомянутых элементов сравнительно выше и колеблется между 0.01–0.1%. Минимальное содержание примесных элементов в рудопроявлениях меди изученных регионов убедительно подтверждает использование мышьяка, сурьмы и олова как основных легирующих элементов в древнейшем производстве бронзы с привлечением запасов местных месторождений (подразумевается импорт олова из соседних металлургических провинций).

Фактические данные о добыче и последующей обработке руды подтверждаются наличием орудий производства: каменных долот, молотков и др. Долота, обнаруженные в большом количестве, различаются формой, весом, размером, материалом и функциональным назначением. Минеральный состав и структурное строение орудий типичны для крепких пород, распространенных в Закавказье.

Итоги радиокарбонной (C^{14}) датировки угля и древесины, добытых на памятниках горнорудного производства Рачи и Абхазии, приведены в таблице 3.

Таблица 2. Гистограммы распределения некоторых примесей к рудам Адангейской и Чвешурской групп медных месторождений



Примечание. 0 – данным методом анализа не обнаружен; 1 – 0.0001–0.001%; 2 – 0.001–0.01%; 3 – 0.01–0.1%; 4 – 0.1–1%.

Таблица 3. Результаты радиоуглеродных датировок рудников горной Рачи и горной Абхазии

№№ п.п.	Название района, участка	Добываемый металл	№ рудника, выработки	Образец	Абсолютный возраст	Дата до н.э.
	Рача					
1	Чкорналиани	Медь	Ч-4	ТБ-90	2880 ± 40	930
2	»	»	»	ТБ-91	2910 ± 45	960
3	Зопхито	Сурьма	З-4	ТБ-255	2950 ± 40	1000
4	»	»	»	ТБ-302	3200 ± 170	1250
5	»	»	»	ТБ-335	3120 ± 50	1170
6	Сагеби	»	С-1	ТБ-310	3630 ± 50	1680
7	»	»	С-2	ТБ-334	3590 ± 60	1640
	Абхазия					
8	Башкацара	Медь	Б-2	ТБ-304	3100 ± 70	1150
9	»	»	Б-4	ЛЕ-4196	3275 ± 200	1325
10	»	»	»	ЛЕ-4197	3050 ± 210	1100
11	»	»	Б-5	ЛЕ-4198	4080 ± 300	2130
12	»	»	»	ЛЕ-4199	4020 ± 280	2070

Примечание. Ч – участок Чкорналиани; З– Зопхито; С – Сагеби; Б – Башкацара.

Комплексный анализ памятников горного дела, расположенных в горной полосе Центрального Кавказа, дают возможность утверждать, что зафиксированная в единой системе распространения часть выходов сульфидных руд с конца III и до середины I тыс. до н.э. служила постоянной базой основного производственного сырья для местных горно-металлургических комплексов. Вместе с этим, в производственный цикл металлургии бронзы максимально были включены местные мышьяковые, сурьмяные месторождения. С учетом структурно-функциональных и конструктивных элементов древнейших выработок установлен непрерывный производственный цикл развития горного дела. Особое значение имеют сложнейшей конструкции системы масштабных разработок позднебронзовой эпохи, являющиеся уникальными памятниками мировой горной техники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гобеджишвили Г.Ф. Памятники древнегрузинского горного дела и металлургии в окрестностях с. Геби // Известия Академии наук Грузинской ССР. 1952. Вып. 13/3.

Гобеджишвили Г.Г., Муджири Т.П., Инанишвили Г.В., Майсурадзе В.Г. К истории производства бронзы древней Рачи // Известия Академии наук Грузинской ССР. 1983. Вып. 3/2.

Иессен А.А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // ГАИМК. 1935. № 120.

Иессен А.А. Древнейшая металлургия Кавказа. М., 1939.

Каландадзе А.Н. Археологические памятники Сухумской горы. Сухуми, 1964.

Каландаришвили Б.И., Харашвили Г.Н. Мышьяк // Природные ресурсы Грузии. Т. I. М., 1958.

Муджири Т.П., Гобеджишвили Г.Г., Инанишвили Г.В., Майсурадзе В.Г. Древнейшие сурьмяные рудники Грузии и их радиоактивные датировки // Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Тбилиси, 1987.

Орбеладзе В.И. Медь // Природные ресурсы Грузии. Т. I. М., 1958.

Стелецкий И.Я. По древним рудникам и шахтам Кавказа // Разведка недр. М., 1932.

Твалчрелидзе Г.А. Основные черты металлогении Грузии // Природные ресурсы Грузии. М., 1958.

Тогонидзе Г.И. Сурьма // Природные ресурсы Грузии. Т. I. М., 1958.

Чартолани Ш.Г. К истории нагорья Западной Грузии доклассовой эпохи. Тбилиси, 1989.

Чартолани Ш.Г., Муджири Т.П., Гобеджишвили Г.Г. Технический прогресс в горнорудном производстве на территории Грузии IV–I тысячелетия до н.э. // Мировой культурно-исторический процесс и Грузия. Тбилиси, 1994.

On the History of Mining and Metallurgical Production in Kolchida

G. V. Inanishvili, V. G. Maisuradze, G. G. Gobedzhishvili, T. P. Mudzhiri

Summary

The archaeological investigations conducted in the territory of Georgia resulted in discovery of interesting material related to the study of mining and metallurgical production dated of the 2nd–1st millennia BC. Ancient mines situated on southern slopes of the Central Caucasus were investigated. Some tens sites with the traces of extraction of copper, arsenic, and antimony were discovered in the territory of Abkhazia, Svanetia, and Racha. They functioned in the period of the Bronze Age. The monuments and material obtained underwent geological, geochemical, engineering, and chemical-technological analyses.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 25–34

К ИСТОКАМ СКИФСКОГО ИСКУССТВА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОТИВА СВЕРНУВШЕГОСЯ ХИЩНИКА

© 2001 г. Ю. Б. Полидович

Донецкий областной краеведческий музей

В скифологии давно уже утвердились два подхода к изучению специфического искусства евразийских народов раннего железного века, условно называемого "звериным стилем". Один из них предполагает суммарное рассмотрение материала, подход к нему как к некой совокупности, второй – детальное изучение отдельно взятых образов (оленя, хищника, лося и т.д.) или мотивов (свернувшегося хищника, "летящего" и лежащего оленей и т.д.). Оба подхода не взаимоисключают друг друга, а напротив, дополняют, обозначив изучение древнего искусства двумя различными путями, в основе которых лежит диалектическое соотношение общего и частного. Аналогичные подходы возможны и при решении главной проблемы изучения "звериного стиля" – проблемы его происхождения. Однако доминирующим в данном случае остается первый подход. Исследователи тем самым пытаются решить проблему в принципе, понять в целом феномен относительно внезапного появления разнообразных изображений животных в раннескифскую эпоху на фоне лаконичности изобразительной традиции культур позднего бронзового века и предскифского периода. Но при этом отмечаются и определенные различия в истоках отдельных образов и мотивов скифского искусства. Представляется, что более детальное рассмотрение этих различий позволит посмотреть на проблему происхождения скифского искусства с несколько иной стороны и увидеть многообразие происходивших в то время процессов образотворчества.

Мотив свернувшегося хищника, выделяясь среди всех мотивов "звериного стиля", специфически скифский и ни в какой иной изобразительной традиции не встречается.

Определенным аналогом мотиву свернувшегося хищника может служить изображение свернувшегося в кольцо змееподобного существа, известное в искусстве многих народов, как Евразии постскифского времени (Абрамова, 1975. Рис. 3; 7, *5*; Filip, 1976. Fig. 31, *2*, *5*; Оборин, Чагин, 1988. Ил. 72; Чиндина, 1984. Рис. 16, *10*), так и других регионов и времен, со скифами никак не связанных (Рабинович, 1979. Рис. на с. 288, 289, 321; Ю Женьдэ, 1981; Мифы..., 1982. С. 52, 440; Курочкин, 1992. Рис. 1, *20*; Гудман, 1995. Рис. 1, 4, 17). Хотя с иконографической точки зрения эти образы (хищник – змей) мало сопоставимы, а различия значительны, они прежде всего связаны с несопоставимо большей сложностью анатомического строения хищника, которая значительно усиливается неестественностью позы свернувшегося зверя, несвойственной животным в реальности. Именно это потребовало от скифских мастеров выработки специфических приемов изображения: определенной системы пропорций, взвешенного соразмещения отдельных частей тела, общих принципов построения композиции и т.д. (Полидович, 1994. С. 64–72), которые и позволили создать этот оригинальный мотив.

Между тем некоторое формальное сходство между изображениями двух свернувшихся существ действительно есть (Раевский, 1985. С. 118). Не случайно в описи М.П. Гагарина коллекции, присланной им в Кунсткамеру в 1716 г., золотая бляха в виде свернувшегося хищника значится как "змея согнулась" (Завитухина, 1977. С. 42), а одно из устойчивых и распространенных определений позы свернувшегося хищника: зверь "свернувшийся в кольцо", – что не совсем адекватно характеризует сами изображения. Ведь кольцо – это "предмет в форме окружности" (Словарь..., 1957. С. 1207), и, следовательно, определение "свернувшийся в кольцо" фактически равнозначно определению "свернувшийся по окружности". Действительно, голова, туловище и хвост свернувшегося зверя образуют кольцо. Но все дело в том, что лапы зверя при этом всегда находятся внутри этого кольца, не оставляя там какого-либо значительного свободного пространства. Именно поэтому можно утверждать, что изображение свернувшегося хищника построено не по принципу кольца, а по принципу круга. Не случайно в некоторых случаях, когда изображения наиболее компактны, употребляется определение "зверь, свернувшийся в клубок" (Бортвин, 1949. С. 118, 120; Акишев, 1978. С. 30). И этом также состоит значительная разница между двумя иконографическими образами – свернувшимся хищником и свернувшимся змееподобным существом. Вполне вероятно, что эта разница не только иконографическая, но и семантическая: ср. "свернувшийся в клубок" и "свернувшийся вокруг

чего-то". В связи с этим интересно сравнить изображения свернувшихся хищников с изображением двух хищников, свернувшихся по кольцу вокруг стоящего зверя, на ажурной бронзовой бляхе из находок у г. Майкопа (Смирнов, 1964. Рис. 81, *1*).

Но, вероятно, именно формальное сходство между этими образами позволило некоторым исследователям высказать предположение о происхождении скифского изображения свернувшегося хищника от древнекитайских композиций с изображением свернувшегося в кольцо или по спирали змеевидного дракона (Kossak, 1987; Курочкин, 1992; др.). Однако отмеченная изобразительная разница между этими образами не по-зволяет согласиться с таким разрешением проблемы происхождения скифского мотива (см. также: Варенов, 1984. С. 6; Погребова, Раевский, 1992. С. 121).

Таким образом, у нас есть все основания говорить об изображении свернувшегося хищника как о феномене скифского искусства в контексте всего мирового искусства. Однако исследователи, стоящие на разных позициях объяснения процесса происхождения скифского "звериного стиля", по-разному относятся и к факту появления этого феномена. Для одних из них мотив свернувшегося хищника априорно является изобретением собственно скифским, не связанным ни с какой иной изобразительной традицией (Ильинская, 1971. С. 76–78; Сорокин, 1972. С. 75, 76; др.), для других же он стал своеобразной persona non grate. Вторая группа исследователей исходит из того, что почти все образы и мотивы "звериного стиля" и многие элементы их воплощения были заимствованы скифами из той или иной изобразительной традиции цивилизаций Передней Азии. Собственно же скифское творчество (в том числе и в отношении создания изображения свернувшегося хищника), по их мнению, фактически свелось к переработке уже существовавших изображений, их переосмыслению в соответствии с потребностями украшения различных предметов (Членова, 1967. С. 126, 127; Шкурко, 1969. С. 33, 34; Федоров-Давыдов, 1976. С. 20, 192. Прим. 30; др.), а также в соответствии с "той семантикой, которая в скифской среде приписывалась как самому воплощенному зооморфному образу, так и позе изображаемого животного, а также предмету, для украшения которого этот мотив служил" (Погребова, Раевский, 1992. С. 106–122). При этом всеми сторонниками этой концепции выстраивается тот или иной эволюционный ряд формирования изображения свернувшегося хищника, в начале которого находится полусогнутая фигура зверя из древневосточных композиций (для М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского это изображения из Зивие, памятники которого "выступают как промежуточное звено между искусством остального древнего Востока и скифов": Погребова, Раевский, 1992. С. 104). Отдельные звенья этого ряда определяют, исходя из степени согнутости или свернутости фигуры зверя, которую якобы можно проследить на конкретных изображениях раннескифского времени. В наиболее полном варианте подобная умозрительная схема представлена в монографии М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского (1992. Рис. 14).

Подобные представления о растянутом во времени процессе формирования мотива свернувшегося хищника в скифском искусстве, выразившемся в постепенном сгибании (сворачивании) фигуры зверя в кольцо, по своей сути типичны для археологических исследований (ср. с эволюционной типологией) и в чем-то соответствуют сущности технического творчества, в определенных случаях также основывающегося на преемственности каждой последующей модификации изначального образца (см., например: Пирогов, 1979, С. 12, 13). Однако такие представления принципиально расходятся с существующими взглядами на сущность художественного творчества, на процесс создания художественного образа, каковым, безусловно, является и мотив свернувшегося хищника.

Художественное творчество, естественно, связано с процессом мышления, вследствие чего художественное произведение как "произведенное" является "продуктом мышления", а не только внешней формой, "сосудом" содержания идей (Ермаш, 1982. С. 57). Сам художественно-творческий акт, начиная с возникновения замысла и заканчивая его воплощением в материале, включает в себя три основных этапа: получение изначальной информации и/или впечатления от действительности – процесс их мыслительной переработки, заканчивающийся созданием образа в сознании художника – получение результатов. К первому этапу мы вернемся ниже, сейчас же для нас важно процессуальное наполнение второго.

Как полагает подавляющее большинство исследователей художественного творчества, первоначальное зарождение образа в ходе переработки исходной информации происходит на неосознанном (бессознательном, дологическом, интуитивном) уровне мышления. Одним из важнейших сущностных выражений этого уровня является воображение, считающееся основой художественного творчества (Зыков, 1975. С. 207; Крисаченко и др., 1989. С. 7). Термин же "воображение" хотя и включает в себя целый ряд самых разнообразных явлений, в сущности употребляется, по мнению английского логика Р. Скрутона, для передачи одного единственного концепта "видения чего-то" и включает такие понятия, как "рисовать образ", "воображать образ в различных формах", "воображать каким-то образом" (Scruton, 1974. P. 92), т.е. уже на этом уровне мышления образ зарождается как оформившееся и полностью представля-

емое целое. "Подлинное видение художника – это внутреннее видение формы, и художник лишь ищет в действительности наиболее подходящее сырье, способное стать ее адекватным выражением" (Бломквист, 1975. С. 128). Но как показывают психофизиологические исследования, для того, чтобы результаты предыдущей деятельности мышления превратить из "вещи в себе" в "вещь для нас", их необходимо проанализировать, критически оценить и организовать в некоторую систему уже на логическом уровне (Ротенберг, 1982. С. 60). В немалой степени этому способствует существующая в каждой изобразительной традиции своя определенная иконометрическая система, которая для создания, в частности, произведений искусства определяет относительно жесткие канонические правила построения изображения (Герасимова, 1973. С. 97). Все это позволяет полностью и окончательно сформировать образ уже в сознании художника. Следующий этап художественного творчества заключается лишь в экстернализации (опредмечивании) в материальных физических средствах готового идеального образа.

Таким образом, согласно существующим представлениям о художественном творчестве, процесс формирования нового образа полностью происходит в сознании художника, а материализованное изображение его и есть результат этого процесса. Искусство не признает промежуточных образов, оно оперирует только готовыми образами, в которых и провозглашает свою правду.

Еще большей завершенностью отличается процесс художественного творчества в условиях традиционного общества, заключающийся не столько в создании нового художественного образа, сколько в художественном выражении уже существующего религиозно-мифологического образа или идеи. Именно в мифологии содержалась та исходная информация, на основе переработки которой в сознании художника (мастера) рождался новый изобразительный образ. Особенностью этого нового образа было то, что он изначально рассчитывался не на "прочтение", т.е. порождение нового смысла, а на "воспоминание" (Лотман, 1973. С. 17–19). Для этого изображение должно быть узнано однозначно в силу адекватной реализации вкладываемой в него идеи или воплощаемого в нем образа. И в таком случае отдельные проявления, элементы его формы или структуры не могут быть случайными, временными. Произведенное должно быть максимально узнаваемо, поскольку измененная структура будет нести уже иную идею, иной образ (Лотман, 1970. С. 19). Да и сами изменения, согласно религиозному мышлению, могли привести к нежелательным или даже катастрофическим последствиям для социума (Герасимова, 1973. С. 101; Иорданский, 1982. С. 35, 36; Бируни, 1995. С. 137, 138).

Кроме того, художественно-творческий акт в традиционном обществе воспринимался не только и не столько как творческий процесс, совершаемый конкретным мастером, а скорее как процесс воспроизводства некоего праобраза, который пресуществует в некотором идеальном, мифологическом пространстве и только открывается достойному (Вейнберг, 1986. С. 48, 89). "Перед нами не автор, а "открыватель" того, что было ... создано Богом, и в том, что он открывает, нет места случаю" (Лотман, 1993. С. 474). Благодаря мастеру, "небесный образ переходит в земной предмет и смешивается с ним, воплощается в нем" (Харитонович, 1982. С. 29), поэтому и сам процесс создания произведения искусства (фактически являющегося ритуальным предметом или частью его) был в высшей степени ритуализирован или даже сам становился ритуалом и сопровождался (в зависимости от конкретной культурной обстановки) обильными жертвоприношениями, длительными постами, очищением мастера, медитативными погружениями и т.п. (Иофан, 1973. С. 25; Гэсо, 1979. С. 177; др.), а сам мастер зачастую был жрецом, посвященным во множество таинств (Матье, 1947; Антонова, 1984. С. 126; Вейнберг, 1986. С. 83). Такой взгляд на сущность творчества зародился, вероятно, еще в самых архаических обществах (Артемова, 1987. С. 133–138), со временем получив самое широкое религиозно-философское обоснование. Истоки его – в мистическом понимании неосознанного уровня мышления (Арнхейм, 1994. С. 25), воспринимаемом как контакт со сверхъестественными существами или путешествие в их мир.

В археологической литературе также бытует представление о том, что определенные категории предметов материальной сферы, существовавшие в первобытную эпоху, являли собой овеществление некоей абстрактной модели (Чайлд, 1957. С. 30). Вариабельность же отдельных артефактов объясняется тем, что мастера исходили не из копирования некоего усредненного образца, а из выражения некой абстрактной идеи (Клейн, 1991. С. 41). Аналогичным же образом вопрос ставится и практически всеми историками традиционного искусства: предметы искусства в первобытную эпоху создавались не путем копирования предыдущего образца, а путем выражения, воспроизведения абстрактной идеи или образа. Именно в этом и следует, на наш взгляд, видеть причину расхождений во второстепенных деталях между отдельными конкретными изображениями, идентичными по своей внутренней структуре. Эта разница была тем более ощутимой, чем больше во временном и территориальном (а значит, зачастую и культурном) отношении эти изображения удалены друг от друга. Ведь даже с точки зрения традиции, канона не все признаки формы считались равноценными: лишь часть из них – нормативные, структурные, а потому – неизмен-

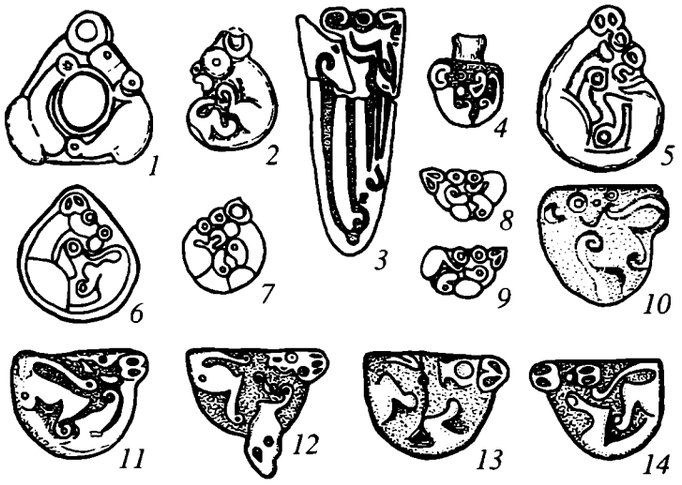


Рис. 1. Изображения свернувшихся хищников из западных регионов скифского мира. *1* – кург. Темир-Гора, Крым (Piotrovsky et al., 1986. Pl. 6); *2* – с. Константиновка, гр. II, к. 2, п. 3, степная Украина (Либеров, 1951. Рис. 45, *д*); *3* – кург. Старшая Могила, левобережное лесостепное Приднепровье (Шкурко, 1969. Рис. 1); *4* – из кург. в уроч. Дарьевка, правобережное лесостепное Поднепровье (Ильинская, 1975. Табл. XXXIV, *3*); *5* – Краснодарское водохранилище, Прикубанье (Пьянков, Тарабанов, 1997. Рис. 4, *1*); *6* – ст. Келермесская, кург. 2/В, Прикубанье (Галанина, 1997. Табл. 31, *223*); *7* – ст. Келермесская, кург. 2/В, Прикубанье (Галанина, 1997. Табл. 22, *259*); *8, 9* – ст. Келермесская, кург. 24, Прикубанье (Галанина, 1997. Табл. 24, *374, 376*); *10* – окрестности г. Майкопа, Прикубанье (Ильинская, Тереножкин, 1983. Рис. 15 на с. 83); *11* – Тлийский мог-к, п. 216, Кавказ (Техов, 1980. Рис. 23, *4*); *12* – Тлийский мог-к, п. 258, Кавказ (Техов, 1980. Рис. 23, *5*); *13* – Тлийский мог-к, п. 164, Кавказ (Техов, 1980. Рис. 23, *2*); *14* – сел. Рук, Кавказ (Техов, 1980. Рис. 23, *1*).

ные и обязательные (Герасимова, 1973. С. 94). Главным образом именно благодаря им достигалось соответствие формы, эмоции, идеи и цели изображения. Остальные признаки были уже как бы второстепенным уровнем, где допускались некоторые незначительные новшества, которые тем не менее должны были не выходить за пределы традиции и полностью соответствовать общему контексту. Однако абсолютизация значимости этих различий как раз и может породить представление об эволюционировании изображений, о процессе формирования их иконографической схемы, тогда как, по нашему мнению, различия между отдельными изображениями – это показатели бытования уже оформившегося мотива или образа, история его жизни, а не зарождения.

Показательно в этом плане отношение некоторых исследователей к ранним изображениям свернувшегося хищника, происходящим из западных регионов скифского мира. Подтреугольная форма этих изображений трактуется ими как некая промежуточная на пути к формированию изображения зверя, "свернувшегося в кольцо" (Шкурко, 1969. С. 34, 35; Погребова, Раевский, 1992. С. 106–112). Почему изображение свернувшегося хищника должно непременно иметь круглую форму? Не навязываются ли тем самым древним изображениям наши современные представления о них? Ведь это очевидно, что значительная часть изображений, выполненных в скифском "зверином стиле", обладает значительной геометричностью, по своей структуре соответствуя той или иной фигуре – кругу, треугольнику, прямоугольнику, квадрату или более сложным их модификациям. Это, кстати, вообще было характерной чертой ритуального или религиозного искусства, придававшего геометризму мистическое значение. Подтреугольность формы присуща не только ранним западным изображениям свернувшегося хищника, но и другим мотивам и образам скифского искусства. Таковы, например, изображения хищника из кург. 9 у с. Нартан (Батчаев, 1985. Рис. 27, 35), козлов из кург. 10 у х. Поповка (Ильинская, 1968. Табл. LII, *7*, *12*) и др.

Подтверждением такого взгляда на подтреугольность раннескифских изображений служит законченность и оформленность их композиционной структуры (Полидович, 1994. С. 72, 73), которую вполне можно считать изобразительным каноном, поскольку он отчетливо "читается" на довольно представительной серии изображений (20 экз.), происходящих со значительной территории – от Поднепровья (Шкурко, 1969. Рис. 1; Галанина, 1977. Табл. 7, *7*) до Ирана (Переводчикова, 1983. Рис. 1) (рис. 1), и бытовавших значительное время, по сути дела, весь раннескифский период. Сменяющие их изображения, имеющие круглую форму, появляются не раньше второй половины VI в. до н.э. или даже его конца. Это серии изображений типа кург. 488 у с. Басовки (Шкурко, 1969. С. 36; Ильинская, 1971. С. 79; Полидович, 1994. С. 75), типа кург. Кулаковского – кург. 499 у с. Басовки (Ильинская, 1968. С. 134; 1971, с. 83, 84; Шкурко, 1969. С. 36–39; Полидович, 1991) и др. Показательны и изображения свернувшихся хищников из восточно-казахстанского Золотого кургана (рис. 2, *10*), построенные по схеме, отличной от причерноморской, но также подтреугольных. Даже более того, они являют собой уникальный пример композиции вписанных друг в друга треугольников.

Причину изменения формы изображений свернувшихся хищников, а значит, и их структуры нужно, по всей видимости, искать в общих процессах изменения символики культуры.

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что мотив свернувшегося хищника – чисто скифское изобретение. Он появился как определенный изобразительный образ сразу же в готовом, полностью оформленном виде в силу возникшей необходимости материализации некоего

мифологического образа или идеи и на основании наблюдения мастером за действительностью, за реальными хищниками, разные виды которых в большом количестве обитали в скифское время в евразийских степях. Эта исходная информация (существующий мифологический образ + наблюдения за действительностью), на наш взгляд, вполне достаточна для возникновения любого мотива скифского "звериного стиля". Такое утверждение, впрочем, не отрицает определенную образотворческую роль переднеазиатского искусства, особенно ощутимую на примере прикубанского искусства. Однако, на наш взгляд, о ней можно говорить либо применительно к макроуровню (катализирующая роль "возбудителя" в процессе возникновения "звериного стиля" вообще; см.: Лотман, 1993. С. 122, 123, 153, 154, 478), либо, в определенной степени, к микроуровню (заимствование отдельных изобразительных элементов, прослеживаемое на некоторых отдельных изображениях, например Шкурко, 1969. С. 32, 33), тогда как создание конкретных образов и их мотивов (мегауровень) – результат творчества прежде всего местных мастеров скифского мира.

Однако такая постановка вопроса еще не предполагает его решения, так как скифский мир огромен, изображения, происходящие из разных его регионов, отличаются друг от друга, причем именно по главным, структурообразующим признакам (Полидович, 1994. С. 72–74). Вполне очевидно, что почти одновременно возникло и, уж во всяком случае, одновременно бытовало в разных регионах скифского мира несколько различных канонов изображений. Допускать возможность конвергентного их возникновения у нас нет никаких оснований. Открытость степей и издавна существовавшие контакты между отдельными регионами говорят только в пользу предположения о возникновении мотива и его последующем распространении по всему скифскому миру из одного центра, из одного конкретного региона.

Что это был за регион? Ответить на этот вопрос, используя только археологические методы исследования, в настоящее время не представляется возможным. Это прежде всего связано с тем, что археология раннего железного века, выйдя на межрегиональной уровень, столкнулась, с одной стороны, с трудноразрешимыми проблемами синхронизации одноперiодных комплексов, происходящих из различных регионов скифского мира. С другой – она ощутила острую нехватку источников по изучению раннескифского периода, минимально представленных практически во всех регионах евразийских степей.

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать обращение к смежным дисциплинам, в частности к культурологическим. В различных культурологических дисциплинах уже давно было обращено внимание "на изменение функции текстов в процессе усвоения их чужеродной культурой и в связи с этим на то, что процесс воздействия текста связан с его трансформацией" (Лотман, 1993. С. 111). В частности, это явление было детально прослежено К. Леви-Стросом на примере предметов ритуального искусства (Levi-Strauss, 1975; Леви-Строс, 1994,

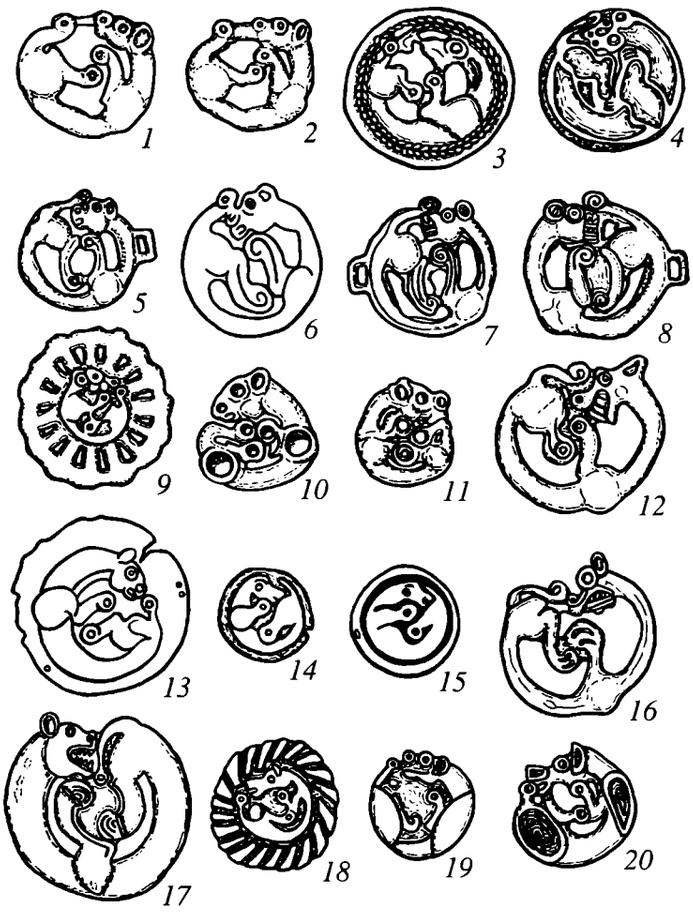


Рис. 2. Изображения свернувшихся хищников из восточных регионов скифского мира.

1, 9 – мог-к Сакар Чага-6, кург. 23, Приаралье (Яблонский, 1991. Рис. 12, *1, 3*); *2, 5* – мог-к Уйгарак, кург. 33, Приаралье (Вишневская, 1973. Табл. IX, *15, 16*); *3* – пос. Шеломок–II, Томская обл. (Плетнева, 1977); *4* – с. Измайловка, кург., восточный Казахстан (Ермолаева, 1985. Рис. 1 на с. 510); *6* – Старший Ахмыловский могильник, погр. 926 (Патрушев, Халиков, 1982. Табл. 130, *1и*); *7* – оз. Иртяш, север Челябинской обл. (Полидович, 1994. Рис. 1, *1*). *8* – Нарымский край. Западная Сибирь (Чернецов, Мошинская, 1954. С. 188); *10, 11* – Чиликта, Золотой курган, восточный Казахстан (Черников, 1965. Табл. XV; XVI, *1*); *12* – оз. Иссык-Куль (Абетеков, 1986. Фото на с. 33); *13* – Майэмир, кург., Алтай (Баркова, 1983. Табл. 1, *6*); *14* – д. Светлолобова, Минусинский край (Баркова, 1983. Табл. 3, *4*); *15* – городище Заречная Горка, Томская обл. (Матющенко, Сыркина, 1975. Рис. 1, *5*); *16* – оз. Иссык-Куль (Пугаченкова, Ремпель, 1982. Фото на с. 209); *17* – кург. Аржан, Тува (Грязнов, 1980. Рис. 15, *4*); *18–20* – Минусинский край (Членова, 1967. Табл. 27, *5, 10, 11*).

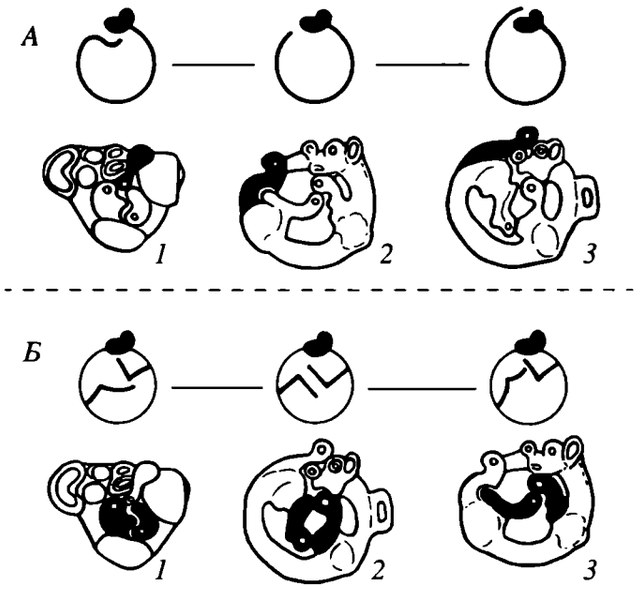


Рис. 3. *А* – основные схемы расположения хвоста на изображениях свернувшихся хищников (*1* – Нартан; *2, 3* – Уйгарак, к. 33); *Б* – основные схемы взаиморасположения лап (*1* – Нартан; *2, 3* – Уйгарак, к. 33).

С. 337–369; см. также: Островский, 1990)[1]. Французским исследователем были подробно проанализированы стилистические и семантические особенности масок-личин индейцев северо-западного побережья Тихого океана. На основании анализа было установлено, что если маска заимствуется другим народом без значительных стилистических изменений, то на семантическом (включая мифологическую семантику, интерпретацию образа и сферу бытования) и на социологическом уровнях она приобретала иное, противоположное первоначальному значение. И, напротив, при заимствовании маски как семантического образа, имеющего определенное мифологическое наполнение, ее воплощение получало противоположную стилистическую трактовку.

Обратимся теперь к композиционным признакам схемы изображения свернувшегося хищника, характерным для ранней изобразительной традиции как западных (Северное Причерноморье, Прикубанье и Северный Кавказ), так и восточных (от Поволжья до Восточной Азии) регионов скифского мира. В данном случае считаем возможным и даже необходимым использование всей известной совокупности ранних изображений, не ставя цели их синхронизации, но рассматривая их как существовавшие в пределах одного периода (этапа), т.е. в пределах VII – первой половины VI в. до н.э., и в равной степени одинаково репрезентирующих стоящее за ними культурное явление.

Фактически каждый из композиционных признаков представлен двумя основными вариантами, которые вполне можно трактовать как изобразительные антонимы. Для схемы взаиморасположения лап они таковы: при почти неизменном положении передней лапы (она, как правило, прижата к шее и плечу, ее кисть находится под мордой) расположение задней лапы варьирует в пределах двух противоположных вариантов – она согнута так, что ее кисть находится возле *кисти* передней лапы (серия среднеазиатских и сибирских изображений), либо так, что ее кисть находится возле *локтя* передней лапы (встречно-параллельное расположение лап и расположение лап под углом друг к другу) (рис. 3, *А*). Для схемы расположения хвоста: как противоположности может быть охарактеризовано нахождение его *над* мордой зверя (изображения, происходящие из восточных регионов скифского мира) и *под* ней (изображения, происходящие из западных регионов); как бы нейтральным вариантом является расположение хвоста *перед* мордой (рис. 3, *Б*).

Принцип построения схемы также имеет два противоположных воплощения, восходящих к треугольнику ("западные" изображения) и кругу ("восточные" изображения). И соответственно, если построить две противоположные схемы изображений с использованием этих изобразительных антонимов, то получим следующее.

1. Изображения, построенные по принципу треугольника и в которых задняя лапа зверя согнута так, что ее кисть расположена у локтя передней, а хвост находится под мордой, что полностью соответствует схеме построения "западной" серии изображений келермесско-тлийского типа (рис. 1). Хотя на примере обширной собственно келермесской коллекции можно даже наблюдать различные вариации воплощения этой схемы (Полидович, 1994. С. 65).

2. Изображения, построенные по принципу круга, в которых задняя лапа зверя согнута так, что ее кисть расположена у локтя передней, а хвост находится над мордой. Все три элемента этой схемы имеют лишь несколько не самых ранних "восточных" изображений: из района оз. Иссык-Куль (рис. 2, *12*, *16*), городища Заречная Горка Томской области (рис. 2, *15*) и д. Светлолобова Минусинского края (рис. 2, *14*). Сочетание же двух элементов (часто плюс "нейтральное" положение хвоста) присуще подавляющему большинству архаичных "восточных" изображений (рис. 2), за исключением минусинских. Последние являют собой оригинальное сочетание признаков (рис. 2, *18–20*).

Таким образом, изображения, происходящие из западных и восточных регионов скифского мира,

[1] Автор весьма признателен В.И. Кузину-Лосеву, предложившему использовать опыт К. Леви-Строса в изучении скифского искусства, что и явилось началом работы над данной статьей.

предстают перед нами как изобразительные противоположности. Оппозиция между нами улавливается и на уровне материала, из которого были изготовлены предметы с изображениями свернувшихся хищников: для западных регионов более характерно использование золота и кости, для восточных – бронзы. Следовательно, если использовать наблюдения, сделанные К. Леви-Стросом, можно предположить, что распространение мотива свернувшегося хищника по скифскому миру происходило из некоего единого центра с изменением пластической формы, но, вполне возможно, с сохранением семантического содержания.

В пользу последнего говорит, кроме прочего, то, что функциональное употребление изображений свернувшегося хищника в западном и восточном регионах скифского мира было в целом общим: они применялись в системе оформления зеркал (Прикубанье–Казахстан–Минусинская котловина) и конской узды (почти по всему скифскому миру). В западном регионе для архаического времени также характерно употребление изображений свернувшегося хищника для оформления предметов вооружения: луков – изображения из Темир–Горы[2] (рис. 1, *1*) и погр. 8 кург. 7 у с. Новоалександровка (Кореняко, Лукьяшко, 1982. Рис. 6, *2*), – и ножен акинаков, почти все изображения, происходящие из днепровской Лесостепи, Северного Кавказа и Передней Азии (рис. 1, *3, 4, 11–14*). В последнем случае расположение изображений на бутероли ножен акинаков столь характерно, что отражает, на наш взгляд, еще один этап распространения мотива (на этот раз уже в пределах западного региона).

Свидетельством того, что охарактеризованная изобразительная оппозиция адекватно осознавалась древними, является, на наш взгляд, использование двух изображений, схема которых построена с применением противоположных признаков, в качестве подпружных пряжек в системе одного уздечного набора, происходящего из кургана 33 могильника Уйгарак (рис. 2, *2*, *5*). Аналогичная ситуация встречена и в кургане 23 могильника Сакар Чага-6 в Южном Приаралье (рис. 2, *1*, *9*). Подобное противопоставление в системе оформления узды, восходящее к одной из универсальных бинарных оппозиций "правое-левое", было весьма распространено в традиции скифского мира (см. систему оформления узды из Майэмира (Баркова, 1983. Рис. 1), кургана Огуз (Болтрик, Фиалко, 1987 и др.).

Где же была "родина" мотива, и каков был вектор его распространения: с востока на запад или наоборот?

В одной из работ К. Леви-Стросом был рассмотрен процесс трансформации мифа-нарратива в ходе его заимствования из места первоначального бытования иными народами, как соседними, так и более отдаленными (Леви-Строс, 1985). При этом изначальный миф определяется исследователем как сильная его версия: он наиболее полон, развернут и детализирован, имеет устойчивую и законченную структуру. По мере "движения" происходит его постепенная трансформация (прежде всего полная или частичная инверсия отдельных эпизодов или образов) и "ослабевание".

Подобный опыт исследования, на наш взгляд, вполне приложим к скифскому искусству, особенно если учесть, что изображения являются вещной стороной мифа, попыткой опредмечивания вербальных образов и/или идей.

"Сильной" версией изображений свернувшегося хищника являются, по нашему мнению, западные изображения. Во-первых, именно они отличаются законченностью и продуманностью своей композиционной схемы, которая была практически неизменной довольно длительное время – около 50–100 лет, даже при условии изменения некоторых второстепенных элементов изображения (трактовка морды, лап, хвоста и т.п.). Во-вторых, это наиболее представительная в количественном отношении группа изображений, единая на довольно огромной территории. В-третьих, именно западные образцы дают примеры углубленной и разнообразной трактовки мотива. Кроме относительно "простых" композиций (например, расположение на "кнопке" зеркала) свернувшиеся хищники задействованы в различных сложносоставных композициях: навершия луков из Темир-Горы и Новоалександровки, большая келермесская "пантера", крестообразный предмет из Келермеса, или сочетаются с иными образами "звериного стиля" в системе узды (Келермес) и т.д.

Восточными соседями кубано-причерноморских народов были савроматы Поволжья и Приуралья. На этой территории пока не известны архаичные изображения свернувшегося хищника.

[2] Функциональное назначение костяного предмета в виде свернувшегося хищника из Темир-Горы определяют по-разному, но в основном его связывают с горитом (Яковенко, 1972. С. 264; Черненко, 1981. С. 43). Судя по записи в полевом журнале А.Е. Люценко, в котором как самостоятельная находка он не упоминается, этот предмет вместе с костяным резным предметом в виде головки птицы и есть "костяное из двух частей состоящее украшение фантастической формы с весьма курьезной на нем резьбою" (цит. по: Яковенко, 1972. С. 261). А поскольку функционально предмет в виде головки птицы, как и другие, ему подобные, определяется как навершие (окончание) лука (Черненко, 1981. С. 12–18), то и предмет в виде свернувшегося хищника можно интерпретировать как составную часть такого навершия. Это, кроме прочего, подтверждается и равенством диаметра отверстий (1.2 см) на обоих предметах. Тогда непропорционально большое ухо, оформленное в виде кольца, также объясняется функциональным назначением: через него продевали тетиву (иное мнение см.: Ильюков, Лукьяшко, 1994. С. 60, 61).

Однако показательно, на наш взгляд, изображение из Иркуля, датирующееся VI в. до н.э. (Смирнов, 1964. С. 224, рис. 79, *1*), т.е. в пределах все той же ранней группы. Расположение хвоста и лап на этом изображении типично для западных образцов, а форма ему придана уже не треугольная, а округлая.

Для более восточных изображений характерно окончательное изменение композиционной схемы, которая варьирует в пределах самых разнообразных сочетаний всего нескольких структурообразующих признаков. Иногда встречается и "западное" расположение лап: передняя – под мордой, задняя – под небольшим острым углом к передней, ее конец – "под мышкой" (рис. 3, *4, 9*). Значительная часть "восточных" изображений представлена единичными образцами, которые не образуют каких-либо серий. Однозначно выделяется разве что серия изображений типа Старшего Ахмылово – Уйгарака (рис. 2, *5–8;* Полидович, 1994. С. 73). Прямо противоположные "западным" по композиционной структуре изображения происходят, по сути дела, с далекой восточной периферии скифского мира: Западного Тянь-Шаня, Томского Приобья, Минусинской котловины (рис. 2, *12, 14–16*). К тому же датируются они относительно более поздним временем. Ни одно из известных "восточных" изображений не входило в состав каких-либо сложносоставных композиций. Все это, на наш взгляд, и говорит о "слабости" восточного варианта изображений свернувшегося хищника, а следовательно, и о движении этого изобразительного мотива с запада на восток.

В пределах западного региона скифского мира предпочтение может быть отдано северокавказским степям, и прежде всего – Прикубанью. Изображения из Тли, Фаскау, Рутхи и т.п. происходят из другой, инокультурной (неиранской, нескифской) среды племен кубанской культуры. Появление в ней изображений свернувшегося хищника, на наш взгляд, отражает результат взаимодействия двух культурных миров – степного и кавказского. Попадая в инокультурную среду, изображение свернувшегося хищника сохраняет свою компоцизионную структуру, но, по всей видимости, изменяет семантическое наполнение. Во всяком случае употребление этих изображений на бутеролях ножен акинаков характерно именно для кавказского региона и не встречается в степи. Даже более того, в раннескифское время Кавказ незнает иного способа употребления данного мотива "звериного стиля" ("ослабевание" версии), хотя он еще встречается и в украинской лесостепи: бутероли из посульского кургана Старшая Могила (рис. 1, *3*) и кург. 453 у с. Макеевка на Днепровском Правобережье (Галанина, 1977. Табл. 7, *7*). Отмечаемый момент культурной взаимосвязи Кавказа и украинской лесостепи не ограничивается данным примером. Это весьма широкая проблема, требующая, естественно, отдельного рассмотрения.

Дальнейшее движение мотива на юг, в страны Передней Азии, было довольно детально описано Е.В. Переводчиковой (1983). Оно также весьма показательно с точки зрения "ослабевания" мотива вплоть до его разрушения и замены.

Итак, с большой долей вероятности мы можем предполагать, что изобразительный мотив свернувшегося хищника, являясь оригинальным нововведением скифских мастеров, возник в среде северокавказских степных народов и от них распространился по всему скифскому миру. Распространение при этом шло относительно быстро, хотя и различными путями: на Кавказ и приднепровскую лесостепь с сохранением изобразительной структуры, но, по всей видимости, с изменением семантического содержания, на восток – с полной изобразительной инверсией, но с сохранением семантики. Процесс этот не был, да и не мог быть столь однозначным. В частности, можно назвать целый ряд изображений, композиционно никак не связанных с изначальной формой: это хищники из Кармир-Блура, Дарьевки, Золотого кургана, Аржана, на пластине из "Сибирской коллекции Петра I" и др. Каждое из этих изображений, вероятно, следует считать частным случаем конвергентного воплощения данного мотива. Это еще раз доказывает, что за появлением мотива свернувшегося хищника стоит не процесс переработки, переосмысления каких-либо чужеродных образов, а живое творчество местных мастеров, способных самостоятельно воплотить необходимый образ (идею), если на то поступал некий общественный заказ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абетеков А.К. Культура кочевников древней Киргизии // Сквозь века. Вып. 2. М., 1986.

Абрамова М.П. Катакомбные погребения IV–V вв. н.э. из Северной Осетии // СА. 1975. № 1.

Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М., 1978.

Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. М., 1984.

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.

Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 1987.

Баркова Л.Л. Изображения свернувшихся хищников на золотых пластинах из Майэмира // АСГЭ. 1983. Вып. 24.

Батчаев В.М. Древности предскифского и скифского периодов // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1979 гг. Т. 2. Нальчик, 1985.

Бируни Индия. М., 1995.

Бломквист Е. О противоречивости трактовки художественного творчества в эстетике А. Мальро // Проблемы художественного творчества. Критический анализ. М., 1975.

Болтрик Ю., Фиалко Л. К семантике изображений на конской узде кургана Огуз // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. конф. Ч. 1. Кировоград, 1987.

Бортвин Н.Н. Находка на горе Азов на Урале // КСИИМК. 1949. Вып. XXV.

Варенов А.В. Некоторые проблемы звериного стиля в китайской историографии // Древний и средневековый Восток. История, филология (проблемы источниковедения). М., 1984.

Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.

Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э. М., 1973.

Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н.Е. Бранденбурга) // САИ. 1977. Вып. Д1–33.

Галанина Л.К. Келермесские курганы. "Царские" погребения раннескифской эпохи. М., 1997.

Герасимова К.М. Тибетский канон пропорций // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.

Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 1980.

Гудман Ф. Магические символы. М., 1995.

Гэсо П.Д. Священный лес. М., 1979.

Ермаш Г.Л. Искусство как мышление. М., 1982.

Ермолаева А.С. Исследования на левом берегу Иртыша в восточном Казахстане // АО–1983. 1985.

Завитухина М.П. Собрание М.П. Гагарина 1716 г. в Сибирской коллекции Петра I // АСГЭ. 1977. Вып. 18.

Зыков М. Проблема художественного творчества в эстетике Г. Башляра // Проблемы художественного творчества. Критический анализ. М.,1975.

Ильинская В.А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья (курганы Посулья). Киев, 1968.

Ильинская В.А. Образ кошачьего хищника в раннескифском искусстве // СА. 1971. № 2.

Ильинская В.А. Раннескифские курганы в бассейне р. Тясмин. Киев, 1975.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. Киев, 1983.

Ильюков Л.С., Лукьяшко С.И. Новые памятники скифского времени на Нижнем Дону // Донские древности. Вып. 2. Азов, 1994.

Иорданский В.Б. Хаос и гармония. М., 1982.

Иофан Н.А. Становление протоканона в изобразительном искусстве Японии // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.

Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991.

Кореняко В.А., Лукьяшко С.И. Новые материалы раннескифского времени на левобережье Нижнего Дона // СА. 1982. № 3.

Крисаченко В.С. и др. Естественно-научное мышление и современность. Киев, 1989.

Курочкин Г.Н. Свернувшийся в кольцо хищник и "летящий" олень (генезис и распространение ведущих образов скифо-евразийского звериного стиля) // Античная цивилизация и варварский мир. Материалы III археол. семинара. Новочеркасск, 1992.

Леви-Строс К. Как умирают мифы // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985.

Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.

Либеров П.Д. Курганы у села Константиновки // КСИИМК. 1951. Вып. XXXVII.

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.

Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.

Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1993.

Матющенко В.И., Сыркина Л.М. О новых находках эпохи раннего железа в Томско-Чулымском Приобье // Первобытная археология Сибири. Л., 1975.

Матье М.Э. Роль личности художника в искусстве Древнего Египта // Труды Отдела Востока. Том IV. Л., 1947.

Мифы народов мира. Т. 1. М., 1982.

Оборин В.А., Чагин Г.Н. Чудские древности Рифея. Пермский звериный стиль. Пермь, 1988.

Островский А.Б. Семантика маски в свете структурного подхода // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990.

Патрушев В.С., Халиков А.Х. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М., 1982.

Переводчикова Е.В. О сюжетах изображений на бутеролях акинаков ахеменидского времени // ВДИ. 1983. № 3.

Пирогов К.С. Научно-техническое творчество (социально-философские проблемы). Л., 1979.

Плетнева Л.М. Томское Приобье в конце VIII–III вв. до н.э. Томск, 1977.

Погребова М.Н., Раевский Д.С. Ранние скифы и древний Восток. К истории становления скифской культуры. М., 1992.

Полидович Ю.Б. Об одной серии изображений свернувшегося хищника V в. до н.э. // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V в. н.э.). Тез. докл. Киев, 1991.

Полидович Ю.Б. О мотиве свернувшегося хищника в скифском "зверином стиле" // РА. 1994. № 4.

Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки истории искусства Средней Азии. М., 1982.

Пьянков А.В., Тарабанов В.А. Могильник протомеотского времени Казазово 3 и другие находки из чаши Краснодарского водохранилища // Памятники предскифского и раннескифского времени на юге Восточной Европы (Материалы и исследования по археологии России. № 1). М., 1997.

Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.

Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества // Художественное творчество. Л., 1982.

Словарь современного русского литературного языка, Т. 5. М.; Л., 1957.

Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М., 1964.

Сорокин С.С. Свернувшийся зверь из Зивие // СГЭ. 1972. Вып. XXIV.

Техов Б.В. Скифы и Центральный Кавказ в VII–VI вв. до н.э. (по материалам Тлийского могильника). М., 1980.

Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976.

Харитонович Д.Э. Средневековый мастер и его представления о вещи // Художественный язык средневековья. М., 1982.

Чайлд Г. Археологические документы по предыстории науки // Вестник истории мировой культуры. № 1. М., 1957.

Черненко Е.В. Скифские лучники. Киев, 1981.

Чернецов В.Н., Мошинская В.И. В поисках древней родины угорских народов // По следам древних культур. От Волги до Тихого океана. М., 1954.

Черников С.С. Загадка Золотого кургана. М., 1965.

Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. Томск, 1984.

Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967.

Шкурко А.И. Об изображении свернувшегося в кольцо хищника в искусстве лесостепной Скифии // СА. 1969. № 1.

Ю Жэньдэ Исследования формы и орнамента шанских изображений дракона, вырезанных из яшмы // Вэньу. 1981. № 8 (на кит. яз.).

Яблонский Л.Т. Проблема формирования культуры саков Южного Приаралья // СА. 1991. № 1.

Яковенко Э.В. Курган на Темир-Горе // СА. 1972. № 3.

Filip J. Celtic Civilization and Its Heritage. Praha, 1976.

Kossak G. Von Anfangen des Skytho-iranischen Tierstils // Abhakdlungen BAW. 1987. Phil.-hist. Klasse. NF. H. 98.

Levi-Strauss C. La voie des masques. T. 1–2. Geneve, 1975.

Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. Skythian Art. Leningrad, 1986.

Scruton R. Art and Imagination. A Study in the Philosophy of Mind. London, 1974.

On The Origin of Scythian Art: the Provenance of the Curled Predator Motif

Yu. B. Polidovich

Summary

The motif of curled predator is one of the most popular in Scythian art. No art tradition contains its analogies or predecessors. We can state with concern that it represents the invention of the Scythian artisans only. The earliest images of curled prredator (Figs. 3 and 3) are known in fully developed shape. They do not display any initial stage of formation, which is a peculiar feature for artistic tradition in general and ancient art in particular. The finds of early images bearing the motif in question originate from different regions of European steppic zone. They differ essentially as far as the rendering manner is concerned. The modes how tail and paws are placed (Fig. 1) may be characterised as opposite ones. According to C. Levi-Strauss, such a difference occurs in the course of cultural adoptation of an image. The process of the image perception can follow two patterns: either its shape undergoes changes but the meaning is preserved (model 1), or its shape is preserved whilst the meaning changed (model 2). It is important to define the place of the image's origin. According to C. Levi-Strauss's view, the initial version may be termed as "strong" one: the most full in rendering and stable in variations. The author claims that the images on the finds originating from the Kuban' basin and adjacent steppic area along the Don river (Kelermes barrow mounds and other sites) to be just the case. It is from this territory that the motif in question spread over the Caucasus, Western Asia, and Ukrainian forest-steppe following model 2, and over the eastern part of Scythian world following model 1. The evidences of independent emergence of the curled predator motif are also known (Karmir-Blur, Arzhan and others).

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 35–45

РАННЯЯ ТВЕРЬ ПО ПИСЬМЕННЫМ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ РАСКОПОК В ТВЕРСКОМ КРЕМЛЕ)

© 2001 г. Н. В. Жилина

Институт археологии РАН, Москва

Данные о возникновении Твери анализировались исследователями на разных этапах изучения города. Новый обзор ставит цель добавить ряд деталей, извлекаемых при изучении письменных источников, а также материалов археологических исследований второй половины 80–90 годов XX в.

Первый историк Твери Д.И. Карманов не подверг письменные источники какой-либо критике. В 70-х годах XVIII в. родилось представление, что первоначальная Тверь возникла на левом берегу в устье р. Тверцы, а позднее жители переселились на мыс правого берега в устье р. Тьмаки (Карманов, 1893. С. 28, 29). В.С. Борзаковский, избегавший твердых суждений, остался на средней линии "допущений" (Борзаковский, 1994. С. 18–21). В.И. Колосов первым заговорил о возникновении Твери на правом берегу и привлек для изучения города еще небогатый археологический материал (Колосов, 1902; 1994. С. 18).

В 1934 г. на мысах рек Тьмаки и Тверцы проведены раскопки под руководством Н.П. Милонова. Шесть шурфов на территории кремля позволили автору сделать выводы о том, что укрепленная Тверь существует с XII в. на мысу р. Тьмаки, а предшествующее ей селище относится к XI в. На левом берегу Волги зафиксирован слой не ранее XVII в., однако сообщено о находках западноевропейских монет X–XI вв. Сравнивая стратиграфию 1930-х годов с современными данными, можно думать, что жилые слои XII–XIII вв. могли присутствовать в шурфе Милонова № 3 (рис. 1, *1, 19*) (Милонов, 1935. С. 144, 155). Работа А.Н. Вершинского, использовавшего результаты работ Н.П. Милонова, отдает дань социологизму (Вершинский, 1935. С. 109–123).

Для исследований В.А. Кучкина характерны гипертрофированная критика источника и скрупулезный анализ летописных данных. Он впервые усомнился в выводах Н.П. Милонова. Историю Твери, владимиро-суздальского форпоста, В.А. Кучкин начинает со времен "Сказания о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери" – 60-годов XII в. (Кучкин, 1981; 1984. С. 226–227). Сведений о существовании города в "Сказании" нет, более справедливо было бы говорить о боярском селе. Ряд исследователей недооценивают "Сказание" как источник по истории Твери: В.И. Колосов и Э. Клюг не упоминают совсем, а П.Д. Малыгин и А.Е. Мусин отклоняют без оснований (Малыгин, 1989. С. 151, 152; Мусин, 1994. С. 256–260; Клюг, 1994). По мнению В.О. Ключевского, "Сказание" имеет политическое содержание (Ключевский, 1878). Несмотря на христианскую общемировую суть творимого добра, икона совершает чудеса только на своих или дружественных землях. В то же время она – "огнь, попаляющий" противников. Она не идет в Ростов, ни одно из чудес не происходит на новгородской земле. Ареалом "чудес" очерчивается сфера влияния Владимира: Муром, Русский Переяславль, Тверь ("Сказание" ..., 1995).

По наблюдению В.А. Кучкина, при летописном описании конфликтов XI–XII вв. в числе разоряемых новгородских владений Тверь не упоминается (Кучкин, 1984. С. 213). Тверь не упомянута в 1167 г., что почти одновременно дате "Сказания", при рассказе о походе Святослава Ростиславича, разорившего первым из городов Торжок (Новгородская первая летопись, 1950. С. 32). Эти факты позволяют рассматривать Тверь как владимиро-суздальский центр и не видеть ее в это время крепостью.

Свидетельство В.Н. Татищева о построении Тверди на Волги в 1181 г. выдержало обширную критику (Татищев, 1964. С. 127). Однако никем из исследователей не доказана невозможность его использования для воссоздания ранней истории Твери. Такая цель ставилась только В.А. Кучкиным (1981). Основное в аргументации исследователя против подлинности свидетельства – предположение о неправильном порядке чтения В.Н. Татищевым летописей, а именно сначала текста Радзивилловский 6690 (1181) г., затем текста Новгородской I летописи 6688 (1180) г.; возможность произвести из словосочетания "и у Влени реце" словосочетание "и веле на реце". Русский историк, по мнению В.А. Кучкина, соединил воедино рассказ летописей о двух антиновгородских походах Всеволода III, бывших в 1180 и 1181 гг., принял временную твердь на Влене за построение Твери, поскольку такое географическое название, как Влена, было ему неизвестно.

Приведенная аргументация носит предположительный, а не доказывающий характер. В тати-

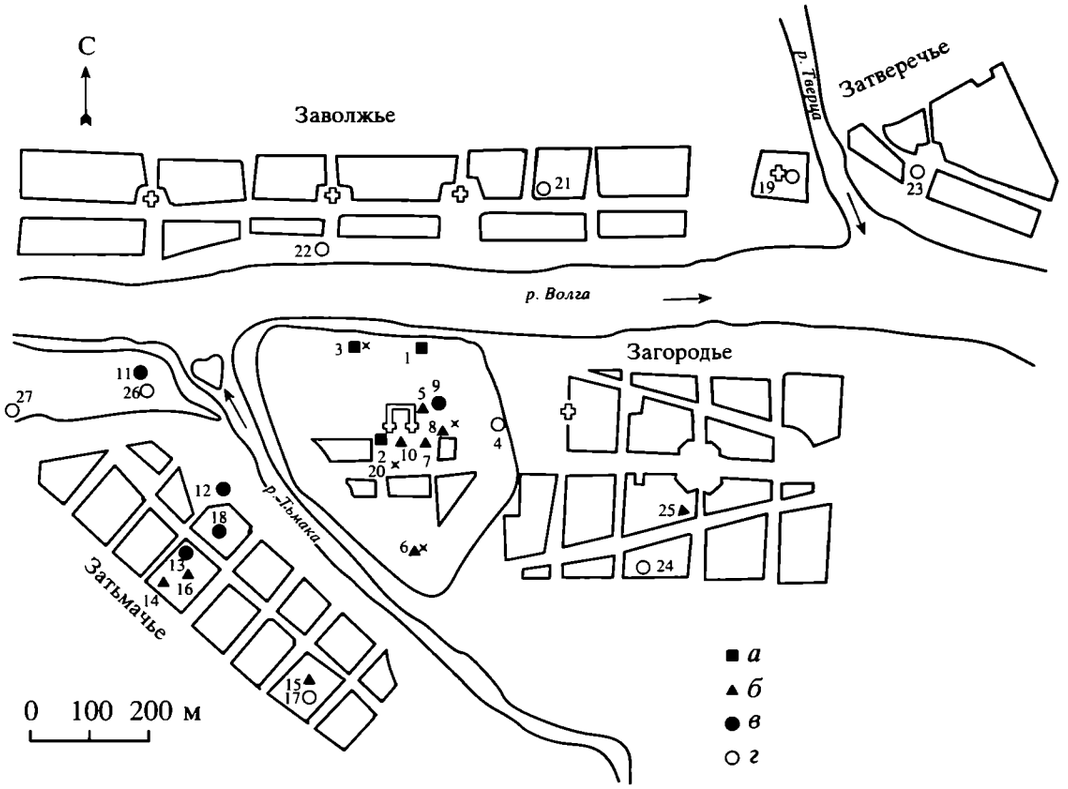


Рис. 1. Хронология культурного слоя Твери: *1* – раскоп № 3 Н.П. Милонова 1934 г.; *2, 3* – раскопы № 2 и 3 1983–1984 гг.; *4* – раскоп № 4 1981, 1982 гг.; *5* – раскоп № 5 1979 г. Н.В. Жилиной; *6* – раскоп Л.А. Поповой 1985 г.; *7* – раскоп № 7 ТНИИРЦ 1991 г.; *8* – раскоп 1993–1996 гг. В.А. Лапшина; *9* – раскоп № 9 ТНИИРЦ 1993 г.; *10* – раскопки А.М. Салимова 1992 г. на месте Спасо-Преображенского собора; *11* – раскопы № 1 и 2; *12* – раскоп № 3; *13* – раскоп № 6; *14, 16–18* – раскопки 1995 г. ТНИИРЦ; *15* – раскопки О.М. Олейникова 1993–1995 гг.; *19* – раскопки Н.П. Милонова 1934 г.; *20* – сведения И.И. Соколова о находке берестяных грамот в 1903–1904 гг.; *21* – раскоп 1983 г. А.Н. Хохлова; *22* – наблюдения Н.В. Жилиной 1983, 1984 гг.; *23* – раскопки 1992 г. ТНИИРЦ; *24, 26* – раскопки Л.А. Поповой 1987, 1988 гг.; *25* – раскопки А.С. Дворникова 1992 г.; *27* – раскопки А.Н. Хохлова и И.А. Дашковой 1990 г. *а* – слои конца XII – рубежа XII/XIII вв.; *б* – слои XIII в.; *в* – слои или материалы XI–XII вв.; *г* – слои XIV–XVII вв.

щевском тексте отсутствует именно такое словосочетание, которое могло бы образоваться по указанной В.А. Кучкиным схеме. У В.Н. Татищева: "... при устии реки веле построить Твердь". Кроме того, В.Н. Татищев безусловно знает, что Влена – это река, и не только упоминает ее годом раньше, но дает верную характеристику местности "крутоберегой Влены": "... биючеся об реку, понеже место так было крепко ..." (Татищев, 1964. С. 127).

Отсутствие упоминания о тверди в тексте Татищева 6689 г. и наличие этого упоминания в тексте 6690 г. – единственный момент, позволяющий закрасться слабому сомнению. Но другие наблюдения над текстом его не подтверждают. Основные совпадающие слова и словосочетания в сопоставляемых В.А. Кучкиным сообщениях В.Н. Татищева и Радзивилловской летописи 6690 г. стоят в разных контекстах и относятся к разным действующим лицам. Выражение "не дошед до Переяславля за 40 верст", которое, по мнению исследователя, выглядит в татищевском тексте механической вставкой, стоит значительно выше описания второго похода Всеволода и не связано с текстом о построении Тверди. Кроме того, его вполне можно объяснить постоянным стремлением В.Н. Татищева к более подробному изложению событий: этим добавлением он объясняет, где конкретно происходят события.

Свидетельство Новгородской первой летописи уже отразилось своим содержанием в тексте В.Н. Татищева предыдущего года (6689) на своем месте – при описании первого похода Всеволода Ш. Если представить, что историк вновь вернулся к уже описанным событиям, остается непонятным, почему в его тексте 6690 г. не отразилось все остальное содержание записи Новгородской первой летописи под 6688 г., а именно: фразы о сборе противников Всеволода, разорении сел и городов по Волге, движении к Переяславлю.

Если бы В.Н. Татищев читал тексты в неправильной последовательности, это неизбежно выразилось бы и в нарушении логики изложения событий двух лет: 1180 и 1181 гг. Однако хронологическое и событийное сопоставление татищевского текста с текстами летописей – Лаврентьевской, Радзивилловской, Новгородской I, Никоновской, Ипатьевской и Тверской – показывает, что это не так (таблица). Тексты содержат важные

Хронологическая цепь событий 1180–1181 гг.

Источник	Сбор войск "усть Твери"	Поход Святослава на Суздаль	Стояние на р. Влене	Мир великих князей	Горят церкви в Новгороде	Ярополк получил Торжок	Поход Ярополка на Всеволода	Осада Торжка	Пленение новоторжцев	Построение Тверди на Волге	Новгородцы просят князя от Всеволода	Всеволод послал своякa князем в Новгород
Татищев	6689 "на осень"	6689 осень	6689 до оттепели	6689	–	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690
Лаврентьевская летопись	–	6689	6689 "убоялся разводья"	–	–	6690	6690	6690	6690	–	–	–
Радзивилловская летопись	–	6689	6689 "убоялся разводья"	–	–	6690	6690	6690	–	–	–	6690
Новгородская I летопись	6688 "на том же лете на зиму"	6688	6688	–	6689 3 июля	–	6689	6689 "том же лете"	6689	–	6689 "на зиму"	6689
Никоновская летопись	6688 после 21.05–25.08	6688	6688 "убоялся разводья"	6688	6689	6689	6689	6689	6689	–	6689	6689
Ипатьевская летопись	6688	6688	6688 "ублюдеся теплыни"	6688 "тое же осени"	–	–	–	–	–	–	–	–
Тверская летопись	6689	6689	6689 "убоявся разводья"	–	–	6689	6689	6689	6689	–	6691 "тоя же зимы"	6691 "тоя же зимы"

для определения точных дат календарные указания. В итоге сопоставлений устанавливается, что события двух военных конфликтов происходили в два последующие года, приблизительно в одно и то же календарное время: осенью – зимой. По древнерусскому летоисчислению, когда новый год начинался в марте, события первого похода укладываются в один 6688, или 6689 г. (мартовский и ультрамартовский стиль). Между первым и вторым походом был промежуток: лето 1181 г., когда летописи рассказывают о пожарах церквей в Новгороде. Как В.Н. Татищев, так и все летописи, за исключением Тверской, разнесли события в разные годы. В Тверской же летописи события второго похода разорваны в связи с переходом к ультрамартовскому стилю, вследствие чего 6690 г. оказался пропущенным. Именно в таких случаях летописцы, по определениям Н.Г. Бережкова, разделяли события пропускаемого года и помещали их частично в предыдущий, частично в последующий год (Летопись по Воскресенскому списку, 1856. С. 96; Новгородская IV летопись, 1915. С. 170; Софийская I летопись, 1925. С. 178, 179; Новгородская первая летопись, 1950. С. 36, 37, 226, 227; Лаврентьевская летопись..., 1962. С. 387, 388; Бережков, 1963; Рогожский летописец, 1963. С. 266, 267; Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. X. С. 7, 8, 158; Радзивилловская летопись, 1989. С. 147.)

В "Примечаниях" В.Н. Татищев говорит о том, что именно по Волге проходит граница Великой и Белой Руси, как он называет границу между Новгородской и Владимиро-Суздальской землями. Историк назвал Тверь "крепостью на сумежье". Этот текст содержит внутреннюю ссылку на источник: "... границы сел области на Север с Великою Русью по Волгу. *Как о построении Твери сказано*, великий князь Всеволод III повелел на сумежье построить твердь или крепость" (Татищев, 1962. С. 355, 356, 439) (выделено мною – *Н.Ж.*). В.Н. Татищев отметил, что о построении Твери "сказано" в каком-то источнике. Именно на основании сведений о построении Твери В.Н. Татищев сделал вывод о границе по Волге. Само выражение "Твердь на Волге" содержит в себе обозначение границы: укрепляла Волгу, границу. Более позднее летописное свидетельство 1314 г. прямо указывает на пограничность Волги. Князь Дмит-

рий Михайлович с тверичами стоял против новгородцев "на своей стране реки Волги" (Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. X. С. 179).

Убедительная аналогия – основание Кснятина владимирцами на правом берегу Волги в 1134 г., на что обратили внимание многие историки. Н.Н. Овсянников и В.И. Колосов подчеркнули стратегическую выгоду правого берега для владимиро-суздальской стороны в XII–XIII в.: удобство отступления в глубь своих земель и избежание опасности оказаться отрезанными от них (Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. IX. С. 158; Карманов, 1893. С. 28, 29; Борзаковский, 1994. С. 18–21; Овсянников, 1903. С. 12; Колосов, 1994. С. 18).

Условия для крепости существуют на правом берегу Волги, на высоком мысу р. Тьмаки, однако почти все историки, за исключением В.И. Колосова, сочли, что Твердь поставлена Всеволодом III в устье реки Тверцы на левом берегу Волги: столь велик был магнетизм совпадения названий.

Таким образом, если "Сказание" о чудесах иконы склоняет нас к представлению о владимиро-суздальской принадлежности Твери, то из сведений В.Н. Татищева мы получаем данные о построении в 1181 г. крепости и логически видим ее на правом берегу.

Некоторыми разночтениями характеризуется летописное упоминание 1180 г., где не говорится о населенном пункте, а рассказывается о сборе войск противников Всеволода III в устье Тверцы. Наиболее подробен текст Тверской летописи: "... сняшася на устьи на Волге и на усть Тферы", т.е. в месте слияния рек Волги и Тверцы. Другой, более краткий и распространенный вариант "оусть Твери" выглядит как упрощение этого полного текста: Новгородская первая летопись младшего извода, Новгородская IV, Софийская I, Никоновская летописи (Новгородская IV летопись, 1915. С. 170; Софийская I летопись, 1925. С. 178; Новгородская первая летопись, 1950. С. 36; Ипатьевская летопись, 1962. С. 616; Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. X. С. 88).

Слово "усть" означает именно устье Тверцы как место, а не часть названия населенного пункта типа "Усть-Молога". В последнем случае мы наблюдали бы другое написание: "в Усть-Твери". Совершенно отличную традицию обозначения места сбора дает Воскресенская летопись: "на Волге у Твери", или в одном из вариантов – "на Волге у *тверди*" (выделено мною – *Н.Ж.*) (Летопись по Воскресенскому списку, 1856. С. 96). Удивительно, что та самая летопись, которая позволяет сомневаться в том, что Тверь в домонгольское время вообще существовала, под 1180 г. предлагает тексты, позволяющие понимать, что встреча войск могла произойти в Твери (у города), или у крепости. Этим она обнаруживает свою внутреннюю противоречивость, а также знакомство с источниками, называвшими Тверь "твердью", подобно В.Н. Татищеву. Таким образом, татищевский текст оказывается не одинок, автор Вос-кресенской летописи не мог читать В.Н. Татищева. Упоминание города или крепости для 1180 г. объясняется тем, что во время написания Воскресенской летописи Тверь как город была известна. Мелькнувшее же слово "твердь" поистине драгоценно, так как подтверждает подлинность сведений В.Н. Татищева.

Тверь как крепость и важный стратегический объект приняла активное участие в военных конфликтах первой трети XIII в. Причем В.Н. Татищев и для этого периода упоминает Тверь двумя годами раньше хрестоматийно первого упоминания 1209 г. Дата события указана календарно точно: 19 августа 6716 г., т.е. 1207 г.: во время военных действий против черниговских и северских князей Всеволод III получил известие от своего сына Константина, что тот "Твердь миновал" (Татищев, 1964. С. 177). Этот же эпизод, но без упоминания Твери, освещает и Никоновская летопись. События 1209–1216 гг. летописи и В.Н. Татищев описывают сходно. Для владимиро-суздальских князей – это пункт сбора войск для дальнейшего выступления, для демонстрации силы, это место переговоров о мире и заключения мира. В Твери происходит военный совет, где звучат мудрые слова князя Константина о нецелесообразности дальнейшего кровопролития. В крепости Тверь стоят военные силы "тверичи", в числе которых у князя Ярослава имеются "избранные мужи". В этой крепости удобно собрать силы и при отступлении, отсюда можно наблюдать за развитием военной ситуации, высылая сторожевые отряды, что и было сделано Ярославом Всеволодовичем в 1216 г. Здесь содержатся, как известно, и противники, захваченные в плен (Летопись по Воскресенскому списку, 1856. С. 116; Новгородская первая летопись, 1950. С. 53–55; 255; Ларентьевская летопись, 1962. Стб. 439; Рогожский летописец..., 1963. С. 369–371; Татищев, 1964. С. 288; Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. X. С. 54, 60, 61, 68–70).

Освещение в письменных источниках домонгольских усобиц не позволяет сомневаться в том, что Тверь есть, что Тверь – это город. Кроме того, постоянно выявляется административная разница между Тверью и Торжком. Невозможно принять мнение П.Д. Малыгина об одинаковом административно-политическом статусе этих городов (Малыгин, 1989. С. 152–154). "Свое владение", "своя область" Ярослава всегда противопоставляется Торжку (1215, 1216, 1221, 1224 гг.). Наиболее ярко эту разницу показывает свидетельство 1216 г.: новгородцы, не зная, где находится князь Ярослав, решают двинуться к Твери,

поскольку "свою область Ярослав оборонять не оставит" (Новгородская первая летопись, 1950. С. 55, 254, 255; Лаврентьевская летопись, 1962. Стб. 439, 440, 445; Татищев, 1964. С. 214, 225–227; Патриаршая (Никоновская) летопись, 1965. Т. X. С. 69, 70, 72, 73, 75–77, 86–88, 95, 96, 99, 104, 109).

Торжок же подвергается разорению со стороны Ярослава при любом осложнении ситуации. Временное обладание Торжком князем Ярославом при избрании на новгородское княжение было чисто номинальным, не опиралось на устойчивый порядок. Статус городов не менялся от того, что новгородский и владимирский князь совпадали в одном лице князя Ярослава. Административная принадлежность Твери и в XIII в. выглядит как владимиро-суздальская.

В 1237 г. город Тверь был взят одним из отрядов Батыя: "... а иные Тверь шедше взяша" (Рогожский летописец..., 1963. Стб. 369; Новгородская первая летопись, 1950. С. 76).

Существенную сумятицу в логичную картину данных о домонгольской Твери вносит сообщение Воскресенской летописи: "Ярослав Всеволодович, по Батыеви пленении... начал грады, разоренные от Батыя, ставити по своим местом и на Волге постави град и воименова его Тверью по Тверце реке, а наперед сего в том месте град не был..." (Летопись по Воскресенскому списку, 1856. С. 245).

Проанализируем все варианты логического понимания этого внутренне противоречивого текста.

1. Слова "наперед сего в том месте град не был" означают, что крепость Тверь строится только в послемонгольское время. Этому пониманию соответствует точка зрения П.Д. Малыгина (1989. С. 154, 155). Такое представление о Твери абсолютно не соответствует материалу письменных источников домонгольского времени (60-е годы XII в. – 1216 гг.), часто упоминающих Тверь и рисующих ее как военную крепость. Данные других летописей по этому периоду определенно едины по характеру, не содержат никаких противоречий. Не эти данные мы должны объяснять в связи с сообщением Воскресенской летописи, а наоборот: сообщение Воскресенской летописи должно быть проверяемо ими. Более того, Воскресенская летопись и сама содержит летописное свидетельство о Твери 1209 г.

2. Те же слова означают, что в домонгольское время город был расположен в другом месте. Поскольку в летописном тексте выше этих слов упомянута Тверца, данное сообщение породило живучую "левобережную" концепцию, мнение о первоначальном возникновении Твери на левом берегу Волги в устье Тверцы и последующем переносе ее на правый. Основная слабость такого представления состоит в отсутствии опоры на летописные данные, на что в 1876 г. указано В.С. Борзаковским (1994. С. 27). Что мог бы означать в реальности какой-либо "перенос" поселения? Случай переселения жителей в другое место следует оценивать как основание нового поселения. т.е. мы возвратились бы к первому варианту. Передачу административных функций от левобережного новгородского поселения правобережной владимиро-суздальской крепости представить невозможно. Таким образом, на наш взгляд, "левобережная" концепция достаточно строго может быть исключена логикой.

Данный вариант понимания слов летописи дал возможность П.Д. Малыгину искать первоначальную Тверь на правом берегу, но не на мысу Тьмаки, а в другом месте, в частности рассматривать Глинское городище как возможную первоначальную Тверь (Малыгин, 1994. С. 124, 125). Для того чтобы серьезно анализировать эту точку зрения, недостает ни археологических материалов, ни логических оснований. Почему мы не можем предложить в качестве "кандидатуры" на первоначальную Тверь любое другое городище в ближайших окрестностях Твери? Потому что город, существовавший в домонгольское время около полувека, должен был оставить приблизительно полметра городского культурного слоя. Вероятность того, что подобный слой существует где-либо, кроме мыса Тьмаки, и до сих пор не обнаружен, очень мала. Кроме того, другие древние поселения правого берега "имеют право" на собственную историю и не должны быть обязательно привязываемы к Твери.

3. Поскольку слова о месте города стоят после слов о Тверце ("На Волге же постави град и воименова его Тверью по Тверце реке. Наперед сего в том месте град не был..."), прямым логическим пониманием текста является следующее: город только теперь, в послемонгольское время, поставлен на Тверце. Данное понимание не породило ни одной научной точки зрения, поскольку резко расходится с несомненным фактом существования исторической Твери на правом берегу. Однако именно это и есть прямое логическое прочтение того, что написал Воскресенский летописец, желая, возможно, сказать совсем другое. Мы используем этот вариант понимания как ступень для перехода к следующему.

4. Те же слова можно понять и совершенно обратным образом: город получил свое название от реки Тверцы, но именно там его ранее не было. Сначала летописец рассказал, что происходило восстановление городов на своих прежних местах. Тут ему приходится уделить внимание объяснению названия города от реки Тверцы. Он записал это, и в тексте возникло противоречие: теперь можно понять, что город и поставлен на Тверце. Чтобы исправить несоответствие, летописец добавляет: "Наперед сего в том месте град не был". "То место" – это Тверца. То есть там не было го-

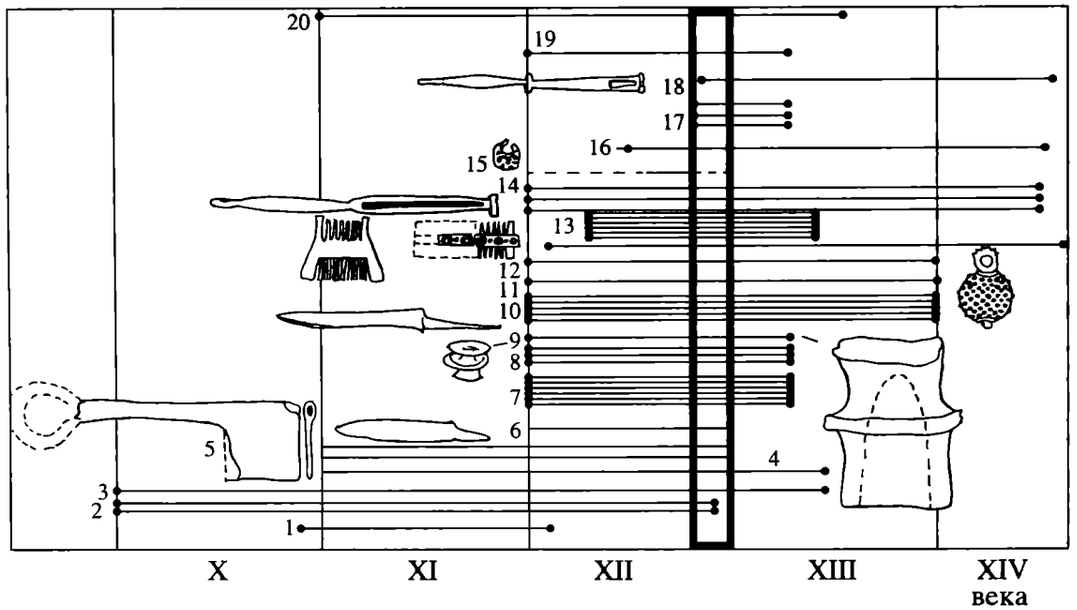


Рис. 2. Датирование по находкам нижнего слоя № 6 мысового раскопа № 3 1983–1984 гг.

1 – бусина стеклянная зонная синяя византийская; *2* – писанки керамические с поливой металлического блеска (2 экз.); *3* – втульчатый ключ нутряного замка; *4* – бусина хрустальная шарообразная; *5* – ножи железные черешковые с коротким лезвием (2 экз.); *6* – бусина стеклянная зонная желтая, *7* – обломки стеклянных кубков с поддоном (6), *8* – бусины стеклянные синие зонные (2) киевского производства; *9* – светильник керамический киевского типа первого варианта; *10* – ножи железные черешковые с длинным лезвием (5); *11* – кистень биметаллический типа IIа по А.Н. Кирпичникову; *12* – гребни костяные типов О и Н (2); *13* – стеклянные браслеты из Византии или Причерноморья (5); *14* – ключи железные типа Б (3); *15* – перстень бронзовый решетчатый; *16* – бусина стеклянная винтообразная бирюзовая; *17* – пряслица из овручского шифера (3); *18* – ключ железный типа В-II, *19* – перстень стеклянный гладкий плосковыпуклый; *20* – бусина хрустальная шарообразная.

рода ранее того, как он был в послемонгольское время восстановлен. Данное понимание соответствует абсолютно всем историческим и археологическим фактам и, кроме того, снимает внутреннюю противоречивость текста Воскресенской летописи.

5. Слова "ставить город" можно понять, как возведение укреплений, поэтому постановку города на новом месте можно понять как расширение укреплений (Жилина, 1988. С. 6).

Можно остановиться на двух последних вариантах понимания текста как наиболее соответствующих исторической действительности.

П.Д. Малыгин находит, что анализируемый текст Воскресенской летописи свидетельствует о присоединении Твери к владимиро-суздальским землям (Малыгин, 1989. С. 154, 155). Однако тот факт, что именно Ярослав Всеволодович с детьми занимается восстановлением этих земель, показателен и не выглядит неожиданным. Восстановление города ведется по праву. Воскресенский летописец ведет речь уже о следующем этапе: о выделении тверского княжения.

По причине наглядной связи между названием города и названием реки Тверцы многие исследователи читают: "при устии Тверцы", несмотря на то, что у В.Н. Татищева написано: "при устии реки". Кроме того, и у В.Н. Татищева, и в Воскресенской летописи указано, что Тверь поставлена на Волге, а не на Тверце. Можно сказать, что это "географически сложилось". Тверца играет более важную стратегическую и торговую роль. Но хорошая твердь для города и в географическом и в стратегическом смысле находится при устье Тьмаки, реки более мелкой, практически несудоходной и в торговом отношении неважной. Тем не менее историческая Тверь возникает здесь.

Как отмечено В.А. Кучкиным, наиболее древняя форма написания имени города сохранилась в Новгородской I летописи начала XIII в.: Тьхвърь (Кучкин, 1984. С. 212). Таково же написание и в Софийской I летописи. После первой согласной имеется редуцированный, сохраненный на письме. Вероятно, звучание слова в истоке было полногласным: Товерь, Теверь или Тиверь. Последующие формы, сохранившиеся в большинстве летописей, потеряли на письме редуцированный и вместо написания "хв" имеют "ф": Тфърь, Тферь. Завершающим этапом является трансформация "ф" в "в". Значение первоначального корня "тфер", исходя из славянских языков, непонятно. В таких случаях возникает тенденция к новому осмыслению. Новым осмыслением, идущим с древности, является широко употребимое в XII–XIII вв. понятое слово "твердь", имевшее значение "укрепление". Название "Твердь" могло быть дано Всеволодом III новой крепости в противовес более

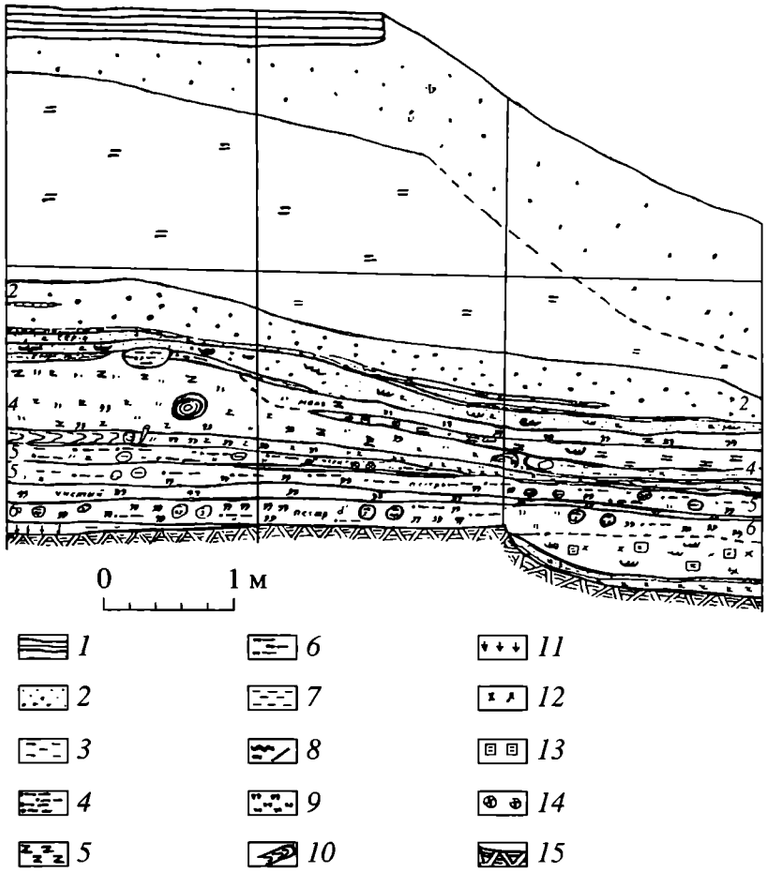


Рис. 3. Стратиграфия мысового раскопа № 3 1983–1984 гг.: западный профиль (*1* – асфальт; *2* – песок; *3* – пережженная глина; *4* – суглинок; *5* – щепа; *6* – супесь; *7* – глина; *8* – уголь; *9* – навоз; *10* – дерево; *11* – затеки в материк; *12* – пережженный песок; *13* – печина; *14* – пережженный камень; *15* – материк; на чертеже цифрами обозначены слои).

древнему, бытовавшему в этой местности названию "Тферь" как символ одержанной им победы. Затем Ярослав Всеволодович мог, в свою очередь, восстановить более древний вариант названия, стремясь, наоборот, к исконности. В связи с этим, вероятно, и летописец вынужден объяснять, что город назван по Тверце. Созвучие двух корней приводит к их постоянной взаимозаменяемости и спорам, что правильней. Возможно, именно смешением со словом "твердь" мы можем объяснить появление звука "в" в названии. Данное смешение отразили и более поздние источники. Имея в виду Тверь, Воскресенский летописец пишет: "у тверди". Написание "Tverd" имеется у М. Меховецкого. В тексте С. Герберштейна встречаем своеобразный вариант "Otvuer" (Колосов, 1994. С. 193–195). Последний вариант показывает перемещение редуцированного. "Твердь на Волге" В.Н. Татищева не внушила доверия написанием имени города, якобы звучащим в нем неправильным пониманием древнего корня. Однако мы видим, что говорили по-разному и в XII, и в XVI вв.

Итог археологических исследований последних лет в основном можно свести к следующему.

В 1979–1984 гг. Н.В. Жилиной проведены работы на мысу р. Тьмаки и зафиксирован городской слой конца XII–XV вв. (рис. 2; 3). Для нижних ярусов были получены дендродаты (4 ярус – 80–90-е годы XII в., 3 ярус – 20–30-е годы XIII в., 4 ярус – 90-е годы XIII в.) 26 сентября 1983 г. в слое конца XII в. была найдена первая тверская берестяная грамота (Жилина, 1987). Общая площадь раскопок составила 365 м^2. Отдельные более ранние находки XI–XII вв. связаны с разрушением предшествовавших городу слоев. Результаты раскопок укреплений не подтвердили вывода Н.П. Милонова о горизонте вала XII в., однако обнаружили соответствие с летописными упоминаниями: нижний горизонт вала датирован началом XIV в. (1317 г.), ров – второй половиной XIV в. (1372 г.) (Жилина, 1984; 1986 *а, б*; 1988; 1999; Черных, Жилина, 1997) (рис. 1, *2–5*).

Возражения П.Д. Малыгина против датировки нижнего слоя концом XII в. уже опровергались (Малыгин, 1989. С. 149, 150, рис. 1; Черных, Жилина, 1997. С. 164, 165). Следует добавить, что датировка этого слоя второй четвертью – серединой XIII в. основана на недоразумении: П.Д. Малыгин подсчитал встречаемость браслетов по пластам, не имеющим строго хронологического значения. Слои и ярусы являются реальными хронологическими периодами, по ним и подсчитываются находки (рис. 4). Однако П.Д. Малыгин находит, что составленный им график – является более "надеж-

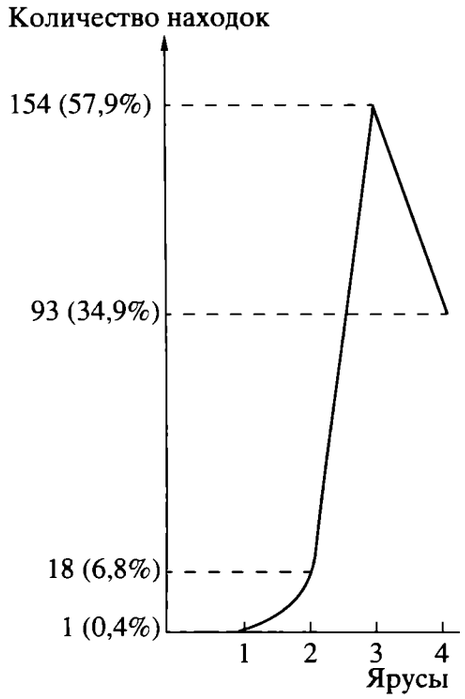


Рис. 4. Распределение стеклянных браслетов по ярусам раскопа № 3. (Ярус 3 – первая треть XIII в., ярус 4 – 80–90-е годы XII в.

ным индикатором" датировки слоя, чем дендрохронологические даты и датировка по вещам (Малыгин, 1994. С. 124, 125)[1].

Изучение южной и центральной территории кремля проведено в 1985–1986 гг. Л.А. Поповой. На площади более 150 м^2 вскрыты слои с середины XIII по начало XV в., а также найдена вторая берестяная грамота. Дендрохронологический анализ древесины из раскопок показал наличие сооружений с конца XIII по начало XV в. В 1987–1988 гг. раскопки велись и на территории посадов, Загородского и Затьмацкого, где зафиксированы слои XIV–XVI вв. (Попова, 1985; Курбатов, 1994; Черных, Жилина, 1997) (рис. 1, *6, 24*).

По результатам работ Н.И. Ивановской 1971 г. и Л.А. Поповой 1987–1988 гг., нижние слои тверского Затьмачья относятся к XIV–XV вв. (рис. 1, *26*). В 1989 г. раскопками А.С. Дворникова здесь впервые зафиксированы домонгольские материалы под значительно более поздним слоем второй половины XIV в. (Ивановская, 1972; Дворников, 1989). Выявление ранних материалов XI–XII вв. продолжилось в дальнейшем. Для других районов Затьмачья отмечались нижние слои XIII в. (Дворников, 1992; Олейников, 1997) (рис. 1: *11, 15, 26, 27*). В 1992 г. на Загородском посаде зафиксирован слой XIII–XIV вв., а на Затверецком – XIV–XVII вв. с отдельными находками XIII в. (Дворников, 1992; Дашкова и др., 1996) (рис. 1, *23–25*).

В середине 1990-х годов была хорошо изучена центральная и периферийная территория Кремля. В 1990–1993 гг. работами ТНИИРЦ выявлен слой XII в. Нижняя дата имеет дендрохронологическое подтверждение (Хохлов, Дашкова, 1996; Дворников, 1997) (рис. 1, *9*). С 1993 г. под руководством В.А. Лапшина вскрывается важный участок кремля, где фиксируется городской слой XIII в. Отсюда происходят новые находки трех берестяных грамот (Лапшин и др., 1996; Лапшин, 1996; 1997) (рис. 1, *8*).

Выявленное в Заволжье в начале 1980-х годов наличие весьма поздних отложений (не ранее XVI–XVII вв.) подтверждено новыми охранными работами 1996 г. (рис. 1, *21, 22*). (Дашкова и др., 1997. С. 107).

Раскопки 1990-х годов проводились, как правило, на крупных площадях, раскопы насчитывали по несколько сот квадратных метров. Культурный слой кремлевской территории представляет собой влажный городской слой. Наибольшая общая мощность слоя характерна для района правых берегов рек Волги и Тьмаки в границах укреплений Твери XIV в., составляющая в среднем 4.0–5.0 м. В районе соборной возвышенности – мощность слоя меньше – около 3.0 м. На участке Загородского посада мощность слоя до 2.0–2.5 м; Затьмацкого – 1.0–1.5 м; в Заволжье – до 2.0 м и менее (иногда толщина слоя до 1.0 м), в районе устья р. Тверцы толщина слоя, как правило, менее 1.0 м, в устье р. Тьмаки против кремля – от 1.5 до 2.5 м.

До настоящего времени ближайший к оконечности мыса р. Тьмаки участок характеризует только раскоп 3 – 1983–1984 гг. (рис. 1, *3*). Здесь зафиксирован слой 80–90-х годов XII вв. (рис. 3, слой 6). Датирование по вещевым находкам совпадает с дендрохронологическим датированием яруса 4 (рис. 2). Довольно близкую дату имеют и нижние напластования другого раскопа 1983 г. – № 2: рубеж XII–XIII вв. (рис. 1, *2*). (Жилина, 1986а. С. 82–94). К характеристике нижнего слоя мысового раскопа как городского приводит большая насыщенность его вещевыми находками, теснота застройки, разрушенность покровных отложений террасы до аллювия, свидетельство о грамотности (берестяная грамота конца XII в.).

Целый ряд участков центральной части мыса в качестве датировки нижнего слоя имеют XIII в. (рис. 1, *5, 6, 7, 8, 10*). На эту же дату в целом указывают и данные шурфового обследования Путевого Дворца, а также обследование Л.А. Поповой здания бывш. Реального училища (Попова, 1988; Лапшин и др., 1996. С. 44, 45; Лапшин, 1994. С. 77; Курбатов, 1994. С. 184–188; Хохлов, Дашкова,

[1] В нижнем пласте 20 найдено 126 браслетов, из них 93 – из слоя конца XII в. (слой 6, ярус 4) и 33 – из слоя первой трети XIII в. (слой 5, ярус 3). К слою начала XIII в. относятся и 87 браслетов пласта 19 и 34 – из пласта 18. Таким образом, пик находится в первой трети XIII в. Кроме того, П.Д. Малыгин учел только браслеты части раскопа 3, исследованной в 1983 г.

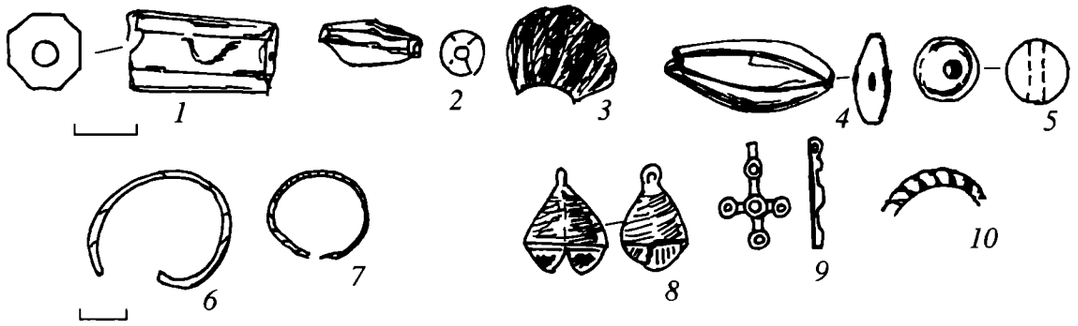


Рис. 5. Ранние находки XI–XII вв. из культурного слоя Твери: *1* – бусина призматическая сердоликовая; *2* – бусина бипирамидальная сердоликовая; *3* – бусина хрустальная ребристая; *4* – бусина янтарная "рыбовидная"; *5* – бусина хрустальная шарообразная – из раскопок 1983, 1984 гг. Н.В. Жилиной; *6, 7* – височные кольца; *8* – грушевидный бубенчик; *9* – крестик-тельник с эмалью; *10* – обломок перстня биллонового – из раскопа № 1 ТНИИРЦ в Затьмачье (Хохлов А.Н., Дашкова И.А., 1996).

1996; Салимов, 1994. С. 299–313; 1997). Эта хронология вполне соответствует нашему представлению об основном освоении центральной части мыса городом в XIII в., начиная с домонгольского времени (Жилина, 1986а. С. 48–51, 62–65; 1988. С. 5). Новым археологическим данным соответствует и датирование началом XIV в. строительства широкого пояса тверских укреплений (рис. 1, *4*). Правда, можно допустить, что предшествующие укрепления XIII в. могли располагаться в непосредственной близости, почти примыкая с внутренней стороны (Жилина, 1984; 1999).

А.Н. Хохловым и И.А. Дашковой предложены и более ранние даты для ряда участков, прилегающих к Волге и Тьмаке в районе мыса: XI–XII вв. (Хохлов, Дашкова, 1996).

Данные о более ранних материалах расположены чересполосно. Например, из трех раскопов, характеризующих практически одну и ту же территорию кремля (рис. 1, *4, 7, 9*), более ранние материалы прослежены только на одном раскопе (рис. 1, *9*). То же самое касается и группы раскопов в Затьмачье: имеются материалы XI–XII и XIII–XV вв. (рис. 1, *11–13, 15, 17*) (Олейников, 1994; 1996; Дашкова и др., 1995; Хохлов, Нестерова, 1996).

Находки XI–XII вв. можно определить как характерные для селищ и курганных могильников (височные кольца, хрустальные и сердоликовые бусы). В качестве примера для сравнения можно привести набор находок из комплекса памятников у деревень Холмово и Суходол (Дашкова и др., 1993) (рис. 5).

Предматериковый слой затьмацкого раскопа № 3 более вероятно датировать не серединой, а концом XII в., поскольку коллекция стеклянных браслетов сближается по времени с коллекцией мысового раскопа 1983–1984 гг. (Дашкова, 1994. С. 200) (рис. 1, *12*). Тот факт, что одна из находок имеет в качестве нижнего предела датировки вторую половину XII в., не является основанием для удревнения. Между нижним слоем и материковыми ямами нет стратиграфической границы – в ямы плавно опускаются все прослойки, поэтому и ямы не содержат более раннего заполнения (см. стратиграфические разрезы в ст. Хохлова, 1990).

Есть основания отнести нижнюю дату раскопа № 6 в Затьмачье к рубежу XII–XIII вв., поскольку коллекция стеклянных браслетов этого раскопа сформировалась позднее, чем коллекция раскопа № 3 (рис. 1, *13*). Пять находок с широкими датами (X–XII и XI–XII вв.), вероятно, попали в нижний слой из более ранних разрушенных слоев (ситуация, сходна с раскопом № 2 1983 г.).

Дата биллонового перстня (конец XI–XIV в.), связанного с периодом разрушения постройки в Затьмачье, положена авторами в основание датировки слоя раскопов № 1 и 2 – концом XI–XII в., накапливавшегося непрерывно (рис. 1, *10*) (Хохлов, Нестерова, 1996. С. 172; Хохлов, Дашкова, 1996. С. 156). С этим нельзя согласиться.

Судя по стратификации раскопа № 9, в кремле можно выделить один строительный ярус конца XII в. (рис. 1, 9). Постройки № 20 и 18, 19 залегают в одинаковых прослойках, на одной глубине и рядом, поэтому не стоит разносить их в разные ярусы (Дворников, 1997. Рис. 2, *7, 8*). Хронологический разброс двух дендрохронологических дат одного сооружения: 1155 и 1168 гг. показывает вторичное использование дерева разобранных построек.

Представляют интерес выводы А.Н. Хохлова и И.А. Дашковой о ранних археологических материалах в разных частях города. Но авторы предлагают путь независимого анализа, отказываясь от накопленного прежде материала, поскольку он вызывает разные точки зрения (Хохлов, Дашкова, 1996. С. 150). Но разные точки зрения в науке не парадокс, а путь исследования, ни от каких фактов нельзя отказываться. Непонятно, в чем состоит новый взгляд авторов на ранние материалы раскопов 1983, 1984 гг. Уже отмечено, что находки XI–XII вв. раскопа № 2 (рис. 5) происхо-

дят из разрушенного могильника или поселения, предшествовавшего городу (Жилина, 1986а. С. 118). Хрустальные шарообразные и сердоликовые призматические бусы встречаются в курганных погребениях ближайших окрестностей Твери (Фехнер, 1967. С. 149–224. Прил. I, II). В Новгороде первые встречаются в XI–XIII вв., а вторые – в XII–XIII вв. (Колчин, 1982. С. 172, рис. 7).

А.Н. Хохлов и И.А. Дашкова совокупно выделяют слой второй половины – конца XII в. – 30–40-х годов XIII в. на широкой территории, включающей и Затьмачье, и кремль (Хохлов, Дашкова, 1996. С. 156). Но на разных участках могли существовать разные, предшествовавшие городу памятники с индивидуальными слоями. Неправомерно в целом оценивать эти напластования как городские и, в частности, привлекать для аргументации их городского характера берестяную грамоту № 1 мысового раскопа. Берестяные грамоты происходят пока только с территории кремля, причем не из тех раскопов, где имеются наиболее ранние находки (рис. 1, *1, 4, 6, 8*).

Датировка строительного яруса раскопа № 9 1990-х годов и мысового № 3 1980-х годов совпадает: 80–90 годы XII в. К этому же времени относятся и откорректированные выше даты затьмацких раскопов № 3 и 6. Вывод А.С. Дворникова о единой постоянной застройке 80–90-х годов XII в. для центральной кремлевской территории можно расширить: для 80–90-х годов XII в. в Твери фиксируется первый общий строительный ярус. Возможно, он располагался и на территории неизвестного пока древнего тверского детинца, и на ближайшей к нему территории. Эти данные очень хорошо совпадают с датой, указываемой В.Н. Татищевым, для строительства Тверди на Волге – 1181 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963.

Борзаковский В.С. История Тверского княжества. Тверь, 1994.

Вершинский А.Н. Возникновение феодальной Твери // ПИДО. 1935. № 9–10.

Дашкова И.А. Стеклянные браслеты из раскопок кремля и Затьмацкого посада г. Твери (по материалам исследований 1989–1991 гг.) // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.

Дашкова И.А., Дворников А.С., Нестерова М.Е., Новиков А.Е. Охранные археологические работы в Твери и Тверской области // АО–1994. 1995.

Дашкова И.А., Дворников А.С., Хохлов А.Н. Предварительные итоги исследования древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985–1987 гг. // Археологические памятники на Верхней Волге. Тверь, 1993.

Дашкова (Сафарова) И.А., Иванова А.Б., Хохлов А.Н. О некоторых комплексах конца XIV–XV вв. из раскопа у церкви Св. Екатерины в Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории. Вып. 1. Тверь, 1996.

Дашкова (Сафарова) И.А., Кобозева Е.В., Момбекова А.А., Новиков А.В., Попова С.В., Хохлов А.Н. Работы экспедиций ТНИИР-центра в Твери и Тверской области // АО–1996. 1997.

Дворников А.С. Отчет об охранных работах экспедиции Тверского государственного музея // Архив ИА. 1989. Р–1. № 14342–14346.

Дворников А.С. Отчет об охранных работах на Загородском посаде в г. Твери // Архив НА. 1992. Р–1. № 17019; 17060–17063.

Дворников А.С. К датировке древнейших отложений раскопа № 9 в Тверском кремле // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997.

Жилина Н.В. Укрепления средневековой Твери // КСИА. 1984. Вып. 183.

Жилина Н.В. Тверь в период XII–XV вв. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1986а.

Жилина Н.В. К вопросу о происхождении Твери // КСИА. 1986б. № 187.

Жилина Н.В. Тверская берестяная грамота № 1 // СА. 1987. № 1.

Жилина Н.В. Тверь в период XII–XV вв. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1988.

Жилина Н.В. Тверской кремль: этапы строительства укреплений и хронология культурного слоя // Кремли России. М., 1999.

Ивановская Н.И. Раскопки в Затьмачье // АО–1971. 1972.

Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. 1962.

Карманов Д.И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь, 1893.

Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485). Тверь, 1994.

Ключевский В.О. Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери. СПб, 1878.

*Колосов В.И.*Время основания г. Твери // Труды областного археологического съезда в Ярославле. М., 1902.

Колосов В.И. Прошлое и настоящее г. Твери. Тверь, 1994.

Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982.

Курбатов А.В. Опыт анализа культурных отложений на территории тверского кремля (по раскопкам Л.А. Поповой в 1985 г.) // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.

Кучкин В.А. Тверь и Тверское княжество в XII–XV вв. // Государственный архив Тверской области. 1981. Разряд 570. Оп. 1. № 43.

Кучкин В.А. Возникновение Твери и проблема тверского гостя в "Рукописании Всеволода" // Древнейшие государства на территории СССР. 1983. М., 1984.

Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. 1962. Т. I.

Лапшин В.А. Архитектурно-археологические исследования Путевого Дворца в г. Твери // АО–1993. 1994.

Лапшин В.А. Раскопки в Тверском кремле // АО–1995. 1996.

Лапшин В.А. Раскопки в Тверском кремле // АО–1996. 1997.

Лапшин В.А., Кильдюшевский В.И., Курбатов А.В., Олейников О.М., Персов Н.Е., Чукова Т.А. Раскопки в Тверском кремле // Новые археологические открытия и изучение культурной трансформации. СПб., 1996.

Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. 1856. Т. VII.

Малыгин П.Д. Тверь и Новоторжско-Волоцкие земли в XII–XIII вв. // Становление европейского средневекового города. М., 1989.

Малыгин П.Д. Некоторые итоги и проблемы изучения средневековых древностей территории Тверской области // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.

Милонов Н.П. Археологические разведки в Тверском кремле // ПИДО. 1935. № 9–10.

Мусин А.Е. Христианизация Тверского края и проблемы образования Тверской епархии // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.

Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950.

Новгородская IV летопись. // ПСРЛ. 1915. Т. IV.

Овсянников Н.Н. О новгородско-тверском рубеже в связи с направлением новгородских путей. Тверь, 1903.

Олейников О.М. Раскопки на Затьмацком посаде Твери и на городище "Рождественская горка" в Тверской области // АО–1993. 1994.

Олейников О.М. Охранные археологические работы в Твери и Торжке // АО–1995. 1996.

Олейников О.М. Охранные археологические работы в Твери // АО–1996. 1997.

Патриаршая (Никоновская) летопись // ПСРЛ. 1965. Т. IX, X.

Попова Л.А. Отчет об археологических исследованиях на территории б. Тверского кремля // Архив ИА. 1985. Р–1. № 11056, 11056а,б.

Попова Л.А. Отчет об археологических раскопках в Калинине на территории Тверского кремля, Загородского и Затьмацкого посадов // Архив ИА. 1988. Р–1. № 14439, 14440а.

Радзивилловская летопись // ПСРЛ. 1989. Т. XXXVIII.

Рогожский летописец. Тверской сборник // ПСРЛ. 1963. Т. XV.

Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. Тверь, 1994.

Салимов А.М. Архитектурно-археологические исследования в Твери и Антониевом краснохолмском монастыре // АО–1996. 1997.

Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери, М. 1995.

Софийская I летопись. // ПСРЛ. 1925. Т. V.

Татищев В.Н. История Российская. Т. I. М., 1962.

Татищев В.Н. История Российская. Т. III. М., 1964.

Фехнер М.В. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни // Тр. ГИМ. 1967. Вып. 43.

Хохлов А.Н. Отчет об охранных исследованиях на территории Затьмацкого посада г. Твери // Архив ИА. 1990. Р–1. № 15043–15056.

Хохлов А.Н., Дашкова И.А. Древняя Тверь в домонгольский период (археологический комментарий к историографическим спорам // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996.

Хохлов А.Н., Нестерова М.Е. О постройках домонгольского времени на территории Затьмацкого посада Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996.

Черных Н.Б., Жилина Н.В. Культурный слой Твери по результатам дендрохронологического анализа древесины // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997.

Analysis of Written and Archaeological Records on Early Tver'

N. V. Zhilina

Summary

The author suggests a new concept concerning the data on the origin of the medieval Russian town of Tver', which was stimulated by new archaeological material and some details in written sources discovered in the 90-s. Recently the data were accumulated, that provide the precise dating of construction of the fortress of Tver' back to the 80-s and 90-s of the 12th century. It was then that fortifications were built by prince Vsevolod Yuryevich the Great Nest on the cape of the Volga right bank near the Volga and T'maka rivers' confluence. This event was dated by V.N. Tatishchev to 1181. The early archaeological material of the 11th–12th centuries are regarded as originating from the open settlements' and cemeteries' deposits which predated the town fomation.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 46–54

АБСОЛЮТНАЯ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ТВЕРИ XII–XV вв.

(по материалам из раскопок в Тверском кремле)

© 2001 г. Н. Б. Черных, А. А. Карпухин

Институт археологии РАН, Москва

Список абсолютных локальных дендрохронологических шкал восточноевропейского дерева в самое последнее время полнился еще одной – тверской.

Первые опыты дендрохронологического изучения древесины построек из культурного слоя Твери предпринимались уже в начале 1980-х годов. Н.В. Жилина в 1979–1984 гг. собрала и обработала значительную партию спилов с бревен построек, открытых на раскопах 2, 3 и 5, заложенных в мысовой и центральной частях Тверского кремля. Построенные ею ряды погодичных приростов древесины были затем сопоставлены с абсолютно датированными графиками годичного роста колец дерева новгородских построек XII–XIV вв., и полученные результаты позволили определить время застройки изучаемых участков кремлевской территории (Жилина, 1987; Черных, Жилина, 1997).

В последние годы сборы образцов дерева тверских построек носили фрагментарный характер и, тем не менее, дендрохронологическая коллекция Твери постепенно росла. Вслед за материалами, полученными при охранных раскопках в южной, окраинной части кремлевской территории (Попова, 1987), в первой половине 1990-х годов, с началом работ экспедиции Тверского государственного музея и ИИМК РАН, последовали массовые сборы дендрообразцов в раскопах 7, 9 и 11, расположенных в центральной и восточной частях Тверского кремля. Одновременно начались археологические раскопки и в других районах города. В лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН были переданы небольшие партии образцов дерева позднесредневековых построек из раскопов Затверецкого и Загородского посадов (табл. 1).

Меняются и хронологические рамки тверской дендроколлекции. В ее составе появилось дерево построек XVI – рубежа XIX–XX вв., обнаруженное в некоторых раскопах. Последнее создает весьма заманчивые перспективы значительного расширения хронологических рамок тверской дендрошкалы.

Данные табл. 1 показывают, что до завершения работ на кремлевских раскопах 7, 9 и особенно 11 дендрохронологическая коллекция дерева тверских построек состояла из отдельных малочисленных групп образцов. Исключение составляют лишь материалы 1979–1984 гг., исследованные Н.В. Жилиной (234 образца), но, поскольку хронологически они выходят за рамки изучаемого нами периода, мы будем привлекать их лишь по мере необходимости. Каждая из вышеупомянутых выборок материалов могла быть использована лишь для индивидуальных датировок (Черных, 1996. С. 149–153), но была непригодна для построения сколько-нибудь долговременных рядов погодичных приростов. Для формирования единой системы погодичных приростов древесины, позволяющей отмечать все общие и частные вариации тенденций их развития на протяжении нескольких столетий, требовался иной материал, отличающийся своими количественными и качественными характеристиками. Этим базовым материалом стала дендроколлекция, полученная в раскопе 11 В.А. Лапшиным в 1993–1997 гг.

Рассмотрим характеристики изученного нами тверского дерева и оценим перспективы построения долговременной абсолютной дендрохронологической шкалы этого региона.

1. Количественный состав тверской дендроколлекции. Данные табл. 1 показывают, что в 1980–1990 годах на раскопах, расположенных в разных районах Твери, было собрано 912 образцов-спилов. Общее количество образцов, пригодных для дендроанализа, составляет 806 (из общего числа исключены разрушившиеся и сильно деформированные спилы, а также образцы дерева лиственных пород). Из этого числа 729 образцов представляют постройки XII – первой половины XV в., а 77 – сооружения XVI–XIX вв. Образцы дерева построек 11 раскопа в ранней группе составляют 75%, в поздней – 46%.

2. Возрастное распределение стволов. Возрастной состав тверского строительного дерева представлен на рис. 1. На гистограммах видно, что подавляющее большинство бревен средневековых построек принадлежит первой и второй возрастным категориям, с явным преобладанием первой (64%). Это вполне соответствует возрастным параметрам восточноевропейского строительного дерева

Таблица 1. Количественное распределение дендрообразцов из раскопок 1985–1997 гг. в Твери

Место раскопок	Годы раскопок	Автор раскопок	Раскоп/участок	Археологические датировки построек (вв.)	Количество образцов
Кремль	1985	Л.А. Попова	Раскоп по ул. Правды	XII–XV	92
Кремль	1988	Л.А. Попова	Шурф у Реального училища	XII–XV	3
Кремль	1991	А.Н. Хохлов	7/4	XIII–XIV	25
				XVII	5
Кремль	1993	А.Н. Хохлов	9/1–3	XII–XV	78
Кремль	1993–1997	В.А. Лапшин	11/1, 1а, 2–5	XIII–XV	608
				XVII–XIX	38
Затверецкий посад	1993	А.Н. Хохлов	5/2	XV	3
				XVI–XVIII	10
Загородский посад	1994	А.Н. Хохлов	12/1–3	XIV	3*
				XVII–XVIII	43*
Загородский посад	1995	А.Н. Хохлов	13/2	XVI–XVII	4
Всего образцов					912

* Коллекция дерева, собранная в 1994 г. в раскопе 12 Загородского посада, состоящая из 46 образцов, еще не полностью обработана.

из памятников "северо-западной" группы (Черных, 1996. С. 37). Бросается в глаза и явный недостаток в этой выборке многолетних стволов. Несколько иную картину дает возрастное распределение бревен поздних построек XVI–XIX вв. Первая возрастная категория составляет здесь лишь 28%, зато резко возрастает число стволов с возрастом 51–100 и более лет (2–6 категории). Если в постройках XII–XV вв. эти бревна составляют не более 36%, то в строениях XVI–XIX вв. их уже 71%.

Детальное изучение возрастного состава тверской строительной древесины позволяет наметить наиболее перспективные пути для дальнейшей работы по синхронизации кривых роста, этого важнейшего в датировании по годичным кольцам процесса. Явное преобладание молодых по возрасту стволов в изучаемой коллекции всегда затрудняет его. Поэтому на предварительной стадии дендроанализа необходимо найти те дополнительные факторы, которые способны в какой-то мере восполнить недостатки, вызванные малой временной протяженностью сопоставляемых кривых роста. Важное место здесь отводится типологической и стратиграфической характеристикам изучаемого материала. В дальнейшем речь пойдет только о дереве средневековых сооружений, поскольку выборки материала более поздних строений недостаточно представительны. Они не могут дать полноценные серии погодичных приростов дерева, произраставшего в течение продолжительного периода времени – порядка трех-четырех столетий. Особенно сложным представляется отрезок середины XV – начала XVII в., для которого имеются лишь единичные кривые.

Коротко остановимся еще на двух вопросах – типологическом составе тверских средневековых построек и их стратиграфических характеристиках.

Всего в изученной нами коллекции тверских дендроспилов представлены материалы 109 построек конца XII – первой половины XV в. Первое место по численности занимают срубные и столбовые постройки – 64%. За ними следуют частоколы – 30%. Значительно уступает им дерево настилов и вымосток – оно составляет всего 4%, и последнее место принадлежит уличным мостовым – всего 2%. Необходимо отметить, что 67% всех рассматриваемых построек происходят из 11-го раскопа. Эти материалы отличает еще одна важная черта – представительность выборок отдельных сооружений. Количество сооружений, представленных единичными образцами дерева, здесь составляет менее 50%. Отметим также, что доля дерева отдельных столбов и бревен, категория, наиболее трудно поддающаяся точным стратиграфическим привязкам, здесь относительно невелика – около 40%. Обращаясь к стратиграфическим характеристикам, отметим, что материалы раскопов 1985 и 1991–1993 гг. не дают целостной картины стратиграфического соотношения сооружений из-за фрагментарности сборов. Этот недостаток полностью отсутствует в материалах из раскопа 11. Поэтому мы рассматриваем последние как базовые при построении тверской дендрохронологической шкалы. Все остальные материалы, хранящиеся в нашем архиве, привлекаются лишь по мере необходимости.

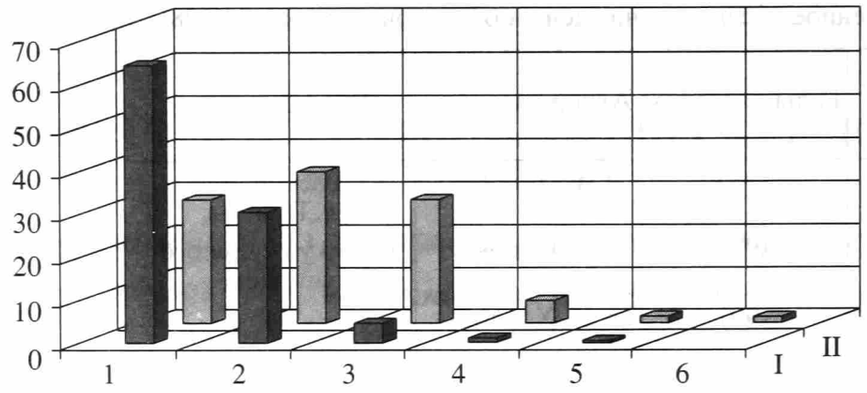


Рис. 1. Распределение строительной древесины тверских построек по возрастным категориям. По вертикали – процентный показатель внутри хронологической группы (I – XII–XV вв., II – XVI–XIX вв.). По горизонтали – возрастные категории: *1* – 0–50 лет; *2* – 51–100 лет; *3* – 101–150 лет; *4* – 151–200 лет; *5* – 201–250 лет; *6* – свыше 250 лет.

Коротко о материалах из 11-го раскопа. Мы рассматриваем 551 кривую роста годичных колец дерева, в этой выборке представлено 73 сооружения. Материалы из комплексов составляют в среднем 60%. Все изученные постройки четко распределяются по 11 стратиграфическим пластам (12–22), датируемым археологически концом XIII – первой половиной XV в. Следует также отметить, что свыше 80% сооружений и образцов дерева, их представляющих, сосредоточены в 15–18 пластах, тогда как в нижних 19–22 пластах значительно возрастает доля дерева отдельных столбов и бревен. Последнее обстоятельство, казалось бы, должно осложнять процесс формирования так называемых "дендрологических" групп, когда основой подбора кривых роста для синхронизации становится принадлежность их образцам дерева одного сооружения или сооружениям одного стратиграфического пласта. Серии годичных колец, объединенных в такие группы кривых, демонстрируют наиболее общие и четкие закономерности прироста изучаемой древесины, а сами кривые могут рассматриваться как "дендроэталоны" при всех последующих операциях по формированию дендрошкалы.

Говоря о материалах 11-го раскопа, отметим, что поздний временной отрезок шкалы может быть сформирован целиком только материалами из комплексов. Протяженность кривых роста здесь невелика, поскольку средний возраст бревен этих построек не превышает 51 год. Ранний отрезок шкалы представлен в основном деревом отдельных стволов и бревен, т.е. единичными кривыми роста. Однако этот недостаток полностью компенсируется возрастом древесины, который здесь в среднем составляет 76 лет.

Нами были отобраны 16 комплексов кривых роста годичных колец дерева, принадлежащих постройкам 12–22-го пластов, каждый из которых может рассматриваться как "дендроэталон" (Черных, 1996. С. 48). Критериями отбора при этом были: во-первых, количество сопряженных кривых дерева конкретного сооружения, составляющих последовательность годичных колец; а во-вторых, временная протяженность этих последовательностей. Так, для рассматриваемых материалов из 12–14 пластов было выделено четыре "дендроэталона", включающих 20 кривых (срубы 1/1а, 20/4, 21/4, 22/4, здесь и далее первая цифра означает номер постройки, а вторая – номер участка). Последовательности сопряженных кривых этих срубов имеют протяженность от 70 до 102 лет. Сооружения 15–16 пластов также дают четыре "дендроэталона" (срубы № 23/4, 24/4, 9/1 и 16/2). Их представляют 29 кривых роста годичных колец, последовательности которых имеют протяженность от 70 до 81 года. Четыре последовательности годичных колец имеются и для сооружений 17-го пласта, они включают 28 кривых роста годичных колец дерева трех срубов (№ 8/1а, 17/2 и 11/2), а также столбовой конструкции 37/4. Их протяженность от 73 до 125 лет. Для 18-го пласта отобраны три "дендроэталона" (настил/3, сруб 33/4, частокол 8/2), включающих 24 кривые роста годичных колец. Протяженность последовательностей кривых этих сооружений от 80 до 119 лет. И, наконец, нижние 20–21 пласты представлены одним комплексом – частоколом на участке 4, включающем уже только три кривые. Протяженность этой последовательности – 71 год.

Серии годичных колец сопряженных кривых этих комплексов стали базовыми для всех последующих операций, результатом которых явилась тверская локальная дендрошкала. Базовая ее часть – шкала дерева 11-го раскопа, включает в свой состав 329 кривых роста, ее протяженность составляет 334 года.

Корректировка сводной дендрошкалы раскопов 7, 9, 11 и раскопа по ул. Правды осуществлялась путем расчета двух коэффициентов – *Cx* и *r* (Битвинскас, 1974; Урьева, Черных, 1996). Для этого из всех 409 синхронизированных кривых роста годичных колец дерева были отобраны те,

Таблица 2. Значения показателей *Cx* и *r* рассчитанные для хронологических групп синхронизированных кривых

Группа (годы)	Количество синхронизированных кривых	Количество комбинаций	Показатель *Cx* (%)			*r*		
			min	max	средний	min	max	средний
1 (1430–1440)(1430–1441)	7	21	38	68	52	–0.13	0.40	0.05
2 (1420)(1420–1430)	12	66	28	81	51	–0.26	0.71	0.06
3 (1410)(1410–1420)	8	28	41	67	52	–0.11	0.60	0.08
4 (1400)(1400–1410)	8	28	36	86	53	–0.35	0.87	0.08
5 (1390)(1390–1400)	7	21	29	68	50	–0.35	0.68	0.06
6 (1380)(1380–1390)	9	36	33	67	50	–0.27	0.53	0.00
7 (1370)(1370–1380)	8	28	29	62	49	–0.17	0.37	0.05
8 (1360)(1360–1370)	25	300	26	73	51	–0.35	0.67	0.04
9 (1350)(1350–1360)	8	28	38	65	50	–0.20	0.53	–0.01
10 (1340)(1340–1350)	17	136	33	76	52	–0.45	0.61	0.08
11 (1330)(1330–1340)	33	528	32	81	53	–0.38	0.70	0.11
12 (1320)(1320–1330)	17	136	34	69	50	–0.30	0.60	0.07
13 (1310)(1310–1320)	23	253	28	88	52	–0.34	0.91	0.06
14 (1300)(1300–1310)	10	45	38	70	52	–0.25	0.40	0.07
15 (1290)(1290–1300)	14	91	38	68	52	–0.24	0.62	0.08
16 (1270–1280)(1270–1290)	7	21	46	61	52	–0.14	0.23	0.06
17 (1230–1240)(1230–1250)	5	10	32	81	53	–0.24	0.62	0.08
18 (1150–1200)(1150–1210)	5	10	41	59	51	–0.07	0.62	0.19
Всего	223	1786						
Среднее			34	71	51	–0.25	0.59	0.06

возраст которых превышал 49 лет. Полученные кривые были подразделены на 18 временных групп, расположенных по ступенчатому принципу. Сдвиг каждой группы по отношению к предшествующей составлял 10 лет (за исключением двух последних групп, см. табл. 2). Вся исследованная выборка включала 223 кривые, для которых были рассчитаны 1786 комбинаций. Данные этих расчетов приводятся в табл. 2.

Здесь можно видеть, что средние значения *Cx* и *r* не обнаруживают резких отклонений от принятой нами нормы (Черных, 1972. С. 95). Более выразительными представляются средние величины *Cx*, колеблющиеся около цифры в 50%, что характерно для всего ранее исследованного нами восточноевропейского средневекового строительного дерева.

Абсолютная датировка тверской дендрохронологической шкалы осуществлялась традиционно – путем перекрестного датирования. Напомним, что для успешного его проведения необходимо соблюдение трех условий. Первое, и главное, – установление тех временных границ, в пределах которых существовали изучаемые постройки, а поскольку мы имеем дело с кривыми роста годичных колец их бревен, то нижнюю границу необходимо отодвинуть вглубь еще на 50 – 100 лет. Необходимая информация дается археологической датировкой тех слоев, с которыми связаны эти постройки. Для изучаемого материала это XII – первая половина XV в.

Второе условие – выделение того хронологического периода, который обеспечен наибольшим количеством кривых роста годичных колец на всем намеченном для сопоставления отрезке. На рис. 2 приводится графическая схема хронологического распределения синхронизированных кривых, на ней можно видеть, что лучше всего обеспечен материалом период XIII–XIV вв. И наконец, третье – выбор так называемых фоновых материалов, т.е. кривых роста годичных колец дерева построек с установленными ранее календарными датами рубки бревен. Предпочтение при этом всегда отдается дендроданным построек того же самого поселения, а при отсутствии таковых – дереву сооружений из культурного слоя памятников того же географического региона (Черных, 1996. С. 149–153). В нашем распоряжении были и те и другие материалы. Помимо тверских материалов, нами использовались данные новгородских построек XII – XV вв., открытых на Кировском, Ильинском и Троицком раскопах, а также результаты исследования дерева сооружений еще двух памятников Тверского региона – Торжка (материалы XII – конца XIV в.; Черных,

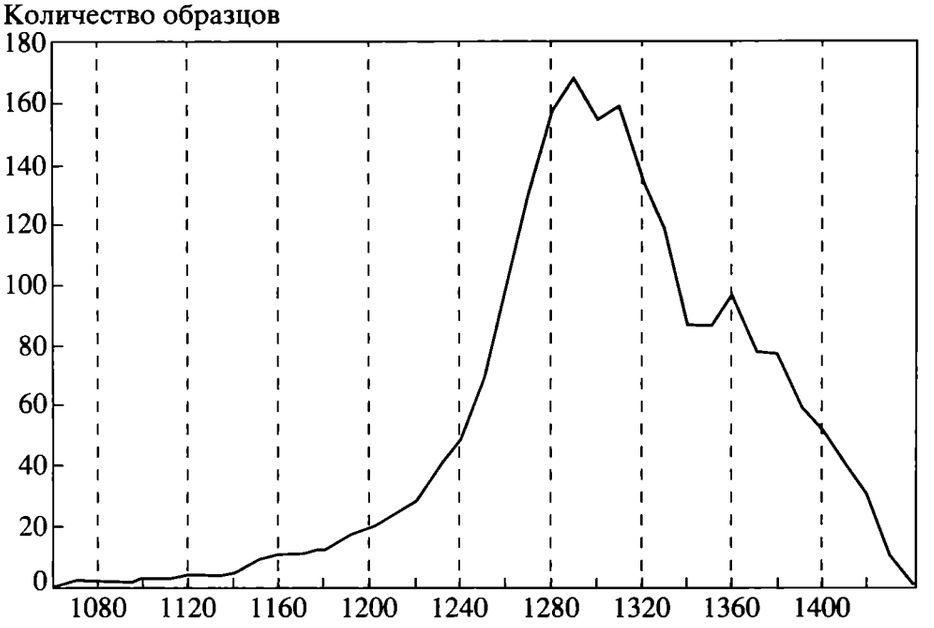


Рис. 2. Распределение на хронологической шкале сопряженных кривых роста годичных колец дерева.

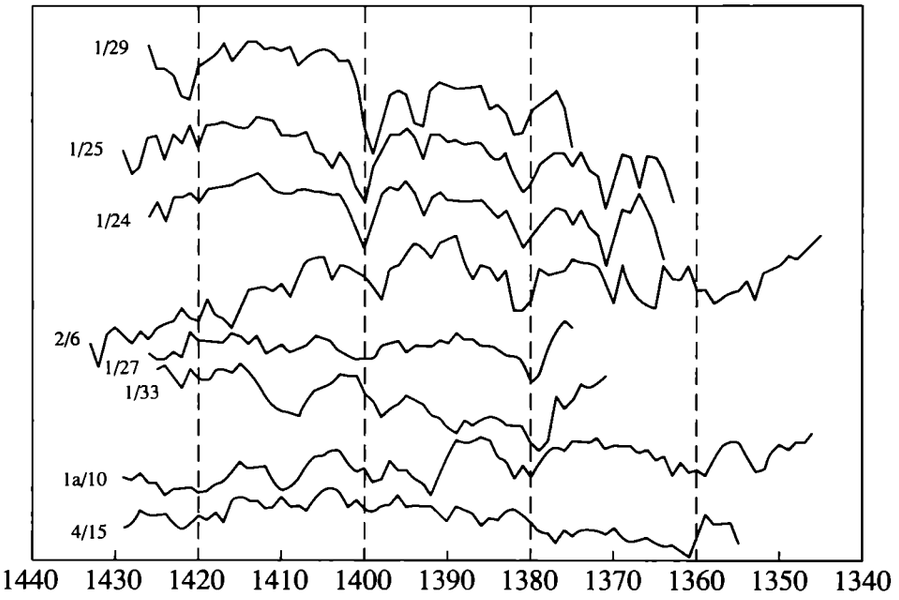


Рис. 3. Фрагмент абсолютной дендрохронологической шкалы Твери. Отрезок 1340–1440 гг. (шифры кривых: первая цифра – номер участка 11-го раскопа, вторая – номер образца, то же далее).

1996. С. 144–147) и Старицкого городища (кривые роста дерева построек рубежа XIV–XV вв.; Хворостова, 1994).

В заключение отметим, что все проведенные перекрестные сопоставления кривых роста годичных колец позволили установить конечные абсолютные точки тверской дендрошкалы, это 1064 и 1441 годы. Таким образом, общая ее протяженность составляет 377 лет. Базовая дендрошкала дерева 11-го раскопа отличается немногим, ее крайние точки – 1105 и 1439 годы. Рабочей частью шкалы считается отрезок конца XII – первой четверти XV в. Отдельные фрагменты тверской дендрошкалы представлены на рис. 3–6.

Оценивая значимость полученной тверской средневековой дендрошкалы, необходимо отметить, что по количеству датированных образцов (409 спилов) и сооружений (97 построек) она занимает третье место в сводке абсолютных шкал средневековых памятников Восточной Европы, уступая лишь Новгородской и Псковской (Черных, 1996. С. 196–199).

Коротко познакомимся с теми результатами, которые удалось получить при применении данных дедроанализа. Нами была составлена тради-

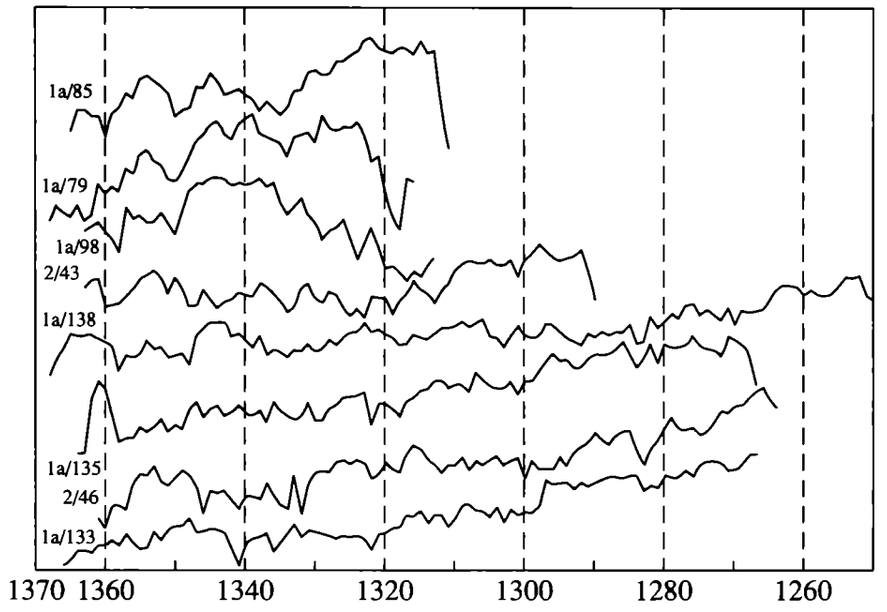


Рис. 4. Фрагмент абсолютной дендрохронологической шкалы Твери. Отрезок 1250–1370 гг.

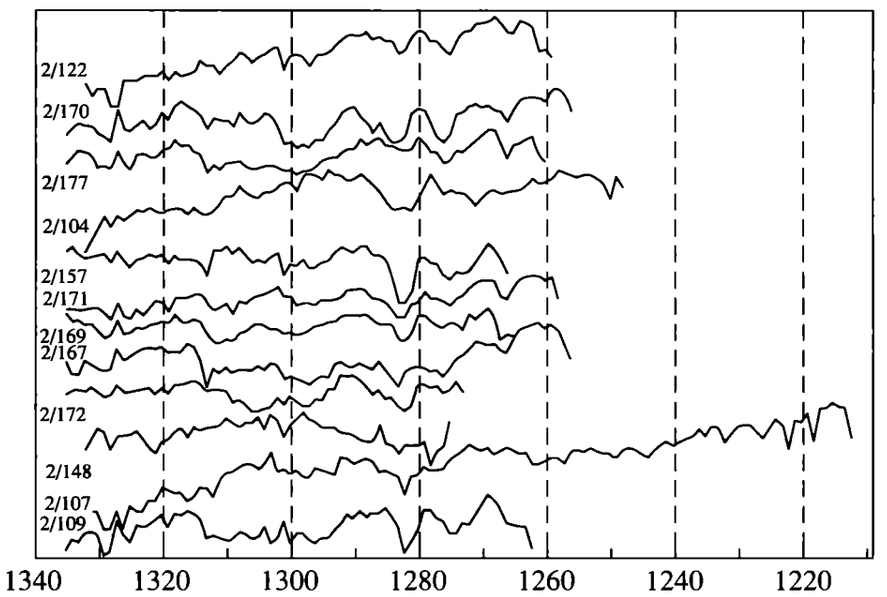


Рис. 5. Фрагмент абсолютной дендрохронологической шкалы Твери. Отрезок 1210–1340 гг.

ционная графическая схема размещения на абсолютной хронологической шкале строительных дат средневековых построек, открытых в различных частях Тверского кремля (рис. 7). Большинство сооружений имеет условные строительные даты и только 28% – "точные". Обычно датировка каждого конкретного сооружения требует комплексного анализа полученных для дендрообразцов дат с учетом стратиграфической ситуации, типологической принадлежности постройки и того, с каких ее элементов были взяты образцы (Черных, 1996. С. 58–64). В нашем случае для материалов из сооружений раскопов 7, 9 и раскопа по ул. Правды использовалась информация полевых описей дендрообразцов, переданная авторами раскопок. Определение характера дендродат сооружений раскопа 11 проводилось на основании неопубликованной статьи В.А. Лапшина "Дендрогоризонты раскопа Тверской кремль – 11", в которой автором раскопок был осуществлен комплексный анализ стратиграфической ситуации и полученных дендродат с учетом конструктивного назначения бревен сооружений, с которых были сделаны спилы[1]. К точным датам построек нами были отнесены только те датировки, которые, по мнению

[1] Пользуемся случаем выразить глубокую благодарность В.А. Лапшину за предоставленную возможность использовать неопубликованные материалы.

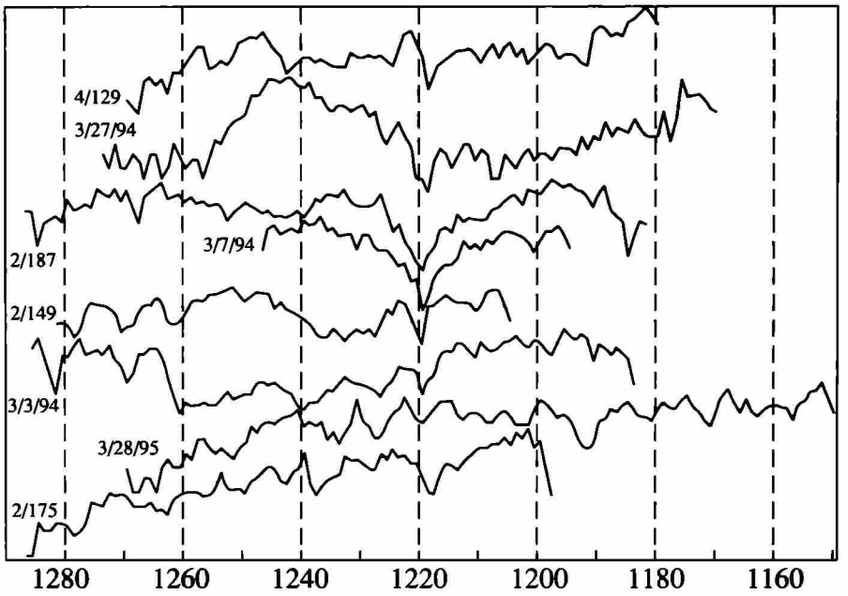


Рис. 6. Фрагмент абсолютной дендрохронологической шкалы Твери. Отрезок 1150–1290 гг.

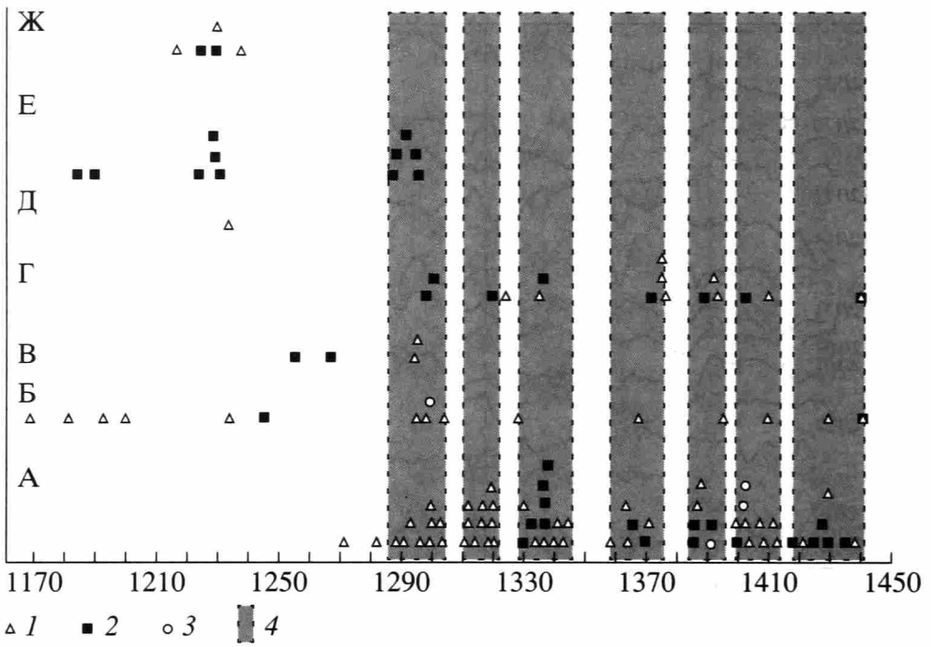


Рис. 7. Хронологическое распределение строительных дат (точных и условных) построек из раскопов в Тверском кремле. А – хронологическое распределение дат построек 11 раскопа; Б – хронологическое распределение дат построек 9-го раскопа; В – хронологическое распределение дат построек 7-го раскопа; Г – хронологическое распределение дат построек из траншеи по ул. Правды; Д – хронологическое распределение дат построек 5-го раскопа; Е – хронологическое распределение дат построек 3-го раскопа; Ж – хронологическое распределение дат построек 2-го раскопа; *1* – условные строительные даты; *2* – точные строительные даты; *3* – даты ремонтов; *4* – периоды строительства.

В.А. Лапшина, подтверждались стратиграфически. Сооружения, представленные единичными образцами, или те постройки, для которых автором раскопок приводился только перечень полученных дендродат, но не делался вывод об их четкой дате, принимались нами за условно датированные. Кроме того, для составления графической схемы были привлечены результаты дендрохронологических исследований материалов из раскопов Н.В. Жилиной, не вошедшие в представляемую дендрошкалу. Разделение дендродат сооружений из раскопов 2, 3, 5 на точные и условные проводилось нами путем анализа опубликованных материалов (Черных, Жилина, 1997. С. 156–165). Общее соотношение количества строительных и точных дат сооружений отдельных раскопов приводится в табл. 3.

На представленной схеме (рис. 7) по линии А размещаются постройки 11-го раскопа, по линии

Б – постройки из раскопа 9, по линии В – постройки из раскопа 7, по линии Г – постройки, обнаруженные в траншее по улице Правды, по линии Д – сооружения раскопа 5, по линии Е – постройки из раскопа 3 и по лини Ж – сооружения из раскопа 2. Поскольку выборка материалов 11-го раскопа является наиболее представительной и включает даты 62 сооружений, самое раннее из которых условно датировано 1272 г., нами будет рассмотрен хронологический период 1270-х – начала 1440-х годов.

Результаты анализа общей картины застройки кремлевской территории в 1270-х – начале 1440-х годов (рис. 7) позволяют, по нашему мнению, говорить о возможности выделения семи основных периодов строительной активности.

Первый период относится к отрезку второй половины 1280-х годов – началу первого десятилетия XIV в. Два сооружения раскопа 11, условно датированные одно – началом 1270-х, а второе началом 1280-х годов, вероятно, не следует относить к данному периоду, так как их даты не подтверждаются материалами других раскопов. В этот период на всей изученной территории кремля было возведено 21 сооружение, 7 из которых имеют четкие строительные даты. Принадлежность их хронологически компактной группе подтверждает правильность этих датировок. Кроме того, к этому же времени (1299 г.) относится ремонт одной из построек раскопа 9.

Второй период может быть датирован вторым десятилетием XIV в. Тогда были построены 12 сооружений, одно из которых имеет точную дату.

Третий строительный период начинается с рубежа 20-х – 30-х годов и тянется до середины 40-х годов XIV в. В это время сооружены 16 построек (9 имеют условные даты).

Таблица 3. Соотношение точных и условных строительных дат тверских сооружений

Раскоп	Всего датировано сооружений	Точные строительные даты	Условные строительные даты
Раскоп 2	5	2	3
Раскоп 3	11	11	–
Раскоп 5	1	–	1
Раскоп по ул. Правды	16	7	9
Раскоп 7	4	2	2
Раскоп 9	15	1	14
Раскоп 11	62	17	45
Всего	114	81	33

Четвертый период начинается в конце 50-х годов XIV в. и длится вплоть до середины 70-х годов. За это время возведено 11 построек (8 датированы условно).

Пятый строительный период приходится, скорее всего, на вторую половину 1380-х – первую половину 1390-х годов. В это время было возведено 9 сооружений (5 датированы условно) и 1 подверглось ремонту.

Шестой период, по-видимому, начинается около 1400 г. и тянется до второй половины 10-х годов XV в. За это время построено 11 сооружений (2 из них имеют точные даты) и еще 2 постройки ремонтировались.

Последний, седьмой, период может быть датирован рубежом 1420-х – 1430-х – началом 1440-х годов. К нему относятся 11 построек, 6 из которых датированы условно.

Картина, представленная на рис. 7, кажется нам достаточно выразительной, она отражает этапы

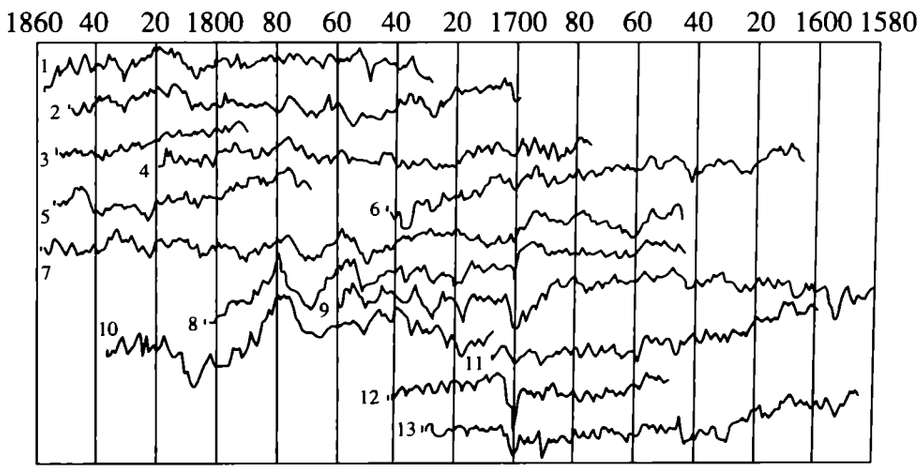


Рис. 8. Сводная шкала XVII–XIX вв. (Тверской регион). *1* – "Дом аптекаря", г. Тверь (б-р Радищева, 56); *2* – Дом, г. Тверь (ул. Серебряная, 13); *3, 5* – Часовня Успения, д. Финдеряево; *4* – Дом, д. Куклино; *6, 8, 9* – Часовня Архистратига Михаила, д. Максимовское; *7* – Дом, д. Борисовское; *10–13* – ц. Преображения, погост Спас-на-Сози; *11* – ц. Вознесенская (Тихвинская), г. Торжок; *12* – ц. Знамения, д. Пылево.

застройки кремлевской территории в период с начала 70-х годов XIII в. вплоть до начала 40-х годов XV в. Сравнение ритмов застройки на разных участках Тверского кремля представляется небезынтересным. Группировка строительных дат сооружений разных раскопов на хронологической шкале обнаруживает определенную временную корреляцию между ними. Это может свидетельствовать, что застройка в разных частях кремлевской территории: береговой, центральной, южной и восточной – в период с 80-х годов XIII в. по 30-е годы XV в. велась по какому-то общему плану. Однако это только предположение, и новые представительные серии образцов дерева средневековых построек из культурного слоя Кремля могут подтвердить или опровергнуть его.

Коротко остановимся еще на одном вопросе – перспективе расширения хронологических границ тверской абсолютной дендрошкалы. Ранее нами были изучены образцы дерева 12 архитектурных памятников XVIII–XIX вв., расположенных на территории Тверской области и в самой Твери (Сергеева, Черных, 1996). Пять изученных построек – культовые, возведенные в XVIII в.: церковь Вознесенская (Тихвинская), город Торжок; часовня Архистратига Михаила, д. Максимовское, Удомельского района; церковь Преображенская (Вознесенская), погост Спас-на-Сози Калининского района; церковь Знамения, д. Пылево, Весьегонского района и одна постройка XIX в. – часовня Успения, д. Финдеряево, Вышеневолоцкого района. Семь построек гражданские, все – XIX в: три сельских дома в д. Борисовское, Лесного района, в д. Миньево, Весьегонского района и в д. Куклино, Сонковского района; один амбар в д. Сутоки, Рамешковского района; два городских дома в Твери и пожарное депо в г. Торжок.

Абсолютная дендрошкала, построенная по материалам этих сооружений, включает 56 многолетних кривых роста годичных колец, ее конечными точками являются 1580 и 1860 годы (рис. 8). По ней были датированы и бревна поздних сооружений, обнаруженные в раскопе 11. Сравнивая временные границы двух тверских абсолютных дендрошкал – "архитектурной" и "археологической" – можно заметить, что пустым остается отрезок середины XV – рубежа XVI–XVII вв. Есть надежда, что коллекции образцов дерева построек из раскопов Загородского посада, собранные в 1995 и 1997 годах, помогут заполнить этот пробел и тогда тверская дендрошкала окажется самой протяженной из всех локальных дендрошкал Восточной Европы.

Работа выполнялась в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ № 97-05-65996).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования. Л., 1974.

Жилина Н.В. Тверь в период XII–XIV веков. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1987.

Попова Л.А. Исследования Твери // АО–1985. 1987.

Сергеева Н.Ф., Черных Н.Б. Локальные дендрохронологические шкалы Тверского региона (X–XV и XVII–XIX вв.) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996.

Урьева А.Ф., Черных Н.Б. Компьютерная программа обработки дендрохронологических данных // Компьютеры в археологии. М., 1996.

Хворостова Е.Л. Деревянные постройки Старицкого городища // Тверской сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.

Черных Н.Б. Дендрохронология средневековых памятников Восточной Европы // Проблемы абсолютного датирования в археологии. М., 1972.

Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. М., 1996.

Черных Н.Б., Жилина Н.В. Культурный слой Твери: по результатам дендроанализа древесины (Ч. 1) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997.

Absolute Dendrochronological Scale of Tver' (the XII–XV centuries)

N. B. Chernykh, A. A. Karpukhin

Summary

The result of dendrochronological investigation of 806 wood samples is published in the presented paper. The analysed samples originate from the territory of the Tver' Kremlin. The chronology of the scale fells within the period between 1064 and 1441. The felling dates of 409 trunks were established, and the trunks examined were associated with 97 wooden constructions; the dates of the mentioned structures were also determined. The authors suppose that the whole of Kremlin territory was built up generally in the late XIII – first half of the XV centuries. They discuss also the perspective of creating local dendrochronological scale for the XI–XIX cc.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 55–66

ПУБЛИКАЦИИ

ПОГРЕБЕНИЯ НА СТОЯНКЕ КАРАВАИХА

© 2001 г. А. В. Уткин*, Е. Л. Костылева**

*Комитет по культуре и искусству, г. Иваново.
**Ивановский Государственный университет.

Стоянка Караваиха находится в глухой лесистой местности на правом берегу р. Елома – левой протоки, отпочковавшейся от р. Модлона и впадающей с запада в оз. Воже (Кирилловский р-н Вологодской обл.). Она занимает небольшое, хорошо "читаемое" в рельефе местности островное повышение. Цоколь и склоны его сложены флювиогляциальными отложениями с примесью гальки и мелких валунов и покрыты болотно-луговой почвой.

Памятник открыт случайно. В 1937 г. на его территории был построен временный завод по кустарному производству кирпича. При выборке глины рабочие наткнулись на древнее захоронение человека (№ 39 по нашей нумерации), остатки которого тогда же были осмотрены А.Я. Брюсовым. На следующий год он произвел здесь контрольные раскопки, продолжавшиеся затем с перерывами в течение семи полевых сезонов (1938, 1939, 1946, 1951–1953 и 1955 гг.). За эти годы на Караваихе было вскрыто около 580 м^2 (Брюсов, 1938. № 25; 1939. № 7; 1946. № 48; 1951. № 586; 1952. № 705; 1955. № 1125; 1941а. С. 17–20; 1941б. С. 101; 1947. С. 58; 1948. С. 47–49; 1961. С. 73–76, 149–154).

Стоянка имеет внушительную площадь и сложную планиграфию. В интерпретации А.Я. Брюсова она представляет собой остатки долговременного неолитического поселения, фиксирующего непрерывность развития одной, каргопольской культуры. Однако, судя по типологическому разнообразию материалов, залегавших единым слоем, памятник "однокультурным" не являлся. Его территория заселялась в древности неоднократно и не только в неолите. Находки ножевидных пластинок и орудий из них указывают на поздний мезолит (Брюсов, 1961. С. 147. Рис. 82–85), немногочисленные обломки керамических сосудов с пористым тестом – на энеолит (Брюсов, 1961. С. 94), а серийно представленные в коллекции кремневые наконечники стрел треугольно-черешковой и башневидной формы с вогнутым основанием – на эпоху бронзы (Брюсов, 1961. С. 147. Рис. 76, 78, 79, 81).

На Караваихе раскопками исследовано 38 погребений. Первоначально же их на вскрытой площади было значительно больше. На многих участках при разборке культурного слоя периодически встречались разрозненные обломки костей человеческих скелетов. Часть из них происходила от полуразрушенных костяков, другие – от полностью уничтоженных. От последних в трех случаях зафиксированы более-менее компактные скопления, по которым можно достаточно точно локализовать места несохранившихся захоронений[1]. Таким образом, общее число учтенных для памятника погребений должно составлять как минимум 42 единицы (таблица).

Стратиграфия могил, их планиграфическое размещение по площади поселения и особенности погребального обряда позволили А.Я. Брюсову в первый же год раскопок установить разновременность захоронений. Эти выводы затем подтвердились в ходе дальнейших исследований. В итоге все вскрытые могилы были разделены им на четыре территориально-хронологические группы (Брюсов, 1961. С. 73–75, 149–152), правда, без указания конкретной нумерации захоронений, что дезориентировало будущих исследователей. Так, Р.В. Козырева (1973. С. 80, 81), описывая погребальные древности неолита Русского Севера, путает ранние и поздние могилы Караваихи, остальные же обычно рассматривают их мимоходом как единое целое (Ошибкина, 1978. С. 108–110; 1996. С. 225). Более дифференцированно к ним подошли антропологи, хотя и в их работах в некоторых случаях отмечаются неточности (Акимова, 1953. С. 56–59; Герасимов, 1955. С. 345–365).

В древнейшую группу А.Я. Брюсовым выделено восемь погребений, раскопанных в центральной части памятника в 1946, 1951 и 1952 гг.[2], которые по нашей нумерации соответствуют могилам с 24-й по 30-ю (рис. 1). Следующая группа, по

[1] Полностью разрушенные погребения, судя по полевой документации, были в следующих пунктах раскопа 1939 г.: № 40 в кв. 152, № 41 в кв. 193, 194 и № 42 в кв. 172 (см.: Брюсов, 1939. № 7).

[2] В действительности погребений оказалось не восемь, а всего семь. Дело в том, что в итоговом исследовании по Караваихе А.Я. Брюсов, суммируя количество могил этой группы, скорее всего, допустил элементарную арифметическую ошибку: к единственному погребению 1951 г. (№ 28) и двум 1952 г. (№ 29, 30) он механически прибавил пять захоронений из раскопок 1946 г., тогда как одно из них (№ 1/1946 или 23), располагавшееся в юго-восточной части поселения, было отнесено им к позднейшей группе (см.: Брюсов, 1948. С. 47, 48). Только о семи древнейших караваевских погребениях писал в свое время и М.М. Герасимов (1955. С. 345).

Погребения на стоянке Караваиха

Номер погребения		Костяк	Ряд	Глубина, м	Могила	Ориентировка	Положение костяка			Пол	Возраст, лет	Украшения	Охра	Могильники
п.п.	полевой и год раскопок						вытянуто	сидя	разрушено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.1938*	–	Д3	0.5	+	ЗЮЗ	+(с)			М	Взросл.	–	–	Древний
2	2.1938	а	П3	0.23	–	?			+	?	?	–	+	Поздний
		б	П3	0.31	–	?			+	?	?	–	–	»
3	3.1938	–	Д3	0.5**	–	ЮЗ	+(с)			?	Взросл.	–	+	Древний
4	4.1938	–	П2	0.23	–	Ю			+	?	?	–	+	Поздний
5	5.1938	–	П4	0.28**	–	Ю			+	?	?	–	+	»
6	6.1938*	–	Д1	0.5	–	ЮЗ	+(с)			М	≈30	–	+	Древний
7	7.1938*	–	П4	0.65	–	Ю		+		М	Взросл.	–	+	Поздний
8	8.1938	–	П5	0.15	–	Ю			+	?	?	–	–	»
9	9.1938	–	–	0.4	+	Ю	+(с)			Ж(?)	Взросл.	+	+	Древнейший
10	10.1938	–	П3	0.45	–	?			+	?	?	–	+	Поздний
11	11.1938*	–	Д4	0.65	+	ЮЗ	+(с)			М	Взросл.	–	+	Древний
12	12.1939	–	Д2	0.46	+	З	+(с)			?	Взросл.	–	+	»
13	13.1939*	–	П2	0.2–0.4	–	ЗЮЗ		+		М	Взросл.	–	–	Поздний
14	14.1939	–	П3	0.47	+	?			+	?	?	–	+	»
15	15.1939	–	П2	0.36		СЗ	+(с)			?	Детский	–	+	»
16	16.1939	–	Д3	0.4	–	З	+(с)			?	Взросл.	–	–	Древний
17	17.1939	–	П2	0.35	–	С	+(с)			?	Подрост.	–	–	Поздний
18	18.1939	–	П4	0.35	–	СЗ	+(с)			?	Детский	–	+	»
19	19.1939	–	Д4	0.3–0.6	–	З(?)			+	?	?	–	–	Древний
20	20.1939*	–	Д4	0.6	–	З(?)			+	М(?)	Взросл.	–	–	»
21	21.1939*	–	П6	0.22–0.66	–	ЮВ	+(п/б)			Ж(?)	Взросл.		–	Поздний
22	22.1939	–	П3	0.2–0.5	–	ССВ			+	?	?	–	+	»
23	1.1946	–	П1	0.25	–	С			+	?	?	–	+	»
24	2.1946*	–	Д3	0.7	+	ЗЮЗ	+(с)			Ж	Взросл.	–	+	Древний
25	3.1946	–	Д2	0.65	+	ЮЗ	+(с)			М(?)	»	–	+	»
26	4.1946	–	П7	0.4	–	С	+(с)			?	»	–	–	Поздний
27	5.1946	–	П7	0.45	–	С	+(с)			?	»	–	–	»
28	1.1951*	–	–	1.1	+	С	+(ж)			Ж	≈23	–	–	Древнейший
29	1.1952	–	–	0.68	+	С	+(с)			?	Взросл.	–	–	»
30	2.1952	–	–	0.8	+	С	+(с)			?	»	–	–	»
31	3.1952	–	П2	0.3	–	?			+	?	?	–	+	Поздний
32	4.1952	–	П2	0.47	–	ССЗ	+(с)			?	Взросл.	–	–	»
33	1.1955	–	П8	0.4–0.6	–	ЮВ(?)			+	?	?	–	+	»
34	2.1955	–	П8	0.35	–	ЮВ	+(с)			?	4–6	–	–	»
35	3.1955	–	Д1	≈0.5	–	ССВ	+(с)			?	Взросл.	–	–	Древний
36	4.1955	–	Д2	0.73	+	ЮЮЗ	+(с)			?	»	–	–	»
37	5.1955	–	П9	≈0.5	–	ЮВ	+(с)			?	»	–	–	Поздний
38	6.1955	–	Д1	0.36–0.53	–	ЮЮЗ	+(с)			?	»	–	+	Древний
39	–.1937	–	Д2	1.5(?)	–	ЮЗ	+(с)			?	»	–	–	»
40	–.1939	–	П5	0.2–0.4	–	?			+	?	?	–	–	Поздний
41	–.1939	–	П4	0.2–0.4	–	?			+	?	?	–	–	»
42	–.1939	–	П2	0.2–0.4	–	?			+	?	?	–	–	»

Примечание: (с) – на спине; (ж) – на животе; (п/б) – на правом боку;

* – погребения, пол и возраст которых определены М.М. Герасимовым;

** – по рукописи отчета.

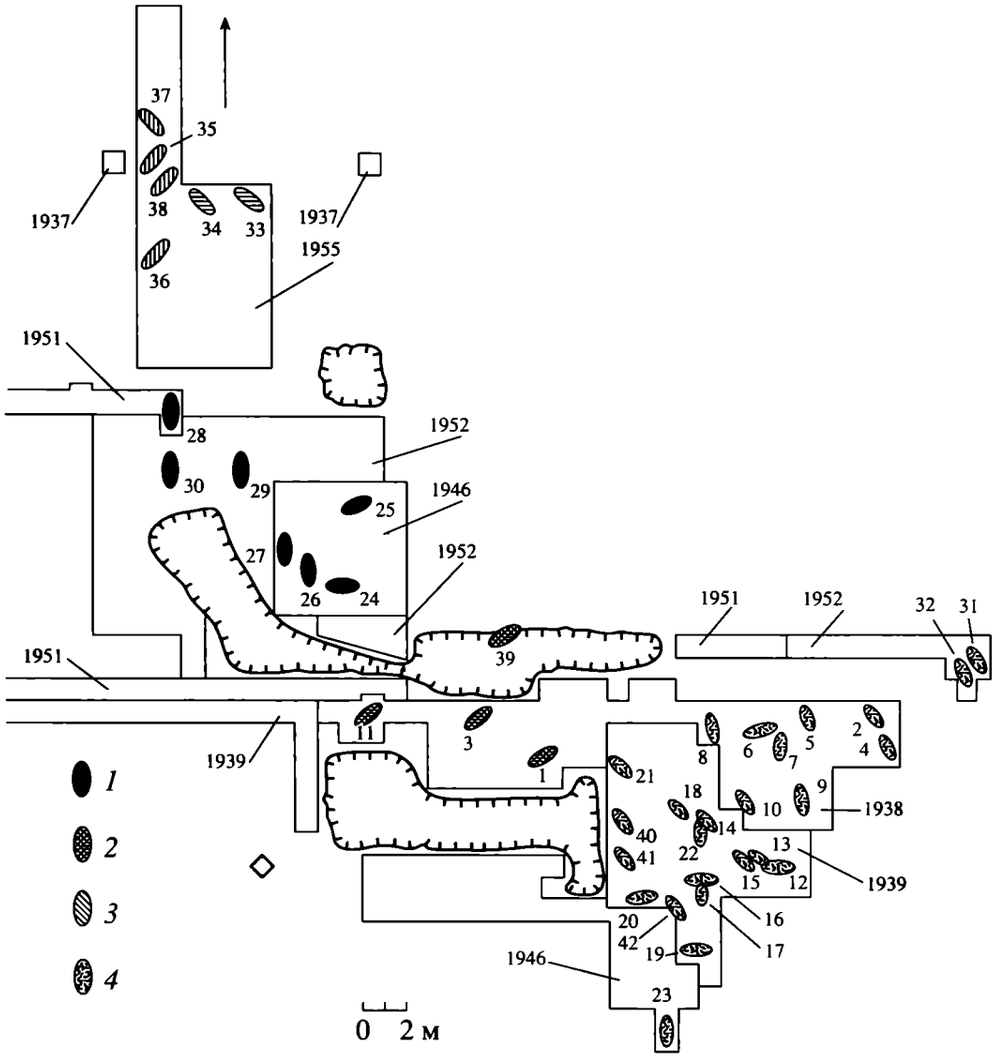


Рис. 1. План раскопа стоянки Караваиха с расположением территориально-хронологических групп погребений по А.Я. Брюсову: *1* – первая группа; *2* – вторая группа; *3* – третья группа; *4* – четвертая группа [рис. А.В. Уткина].

его мнению, представлена четырьмя захоронениями на западном участке поселения: три (№ 1, 3, 11) исследованы в 1938 г., одно (№ 39) разрушено карьером в 1937 г. (рис. 1). В еще более позднюю группу он объединил шесть могил (№ 33–38), обнаруженных в северной части памятника в 1955 г. (рис. 1). И наконец, к позднейшей отнес все прочие погребения (№ 2, 4–8, 10, 12–23, 31, 32), сосредоточенные на юго-восточной окраине стоянки (рис. 1).

Предложенное членение захоронений, на наш взгляд, отражает их хронологию только в самых общих чертах, в деталях же фиксируется ряд существенных противоречий и несоответствий. В связи с этим нами были вновь проанализированы все имеющиеся материалы, на основании которых мы пришли к выводу, что погребения Караваихи распадаются на три разновременных кладбища, условно названных нами древнейшим, древним и поздним. Каждое из них характеризуется особенностями основных признаков (стратиграфией, планиграфией, обрядом и т.д.) и, что немаловажно, имеет целостную и достаточно четкую систему планировки (рис. 2).

Древнейшие (неолитические) погребения

К древнейшему могильнику мы относим только три погребения (№ 28–30; табл.). Все они одиночные, обнаружены под культурным слоем в центральной части памятника. Могильные ямы прослеживались с отметки 0.4–0.5 м от современной поверхности и были углублены в материковую глину на 30–60 см. В их заполнении полностью отсутствовали остатки культурного слоя, т.е. они были выкопаны до того, как на этом участке возникло поселение. Две могилы (№ 28 и 29) в плане имели подпрямоугольную форму с округлыми углами. Длина их колебалась от 1.7 до 1.8 м, ширина составляла 0.6–0.8 м (рис. 3, *1*, *2*). Аналогичные размеры имела, видимо, и яма 30-го погребения, сведения о которой в отчетах и литературе отсутствуют.

При расчистке 28-й могилы, в ее восточном конце у торцевой стенки на глубине 72 см ниже современного дневного горизонта (и на 38 см выше костяка) обнаружен очаг с мелкими угольками, выложенный из небольших камней. Рядом с ним лежали три крупные кости – лося, медведя и

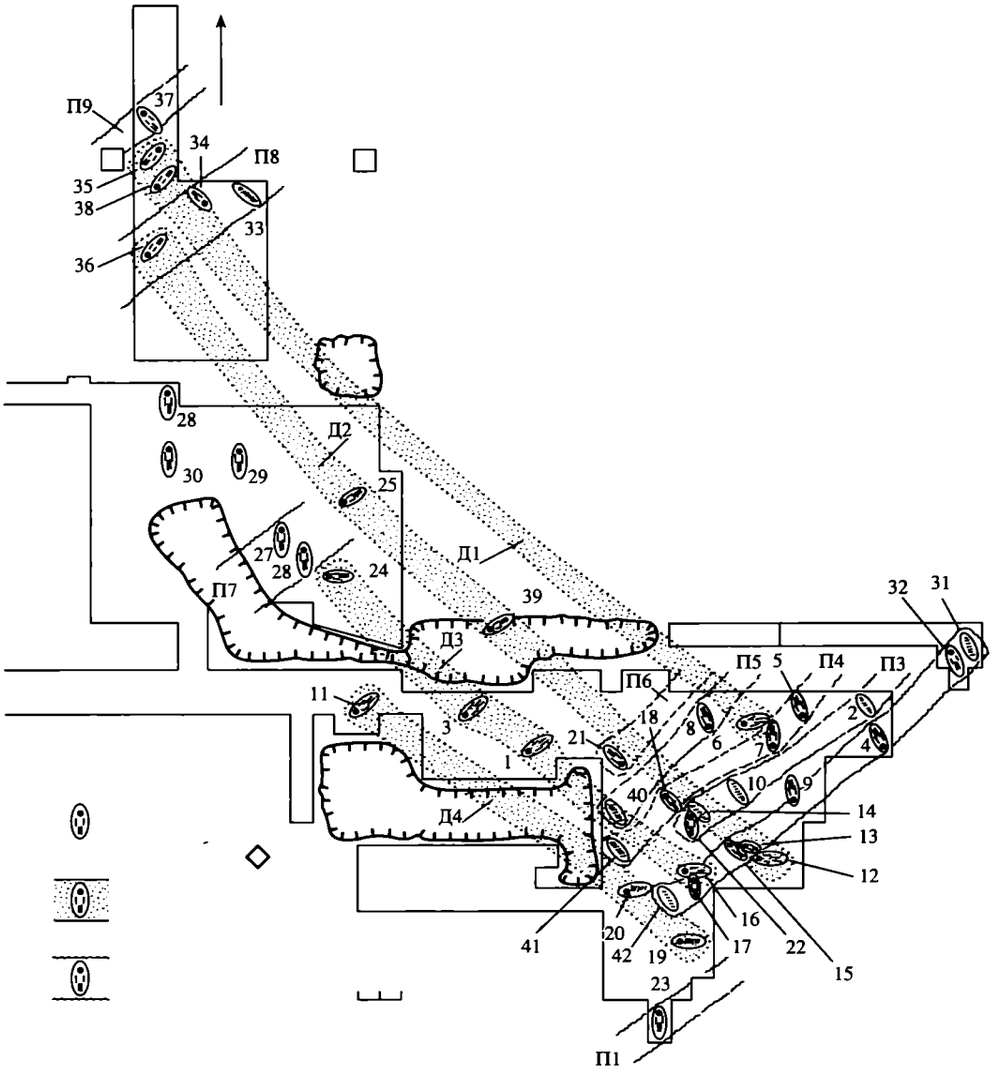


Рис. 2. План раскопа стоянки Караваиха с расположением захоронений, разделенных на три могильника: *1* – древнейшие погребения; *2* – древние погребения; *3* – поздние погребения [рис. А.В. Уткина].

бобра. Судя по отметкам, очаг соорудили, когда могила на две трети глубины была уже заполнена грунтом, а когда огонь в нем прогорел, засыпали и его, что свидетельствует о сугубо ритуальном назначении этого очага.

В двух случаях покойников перед засыпкой специально придавили крупными валунами. В погребении 28 два камня перекрывали голову и плечи, два покоились на пояснице, три – на ногах (рис. 3, *1*). Аналогичное размещение камней отмечено и в захоронении 29, с той лишь разницей, что здесь было по одному валуну, правда, очень внушительных размеров (рис. 3, *2*).

Могилы содержали захоронения взрослых субъектов. Сохранность скелетов была достаточно хорошей. Исключение составило 29-е погребение, кости голеней и стоп которого оказались уничтожены краем карьера (рис. 3, *2*). Ориентировка костяков однообразна – головой строго на север (рис. 2). Два из них (№ 29, 30) лежали на спине вытянуто, руки вдоль туловища (рис. 3, *2*). Третий (№ 28), принадлежавший женщине в возрасте около 23 лет, был положен ничком с руками, заведенными под живот (рис. 3, *1*). Этот скелет поразил А.Я. Брюсова своей узостью (ширина в тазу 37 см, в локтях – 24 см), что дало повод ему считать, что умершую похоронили туго спеленутой[3]. Сопровождающий инвентарь и украшения во всех захоронениях отсутствовали.

[3] При снятии костей этого скелета после расчистки под ними в области живота "была обнаружена масса мелких рыбьих костей и чешуи". На основании их А.Я. Брюсов (1961. С. 150) предположил, что "женщина умерла от заворота кишок". Вывод, как видим, остроумный, но он скорее свидетельствует о незаурядной фантазии исследователя, чем отражает реальность. То, что неолитический человек ел сырую рыбу, сомнений нет, однако чтобы он поглощал ее вместе с костями и чешуей, вообразить трудно. По-видимому, отмеченные под костяком остатки указывают на другое: какая-то часть одежды покойной была изготовлена из так называемого "рыбьего меха" или украшена отдельными аппликациями из него.

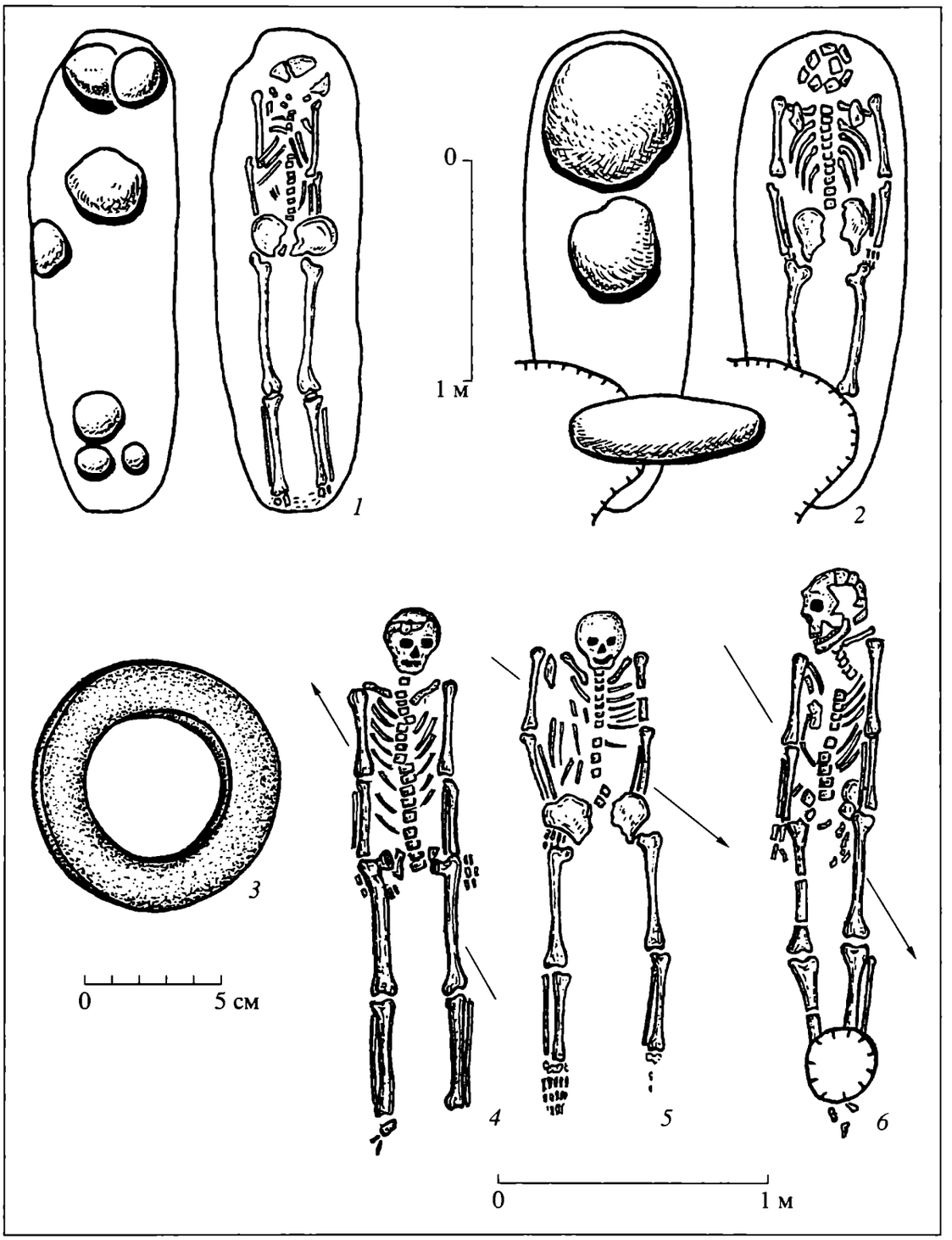


Рис. 3. Стоянка Караваиха. Древнейшие (*1*, *2*) и древние захоронения (*4–6*): *1* – погребение 28; *2* – погребение 29; *4* – погребение 35; *5* – погребение 36; *6* – погребение 38, *3* – сланцевое кольцо из девятого захоронения [*1*, *2*, *4–6* – по А.Я. Брюсову; *3* – рис. А.В. Уткина].

Относительно друг друга покойники располагались на близком расстоянии, образуя небольшое компактное кладбище, имевшее линейно-рядовую систему, где погребения 28 и 30 находились на одной оси и одновременно могила последнего была параллельна 29-му погребению (рис. 2).

Отреставрировать и изучить удалось только один череп – из женского захоронения. По указателю он мезобрахикранный, относится к метисному типу и имеет в основе своей европеоидное строение с примесью монголоидных черт[4].

[4] Череп из 28-го погребения М.С. Акимова в отличие от М.М. Герасимова и Р.Я. Денисовой отнесла к европеоидным без признаков монголоидности (см.: Акимова, 1953. С. 59).

Рассмотренные погребения А.Я. Брюсов датировал концом III тыс. до н.э., но не исключал и более древний их возраст. Определить достоверно время и культурную принадлежность их, исходя из имеющихся материалов, достаточно проблематично. Однако, памятуя о том, что могилы выкопаны до отложения неолитического культурного слоя, наиболее ранние находки которого представлены обломками ямочно-гребенчатой керамики, аналогичной по технико-морфологическим признакам развитой льяловской посуде Волго-Клязьминского междуречья, имеющей серию радиоуглеродных дат (Энговатова, 1998. С. 245), мы атрибутируем это кладбище как неолитическое и относим его функционирование к середине IV тыс. до н.э.

К этой хронологической группе погребений примыкает также девятое захоронение. Оно было расположено в юго-восточной части раскопанной площади стоянки и удалено от древнейшего могильника примерно на 27 м к востоку-юго-востоку (рис. 2).

Территориально его следовало бы включить в состав позднего караваевского кладбища. С формальной точки зрения оно четко вписывается в структуру последнего, однако по ряду признаков резко отличается от полуразрушенных поздних захоронений. Могила имела овальную форму (2.2 × 0.7 м), обнаружена под культурным слоем на глубине 0.4 м от современной поверхности и была слегка врезана в материк. Костяк сохранился прекрасно, в полном анатомическом порядке[5].

Покойник лежал на спине вытянуто, головой на юг. Руки были слегка согнуты в локтях, кисти сложены на животе. На черепе зафиксировано небольшое количество красной краски. В нижней части груди, почти в районе солнечного сплетения расчищено сланцевое кольцо, служившее украшением костюма. Кольцо целое, большого диаметра (7 см), дуга узкая (1 см), в разрезе квадратная (рис. 3, *3*)[6].

Костяк принадлежал взрослому субъекту. Если ориентироваться на большие размеры таза и Х-образное положение длинных костей ног in situ, то скелет следует признать женским.

Стратиграфически захоронение было совершено в самом начале отложения культурного слоя на данном участке. Произошло это, судя по находке сланцевого кольца, где-то в конце IV тыс. до н.э. Территориальная удаленность девятого погребения от древнейшего могильника и их асинхронность дают основание считать, что первое представляло собой одинокую могилу, никак не связанную ни с одним из выделенных нами на памятнике кладбищ.

Древние (неолитические) погребения

Древний могильник на Караваихе состоял из 14 одиночных погребений (таблица). Часть их (№ 6, 16, 19, 20, 35, 38) обнаружена в нижних горизонтах культурного слоя на глубине 0.3–0.5 м от современной поверхности, другие (№ 1, 3, 11, 12, 24, 25, 36, 39) – ниже его, на отметках 0.46–0.75 м[7]. В первых случаях ямы не фиксировались, во вторых – были углублены в материк на 6–25 м и имели овальные в плане очертания размерами приблизительно 2 × 1 м (могилы 11, 24 и 25) (рис. 4, *1*, *2*, *4*). Контуры одной ямы (№ 6) можно наметить достаточно точно по каменной обкладке (рис. 4, *3*).

Сохранность погребений была различной. Два (№ 19, 20) оказались полностью разрушены перекопами еще в древности, одно (№ 3) – частично. У двух (№ 24, 38) современными ямами уничтожены некоторые кости нижних конечностей (рис. 3, *6*). В захоронении 16 у скелета отсутствовал череп; его ампутировали, судя по всему, в момент совершения погребения и заменили булыжником, близким по величине голове взрослого человека – 20 × × 22 × 23 см (рис. 4, *6*). В двух случаях установлено преднамеренное разрушение головы покойников. Черепные коробки погребений 1 и 3 оказались разбитыми, внутри их находилось по одному довольно крупному камню (рис. 4, *1*, *2*). Описывая состояние черепа из первого захоронения перед началом реставрации, М.М. Герасимов (1955. С. 354) отмечал, что у него особенно сильно пострадал лицевой скелет, т.е. перед засыпкой трупа, когда тот был уже уложен в могилу, удар камнем пришелся непосредственно в плоскость его лица. Анатомический порядок прочих погребенных сохранился полностью, не считая смещения грызунами некоторых ребер и фаланг. Костный материал имел более-менее удовлетворительное состояние.

Поза покойников прослежена в 12 захоронениях (таблица). Все они лежали на спине вытянуто (рис. 3, *4–6*; 4, *1–6*). Руки у большинства располагались вдоль тела. У третьего костяка левая кисть покоилась в области живота (рис. 4, 2), у погребенного в могиле 25 правая рука была отведена в сторону и согнута в локте. В 38-м захоронении обе руки, наоборот, оказались подвернутыми под туловище, а череп глубоко втиснут в плечи (рис. 3, *5*).

Тринадцать погребений имели в целом однообразную ориентировку – в юго-западную чет-

[5] Девятое погребение было вырезано монолитом и переправлено в Вологодский музей-заповедник, где в настоящее время выставлено в экспозиции.

[6] Кроме того, над скелетом девятого погребения найдено шлифованное тесло из сланца клиновидной формы, просевшее, очевидно, в яму из культурного слоя под своей тяжестью.

[7] Глубина 1.5 м от современной поверхности для погребения 39 приблизительная и вряд ли соответствует действительности; ее указали А.Я. Брюсову рабочие, случайно наткнувшиеся на скелет человека в 1937 г.

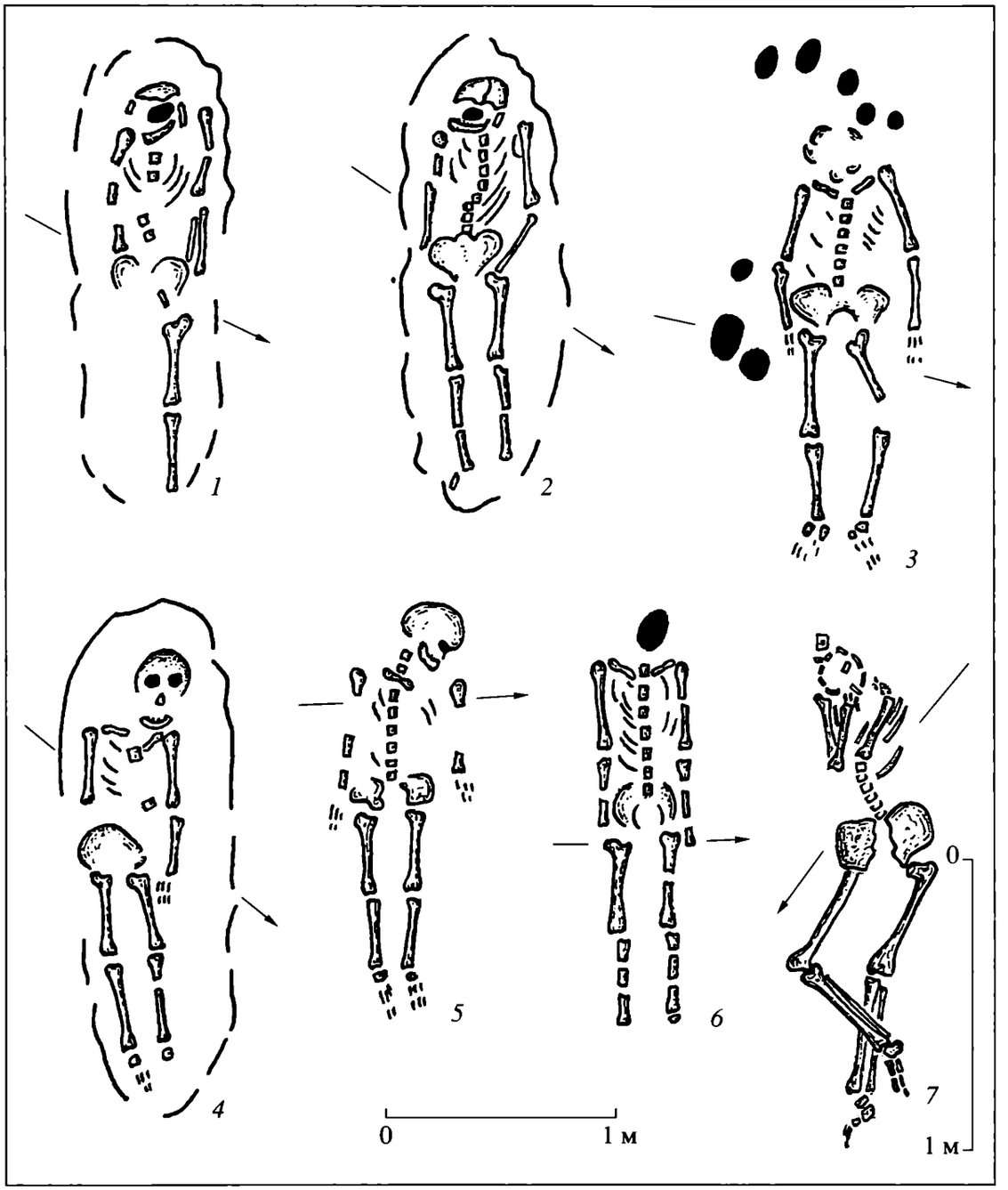


Рис. 4. Стоянка Караваиха. Древние (*1–6*) и поздние (*7*) захоронения: *1* – погребение 1, *2* – погребение 3; *3* – погребение 6; *4* – погребение 11; *5* – погребение 12; *6* – погребение 16; *7* – погребение 37 [по А.Я. Брюсову].

верть круга (табл.): шесть костяков головами лежали по направлению на запад (№ 12, 16, 19, 20) или с незначительным отклонением к югу (№ 1, 24), семь – на юго-запад (№ 3, 6, 11, 25, 39) или на юго-юго-запад (№ 36, 38). В диаметрально противоположную сторону – на северо-северо-восток был положен лишь один покойник (№ 35) (рис. 2).

Засыпка четырех могил (1, 11, 12, 36), врезанных в материк, состояла из культурного слоя. Две ямы (№ 24 и 25), располагавшиеся в центральной части памятника, были заполнены чистым материковым песком, т.е. были вырыты до отложения на этом участке относительно мощного горизонта культурного слоя.

В шести погребениях зафиксирована красная охра. В одном случае (яма № 38) она была рассеяна в виде микроскопических крупинок в засыпке, в четырех (могилы 3, 11, 24, 25) – встречена в небольшом количестве, главным образом на чере-

пах и около них, и, наконец, в двух захоронениях (6, 12) ею было окрашено большинство костей.

Погребальный инвентарь в могилах не обнаружена. А.Я. Брюсов допускал, что таковыми могли быть находки костяных изделий: растрескавшийся составной крючок[8] в третьем захоронении и фрагмент иглы – в шестнадцатом[9]. Однако эти захоронения находились в культурном слое и нет абсолютно никакой уверенности, что обломки положены с трупами намеренно.

Во всех погребениях обнаружены останки взрослых индивидуумов, пол определен лишь у пяти. По М.М. Герасимову, это – одна женщина (№ 24) и четверо мужчин (№ 1, 6, 11, 20). Предположительно мужским являлся и скелет из 25-й могилы.

Краниологические измерения проведены на пяти черепах, которые удалось реконструировать и реставрировать. Мужской череп из шестого погребения европеоидный, характеризуется большим продольным диаметром и ослабленной долихокранией. Три черепные коробки – две мужских (№ 11, 20), одна женская (№ 24) – по строению относятся также к европеоидным, но имеют четко выраженную примесь большой монголоидной расы (лицевые скелеты очень широкие, средне высокие и слабо профилированные); по указателю они или мезокранны (№ 11), или брахикранны (№ 20, 24). Последний череп – мужской из первой могилы – в основе своей скорее монголоид с европеоидной примесью: мозговой отдел короткий, лицо высокое, широкое и уплощенное со слабо выступающим носом, лоб наклонный, высота орбит большая, надбровье очерчено резко.

Территориально древние погребения занимали большую площадь, группируясь в четыре ряда (рис. 2). Ряда располагались параллельно друг другу по линии, точнее по дуге, с северо-запада на юго-восток, как бы опоясывая склон площадки возвышения с юго-западной стороны. Число могил в рядах колебалось от трех до четырех, но это не соответствует действительности, так как часть захоронений осталась явно не раскопанной, какая-то часть оказалась уничтоженной при выборке глины для производства кирпичей, наконец, некоторые погребения, вероятнее всего, были разрушены полностью в древности. Можно с уверенностью констатировать только то, что в рядах соблюдалась строгая параллельность могил, однонаправленность ориентировок покойников и их достаточная удаленность друг от друга – примерно на 2.5–8 м. А это в свою очередь предполагает обязательное наличие каких-то наземных обозначений над погребениями в период функционирования кладбища, которые археологически не фиксировались.

Во всех рядах (или по крайней мере во втором, третьем и четвертом) умерших хоронили, судя по отметкам глубины могильных ям, примерно в одно и то же время. Наиболее глубокие ямы (№ 25, 24, 11) фиксировались в центральной части памятника. По мере удаления в юго-восточном направлении глубина могил уменьшается, увеличивается количество охры, появляются единичные захоронения с элементами трупорасчленения (обезглавленное погребение 16). Другими словами, крайние юго-восточные могилы в трех наиболее полно сохранившихся рядах (Д2–4) следует считать более поздними.

Аналогичная ситуация, очевидно, была характерна и для захоронений в первом ряду, за исключением 35-го погребения. Последнее, по-видимому, было совершено значительно позднее, когда четко регламентированная структура рядов уже перестала строго соблюдаться, о чем свидетельствует минимальное расстояние (около полуметра) между этой могилой и соседней (№ 38) и антитезная ориентировка покойника – головой на северо-северо-восток – по отношению к другим.

Определить хронологические рамки древнего Караваевского могильника сложно. Более-менее ясно только одно: рассмотренные могилы старше тех, которые мы отнесли к позднему кладбищу. В двух случаях первые оказались частично перекрыты вторыми: захоронение 12 – погребением 13[10], а 16-е – соответственно 17-м.

Попытка установить хронологию рассматриваемых захоронений методом радиоуглеродного анализа костей покойников, к сожалению, не увенчалась успехом. Полученные даты оказались крайне противоречивыми и не соответствуют стратиграфическим привязкам уровней залегания погребений[11]. Поэтому время функционирования этого кладбища мы можем определить только с

[8] Крючок представляет собой относительно толстую костяную пластинку удлиненно-каплевидной формы с просверленным отверстием на расширенном конце, куда вставлен изогнутый острый стержень из кости (см.: Брюсов, 1941б. С. 102. Рис. 36, *к*). Функциональное назначение этого изделия не ясно, аналогии ему среди многочисленных и разнообразных рыболовных крючков каменного века лесной зоны Восточной Европы нам не известны. Не исключено, что он относится к позднему времени и оказался в могиле случайно, правда, непонятно – каким образом.

[9] По опубликованному отчету обломок костяной иглы происходил из погребения 15 (см.: Брюсов, 1941а. С. 18), по рукописному – "найден около правого плеча" в захоронении 16 (см.: Брюсов А.Я., 1939. № 7).

[10] По А.Я. Брюсову, наоборот, погребение 13 перекрывалось ямой 12-го захоронения, при копке которой оказалось якобы нарушено анатомическое положение нижних конечностей первого костяка. Нам это предположение представляется сомнительным. Дело в том, что 13-е захоронение – сидячее, после распада связок произошло естественное оседание скелета и "расползание" многих костей, частично перекрывших северо-западный угол 12-й могилы.

[11] На радиоуглеродный анализ были отобраны кости трех погребений. Для первого захоронения получена "мезолитическая" дата – 8200 ± 50 (ГИН-7173) л.н., для шестого – "энеолитическая" – 4420 ± 50 (ГИН-7172) л.н., а датировка 11-го не получилась вовсе (ГИН-7174).

большой долей условности, опираясь на скудные данные стратиграфии и логические рассуждения. По нашему мнению, его следует датировать в пределах первой половины III тыс. до н.э., возможно ближе к середине, и связывать с неолитическим населением позднего этапа развития каргопольской культуры.

Поздние (энеолитические) погребения

Позднее кладбище на Караваихе включало как минимум 24 захоронения (таблица). Они обнаружены в культурном слое поселения, очертания могил не прослежены, если не считать короткого отрезка края овальной ямы, по периметру обложенного небольшими камнями, который удалось выявить при расчистке погребения 14.

Костяки практически во всех захоронениях оказались в той или иной степени разрушены. От более чем половины погребенных сохранился только тлен или отдельные части скелетов, лежавшие беспорядочно (погребения 2, 4, 5, 8, 10, 14, 22, 23, 31, 38, 40–42). Это было обусловлено несколькими причинами: естественным разложением костей, перемещением их грызунами, корнями деревьев и растаскиванием при вспашке в XIX в., когда на поляне располагался хутор. В двух захоронениях (26, 27) скелеты были частично уничтожены современными столбовыми ямами во время возведения здесь барака кирпичного завода.

Плохая сохранность костяков, по мнению А.Я. Брюсова (1961. С. 153), связана также с целенаправленными анатомическими нарушениями трупов в процессе их захоронения, которые сводились к: "раскалыванию черепа (головы. – *Авт.*) покойника" и "перебиванию ног в голени". Однако это всего лишь предположения исследователя. Достоверных фактов, прямо указывающих на посмертную манипуляцию с телами покойных, на позднем Караваевском могильнике нет. В.Н. Федосова, специально изучавшая ножные кости из раскопок 1938–1939 гг., никаких следов от рубящих, режущих или ударных орудий на них не наблюдала. Не отмечены в отчетах и находки камней среди черепов поздних захоронений в отличие от упоминавшихся выше двух древних погребений (1 и 3). Поэтому все переломы длинных костей посткраниального скелета и фрагментированность черепных коробок следует объяснять естественными причинами, в том числе и сезонными колебаниями верхнего горизонта почвенного слоя по вертикали.

Основная масса остатков разрушенных погребений (№ 2, 4, 5, 8, 31, 38, 40–42) встречена на глубине 0.15–0.4 м от современной поверхности, кости некоторых (№ 10, 14, 22, 23) были рассеяны по вертикали на 40 см, с 0.2 до 0.6 м. Восемь сохранившихся захоронений (№ 15, 17, 18, 26, 27, 32, 34, 37) залегали на глубине 0.35–0.5 м, а скелеты трех (№ 7, 13, 21) в силу специфики поз покойников располагались с отметки 0.2 до глубины 0.65 м.

23 захоронения были одиночными, одно (№ 2) – парным, где умершие были уложены ярусами, один на другом. Поза погребенных установлена в 11 случаях. Семь костяков (№ 15, 17, 18, 26, 27, 32, 34) лежали на спине вытянуто, с руками вдоль тела. Один (№ 37) также был положен на спину, но с резко искривленным в левую сторону туловищем. Правая нога у него была согнута в колене под прямым углом и перекинута через голень левой, руки сведены в локтях на груди, сильно согнуты и кистями подведены к подбородку (рис. 4, 7). Полуразрушенный скелет в погребении 21 оказался лежащим на правом боку в вытянутом положении, причем из-за наклона дна могилы кости нижних конечностей находились выше черепа почти на 45 см.

Два покойника (№ 7, 13) были захоронены сидя. Детальное описание седьмого погребения в отчетах отсутствует, однако если судить по рисунку этого костяка на общем плане раскопа, то поза его реконструируется как полусидячая: туловище в наклонно-вертикальном положении с поднятой головой, ноги вытянуты, руки согнуты, ладони положены на лицо[12]. В 13-м захоронении многие кости скелета были смещены из своего первоначального состояния. *In situ* обнаружены только череп (сразу же под дерном), вертикально стоявший позвоночник в связанном состоянии и раздавленные кости таза на поверхности материковой глины. Как располагались нижние конечности – не ясно. Возможно, согнуто, коленями вверх. В этом случае бедра и голени после распада связок под давлением грунта неизбежно должны были самопроизвольно переместиться вниз. Нет никакой информации и о местонахождении костей рук в могиле.

Ориентировка погребенных при первом впечатлении поражает разнообразием и бессистемностью, но это не совсем так. В кажущемся хаосе есть своя определенная логика. Практически все покойники, ориентацию которых можно было определить, лежали в меридиональном (или близком к нему) направлении (рис. 2). Головами на север были захоронены четверо умерших (№ 17, 23, 26, 27), с небольшим отклонением к востоку – один (№ 22), с отклонением к западу – также один (№ 32) и двое (№ 15, 18) – на северо-запад[13]. В диаметрально противоположную сторону – на юг и

[12]Отсутствие подробной информации об этом костяке ввело в свое время в заблуждение М.М. Герасимова (1955. С. 352), который принял его за обычное вытянутое на спине погребение.

[13]У А.Я. Брюсова ориентировка погребения 18 указана на северо-восток, но это, вероятно, просто описка. От покойника – маленького ребенка – прослежена только полоса охры, наибольшая интенсивность которой наблюдалась в северо-западном углу квадрата 188, где расчищены измельченные куски черепа.

юго-восток – лежало по четыре скелета (№ 4, 5, 7, 8 и 21, 33, 34, 37 соответственно). Единственное погребение, которое нарушало общую картину, – 13-е. В нем труп был посажен лицом на восток, а спиной на запад-северо-запад.

Охра присутствовала в каждом втором захоронении. В шести могилах (№ 5, 14, 22, 23, 31, 33) она залегала отдельными пятнами, в остальных (№ 2а, 4, 7, 10, 15, 18) останки покойников были засыпаны ею сплошь. Инвентарь и украшения отсутствовали. Упоминаемые же обычно в литературе вещи в качестве погребальных из седьмого и восьмого захоронений мы рассматриваем как типичные поселенческие артефакты, выпавшие в древности в культурный слой и случайно оказавшиеся в могилах. Об этом свидетельствует нехарактерное для украшений расположение вне костяка подвески из зуба лося в седьмом погребении и разновременный состав находок (шлифованное желобчатое долото, кремневый двусторонний наконечник стрелы и несколько ножевидных пластинок), собранных среди груды костей разрушенного скелета в восьмом захоронении[14].

Сведения о возрастном составе погребенных крайне скудны и отрывочны. В процессе расчистки визуально было установлено, что останки трех скелетов принадлежали детям (№ 15, 18, 34), один – подростку (№ 17) и семь взрослым индивидуумам (№ 7, 13, 21, 26, 27, 32, 37). Пол определен у трех покойников: погребения 7 и 13 – мужские[15], 21-е – женское. Краниологическому изучению оказались доступны только черепа мужчин. Один (№ 7) относится к метисному типу, основу которого составляет европеоидное строение с примесью монголоидных черт; по черепному указателю он – брахикран. Второй (№ 13) – типичный малограцилизованный северный европеоид с ослабленной долихокранией.

Структурно поздний Караваевский некрополь представлял собой грунтовое кладбище с расположенными рядами могилами (рис. 2). Планиграфически четко "читаются" только четыре ряда (П2–5) с двумя, четырьмя и восьмью захоронениями в каждом. Расстояния между ними различны: от минимальных, когда ямы некоторых погребений практически смыкались, до максимальных, – 5–6 м. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что на данных участках скелеты покойников оказались полностью разрушенными. Помимо этих рядов на памятнике намечается еще как минимум пять (П1, 6–9), которые выделяются по одному-двум сохранившимся захоронениям.

Все ряды имели единообразное направление – с северо-востока на юго-запад и были параллельны друг другу (рис. 2). Стабильность межрядных интервалов отсутствовала. В юго-восточной части поселения пять линеек рядов располагались достаточно плотно, одна же (погребение 23) отстояла от них на 3.5 м. Еще большее расстояние – 14–15 м – фиксировалось с единственным рядом (погребения 26, 27) в центральной части[16]. И примерно на таком же удалении от последнего находились два крайних ряда (погребения 34, 38 и 37) на северном участке.

Нахождение всех поздних погребений в культурном слое на минимальной глубине от современной поверхности и размещение их практически по всей возвышенной площадке дают основание полагать, что они были совершены в то время, когда собственно стационарного неолитического поселения здесь уже не существовало, т.е. ряды поздних караваевских могил – это автономно функционировавший некрополь, вынесенный за пределы жилого комплекса.

Исходя из этого предположения, временные рамки могильника можно определить второй половиной III – первой четвертью II тыс. до н.э.[17] (от момента прекращения существования каргопольской культуры до эпохи бронзы), что хронологически совпадает с поздним этапом лесного энеолита, если ориентироваться на радиоуглеродную шкалу нео-энеолитических древностей Волго-Клязьминского междуречья и связывать его (кладбище) с населением местной культуры пористой керамики типа Модлоны. При раскопках памятника, как известно, в небольшом количестве найдены черепки пористой посуды, близкой волосовской (Брюсов, 1961. С. 94).

[14]Если судить по полевой описи предметов, найденных во время раскопок 1938 г., то при расчистке этих погребений помимо указанных вещей были встречены еще многочисленные фрагменты посуды и отщепы, а также два скребка, один из которых на ножевидной пластинке. Аналогичная ситуация фиксировалась и в других захоронениях – масса разрозненных черепков посуды, осколки кремня и орудия: фрагмент биконического наконечника стрелы и обломок рыболовного крючка из кости, скребок и ретушер (погребение 2); два кремневых наконечника стрел, скребок, пара ножевидных пластинок и осколок шлифованного изделия (погребение 10); и т.д. (см.: Брюсов, 1938. № 25).

[15]М.С. Акимова (1953. С. 57) атрибутировала седьмое погребение по черепу как женское. М.М. Герасимов (1955. С. 352–354. Рис. 143) – как мужское. Мы принимаем версию последнего.

[16]В центральной части памятника, наиболее разрушенной карьером и строениями кирпичного завода, очевидно было несколько рядов поздних могил. По крайней мере, один из таких можно наметить по обломкам человеческих костей (фрагментам черепа, позвонкам, ребрам), обнаруженным А.Я. Брюсовым (1951, № 586) в 1951 г. в культурном слое на глубине 0.37 м от современной поверхности непосредственно над могилой 28.

[17]Датировки костей трех поздний погребений по С-14, как и в случае с датами древних захоронений, не соответствуют стратиграфическим уровням залегания костяков: погребение 7 – 6880 ± 90 (ГИН-7176), погребение 21 – 4760 ± 100 (ГИН-7090), погребение 22 – 5890 ± 220 (ГИН-7091) л.н. "Ошибочность" всех караваевских датировок по костным материалам объяснить сложно. Возможно, сказались крайне скромные объемы образцов, отобранных и представленных на радиоуглеродный анализ В.Н. Федосовой.

* * *

Разделение массива караваевских захоронений на три автономных могильника, с одной стороны, отражает динамику развития погребального обряда в лесной зоне Восточной Европы в эпоху неолита–энеолита, а с другой – свидетельствует о прочной устойчивости некоторых местных традиций. Если абстрагироваться от индивидуальных особенностей каждого некрополя, то в главном они будут иметь достаточно четкие аналогии среди одновременных кладбищ на указанной территории.

Так, близость древнейшего могильника (и отдельного, девятого погребения) серии льяловско-каргопольских захоронений прослеживается по ряду основных параметров: линейно-рядовое расположение могил, вытянутая поза покойников на спине и животе (Кубенино, Сахтыш IIА)[18]; доминирование меридиональных ориентировок (Кубенино, Андозеро II, Мыс Бревенный)[19]; преобладание безынвентарных ингумаций; практика заваливания трупов крупными валунами (Андозеро II, Мыс Бревенный); присутствие среди редких украшений костюма сланцевых колец (Андозеро II, Луково Озеро III)[20].

Второй могильник на Караваихе, связываемый нами с позднекаргопольским населением, формального сходства с собственно неолитическими кладбищами не обнаруживает. Напротив, определенные аналогии ему фиксируются в ранневолосовских некрополях Волго-Клязьминского междуречья и Верхнего Поволжья, которым он синхронен. В частности, для Караваевского и ранних волосовских могильников на стоянках Сахтыш IIА, Вашутино, Языково I, Иловец I[21] характерны: строгая система размещения захоронений рядами, исключительно вытянутое положение покойников на спине и в целом однообразная их ориентация головами в юго-западную четверть круга. Это, на наш взгляд, не просто внешнее сходство, а свидетельство унификации некоторых сторон погребальной обрядности у разнокультурных групп населения, живших в один хронологический период, в одной географической среде и имевших одинаковый хозяйственный уклад.

В то же время различия между сравниваемыми могильниками очень разительны и существенны, но именно они определяют археологическую специфику похоронных обрядов. Наиболее яркой чертой ранневолосовских захоронений является обилие в них украшений, особенно из янтаря, а караваевских – преднамеренное раскалывание головы покойника. Последнее – не что иное, как трансформировавшийся ритуал заваливания трупа валунами перед его засыпкой, что указывает на генетическую связь древних погребений с древнейшими.

Третий Караваевский могильник – позднеэнеолитический. Параллели между ним и одновременными ему кладбищами прослеживаются достаточно явственно. В частности, для большинства поздних волосовских некрополей обычна безынвентарность покойников и система расположения могил рядами, иногда с разнонаправленной ориентировкой костяков (Сахтыш I, IIА, VIII, Водыш)[22]. Только в позднем и финальном волосове практиковались ярусные двухактные погребения (Сахтыш IIА, Ивановское VII)[23]. Наконец, только население культур пористой керамики во всей лесной зоне Восточной Европы изредка совершало захоронения трупов в позе сидя (два костяка в составе коллективных погребений на Аборе I и три одиночных – на Крейчи)[24]. Если опираться на эти аналогии, то время функционирования позднего Караваевского кладбища следует ограничить рубежом III–II тыс. до н.э.

Краниологические материалы с Караваихи, по объему уступающие только сериям из Звейниеки и Сахтыша IIА, достаточно четко и однозначно указывают на то, что группы населения, оставившие три могильника, в массе своей относились к метисному антропологическому типу, формирование которого началось еще в позднем мезолите, и по внешнему облику были сходны между собой (широколицые брахикраны с четко выраженной монголоидной примесью), т.е. кардинальной смены населения здесь на протяжении примерно полутора тысяч лет не наблюдалось. Два же черепа, европеоидные по строению – один из древнего погребения, другой из позднего, свидетельствуют о притоках новых групп неоэнеолитических охотников на территорию Русского Севера. Эти "потоки" шли предположительно из Восточной Прибалтики и были, очевидно, малочисленны, эпизодичны и быстро растворялись в среде аборигенов, не изменяя существенно их антропологического типа, по крайней мере в период функционирования второго кладбища (с которого происходит пять из восьми изученных черепов).

[18]См.: Фосс, 1938. С. 73–91; Крайнов и др., 1993. Погребения, исследованные в разные годы на стоянке Кубенино М.Е. Фосс, В.И. Смирновым и А.А. Куратовым, мы относим к одному могильнику, который датируем первой половиной IV тыс. до н.э.

[19]См.: Фосс, 1938. С. 73–91; Ошибкина, 1978. С. 44, 45, 58–60.

[20]См.: Ошибкина, 1978. С. 44, 45; Сидоров, 1990. С. 24–27.

[21]См.: Крайнов и др., 1993; Utkin, 1993. P. 51–57; Сидоров, 1992. С. 73–77; Урбан, 1973. С. 107–116.

[22]См.: Крайнов, Уткин, 1991. С. 73–78; Крайнов и др., 1993; Крайнов, 1973; Гаврилова, 1980.

[23]См.: Костылева, Уткин, 1997.

[24]См.: Лозе, 1970. С. 43–52; Zagorskis, 1961.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акимова М.С. Новые палеоантропологические находки эпохи неолита на территории лесной зоны Европейской части СССР // КСИЭ. 1953. Вып. XVIII.

Брюсов А.Я. Отчет об археологических раскопках в Чарозерском районе Вологодской области в 1938 г. // Архив ИИМК. 1938. Ф. 35. Оп. 1. № 25.

Брюсов А.Я. Отчет за 1939 г. о раскопках в Чарозерском районе Вологодской области // Архив ИИМК. 1939. Ф. 35. Оп. 1. № 7.

Брюсов А.Я. Отчет о раскопках 1938–1939 гг. // Работы археологических экспедиций. Тр. ГИМ. 1941а. Вып. XII.

Брюсов А.Я. Археологические работы в Вологодской области в 1937–1940 гг. // КСИИМК. 1941б. Вып. X.

Брюсов А.Я. Отчет о раскопках в Чарозерском районе Вологодской области, произведенных в 1946 г. Вологодской экспедицией // Архив ИА. 1946. Р-1. № 48.

Брюсов А.Я. Результаты Вологодской археологической экспедиции в Чарозерском районе Вологодской области // КСИИМК. 1947. Вып. XXI.

Брюсов А.Я. Раскопки в Чарозерском районе Вологодской области в 1946 г. // КСИИМК. 1948. Вып. XX.

Брюсов А.Я. Отчет о раскопках 1951 г. Караваевской стоянки и могильника в Чарозерском районе Вологодской области // Архив ИА. 1951. Р-1. № 586.

Брюсов А.Я. Отчет о раскопках 1952 г. в местности Караваиха // Архив ИА. 1952. Р-1. № 705.

Брюсов А.Я. Отчет об археологических работах в Чарозерском (ныне Кирилловском) районе Вологодской области в 1955 г. // Архив ИА. 1955. Р-1. № 1125.

Брюсов А.Я. Караваевская стоянка // Сборник по археологии Вологодской области. Вологда, 1961.

Гаврилова И.В. Об особенностях памятников волосовского типа в Костромском Поволжье // КСИА. 1980. Вып. 161.

Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу: современный и ископаемый человек // Тр. ИЭ. (Новая серия). 1955. Т. XXVIII.

Козырева Р.В. Неолитические племена бассейнов озер Белого, Воже и Лача // Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита. МИА. 1973. № 172.

Костылева Е.Л., Уткин А.В. Волосовские погребения на стоянке Ивановское VII в Центральной России // ИАИ. 1997. Вып. 2.

Крайнов Д.А. Стоянка и могильник Сахтыш VIII // Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973.

Крайнов Д.А., Костылева Е.Л., Уткин А.В. Погребения и ритуальные комплексы на стоянке Сахтыш IIA // АВ. 1993. № 2.

Крайнов Д.А., Уткин А.В. Погребения на стоянке Сахтыш I // КСИА. 1991. Вып. 203.

Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979.

Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978.

Ошибкина С.В. Север Восточной Европы // Археология СССР: Неолит Северной Евразии. М., 1996.

Сидоров В.В. Погребения льяловской культуры в Подмосковье // АПВКМ. 1990. Вып. 4.

Сидоров В.В. Многослойные стоянки Верхневолжского бассейна: Варос и Языково // Многослойные стоянки Верхнего Поволжья. М., 1992.

Урбан Ю.Н. Поселение и могильник Иловец // КСИА. 1973. Вып. 137.

Фосс М.Е. Погребения на стоянке Кубенино // Сборник статей по археологии СССР. Тр. ГИМ. 1938. Вып. VIII.

Энговатова А.В. Хронология эпохи неолита Волго-Окского междуречья // ТАС. 1998. Вып. 3.

Utkin A. Graves of the Volosovo culture at the Vashutino site in central Russia // FsA. 1993. V. X.

Zagorskis F. Kreiču neolita kapulausks // AE. 1961. № 3.

Burials at the Karavaikha Station

A. V. Utkin, E. L. Kostyleva

Summary

The prehistoric burials excavated by A.Ya. Bryusov at the Karavaikha camp (Vologda region) are well-known. The excavator claimed them to constitute a single assemblage divided into four subsequent groups (Fig. 1). Having examined in details all published and archive materials, the authors of the article consider the burials to represent three separate cemeteries (Fig. 2), this opinion being based on stratigraphy, planigraphy, and burial rite. The earliest cemetery at Karavaikha functioned in the mid 4th millennium B.C., it consists of three graves. Two pit-graves were covered with cobble-stone. The dead were placed in supine position, their heads pointing north. A separate grave is dated to the late 4th millennium B.C.; the skeleton there was in supine position, the head pointing south. Large slate ring was discovered in this grave. The second cemetery comprises 14 burials arranged in parallel rows (Fig. 2). The dead were in supine position, south-eastern orientation prevailed. No grave goods were found, some skeletons were stained with red ochre. In one case the missing skull was replaced with stone. The late Karavaikha necropolis should be dated back to the Eneolithic (the turn of the 3rd and 2nd millennia B.C.). As many as 24 graves were attributed to this assemblage, most of them were destroyed. The skeletons' orientation varied, as well as their position: supine, extended on the side, and even sitting one. No grave furniture was recorded, around half of the skeletons were thickly strewn with red ochre. The burials were arranged in parallel rows.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 67–76

ПУБЛИКАЦИИ

НОВЫЕ ВАЗЫ "КЕРЧЕНСКОГО СТИЛЯ" В СОБРАНИЯХ КРЫМСКИХ МУЗЕЕВ

© 2001 г. И. И. Вдовиченко

Научно-исследовательский центр крымоведения, Симферополь

В музеях Крыма хранится несколько тысяч целых и фрагментированных расписных ваз, происходящих из раскопок Пантикапея, малых городов Боспора, Феодосии, Херсонеса, Керкинитиды, из частных коллекций. Значительную часть этих собраний составляют вазы аттического производства, которые относятся к так называемому "керченскому стилю". Всего выявлена 1091 ваза, удалось атрибутировать работы 48 мастеров, выделить классы и группы, а также уточнить хронологические рамки деятельности некоторых вазописцев. Задача этой статьи – дать общую характеристику этого материала и проиллюстрировать его некоторыми экземплярами, роспись которых либо принадлежит к группам, мало распространенным в Северном Причерноморье, либо выполнена неизвестными ранее вазописцами.

"Керченский стиль" в аттической вазописи оформился в конце первой трети IV в. до н.э. на основе развития "роскошного" и "беглого" стилей. Обычные графические средства краснофигурной техники сочетались в нем с обильным употреблением накладных красок, разбавленного лака, создающих эффект объемности изображения, с широким использованием кисти. К этому нужно добавить и освоение линейной перспективы, новое понимание формы, движения. Круг сюжетов, по сравнению с V в. до н.э., обновился, традиционные коллизии отошли на второй план, их сменили волна варварских мифоэпических сюжетов и сюжеты дионисийского цикла.

Именно это сочетание изменений в технике вазописи и в выборе сюжетов А. Фуртвенглер (Furtwangler, Reinhold, 1904. S. 4), а вслед за ним и К. Шефолд (Schefold, 1934. S. 1) определяли как "керченский стиль". Он оказал большое влияние на развитие местных художественных школ вазописи и породил прямые подражания в Северном Причерноморье – так называемые боспорские акварельные пелики и эллинистическую расписную керамику Ольвии (Книпович, 1949; Зайцева, 1976. С. 97–108). Этапы развития "керченского стиля" определены К. Шефолдом следующим образом: 70–60-е годы – оформление нового стиля, поиск новых изобразительных средств и сюжетов; середина века – разработка основных композиционных схем и сюжетов, переход от подражания гравировке к чисто живописным приемам; конец века – упадок стиля, исчезновение краснофигурной техники росписи.

Развитие "керченского стиля" шло параллельно с развитием и исканиями всего греческого искусства поздней классики и раннего эллинизма. Свойственные ему экспрессивность и драматизм ситуаций получили своеобразное воплощение в вазописи. Именно в ней и в торевтике наиболее ярко отразились представления и переживания, связанные с восприятием греками мира варварской окраины. Характерно обилие варваризованных сюжетов: изображение терзаний, грифономахий, амазономахий. Конец IV в. до н.э. стал рубежом и для "керченского стиля" в вазописи, и для греко-скифского звериного стиля в торевтике. Варварские сюжеты вытесняются на периферию искусства, их сменяет новый круг образов и представлений, свойственный развитому эллинизму. Одновременно с этим происходит падение уровня техники вазописи, обрываются складывавшиеся веками традиции ремесла. Декрет, найденный в Эфесе, свидетельствует об эмиграции афинских мастеров в Эфес в конце IV в. до н.э. (Sparkes, Talcott, 1972. P. 12). С рубежа IV–III вв. до н.э. получают распространение новые эллинистические формы сосудов и новые приемы их декора.

Коллекции музеев Крыма дают представление обо всех этапах развития "керченского стиля", но все-таки преобладает массовый, рядовой материал середины – второй половины IV в. до н.э. Безусловно, это отражает динамику импорта аттической расписной керамики на Боспор (основное количество ваз в коллекциях происходит с территории Боспорского царства). Кроме того, лучшие вазы мастеров раннекерченского и зрелого "керченского стиля" из раскопок конца XIX – начала XX в. попадали в Эрмитаж и другие крупные собрания.

Переходный период (конец V – первая четверть IV в. до н.э.), для которого характерны сохранение традиций "беглого" и "роскошного" стилей и в то же время поиски новых изобразительных средств, представлен достаточно хорошо. Это работы мастеров Лувра G 539 (Painter of Louvre G-539; Beazley, 1963. P. 1341), Львиноголового грифона (Painter of the Lion-griffins) (Beazley, 1963.

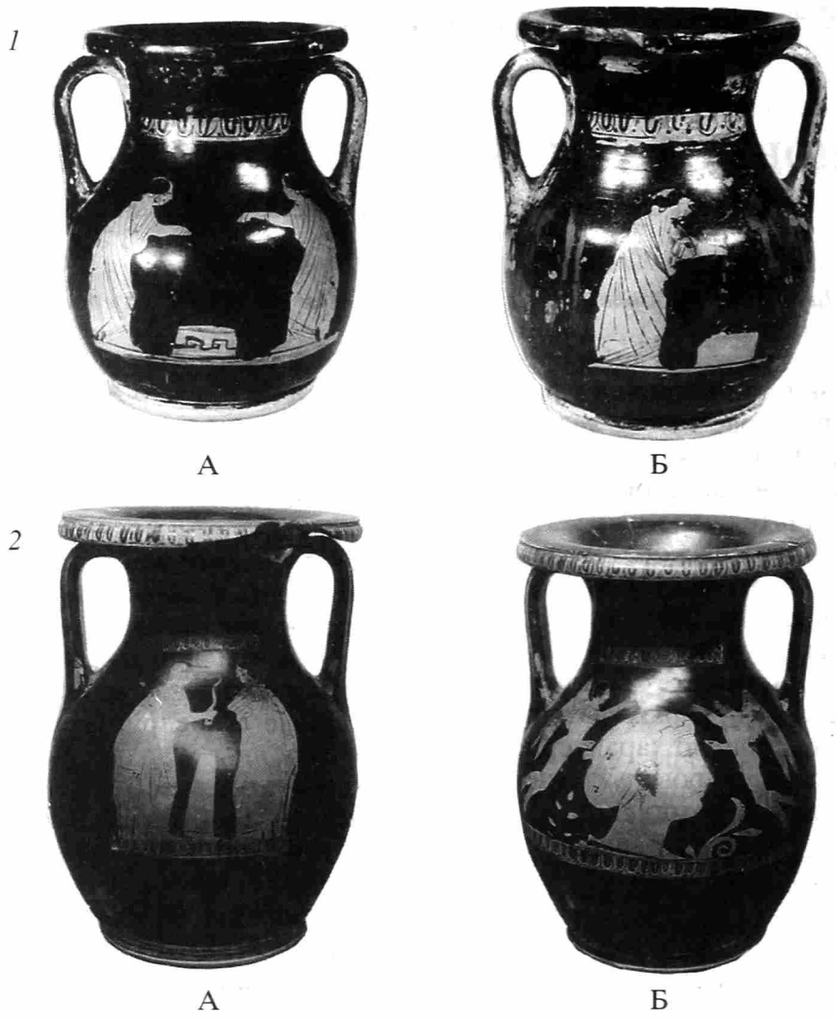


Рис. 1. *1* – пелика из Крымского республиканского музея КП-1086; *2* – пелика из Керченского государственного историко-культурного музея-заповедника КМАК-480.

Р. 1473), Бонн 2053 (Painter of the Bonn 2053) (Beazley, 1963. P. 1358, 1359), расписывавших пелики. Кратеры в наших собраниях сильно фрагментированы, что затрудняет их атрибуцию, однако удалось выявить работы мастеров Шуваловской амфоры (Shuavalov Painter) (Beazley, 1963. P. 1206–1213, 1687, 1704), Прономоса (Pronomos Painter) (Beazley, 1963. P. 1335–1338, 1690, 1704) Диноса (Dinos Painter) (Beazley, 1963. P. 1151–1159, 1685). Довольно много асков с изображениями животных, которые расписаны мастером из Аль-Мины (Mina-painter) (Beazley, 1963. P. 1366, 1367, 1691), рыбных блюд классов "А" и "В" (McPhee, Trendall, 1987. P. 2934), ойнохой и скифосов, относимых к группе "F.B." (Beazley, 1963. P. 1385–1395). Довольно часто, особенно на Боспоре, находят скифо-килики конца V – начала IV в. до н.э., которые расписаны мастерами Иены (Jena Painter) (Beazley, 1963. P. 1510–1518) и Мелеагра (Meleager Painter) (Beazley, 1963. P. 1408–1417, 1692, 1963). Лекифы конца V в. до н.э. представлены работами мастеров Растрепанных волос (Straggly Painter) (Beazley, 1963. P. 1367, 1368, 1692) и Майенского сфинкса (Painter of the Mayence Sphinx) (Beazley, 1963. P. 1363, 1364).

Новые материалы дополняют список работ мастера Бонн № 2053. Ремесленные работы этого вазописца, отличающиеся простотой композиции, скупостью изобразительных приемов, являют собой образец аттического "беглого стиля" конца V в. до н.э. Д. Бизли дал ему название по маленькой пелике, хранящейся в Академическом художественном музее г. Бонна (Beazley, 1963. P. 1358). В последнее время список его работ пополнился новыми вазами из Северного Причерноморья. Ю.И. Козуб опубликовала целую пелику и три фрагмента, происходящих из раскопок в предградье Ольвии (Козуб, 1980. С. 76–83. Рис. 1–4). В коллекции Крымского республиканского краеведческого музея хранится пелика КП-1086 из дореволюционных поступлений, возможно, с территории Боспора. Высота пелики 15.5 см. Глина аттическая, хорошо отмученная, розоватая с мелкими слюдяными блестками. Лак черный, густой, блестящий (рис. 1, *1*). Как и на всех остальных известных вазах, расписанных мастером Боннской пели-

ки № 2053, на лицевой стороне изображены две женщины, совершающие ритуальные действия у алтаря. Они держат в руках тении, ветки плюща, прорисованные белой накладной краской (почти полностью осыпалась). На оборотной стороне – одна фигурка с тениями в руках, стоящая у алтаря. Ближе всего – и композиционно, и стилистически – уже упомянутая пелика из Бонна (Corpus..., 1938. P. 16. Pl. 15, *2*). Одинаково изображены прически – в виде овального пятна лака, отделенного от фона узкой полоской в цвете глины, угол рта обозначен точкой, глаз – в виде черточки и пририсованного к ней полукружия или точки. На всех этих пеликах у женщин – характерные для этого времени крупные, круглые проволочные серьги. Протянутые над алтарем руки персонажей изображены анатомически неправильно, чересчур крупными, мускулатура показана условными вертикальными черточками. Идентично изображение гиматиев, в которые закутаны женщины, – складки их переданы длинными косыми штрихами пера. Несколько отличается изображение алтарика. На пелике из Крымского республиканского музея его боковая сторона украшена полосой меандра, а на пелике из Бонна – черточкой с окружностями на краях. Над рисунком на всех пеликах расположен фриз ионийского киматия. Таким образом, ваза из Крымского республиканского краеведческого музея – пятая работа мастера пелики из Бонна № 2053, найденная при раскопках в Северном Причерноморье.

Ранний "керченский стиль" в коллекциях крымских музеев представлен довольно скудно. Это пелики, расписанные мастером Оборотной стороны группы Гельбиг (Helbig Reverse-Group) (Beazley, 1963. P. 1474), мастером Геракла (Herakles Painter) (Beazley, 1963. P. 1472). Много лекан, относящихся к группе "Отчет" (Otchet Group) (Beazley, 1963. P. 1496–1498), асков (Group of the Gambridge Askos) (Beazley, 1963. P. 1505, 1697) скифо-киликов мастера "Q" (Beazley, 1963. P. 1518–1521, 1704). Встречаются фрагменты лекифов мастера Аполлонии (Apollonia Group) (Beazley, 1963. P. 1482, 1965), рыбные блюда класса "C" (McPhee, Trendall, 1987. P. 44). Списки работ некоторых мастеров пополнились новыми сосудами.

Выявлена еще одна работа мастера Геракла. Судя по списку его работ, приведенному у К. Шефолда, они датируются в пределах 375–360 гг. (Schefold, 1934. S. 84, 85). Расписывал он в основном пелики и гидрии. В Керченском музее-заповеднике хранится пелика КМАК-480 (рис. 1, *2*), найденная при раскопках одного из участков грунтового некрополя Пантикапея в 1957 г. Высота сосуда 24.5 см. Глина розовая, хорошо отмученная, с мелкими слюдяными блестками. Лак черный, густой, блестящий. В первой, предварительной публикации В.П. Азаровой (1962. С. 326, Рис. 8) сосуд не атрибутирован. Датировка – конец IV в. до н.э. дается по сопровождающему погребение инвентарю. Такая разница в 70 лет между датировкой по стилистическим особенностям росписи и по форме сосуда и археологическому комплексу – обычное явление, свидетельствующее о длительном хранении привозных аттических ваз жителями Пантикапея. Сюжет росписи лицевой стороны сосуда обычен для "керченского стиля" – это Афродита с двумя подлетающими к ней с двух сторон Эротами. Богиня изображена в своей хтонической испостаси как Афродита Апатура, появляющаяся из земли в окружении растительных побегов. Весьма близка этой работе роспись гидрии из Брюсселя R-286 (Beazley, 1963. P. 1472, 1474; Boardman, 1989. № 377). Здесь композиция дополнена фигурками двух сатиров, выкапывающих мотыгами голову Афродиты из земли.

Обычная для мастера Геракла композиционная схема, в которой доминируют центральная фигура и устремленные к ней персонажи, хорошо видна на росписи этих двух сосудов. Тщательный суховатый рисунок, выполненный тонким пером и кистью, также характерен для этого вазописца. Голова Афродиты на гидрии из Брюселя показана в несколько ином ракурсе – в 3/4, однако узнаваемы тонкие черты ее лица, украшения, выпущенный над ухом локон. Очень близки, почти идентичны сухощавые фигурки Эротов, парящих в воздухе. На оборотной стороне пелики, как обычно, изображены двое юношей в гиматиях, стоящие у погребальной стелы. У одного из них, стоящего слева, в руках стригиль. Роспись более небрежная, чем на лицевой стороне, но рука мастера узнаваема – тот же суховатый рисунок, удлиненные фигуры. Рисунок сверху и снизу обрамлен полосками ионийского киматия. Ваза из Керчи, очевидно, и по времени близка брюссельской гидрии. Она дополняет наше представление о творчестве мастера Геракла – прекрасного рисовальщика.

К. Шефолд среди мастеров раннего "керченского стиля" выделил работы мастера Ипполита (Schefold, 1934. S. 89). Д. Бизли объединил работы, выполненные в стиле этого мастера, в более расплывчатый конгломерат – группу Лондон E 230 (Beazley, 1963. P. 1483). Правда, и К. Шефолд отмечал неравноценность работ этого интересного вазописца. Некоторые отличаются изяществом, в других же вялая линия, невнятная многофигурная композиция производят общее впечатление какой-то расслабленности. Впрочем, К. Шефолд считал, что мастер расписывал только гидрии, роспись остальных сосудов принадлежит его школе (Schefold, 1934. S. 90). Однако с этим трудно согласиться. Несомненно, что по крайней мере две пелики – хранящаяся в Керченском музее-заповеднике (КМАК-406) и фрагментированная из Херсонесского музея (инв. КВ-3214) –

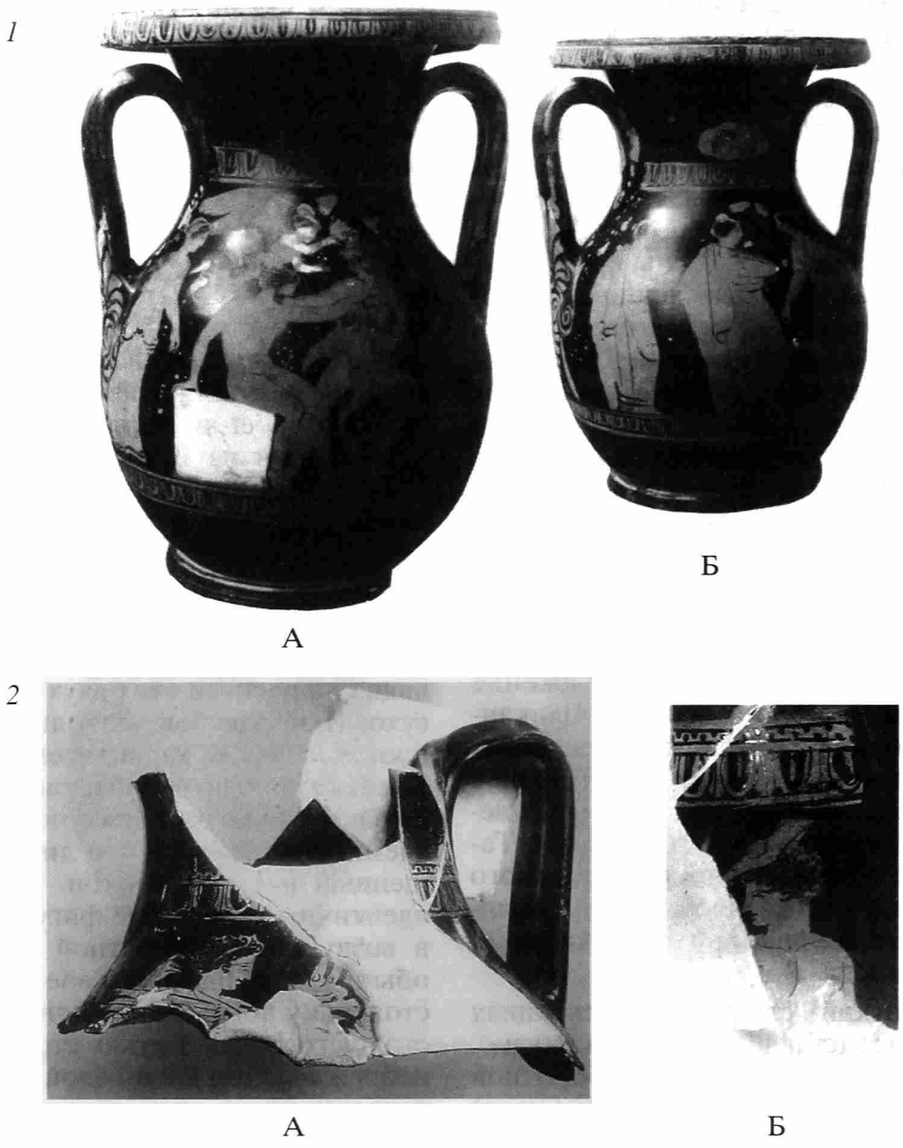


Рис. 2. *1* – пелика из Керченского государственного историко-культурного музея-заповедника КМАК-406; *2* – пелика из Херсонесского музея-заповедника NKB-3214.

расписаны им самим. Работы мастера Ипполита и его школы весьма многочисленны, однако в Северном Причерноморье до последнего времени была известна лишь пелика из Керчи, хранящаяся в Эрмитаже, с изображением дионисийской сцены (Boardman, 1989. P. 1482; Schefold, 1934. Taf. 9, *1*). Материалы крымских музеев дополняют этот список. Пелика из Керченского музея КМАК-406 (рис. 2, *1*) найдена в 1954 г. в курганном погребении под Керчью. Высота сосуда 28.2 см. Глина розовая, хорошо отмученная, с мелкими слюдяными блестками. Лак черный, густой, блестящий. Роспись сосуда привлекла внимание исследователей мастерски построенной композицией, прекрасным, выразительным рисунком, а также довольно редким сюжетом – выведение Тезея Гераклом из Аида. Датируется ваза 375–370 гг. до н.э. В центре композиции – Тезей. Он как бы пробуждается из небытия, движения его замедленны. Рядом – энергичная фигура Геракла с обычными атрибутами – дубинкой и шкурой немейского льва. Парящая в воздухе Ника венчает героя, справа сидит Афина – неизменная покровительница Геракла. Ее легко узнать по обычным атрибутам – шлему и щиту. Слева стоит Персефона. А.И. Болтунова, опубликовавшая эту пелику, определила ее как работу мастера Геракла (Болтунова, 1971. С. 159–172), однако эту атрибуцию вряд ли можно признать окончательной (Вдовиченко, 1994. С. 42, 43). Многолюдная, заполненная движущимися в разных направлениях персонажами композиция пелики резко отличается от обычной для мастера Геракла схемы, центром которой является главный персонаж. Мягкая моделировка тела, текучая, тонкая, прерывистая линия разительно отличаются от суховатого, острого рисунка мастера Геракла. С другой стороны, стилистическое единство росписи этой пелики с другими работами мастера Ипполита не

вызывает сомнений. Ближе всего к ней – уже упомянутая пелика из Эрмитажа (инв. № 6791) (Schefold, 1934. Taf. 9, *1*), которая также происходит из раскопок Пантикапея. Несмотря на то, что она имеет роспись, отличающуюся по сюжету (Дионис в окружении фиаса), многие фигуры буквально повторяются на обоих сосудах; таковы, например, сидящие женщины в правой части композиции. Также легко найти двойника и для парящей над Гераклом Ники – это Эрот эрмитажной пелики. Тела их покрыты белой накладной краской, крылья обведены широкой полосой с выступами и короткими штрихами.

Из раскопок Херсонеса К.К. Косцюшко-Валюжиничем происходит фрагментированная пелика (КВ-3214) (рис. 2, *2*), роспись которой, несомненно, принадлежит руке самого мастера Ипполита. Пелика датируется началом второй четверти IV в. до н.э. Она склеена из четырех фрагментов, на поверхности их мелкие сколы и выбоины. Склеенные фрагменты образуют почти полную горловину и верхнюю часть стенок пелики. Один из фрагментов сосуда опубликован в работе А.А. Зедгенидзе (1978. С. 70. Рис. 2, 3). Глина светло-коричневая, хорошо отмученная, лак черный, густой. К сожалению, изображение сохранилось лишь частично, но сюжет росписи восстанавливается: Аполлон Гиперборейский верхом на грифоне преследует женщину – воплощение души умершей, ее сопровождает и Гермес-психопомп. Сюжет дается мастером не в обычном сокращенном варианте – Аполлон и женщина (как, например, на росписи килика из Панского (Горбунова, 1977. С. 41–45), а дополнен фигурой бегущего Гермеса, которая буквально скалькирована с других работ мастера – кратеров из Лондона и Берлина (Schefold, 1934. № 179, *145*). Как всегда, много внимания вазописец уделил разработке образа центрального персонажа. Тщательно прорисованное лицо Аполлона имеет отрешенное и торжественное выражение, аккуратно передана прическа из вьющихся локонов. Грифон изображен, как это было принято в начале IV в. до н.э., в виде грозного чудовища с львиным туловищем, орлиной головой и крыльями, нет никаких признаков деградации образа. Его крылья нарисованы так же, как и на других вазах этого мастера (крылья Эрота и Ники на пелике из Эрмитажа инв. № 6791 и пелике из Керчи КМАК-406). Сохранился орнаментальный фриз над рисунком – ионийский киматий, над ним – поясок шашечного орнамента. На оборотной стороне обычная композиция – трое юношей в гиматиях, двое стоят друг за другом в профильном развороте вправо, третий – влево, лицом к ним.

К ранней группе ваз "керченского стиля" относятся и работы мастера Пигмеев. Название дано нами по характерному для него сюжету – сражение пигмеев с журавлями. Пелика из Керченского государственного музея-заповедника (КМАК-24) (рис. 3, *1*) происходит, возможно, из некрополя Пантикапея, поступила в музей до 1929 г., видимо, из дореволюционных раскопок. Высота сосуда 18.5 см. Глина розовая, хорошо отмученная, лак черный, блестящий, густой. Приземистую форму сосуда, вертикальный венчик, невысокие, овальные в сечении ручки можно рассматривать как ранние хронологические признаки (Schefold, 1934. S. 141, 142). Роспись сосуда по своим стилистическим особенностям близка раннему "керченскому стилю", однако И.В. Шталь, опубликовавшая эту вазу (Шталь, 1991. С. 88), датировала ее 350–340 гг. до н.э. На лицевой стороне сосуда изображен бой двух пигмеев с журавлем, на оборотной – фигуры юношей у алтаря. В росписи чувствуется влияние раннего "керченского стиля": фигуры персонажей моделируются тонкими штрихами пера, тела пигмеев пухлые, изнеженные. Журавль очень напоминает лебедей с асков и лекифов начала IV в. до н.э.: такой же круглый глаз с точкой посредине, маховые перья обозначены длинными штрихами пера. Изображения пигмеев, сражающихся с журавлем, даны в сложном развороте, со спины, причем мастер успешно справляется со своей задачей. У пигмея, стоящего справа, правая нога, отставленная в сторону, и рука, в которой он держит короткий меч, даны в перспективном сокращении. Этот закон соблюден и при изображении пигмея, стоящего справа. Движение в композиции направлено в ее центр. Характерный признак "керченского стиля" – использование накладной краски: ею покрываются не отдельные детали изображения, а большие плоскости – тело журавля, дубинки пигмеев. Это создает цветовое пятно, которое выдвигается из плоскости рисунка, придавая ему объем. Тела пигмеев, мускулатура прорисованы тонкими, как паутинка, штрихами пера, которые из-за плохого состояния лакового покрытия не видны на фотографии, поэтому изображения выглядят мешковатыми и бесформенными. Так же плохо сохранилось и изображение на другой стороне сосуда. Фигуры юношей у алтаря кажутся грубыми, в то время как при внимательном рассмотрении рисунка, по углублениям, сохранившимся на глине от пера, видно, что драпировка их гиматиев тщательно проработана тонким пером и кистью, так же аккуратно нарисованы черты лица и пальцы на руке. Пелики с таким сюжетом – обычное явление для IV в. до н.э., однако стилистически роспись пелики из Керченского музея ближе всего пелике из Государственного Эрмитажа NП 1836.1.3 (Шталь, 1991. С. 87, 92). Очень похожи изображения журавлей с длинными шеями: оперение на шее показано рядом точек, линия клюва четко обозначена, глаз в форме кружка с точкой посредине. Однако на пелике из Эрмитажа есть небольшое отличие – вокруг глаз проведена еще одна дуговидная линия, пере-

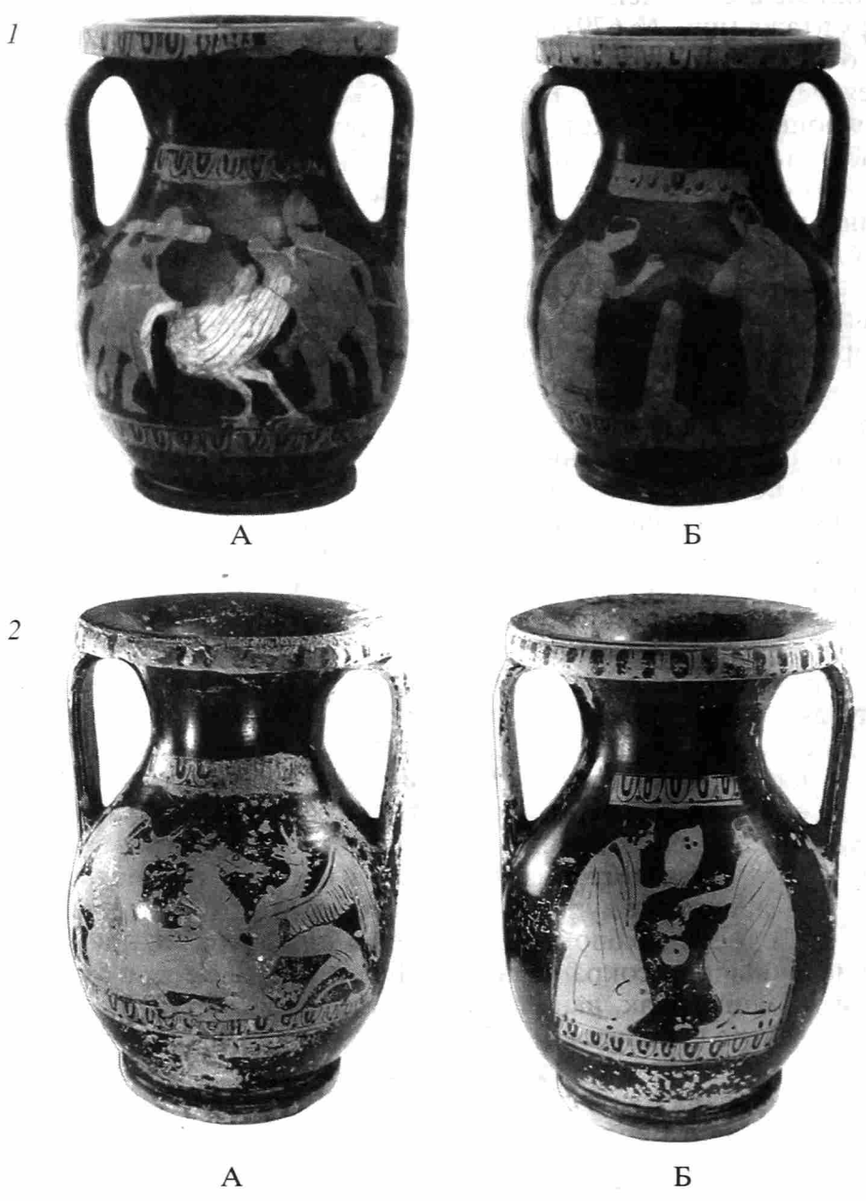


Рис. 3. *1* – пелика из Керченского государственного историко-культурного музея-заповедника КМАК-24; *2* – пелика из Керченского государственного музея-заповедника КМАК-8.

ход от клюва к голове подчеркнут выступом. Подругому здесь прорисованы и крылья: края их закруглены, в верхней части нанесен ряд точек, и они выполнены в краснофигурной технике, в то время как изображение журавля на керченской пелике покрыто белой накладной краской. Близок на обоих сосудах антропологический тип пигмеев. Тела их пухлые, изнеженные, однако пропорции правильные. Пигмеи на обоих вазах бородаты, курчавоволосы, вооружены дубинками и ксифосами, на левое плечо наброшена небрида, края которой свешиваются до пола. Близка форма сосудов: они представляют собой ее размерные варианты (сосуд из Эрмитажа значительно крупнее). Аналогичен орнамент. Все это дает возможность предположить, что роспись ваз выполнена одним мастером или мастером и учеником, и датировать нашу пелику, так же как и вазу из Эрмитажа, 380–370 гг. до н.э.

Зрелый и поздний "керченский стиль" представлен в коллекциях крымских музеев достаточно хорошо. Кроме обширных классов и групп типа Группы поздних кратеров (L.C. group) (Beazley, 1963. P. 1456–1461), Группы Грифонов (Group "G") (Beazley, 1963. P. 1462–1471), найдены сосуды с росписями новых мастеров. Среди них – работы мастера Терзаний. Название дано по обычному для него сюжету: терзание животных чудовищами. Мы знаем пока лишь две его работы. Это две пелики – из Государственного Исторического музея инв. ГИМ № 54711 (Кобылина, 1951. Рис. 2) и из Керченского музея (КМАК-8) (рис. 3, *2*). Она происходит из некрополя Мирмекия. Высота сосуда 24.5 см. Глина розоватая, хорошо отмучен-



Рис. 4. *1* – пелика из Крымского республиканского краеведческого музея КП-1094; *2* – фрагмент кратера из Керченского государственного музея-заповедника КМАК-185.

ная с мелкими слюдяными блестками. Лак черный, блестящий, отшелушивается. На лицевой стороне пелики из Керченского музея изображено терзание лошади двумя грифонами. Аналогичный сюжет и на пелике из ГИМ. Роспись этих сосудов являет собой образец дожившего до середины века "беглого" аттического стиля, обогащенного элементами "керченского" (динамичная композиция, пересекающиеся контуры фигур, использование толстого пера и кисти, дающих штрих, прерывистую линию в качестве основного изобразительного средства, стройные, суховатые очер-тания фигур, а также стремление использовать перспективное сокращение при передаче сложных поз). Нужно сказать, что эти новые приемы не вполне удались мастеру. Хотя позы животных кажутся вполне естественными и лапы грифона, находящиеся на заднем плане, нарисованы меньшими, чем те, которые ближе к зрителю, однако рисунок все же остается плоскостным, лишенным глубины пространства. Не справился художник и со сложной композицией. Туловища грифонов и лошади сливаются в изображении одного чудовищного трехглавого существа. На обоих сосудах – характерное изображение гривы лошади и зубцов на шее грифонов в виде шестеренки, "рачьи", выпуклые глаза грифонов. На оборотной стороне – стандартное изображение двух юношей в гиматиях. Изображение небрежное, с минимальной проработкой деталей, характерны три точки по низу гиматия. Оба сосуда датируются 350–340 гг. до н.э.

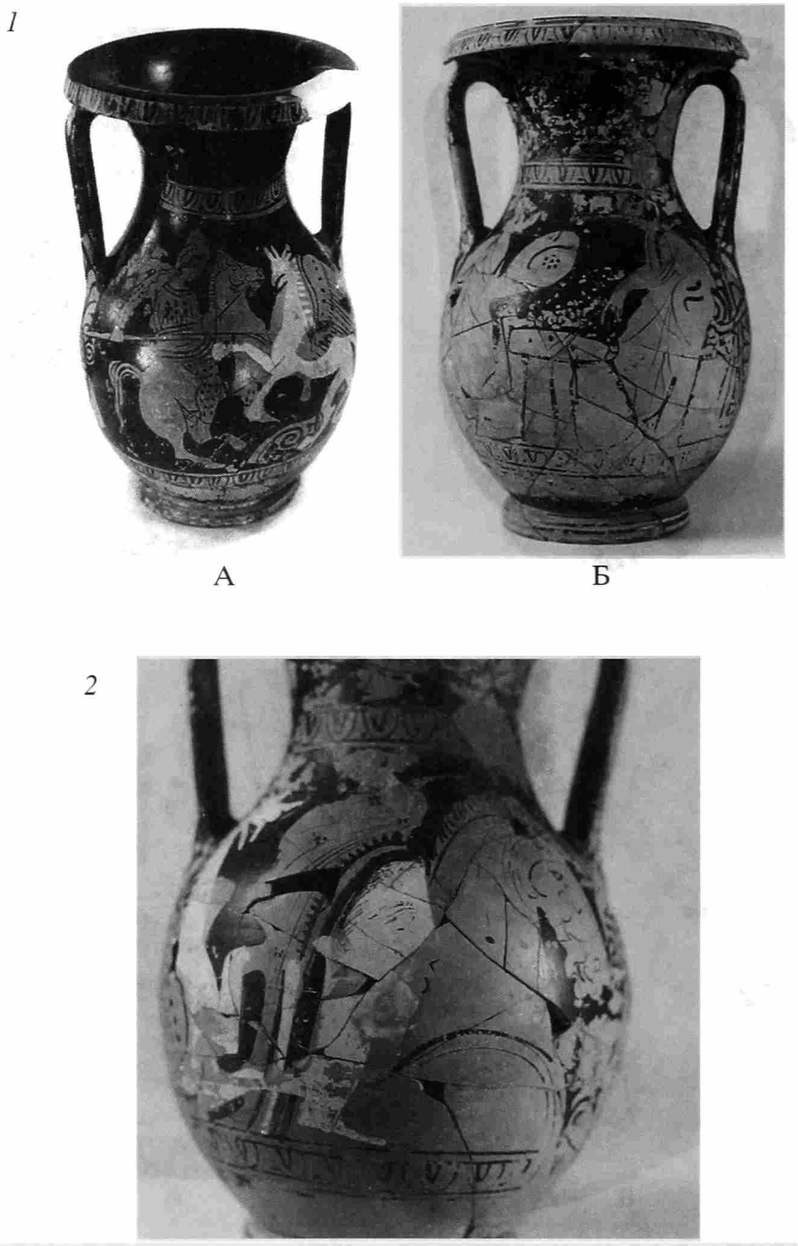


Рис. 5. 1А – пелика из Керченского государственного музея-заповедника КМАК-17; 1Б, *2* – пелика из Феодосийского краеведческого музея КП-42595.

Вазы мастера "Черного тирса" датируются 360–340 гг. до н.э. Это название дано Д. Бизли (Beazley, 1963. P. 1431–1434) по характерному признаку его росписей – закрашенному тирсу. Обычны для него сюжеты дионисийского круга. Композиция уравновешенная, но не лишенная внутреннего динамизма. Трактовка сюжета не отличается оригинальностью и следует в деталях общераспространенным в это время схемам. Однако, несмотря на это, а также на беглый грубый рисунок, вазы его пользовались большой популярностью в Аполлонии (Цанева, 1982), Олинфе (Robinson, 1952. Pl. 29) и других центрах. Популярность эта объясняется, очевидно, декоративностью, свойственной этим вазам. Она создавалась в значительной степени за счет контраста между прекрасным, черным блестящим лаком и обильно употребляемой белой накладной краской, позолотой. В Северном Причерноморье до последнего времени была известна лишь одна работа мастера "Черного тирса" – кратер из Эрмитажа с изображением симпозия (Schefold, 1934. Taf. 27, *4*; Beazley, 1963. P. 1433). Новые вазы, обнаруженные в крымских музеях, – свидетельство того, что сосуды, расписанные этим мастером, поступали, хотя и в незначительном количестве, в этот регион. Пелика из Симферополя № КП-1094 (рис. 4, *1*) происходит из раскопок А.А. Бобринского в Керчи в 1897 г. Высота сосуда 24.5 см. Глина светло-коричневого оттенка, хорошо отмученная, с мелкими слюдяными блестками. Лак черный, густой, блестящий. Сюжет росписи лицевой стороны

сосуда характерен для этого мастера. Изображена сидящая Ариадна, рядом с ней стоят Дионис с тирсом в руке и сатир. На оборотной стороне – двое юношей в гиматиях у алтаря. Характерная особенность росписей мастера – изображение тирса с крупными черными точками внутри контура шишки и виноградные грозди, изображенные так же, как и тирс: светлый контур, а внутри пятно лака. Тело Ариадны, большой тимпан, который ей протягивает сатир, покрыты белой накладной краской. Орнаментация одежды, предметов выполнена кистью, черным неразбавленным лаком. Благодаря обилию пятен лака поверхность кажется пестрой, яркой. Эти же особенности характерны для рисунка фрагмента кратера из Керченского государственного историко-культурного музея-заповедника КМАК-185 (рис. 4, *2*), из старых поступлений, возможно, из Пантикапея. Его размеры 6.4 × 4.6 см. На нем сохранилось изображение хтонической Афродиты, Аида.

Поздний "керченский стиль" особенно полно представлен находками, происходящими с территории Боспорского царства. Традиционные торговые связи с Аттикой не прерывались здесь дольше всего. Много ваз группы "G". К ней относится более 60 сосудов, встречаются работы мастера Амазонки (Amazon Painter) (Beazley, 1963. P. 1478–1480), мастера Митилены 590 (Beazley, 1963. P. 1480), группы Вена 116 (Beazley, 1963. P. 1526, 1527) и др. Такое обилие новых материалов позволило уточнить наши представления об уже известных и хорошо изученных группах ваз. Так, внимательное изучение ваз группы "G" привело нас к выводу о том, что разделение этого массива поздних ваз на группы, предпринятое К. Шефолдом, было правомерным. На наших материалах выделяются все его пять групп (Schefold, 1934, S. 159), однако есть вазы, которые не вписываются в них, например пелика из Керчи КМАК-17 (рис. 5, *1*А), Она расписана мастером, работавшим в традициях группы "G", однако стилистические особенности его росписи настолько выпадают из общего ряда, что мы выделили его как мастера Тюрбановидного алопекиса. Высота сосуда 21.6 см. Глина светло-коричневая, хорошо отмученная, лак черный, жидкий, тусклый. Найдена при раскопках некрополя Пантикапея. Датируется концом третьей четверти IV в. до н.э. Аналогии ей пока неизвестны. Композиция грифономахии тождественна подобным сценам на вазах 5-й группы Грифона (Schefold, 1934. Taf. 25), но детали изображения говорят о другой руке. Отличительной чертой, сразу бросающейся в глаза, является необычной формы алопекис амазонки в виде высокого тюрбана. Изображение лошади не удалось рисовальщику: передние ноги ее слились с изображением грифона. Туловище грифона покрыто белой накладной краской, крылья тщательно прорисованы, морда с открытым клювом и длинными рожками. Датируется сосуд 330–320 гг. до н.э.

К большой группе Митилена 590 (Beazley, 1963. P. 1480), в которой объединены сосуды с изображением протом амазонки, коня и грифона, примыкает мастер пелики из Феодосии № 42595 (рис. 5, *1*Б; 5, *2*). Расписанная им пелика найдена при раскопках некрополя Феодостии Е.А. Катюшиным в 1979 г. Высота сосуда 28.4 см. Глина желтая, хорошо отмученная, с мелкими слюдяными блестками. Лак, первоначально черный, приобрел вследствие вторичного обжига в погребальном костре коричневый оттенок. Рисунок лицевой стороны сосуда гораздо более тщательный, чем обыкновенно на вазах группы Митилена 590. Особое внимание художник уделил лицу амазонки. Поверх белой накладной краски тонким пером прорисованы черты лица: глаз с тяжелым верхним веком и длинными ресницами, прямой нос, пухлые губы. На висках и на лбу изображены даже отдельные волоски, затянутые в прическу. Высокий алопекис драпирован многочисленными складками. Необычен и тип грифона. Его уродливая голова бессильно опущена, рожки тоненькие, на гребне вместо шипов – круглые выступы. Необычна и поза грифона – лапой он когтит амазонку сзади. Изображение лошади выполнено в условно-декоративной манере. Точная аналогия феодосийской – фрагментированная пелика из некрополя Дервени в Северной Греции (гробница "Г"), которая датируется около 323 г. до н.э. (ΘΕΜΕΛΗΣ, ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, 1997. ΠΙΝ 106. Σ 94,95).

Итак, обзор расписных ваз "керченского стиля" из крымских музеев позволяет нам внести некоторые дополнения в далеко не законченную картину вазописи IV в. до н.э., которая в значительной степени будет сформирована лишь в результате тщательной обработки фондов музеев и публикации того обширного материала, который скопился в них за более чем 100-летний срок раскопок памятников Северного Причерноморья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азарова В.П. Один из участков пантикапейского некрополя // Археология и история Боспора. Т. II. Симферополь, 1962.

Болтунова А.И. Курганные погребения IV в. до н.э. под Керчью // СА. 1971. № 1.

Вдовиченко И.И. Две пелики раннего "керченского стиля" из некрополя Пантикапея // Тез. междунар. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения Б.Н. Гракова. Запорожье, 1994.

Горбунова К.С. Краснофигурный килик, найденный на некрополе у с. Панское // История и культура античного мира. М., 1977.

Зайцева К.И. Ольвийская расписная керамика эллинистической эпохи // Художественная культура и археология античного мира. М., 1976.

Зедгенидзе А.А. Аттическая краснофигурная керамика из Херсонеса // КСИА. 1978. Вып. 156.

Книпович Т.Н. О местной керамике Ольвии и Северного Причерноморья // СА. 1949. № XI.

Кобылина М.М. Поздние боспорские пелики // МИА. 1951. № 19.

Козуб Ю.И. Пелика из Ольвийского предградья // Исследования по античной археологии. Киев, 1980.

Цанева М. Кратеры от Аполония (15 картички, текст и тройна корица). София, 1982.

Шталь И.В. Эпические предания древней Греции. М., 1991.

Beazley J.D. Attic red-figured vases pain-ters. 2nd ed. Oxford, 1963.

Boardman J. Athenian red figure vases. The classical period. London, 1989.

Corpus Vasorum Antiquorum 1. München, 1938.

Furtwangler A., Reinhold K. Vasen malerei. Berlin, 1904.

McPhee I., Trendall A.D. Greek Red-figured Fish-plates. Basel, 1987.

Robinson D.M. Excavation at Olynthus. V. 12. Baltimore, 1952.

Schefold K. Unterzuchungen zu den Kertche Vasen. Berlin, 1934.

Sparkes B., Talcott L. Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C. The Athenian Agora. V. XII. Princeton, 1972.

ΘΕΜΕΛΗΣ Π., ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ Γ. ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ. ΑΘΗΝΑ, 1997.

New Vases of "Kerch Style" from the Museums' Collections in Crimea

I. I. Vdovichenko

Summary

Some several thousand classical painted vases, broken to fragments and whole as well, are preserved in the Crimean museums. The pottery in question is dated back to the 7th-4th centuries BC. The vessels produced in Attica in the 4th century BC and attributed to so-called "Kerch style" represent their significant share. Totally 1091 such vases were revealed, and the author has succeeded to attribute them to 48 painters, classes, and groups. The museums' collections preserved in Crimea give an idea on all the stages of "Kerch style" development, still mass common material prevails which dates from the middle – second half of the 4th century BC. This fact obviously reflects the dynamics of Attic painted pottery import to the Bosporus. The transitional period of the late 5th – first quarter of the 4th centuries BC is represented by the works of Painter of the Bonn 2053. In the collection of the Crimean museum of local lore there is a pelika by this artist with representation of women exercising some ritual at the altar (Fig. 1, *1*). In the Kerch resort museum a work attributed to one of the early vase-painters of "Kerch style" – Herakles Painter – is preserved, it is the pelika from Pantikapei excavations of 1957 bearing the image of Aphrodite Chtonia and two Erotes (Fig. 1, *2*). In the same collection the pelika of Hippolites Painter is preserved (Fig. 2, *1*); the same artist decorated the pelika from the National resort Khersones the Taurian (Fig. 2, *2*). On the first vessel one can see Herakles delivering Theseus from the Hades, the second one represents Apollo riding gryphon, Hermes, and a woman. The rendering of the Pygmaei fighting cranes (Fig. 3, *1*) is stylisticaly similar to the Hermitage vase № П 18361 decorated with the same scene. That is why the artist had been encounterd as Painter of the Pygmaei. The vessels representing developed and late stages of "Kerch style" are abundant but very homogeneous as far as their painters are concerned. The pelika from the Kerch resort museum (Fig. 3, *2*) with two gryphones tearing a horse stands apart, as well as the vase from the same museum painted with the scene of gryphonomahia (Fig. 5, *1*). Black-thyrsus Painter is pepresented by the pelika from the Crimean museum of local lore with the Dionysian scene on it (Fig. 4, *1*), and fragment of krateros preserved in the Kerch resort museum depicting Aphrodite Chtonia and Hade (Fig. 4, *2*). The pelika from Theodosia museum is close to large group of Mitilena-590 (Fig. 5, *1Б*; *2*).

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 77–87

ПУБЛИКАЦИИ

К ВОПРОСУ О ПОЗДНЕСКИФСКИХ ЗОЛЬНИКАХ

© 2001 г. Т. Н. Высотская

Симферополь

Атрибутом культуры разных народов Восточной Европы были зольники. Археологически они прослежены с конца эпохи бронзы и распространены на огромной территории от Балкан до Северного Кавказа (Русанова, 1998. С. 160 и сл.).

Зольники бронзового века располагались небольшими группами (до пяти). Высота их не превышала 1–2 м, а диаметр 20–50 м, они имели круглую или овальную форму. Перед возникновением зольника дерн счищали, площадку выравнивали, при этом она немного возвышалась к центру.

От белогрудовских и чернолесских почти не отличаются скифские зольники, но появляются некоторые новшества – на площадке вырывали ямы, в них сооружали очаги, в ямах встречаются останки коней и собак, а иногда человеческие кости.

На скифском поселении VII–V вв. до н.э. близ д. Пожарная Балка на Полтавщине И.И. Ляпушкиным под зольником была открыта культовая яма, в которой поверх небольшого очажка лежал скелет собаки (Ляпушкин, 1951. С. 128).

Известны зольники и на античных поселениях IV–III вв. до н.э. в Северном Причерноморье. Исследователи связывают их с земледельческим культом местного населения (Марченко, Доманский, 1983. С. 38, 40; Кругликова, 1975. С. 65–67).

Скифские зольники открыты как на самих поселениях (Бельское городище), так и за их пределами (Пожарная Балка).

Долгое время в науке ведется спор – что представляли собой зольники – "жилые бугры" (по выражению А.И. Тереножкина) или "священные помойки" (Рыбаков, 1981. С. 306).

А.И. Тереножкин (1961. С. 6–10) и И.И. Ляпушкин (1951. С. 130) весьма решительно отнесли зольники к культурным отложениям. С.С. Березанская в последних работах высказалась осторожно, предположительно связав зольники с культовыми сооружениями (Березанская, 1985. С. 508). А.И. Мелюкова полагает, что обычай ссыпать золу в одно место имеет прямое отношение к культу домашнего или родового очага, ибо помимо бытовых предметов в них встречаются и вотивные: ритуальные сосудики, миниатюрные топорики, глиняные фигурки домашних животных и птиц, ритуальные хлебцы (Мелюкова, 1961. С. 15. Рис. 7). Б.А. Шрамко, признавая мнение В.А. Городцова и А.А. Спицына о связи зольников с жилыми комплексами, в то же время отмечал их возможное отношение к богине Геснии – Табити, поскольку в зольниках бывают иногда вотивные предметы и кости жертвенных животных (Шрамко, 1954. С. 112). В настоящее время большинство скифологов связывают зольники с культом огня и домашнего очага (Ковпаленко и др., 1989. С. 24). Однозначно отнес зольники к культовым и Б.А. Рыбаков, считая при этом, что их появление вызвано усилением роли земледелия (Рыбаков, 1981. С. 308).

Итак, исследователи ограничивали хронологию зольников пределами XI–III вв. до н.э., а вместе с тем традиции продолжали существовать и развиваться.

В Приднепровье зольники известны на городищах Золотая Балка (Вязьмітіна, 1962. С. 65), Любимовском, Лепехинском (Граков Б.Н., 1954. С. 154), Гавриловском (Погребова, 1958. С. 184, 196, 200) и др. В Крыму зольники, по-видимому, существовали на каждом позднескифском городище и селище и даже не в единственном числе (Шульц, 1967. С. 116), но в отдельных случаях не сохранились в силу тех или иных причин. Например, зольник близ городища Тарпанчи был уничтожен местными жителями, которые вывозили золу на поля (Щеглов, 1963. С. 69). Примечательно при этом, что чем больше площадь городища, следовательно, чем больше проживаю на нем народа, тем больше были зольники по высоте и диаметру, а таких громадных зольников, как на Неаполе скифском, не известно ни в Приднепровье, ни в Крыму.

На Неаполе их было четыре: два в черте города (№ 1 – высотой примерно 4 м, диаметром – 88 м, № 2 – высотой 9.5 м, диаметром 105 м) и два к югу от оборонительной стены (№ 3 – высотой 5 м, диаметром 125 м, четвертый зольник не сохранился). На Усть-Альминском городище – три, все в черте города, один из них расположен на обрыве на юге-западной окраине городища. Его высота – 2.5 м, диаметр 40 м.

Берег сильно размывается морем, ежегодно уничтожается большая прибрежная полоса и сейчас уже невозможно установить, как топографически этот зольник был связан в древности со всей площадью города.

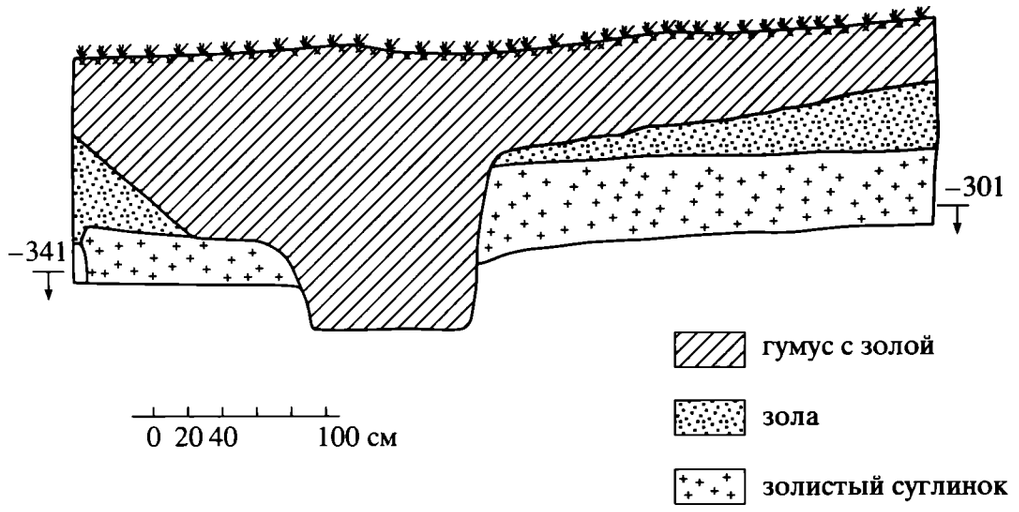


Рис. 1. Стратиграфия северного борта зольника на Усть-Альминском городище (кв. 3а).

Пока исследован только один зольник № 3 на Неаполе скифском. Первоначальные его раскопки были проведены П.Н. Шульцем в 1956–1957 гг. Оказалось, что под насыпью зольника находился малый зольник. В результате раскопок западной части последнего удалось установить его диаметр – 20 м, а высота была, очевидно, не менее 3 м. Зафиксированы остатки каменной вымостки и ограды из камней, которую П.Н. Шульц датировал II в. н.э. Позднее этот зольник был перекрыт новым мощным зольным напластованием и достиг диаметра 125 м. В зольнике найдены обломки подставок от очагов с головами баранов, пирамидальные и конические глиняные грузила для ткацкого станка, точильные камни и оселки, фрагменты разнообразных сосудов (Высотская, 1979. С. 27, 63).

В 1978–1981 гг. в связи с охранными работами на Неаполе скифском раскопки зольника были продолжены. В его западной и северо-западной частях зафиксированы остатки кольцевой крепиды II в. н.э. (Махнева, 1981. С. 287), а в насыпи обнаружены многочисленные фрагменты керамики II–III вв. н.э. и того же времени захоронение младенца в амфоре, но что самое интересное, в юго-западной части зольника открыта вымощенная известковой крошкой овальная площадка, наибольший диаметр которой 10 м, толщина вымостки достигала 15 см.

На площадке по линии С–Ю на расстоянии 0.8–1.0 м друг от друга стояли в древности три менгира высотой более 2 м каждый. О.А. Махнева датировала вымостку первой половиной II в. н.э. (Махнева, 1981. С. 303).

Обращает на себя внимание количество менгиров. Мифологическая система скифов ко времени Геродота уже была развита и принадлежала к индоиранскому миру, где число три считалось магическим. Отсюда скифская триада, трехчленная модель мира, иранская символика трех огней и т.д.

Есть все основания полагать, что скифы и в поздний период не утратили канонизированную в раннее время модель мира и число три для них попрежнему оставалось сакральным.

Площадка с менгирами не имеет аналогов. Однако примечательно, что на скифских памятниках днепровского лесостепного правобережья встречались жертвенники с обожженными каменными столбами высотой 1–1.25 м, диаметром 0.70–1.5 м. На их вершине были углубления. Рядом с жертвенником находилась зола, фрагменты сосудов, обугленные стебли и зерна пшеницы (Ковпаненко и др., 1989. С. 24).

До полной публикации разрозненных частей зольника № 3 Неаполя скифского и скрытых под ним остатков трудно судить о памятнике в целом. Вместе с тем совершенно очевидно, что зольник не был свалкой сожженного мусора, здесь в течение длительного времени совершались ритуальные действа, связанные с культом солнца и огня.

Обратимся к зольнику на Усть-Альминском городище, который расположен, как мы выше говорили, на обрыве. Раскопки на городище не ведутся с 1984 г. и их возобновление не предвидится, а между тем береговая полоса интенсивно разрушается морем и зольнику грозит полное уничтожение, поэтому мы считаем необходимым опубликовать результаты небольших раскопок этого памятника, проведенные нами в 1982–1984 гг., когда был исследован только его северо-западный сектор. Диаметр зольника 40 м, высота 2.5 м. Насыпь, судя по раскопанной площади (225 м^2), состояла из золистого гумуса, золистого суглинка и золы (рис. 1). Хорошо выровненная и утрамбованная площадка постепенно повышалась к центру и была окружена ровиком шириной 50–60 см (в отдельных местах до 80 см), глубиной 40 см. Стенки и дно ровика об-

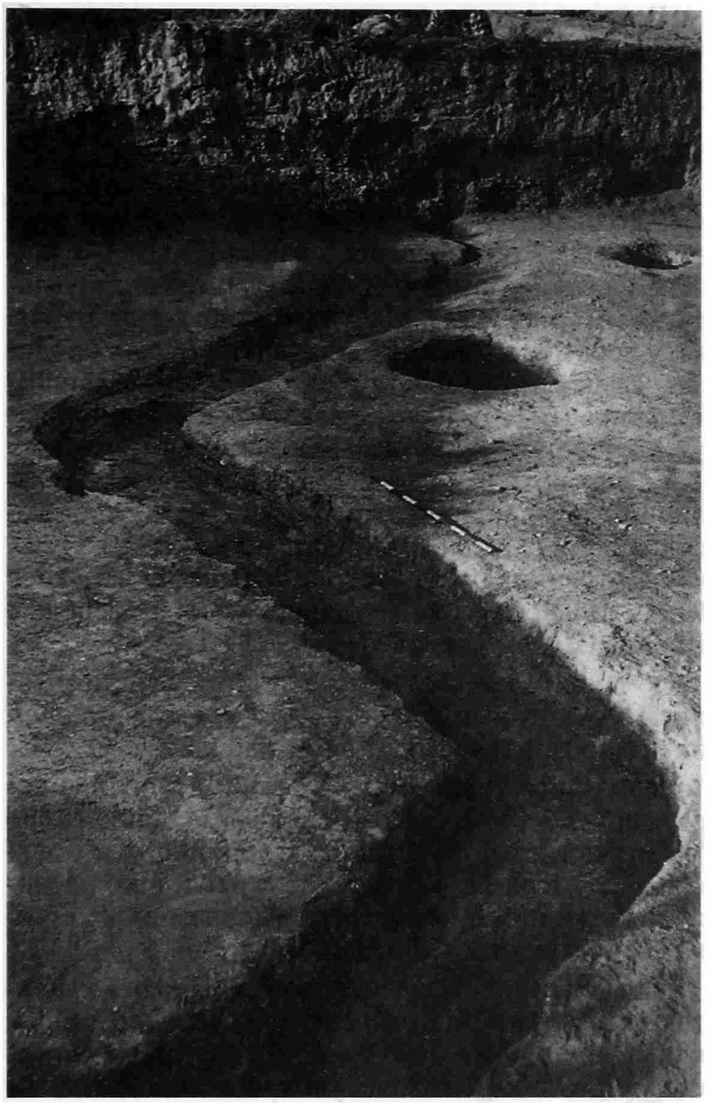


Рис. 2. Зольник на Усть-Альминском городище. Ровик. Вид с севера.

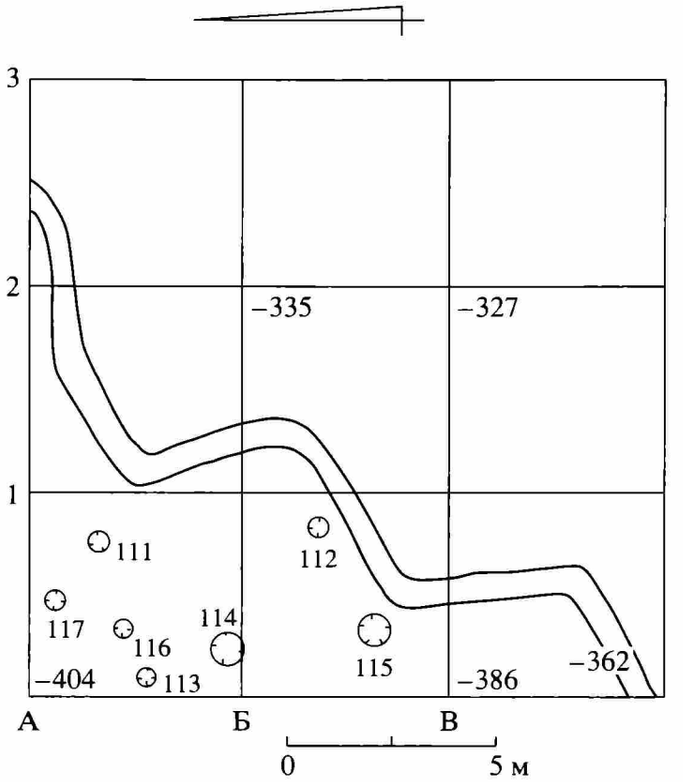


Рис. 3. Исследованный участок под зольником на Усть-Альминском городище.

мазаны глиной. Ровик шел зигзагами, длина колена достигала 3.5–4 м, затем он равномерно изгибался под углом 80° (рис. 2). Нами открыто пять таких колен (рис. 3). В засыпи ровика помимо золы встречены небольшие обожженные косточки мелких животных, угольки и фрагменты керамики преимущественно I в. н.э.

По-видимому, вся площадка под зольником была окружена ровиком (рис. 4). За его пределами выявлено семь ям, некоторые из них глубиной до 2.90 м, многие грушевидной формы. В засыпи ямы № 114 помимо керамических остатков найдено два амулета. Первый – глиняная, хорошо обожженная фигурка (высотой 4.3 см) скифского божка в остроконечной шапочке. Моделировка его предельно схематична: нос – небольшой выступ (кончик его отбит), глаза – два крохотных шарика. Туловище без деталей, конец отбит (рис. 5, *1*). Второй амулет – каменная пластинка. О ней речь пойдет ниже.

В остальных ямах содержались фрагменты керамики I–II вв. В яме № 111 обнаружены захоронения двух собак, а на дне ямы лежала лепная курильница (вазочка на ножке) с угольками (рис. 6, *8*).

Интересна яма № 117 – в ней было совершено погребение 18 собак. Скелеты некоторых крупнопородных собак лежали целиком, другие оказались расчлененными. Так, кости передних ног одной особи оказались на костях крупного животного. На дне ямы обнаружена целая краснолаковая чашечка I в. н.э. (рис. 6, *3*).

Все ямы находились под насыпью зольника, а в ней были многочисленные керамические остатки. При этом в верхних слоях преобладала керамика II–III вв., тогда как в суглинистом слое – керамика I–II вв. н.э. Она представлена фрагментами амфор, краснолаковой (рис. 6, *1*, *2*, *4*, *5*) и лепной посуды (рис. 6, *6*, *9*). Среди последней обломки курильниц (рис. 6, *7*). Найдены также фрагменты уникального гончарного сосуда: верхняя часть его покрыта толстым слоем белой обмазки и расписана: над выступом, опоясывающим сосуд, шла красная полоса шириной 6–7 мм, ниже – широкая черная в 3 см (рис. 6, *10*).

Примечательно, что в раннескифских зольниках известны сосуды с наиболее богатой орнаментикой (Ковпаненко, 1967. С. 53, 68).

Кроме того, в зольнике встречались миниатюрные ритуальные толстостенные сосуды (рис. 5, *3–6*). Подобные, также, очевидно, ритуальные сосуды,

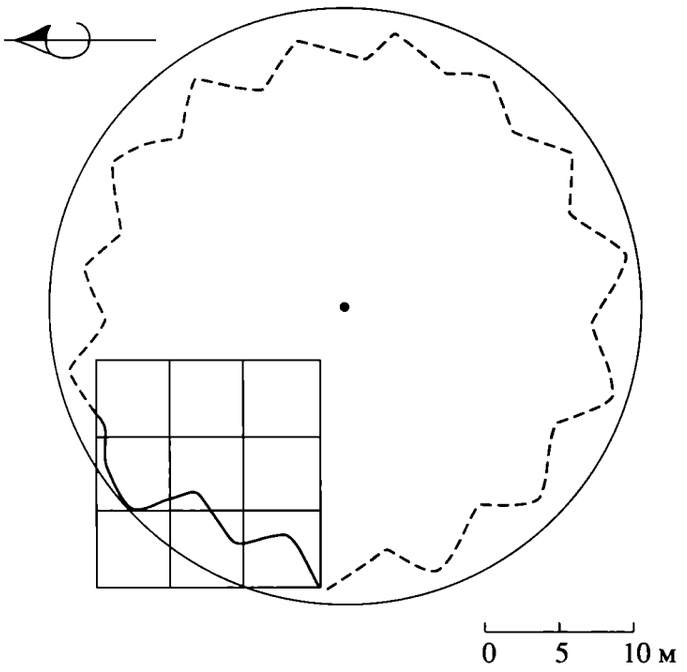


Рис. 4. Предполагаемая конфигурация площадки под зольником на Усть-Альминском городище.

обнаружены в зольнике Неаполя скифского (Высотская, 1979. Рис. 43).

Маленькие сосудики из зольников более раннего времени Б.А. Рыбаков лишь предположительно отнес к вотивным, предполагая, что они могли быть детскими игрушками и случайно попадали в кострища (Рыбаков, 1981. С. 316). В нашем случае есть все основания связывать подобные сосуды с ритуалами, так как в детских погребениях позднескифских могильников они ни разу не встречены, а известны только по находкам из зольников и жертвенников.

Обнаружены в насыпи зольника и керамические кружочки (рис. 5, *8*), которые мы считаем фишками для игр (Высотская, 1995. Рис. 4), а также кружочек диаметром 5 см из стенки амфоры с изображением (граффито) корабля с весельным движителем и тараном, т.е. военного корабля (Петерс, 1982. С. 83). Этот амулет вполне мог принадлежать военному моряку.

Из сообщений древних авторов известно, что еще скифы-кочевники, познакомившись с морем, стали заниматься морским разбоем (Strab., VII, *3*, *7*; Diad., IV, 40, *4*). Б.Н. Граков полагал, что у скифов при Скилуре был свой военный флот (Граков, 1947. С. 87). Разделяет эту точку зрения и Б.Г. Петерс (1982. С. 81 сл.). Амулет из усть-альминского зольника служит подтверждением этого мнения и дает основание предположить, что у берегов древнего Палакия (Усть-Альминского городища) – форпоста скифского государства на западных рубежах – могла стоять своя флотилия.

Кроме специализированных военных кораблей, судя по изображениям на стенках саркофага из склепа № 450 усть-альминского могильника (Пуздровский и др., 1997. Рис. 126, *11*), существовали парусные, очевидно, торговые суда.

Среди керамических находок зольника довольно значительный процент принадлежит грузилам для ткацкого станка, как круглым, сделанным из стенок амфор (рис. 5, *15*), так и пирамидальным (рис. 5, *14*). Мы уже писали о том, что из всех керамических грузил, найденных на городище, самый большой процент их был в данном зольнике (Высотская, 1994. С. 44), куда они попали в качестве вотивов. Примечательно, что грузила как вотивные подношения найдены в различных поминальных тризнах, в том числе в могильнике у с. Молога (Малюкевич, 1994. С. 120), в жертвенниках на Тернопольщине (Малеев Ю.Н., 1994. С. 118), в зольниках на побережье Днепра (Ляпушкин, 1951. С. 127).

У греков грузила также иногда использовались в культовых целях, в качестве подношений их приносили в храмы (Гайдукевич, 1952. С. 401).

В.Ф. Гайдукевич отмечал, что на Боспоре неоднократно в очагах встречались скопления (до 39 штук) глиняных грузил, отличающихся большими размерами, с отверстием, необычно расположенным ниже, чем у грузил для ткацкого станка (Гайдукевич, 1952. С. 397).

Такие грузила вряд ли использовались в утилитарных целях: как подвески они были неудобны, как грузила для рыболовных сетей также (представление о подобном их употреблении давно отвергнуто). Однако скопления грузил в очагах наводит на мысль, что они могли быть специально изготовлены как предметы культа домашнего очага и были посвящены богине Гестии. Но это предположение требует еще проверки. Вместе с тем несомненна связь грузил с культом огня.

Кроме того, в усть-альминском зольнике найдены глиняные пряслица (рис. 5, *9*), оселки (рис. 5, *13*), терочники из ножек амфор (рис. 5, *18*), астрагалы (рис. 5, *10*), костяные проколки (рис. 5, *19*), фрагменты костяных изделий (рис. 5, *16*, 17), стеклянная подвеска (рис. 5, *20*) и втульчатые железные сарматские стрелы (рис. 5, *11*, *12*). По классификации А.М. Хазанова (1971. Табл. XX, *6*, *10*) последние можно датировать II–IV вв. н.э.

Примечательно в связи с этим, что оружия в усть-альминском могильнике найдено мало (Высотская, 1994. С. 86), следовательно, стрелки (их всего было две), очевидно, также были вотивными. В насыпи зольника встречены две монеты – одна неопределима из-за плохой сохранности, вторая – херсонесский тетрассарий 80 г. н.э.

Интересен еще один амулет – неровно обколотая каменная плитка подквадратной формы размером 3.5 × 3.5 см, толщиной 0.6 см. На ее загла-

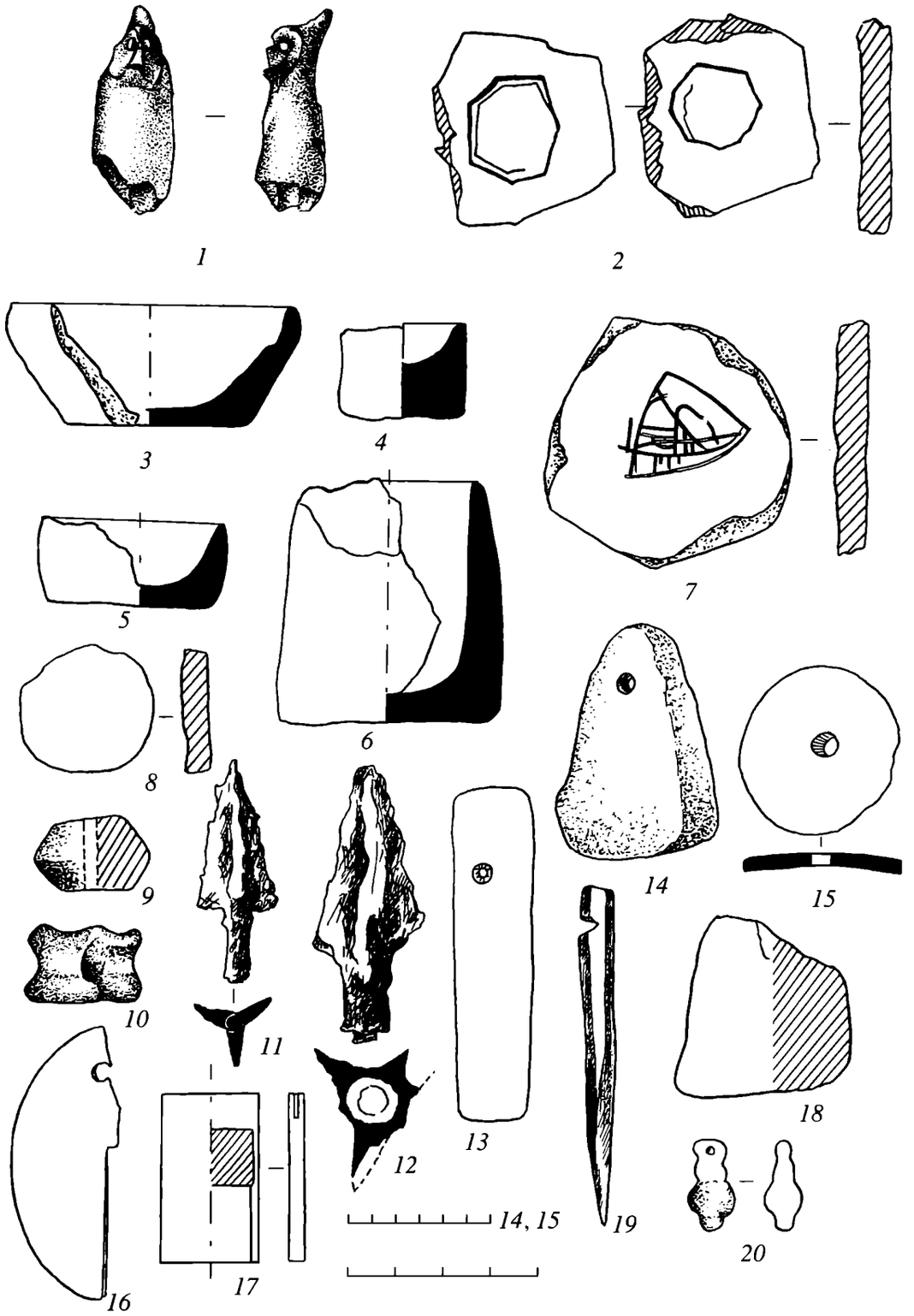


Рис. 5. Находки из насыпи зольника на Усть-Альминском городище.

женной поверхности с двух сторон нанесены неровные очертания кругов диаметром около 2 см (рис. 5, *2*). Перед нами снова вотивный предмет, в данном случае с изображением солярного знака.

Заметим попутно, что на каменной стеле с городища "Чайка", где, по мнению Е.А. Поповой, изображена сцена адорации верховной богини, над рельефом слева помещен прямоугольник, справа – четко очерченный двумя линиями круг (Попова, 1974. Рис. 1). В древнеиндийской религии обе эти фигуры связаны с культом огня: круг – воплощение огня земного, четырехугольник – огня небесного (Раевский, 1977. С. 105).

Еще один пример связи подобного изображения с культом огня, очага – на городище Золотая Балка открыт глиняный жертвенник, разделен-

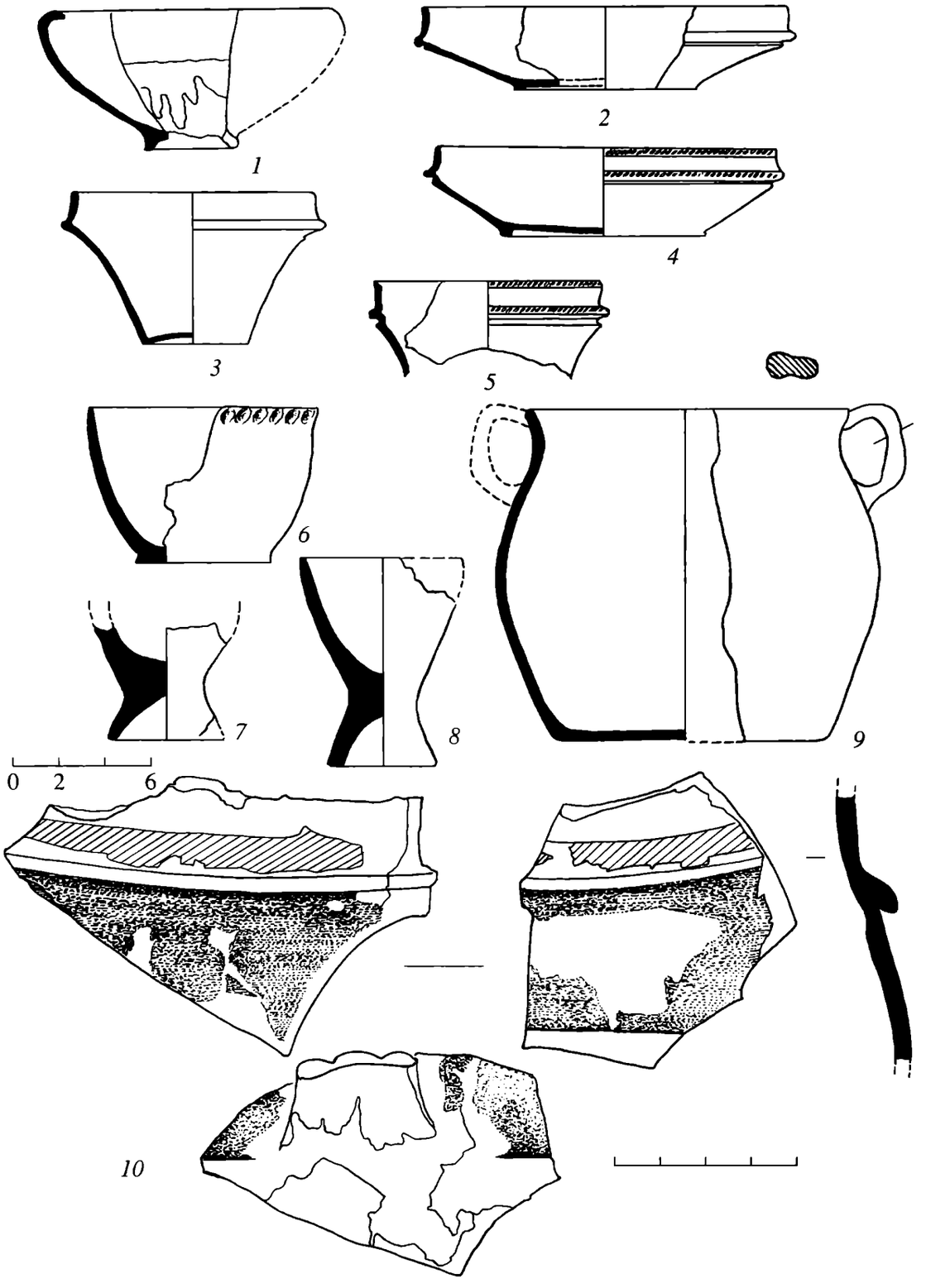


Рис. 6. Находки из насыпи зольника на Усть-Альминском городище.

ный тройной линией на четыре части, в каждой из которых помещено по три концентрические окружности (Вязьмітіна, 1962. Рис. 86, 7).

С древних времен символы солнца играли охранную роль и в качестве оберегов их ставили на различных предметах (Даркевич, 1960. С. 64). Интересно, что на славянском городище Камно близ Пскова найдены многочисленные каменные плитки размером 7 × 4.5 см; 6 × 5.5 см, толщиной не более 2.5 см с различными изображениями, в том числе, подобно нашей, с солярными – в виде двух концентрических окружностей (Тараканова, 1956. С. 153).

Обратим внимание читателей еще на один момент. Мы говорили, что в насыпи зольника встречались керамические кружки (фишки для игры).

В данном случае они, видимо, как круглые предметы служили вотивами и подобно амулету с изображением корабля и плитке с прочерченными кружками были атрибутами обрядов, связанных с солнцем и огнем. Найденные в зольнике материалы дают основание считать, что возник он не ранее I в. н.э. и просуществовал до II–III вв. н.э. Весьма примечательно, что в насыпи зольника встречены человеческие кости: локтевая и большая берцовая. В раннескифских зольниках также неоднократно встречались человеческие кости (см. выше).

На священном празднике у скифов, описанном Геродотом (Her., IV – 7), по мнению Д.С. Раевского (1977. С. 111), совершалось бракосочетание Колоксая с богиней огня. Если допустить, что праздник сопровождался ритуалом убийства "временного царя" (Раевский, 1977. С. 111), то с подобными мифическими жертвоприношениями могут быть связаны найденные в усть-альминском зольнике человеческие кости и погребение младенца в амфоре в зольнике № 3 Неаполя скифского.

Из этнографических параллелей известен древний обряд человеческих жертвоприношений летнему божеству солнца (Фрезер, 1980. С. 723), впоследствии он трансформировался и, в частности, во время купальских праздников, приуроченных к сенокосу и жатве, был заменен сжиганием чучел и кукол (Велецкая, 1978. С. 96; Токарев, 1977. С. 238; Гроздова, Токарев, 1977. С. 34; Иванова, 1983а. С. 129. Сн. 20).

Наконец, в насыпи зольника зафиксировано захоронение трех собак. В мифологии многих народов мира одним из священных животных была зольника. Она спутница Артемиды и Гекаты, собака – самая высокая жертва богу войны в Спарте (Жельвис, 1984. С. 135). В зороастрийском мире собака – существо, равноценное человеку (Шантепи-де-ла Сосей, 1913. С. 135), существо, связанное в иранской религии (Литвинский, 1981. С. 96).

Значение собаки в погребальном культе достаточно подробно разработано Б.А. Литвинским и А.В. Седовым (1984. С. 161 и сл.). Вот лишь некоторые дополнения: у персов: душа человека после смерти переходит к собаке (Соколова, 1972. С. 6). В древнем Хорезме среди человеческих захоронений обнаружены оссуарии с костями собак (Снесарев, 1969. С. 321). Священным животным собака была и у сарматов. Известны захоронения собак в савроматских курганах. В особой яме, в специальном деревянном гробу лежала собака в одном из раннесарматских курганов Поволжья (Шилов, 1975. С. 115). Скелет собаки был в сарматском погребении у с. Ново-Филипповка (Вязьмитина, 1952. С. 222).

На Северном Кавказе собака почиталась с древних времен и до раннего средневековья (Абетеков, 1978. С. 63). В.А. Кузнецов обнаружил на дольменообразных склепах изображения собак, которые, по его мнению, "выполняли охранные функции, оберегая покой мертвых" (Кузнецов, 1962. С. 53). Черепа и кости собак встречались в некрополе Илурата (Кубланов, 1983. С. 114).

У поздних скифов собака также выступает в роли стража мертвых: захоронения трех собак зафиксированы в мавзолее Неаполя, причем одна из них была положена на притолоку двери после совершения последнего захоронения (Погребова, 1961. С. 108).

Скелеты собак неоднократно встречались в погребениях некрополя Неаполя (Сымонович, 1983. С. 41, 45, 65 и др.). Собака изображена на стене склепа № 2 некрополя Неаполя. Захоронение собаки обнаружено в склепе (№ 51) усть-альминского могильника (Высотская, 1994. С. 71).

Вместе с тем роль собаки была двойственной: с одной стороны она существо хтоническое, с другой, как отмечали Б.А. Литвинский и А.В. Седов, находится между миром телесным и духовным (Литвинский, Седов, 1984. С. 163).

В грузинском фольклоре собака – друг и спаситель человека (Литвинский, Седов, 1984. С. 167), ей посвящались храмы, изображения собак найдены на территории Абхазии (Жельвис, 1984. С. 135). Еще у древних трипольцев образ собаки отражал идею охраны и сбережения жилья, а в более широком смысле – охраны благосостояния человека (Бибиков, 1953. С. 269). В вавилонских древностях собака изображалась как священное животное богини плодородия Иштар (Свешников, 1968. С. 23).

Б.А. Рыбаков полагает, что апотропеические функции собаки с древних времен были довольно широки. Он вслед за Б.Л. Богаевским приписывает ей важную роль в охране посевов (Рыбаков, 1965. С. 27). Если это так, то неудивительно, что рядом с собакой изображалась идеограмма молодого растения – деревце или колос.

В древнеиранской мифологии Сэнмурв – крылатая собака, посредник между божеством неба и земли, стряхивает с чудесного дерева семена всех растений (Тревер, 1937. С. 11, 12). В древнем Риме существовал обычай при восходе Сириуса, находящегося в созвездии Большого Пса, приносить в жертву рыжих или близких к красному цвету собак для спасения посевов от засухи и жары (Штаерман, 1987. С. 34).

Даже в средние века существовала вера, что урожай хлебов зависит от духа или демона, в частности от "большой или ржаной собаки" (Токарев, 1983. С. 13).

Еще один очень важный для нас в данном случае аспект культа собаки – ее связь с огнем, очагом. На поселении II–IV вв. н.э. в Переяславском районе Киевской области обнаружено погребение собаки под печью (Бибиков, 1953. С. 270).

По-видимому, двойной функцией была наделена собака и у скифов. На раннескифских поселениях открыты жертвоприношения собак, в том числе в зольнике у с. Пожарная Балка (Андриенко, 1978. С. 289), в одном из жертвенников на Бельском городище в основании найдены два черепа собак. Неоднократно встречались захоронения собак в ямах, например на городище Керменчик (Дашевская, 1957. С. 112). На городище Беляус в одном из помещений у стены были закопаны две собаки (Дашевская и др., 1976. С. 321), олицетворяющие идею охраны и сбережения жилья.

Итак, собак была наделена различными функциями, в том числе очевидна ее связь с огнем, очагом и в конечном итоге с плодородием земли.

Захоронения собак в позднескифских зольниках и, в частности, большое скопление их в ямах под зольником на Усть-Альме свидетельствуют о ритуальных жертвоприношениях этих животных и их прямой связи с солнечным культом. Кроме того, существовал обряд сжигания мелких животных, о чем можно судить по пережженным косточкам из засыпи рва.

Позднескифские зольники, как нам удалось проследить на примере Неаполя скифского и Усть-Альмы, представляли собой не только места для "ссыпки очажной золы, сочетавшиеся с культом очага и огня", как думал П.Н. Шульц (1971. С. 136), а грандиозные ритуальные кострища, на которых собиралось все сообщество для совершения обрядовых огнищ, приуроченных, по-видимому, к определенным солнечным фазам, поскольку у земледельцев время четко делилось по сезонам. Справедливо мнение Б.А. Рыбакова, которое вполне соответствует данной ситуации, что для возникновения самой возможности организации таких грандиозных костров необходимо было достаточно развитое земледелие (Рыбаков, 1981. С. 306).

Наличие не одного, а нескольких зольников на таких городищах, как Неаполь скифский и Усть-Альма, пока объяснить трудно. Можно лишь предположить, что либо зольники были разновременными, либо служили для отправления разных обрядов (например, в день летнего или зимнего солнцестояния), либо в разных местах городищ одновременно совершались те же обряды. Этнография дает немало примеров одновременного возжигания костров во время весенних праздников (Салманович, 1977. С. 297).

Помимо общественных святилищ, какими нам представляются громадные зольники позднескифских городищ, открыты и небольшие. Таков зольник (его $H = 0.5$ м) у культового здания "Е" на Неаполе скифском (Высотская, 1979. С. 64. Рис. 20). Он возник во II в. до н.э. Возможно, там, где были храмы, до появления обрядов, связанных с громадными кострищами, скифы совершали ритуалы только в храмах. Такое предположение тем более вероятно, что на Каменском городище на Днепре, где неизвестны большие зольники, был открыт храмик, по предположению Б.Н. Гракова, богини домашнего очага, одно из помещений которого служило оградой для кучи золы (Граков, 1954. С. 61, 65).

Площадкам под зольником придавали форму круга, который сам по себе имел магическое значение. Чтобы очертания сохранялись, площадку укрепляли каменной оградой (Неаполь скифский) или ровиком (Усть-Альма).

Судя по этнографическим данным, в кострах сжигали солому, мякину, обмолоченные снопы, домашний мусор, хворост (Рыбаков, 1981. С. 315; Салманович, 1977. С. 297).

До полной публикации материалов зольника № 3 Неаполя скифского и исследования других зольников можно лишь предположить, что в столице обряды, связанные с возжиганием огня, были более разнообразны и более сложны, чем у земледельческого населения периферии – непосредственных производителей пшеницы, которой славилась Скифия в позднее время. Отсюда различие в атрибутах двух сравниваемых нами зольников – Неаполя и Усть-Альмы.

В обрядах, осуществляемых на последнем, как мы видели, значительное место было уделено собаке – священному животному, охранявшему поля и посевы, тогда как на одной из площадок неапольского зольника были менгиры. Причем один из них (средний, № 2) сохранился *in situ*, т.е. стоял почти вертикально, два других упали.

Допустим, что менгиры служили ориентирами для определения какой-то солнечной фазы, предположим, для летнего солнцестояния.

На каком расстоянии друг от друга она располагались? Если нам известна их высота (200 см), попробуем сделать теоретические расчеты.

Поскольку географические координаты Симферополя равны 45° с.ш. и значение эклиптики в день летнего солнцестояния (22 июня) – 23°27′, солнце над горизонтом в этот день поднимается в данной местности на высоту (45 + 23) – 68°. При высоте менгира, равной 200 см, длину тени, падающей от него на землю (а она будет самой короткой в этот день), можно рассчитать по формуле, известной из геометрии (см. рис. 7):

$$b = \frac{a}{\operatorname{tg}\alpha}, \text{ если } a = 200 \text{ см},$$

а $\operatorname{tg}68°$ (по таблице тангенсов) = 2.475,

то $b = \frac{200}{2.475} = 80$, т.е. наши менгиры по линии север–юг должны были располагаться друг от друга на расстоянии 80 см, чтобы тень одного из них

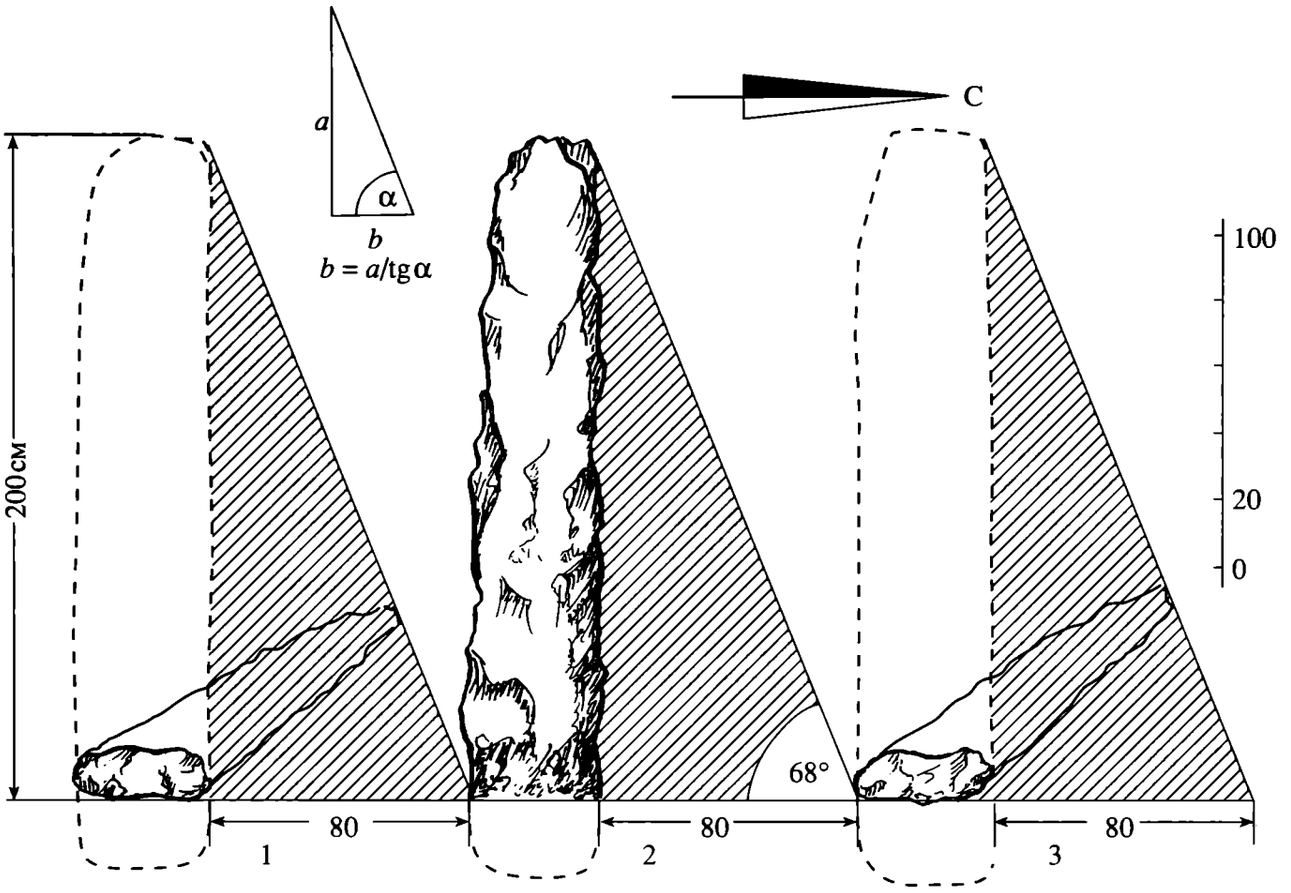


Рис. 7. Схема расположения менгиров на площадке Неаполя скифского.

точно ложилась к подошве другого (рис. 7). Как помним, менгиры, по мнению исследователей, стояли в древности примерно на расстоянии 80–100 см.

Таким образом, теоретические расчеты[1] полностью совпадают с археологическими реалиями и позволяют допустить, что на Неаполе существовала своеобразная "обсерватория", а менгиры с их ритуально-астрономическими предназначениями позволяли, по-видимому, жрецам устраивать представления, связанные с наблюдением за положением солнца. И жители города абсолютно точно знали день, когда можно было начинать уборку урожая озимых[2].

Не случайно поэтому площадка с менгирами находилась на краю зольника № 3. Очевидно, она постоянно оставалась открытой, не засыпанной пеплом.

Культ солнца был широко распространен у всех индоиранских народов.

Примечательно, что главным праздником индоиранцев был Новый год солярного календаря, приуроченный к весеннему равноденствию. Этот день означал победу солнца над мраком и холодом (Кузьмина, 1976. С. 57).

Известно, какое влияние оказала индоиранская религия на духовную культуру скифов. Традиции живут долго. Календарный праздник поздних скифов это подтверждает.

Для получения рассмотренной астролябии на Неаполе достаточно было бы одного менгира, но, очевидно, каждый из них олицетворял одну из трех стихий: землю, воду и небесную сферу. И в день кульминации солнца стихии как бы вступали во взаимодействие, что усиливало направленность магических ритуалов. Со временем площадка была перекрыта зольником.

Славянский мир унаследовал традиции ираноязычных предков, об этом в литературе речь шла не раз (Седов, 1979. С. 99 и сл.).

Видимо, отсюда столь близкое сходство позднескифских святилищ-зольников с языческими славянскими капищами. На них можно видеть те же круглые площадки, обнесенные ровиком – правильной кольцевой канавкой (Куза, Соловьева, 1972. С. 151) или канавкой в форме цветка из полукружий (Седов, 1953. С. 100. Рис. 44). Но обязательным атрибутом капищ становится идол, который помещали в центре круга (Москаленко, 1966. С. 203, 208).

[1] Выражаю благодарность вице-президенту астрономо-геофизического общества России проф. В.М. Можжерину и проф. Г.В. Кобозеву за ценные консультации.

[2] Известно, что в Крыму озимую пшеницу начинают убирать в 20-х числах июня (Памятная книжка..., 1889. С. 62).

Вера в продуцирующую силу огня зафиксирована в этнографии многих народов мира (Иванова, 1983б. С. 11). Считалось естественным и необходимым в дни, когда огонь и жар великого светила, как писал Дж. Фрезер, начинает убывать или, напротив, прибывать, зажигать огни на земле, ибо их жар должен был плодотворно влиять на плодородие полей (Фрезер, 1980. С. 689, 705).

Рассмотренные зольники, как мы указывали выше, датируются первыми веками н.э., когда шел интенсивный процесс синкретизма скифской и сарматской культур. Этот процесс слил воедино и усилил идею поклонения солнцу и огню, характерную для каждого из этих народов (сарматы, как известно, были огнепоклонниками (Смирнов, 1975. С. 155 и сл.). Среди курганных погребений нижнего Поволжья известны своеобразные "храмы огня", но связанные с другой традицией (Смирнов, Попов, 1969. С. 210 и сл.). В первые века н.э. сама идея получила новое воплощение в виде возжигания огня в определенном месте и в определенное время.

В целом рассматриваемый обычай входит в круг общечеловеческих представлений, относящихся к аграрному культу. В земледельческой среде он был обогащен разнообразной обрядностью, сохранившейся у различных народов вплоть до наших дней (купальские огни, русалии и т.д.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абетеков А.К. О погребении собаки в усуньском кургане в Чуйской долине // КСИА. 1978. Вып. 154.

Андриенко В.П. Новые раскопки у с. Пожарная Балка // АО–1977. 1978.

Березанская С.С. Археология Украинской ССР. Т. I. Киев, 1985.

Бибиков С.Н. Поселение Лука-Врублевецкая на Днестре // МИА. 1953. № 38.

Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978.

Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. Киев, 1979.

Высотская Т.Н. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев, 1994.

Высотская Т.Н. Игрушки и игры поздних скифов // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. Симферополь, 1995.

Вязьмитина М.И. Сарматские погребения у с. Ново-Филипповка // ВССА. 1952.

Вязьмітіна М.І. Золота Балка. Київ, 1962.

Гайдукевич В.Ф. К вопросу о ткацком ремесле в боспорских поселениях // МИА. 1952. № 25.

Граков Б.Н. Термин ΣΚΥΤΑΙ и его производные в надписях Северного Причерноморья // КСИИМК. 1947. Вып. XVI.

Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре // МИА. 1954. № 36.

Гроздова И.Н., Токарев С.А. Весенние праздники. Заключение // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1977.

Даркевич В.П. Символы небесных светил в орнаменте древней Руси // СА. 1960. № 4.

Дашевская О.Д. Скифское городище Красное (Кермен-Кыр) // КСИИМК. 1957. Вып. 70.

Дашевская О.Д., Голенцов А.С., Михлин Б.Ю., Старченко Е.В. Раскопки на Беляусе // АО–1975. 1976.

Жельвис В.И. Человек и собака (восприятие собаки в разных этнокультурных традициях) // СЭ. 1984. № 3.

Иванова Ю.В. Обрядовый огонь // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1983а.

Иванова Ю.В. Следы солярного культа // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1983б.

Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі. Київ, 1967.

Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Памятники скифской эпохи днепровского лесостепного Правобережья. Киев, 1989.

Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1975.

Кубланов М.М. Раскопки некрополя Илурата. Итоги. Проблемы // Научно-атеистические исследования в музеях. Л., 1983.

Куза А.В., Соловьева Г.Ф. Языческое святилище в земле радимичей // СА. 1972. № 1.

Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа // МИА. 1962. № 106.

Кузьмина Е.Е. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифосибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.

Литвинский Б.А. Семантика древних верований и обрядов памирцев // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981.

Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы кушанской Бактрии. М., 1984.

Ляпушкин И.И. Поселение скифского времени близ дер. Пожарная Балка Полтавской области // КСИА. 1951. Вып. XXXVII.

Малеев Ю.Н. Культовый центр на поселении Бедриковцы // Тез. докл. междунар. конф. "Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья". II. Запорожье, 1994.

Малюкевич Л.Е. Комплекс поминально-погребальных тризн моложского жертвенника // Тез. докл. междунар. конф. "Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья". II. Запорожье, 1994.

Марченко К.К., Доманский Я.В. Культовый зольник на поселении Куцуруб I // КСИА. 1983. Вып. 174.

Махнева О.А. Раскопки на пригородной территории Неаполя скифского // АО–1980. 1981.

Мелюкова А.И. Культуры предскифского периода в лесостепной Молдавии // МИА. 1961. № 96.

Москаленко А.Н. Святилище на реке Воргол // СА. 1966. № 2.

Памятная книжка Таврической губернии / Под ред. Вернера К.А. Отд. IV. Симферополь, 1889.

Петерс Б.Г. Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1982.

Погребова Н.Н. Позднескифские городища на Нижнем Днепре (Городища Знаменское и Гавриловское) // МИА. 1958. № 64.

Погребова Н.Н. Погребения в мавзолее Неаполя скифского // МИА. 1961. № 96.

Попова Е.А. Рельеф с городища "Чайка" // СА. 1974. № 4.

Пуздровский А.Е., Зайцев Ю.П., Лобода И.И. Охранные раскопки Усть-Альминского могильника // АИ в Крыму в 1994 г. Симферополь, 1997.

Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977.

Русанова И.П. Культовые зольники скифского времени // МАИЭТ. 1998. Т. VI.

Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // СА. 1965. № 2.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.

Салманович М.Я. Румыны // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1977.

Свешников И.К. О символике вещей михайловских кладов // СА. 1968. № 1.

Седов В.В. Древнерусское языческое святилище в Перыни // КСИИМК. 1953. Вып. 50.

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.

Смирнов К.Ф. Сарматы – огнепоклонники // Археология северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1975.

Смирнов К.Ф., Попов С.А. Сарматское святилище огня // Древности Восточной Европы. М., 1969.

Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969.

Соколова З.П. Культ животных в религиях. М., 1972.

Сымонович Э.А. Население столицы позднескифского государства. Киев, 1983.

Тараканова С.А. Каменные плитки с рисунками с городища Камно // КСИИМК. 1956. Вып. 62.

Тереножкин А.И. Предскифский период на днепровском Правобережье. Киев, 1961.

Токарев С.А. Лужичане // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1977.

Токарев С.А. История изучения календарных обычаев и поверий // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1983.

Тревер К.В. Сэнмурв-Паскудж, собака-птица. М., 1937.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1980.

Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971.

Шантепи-де-ла Сосей П.Д. История религий. Т. 2. СПб., 1913.

Шилов В.П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л., 1975.

Шрамко Б.А. Новые поселения и жилища скифского времени в бассейне Северного Донца // КСИИМК. 1954. Вып. 54.

Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987.

Шульц П.Н. Скифский город на реке Булганак // АИ на Украине 1965–1966 гг. Вып. I. Киев, 1967.

Шульц П.Н. Позднескифская культура и ее варианты на Днепре и в Крыму // ПСА. 1971.

Щеглов А.Н. Раскопки городища Тарпанчи в 1960 г. // СХМ. 1963. Вып. III.

On the Problem of Late-Scythian Cinder-Heaps

T. N. Vysotskaya

Summary

Large cinder-heaps dated to the beginning of C.E. discovered at the Neapolis the Scythian and Ust'-Alma hillfort are examined in the article. Their genetic links with the earlier cinder-heaps attributed to the Scythians are demonstrated. The author presents a detailed analysis of the finds from the Ust'-Alma cinder-heap, as well as the attributes accompanying it, including the pits around the central area beneath the heap containing numerous dogs' burials. Extensive material is drawn to interpret the dog cult practiced the late Scythians. The author considers also menhirs discovered beneath cinder-heap № 3 in Neapolis the Scythian. Finally, she concludes that cinder-heaps functioned not as dumps, but as large ritual hearths, around which all the social group assembled to perform the rites connected with the Sun cycle. The hypothesis is proved by the menhirs discovered at Neapolis the Scythian. Certain connection between the late Scythian cinder-heaps and Slavic sanctuaries is traced.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 88–97

ПУБЛИКАЦИИ

ДЕТАЛИ ЛИТЫХ НАБОРНЫХ ПОЯСОВ ПРЕДСАЛТОВСКОГО ВРЕМЕНИ С "ПЕРЕВЯЗАННОЙ" ПАЛЬМЕТТОЙ ИЗ БОЛГАРИИ

© 2001 г. Б. Иванов*, О. Пелевина**

*Акционерное страховое общество "Болгария", Варна.
**Археологический музей, Варна

В настоящей публикации обращено внимание на открытые в последнее время в Болгарии литые детали наборных поясов, известные преимущественно с территории степей Восточной Европы. Для их декора характерна многолистная "перевязанная" пальметта, в которой продолговатые заостренные листья чередуются с тонкими, завитыми внутрь в виде волют.

Рассматриваемые детали поясов (щиток пряжки, накладка и наконечник пояса) были открыты случайно в период 1995–1999 гг. в окрестностях с. Трастика Разградского района. Они включены в экспозиции Акционерного страхового общества "Болгария" в Варне (инв. № 3987) и Исторического музея в Шумене[1], а наконечник находится в частной коллекции.

1. Щиток пряжки сохранился частично (рис. 1, *1*). Он бронзовый, литой, односторонний, ажурный. Сохранившаяся часть щитка украшена пятилистной пальметтой с двумя парами завитых внутрь, образующих волюты листьев. Центральный лист пальметты оформлен "копьевидно" (дополнительно загнут внутрь при поломке). Композиция симметрична относительно продольной оси. Нет данных о способе крепления к ремню. Размеры: длина 2.6 см; ширина 2.5 см; высота 0.3 см.

Находка из с. Трастик не имеет известных аналогий в Болгарии. Пряжка с идентичным орнаментом и формой (рис. 1, *2*) найдена в некрополе Скалистое в Крыму, склеп № 303 (Веймарн, Айбабин, 1993. С. 63. Рис. 41, *20*). Она украшена пальметтой с тремя парами завитых внутрь листьев, завершающихся волютами. Центральный лист пальметты оформлен "копьевидно". Композиция симметрична только относительно продольной оси. В том же погребении открыта и пряжка типа "Коринф", который датируется З. Винским, Д. Чалланем и И. Вернером серединой VII в. (Vinski, 1974. Tabl. XVII, *9–11*; XVIII, *1–8*; XIX, *1–3*; Чаллань, 1954. II, 3/4. P. 340; Werner, 1955. S. 43). А.К. Амброз и А.И. Айбабин считают, что пряжки типа "Коринф" встречаются в Крыму и в VIII в. (Амброз, 1971а. С. 116, 118. Рис. 7, *13*; Айбабин, 1982. С. 172).

Пряжки с декором, подобным скалистинскому (рис. 1, *3–5*), известны с территории Второго Аварского каганата по Среднему Дунаю – могильники Гольяре, могила № 619 (Dekan, 1972. Abb. 98, *2*; Točik, 1968. Taf. LXXVI, *40*), Михельдорф, могила № 1 (Tovornik, 1985. Taf. 6, *7*) и Чатай, могила № 74 (Zábojník, in press. Abb 13, 14)[2]. Они вместе с другими деталями поясов, украшенных "подвязанной" пальметтой, обособлены западными авторами в тип "Михельдорф-Скалистое" (Daim, in press. Abb. 16). В отличие от двух описанных выше пряжек пальметты на пряжках из Средней Европы имеют четвертую пару заостренных или завитых внутрь (Чатай) листьев. Пряжки из Михельдорфа и Гольяре датируются по сопровождающим их деталям поясов фазой I/II, а пряжка из Чатая – фазой I позднеаварского периода (1-я пол. VIII в.) (Daim, in press)[3].

Пряжки с подобным композиционным решением орнамента (рис. 1, *6*, *12*) происходят из склепа в Симеизе в Крыму (Айбабин, 1982. С. 179. Рис. 6, *9*) и из датированного концом VII – началом VIII вв. погребения 4 кургана № 22 раннеболгарского могильника Брусяны II на Самарской Луке (Багаутдинов и др., 1998. С. 93. Рис. 15, *1*). Они отличаются ажурным исполнением декора и листовидным верхом пальметты. Из разрушенной могилы на Тепсеньском плато в Крыму (Баранов, 1990. С. 121–123. Рис. 45, *3*) известна пряжка с ажурным орнаментом из двух симметричных относительно поперечной оси многолистных пальметт, связанных "подвязкой" (рис. 1, *7*). Их центральные листья заострены, как у симеизской. Продолговатые листья чередуются с парами завитых внутрь, завершающихся кольцом побегов. Композиция симметрична и относительно продольной оси. Тепсеньское погребение датировано началом VIII в. и, по мнению А.И. Айбабина, принадлежит болгарскому воину (Айбабин, 1982. С. 180, 184). Возможна и более ранняя датировка этой пряжки – концом VII в. Она, вероятно, синхронна с остальными деталями пояса из Тепсеня, относящимися к геометрическо-

[1] Выражаем глубокую благодарность П. Петровой за предоставленную возможность опубликовать бляшку.

[2] Благодарим Ф. Дайма за предоставленную информацию.

[3] Благодарим Ф. Дайма за возможность ознакомиться с рукописью.

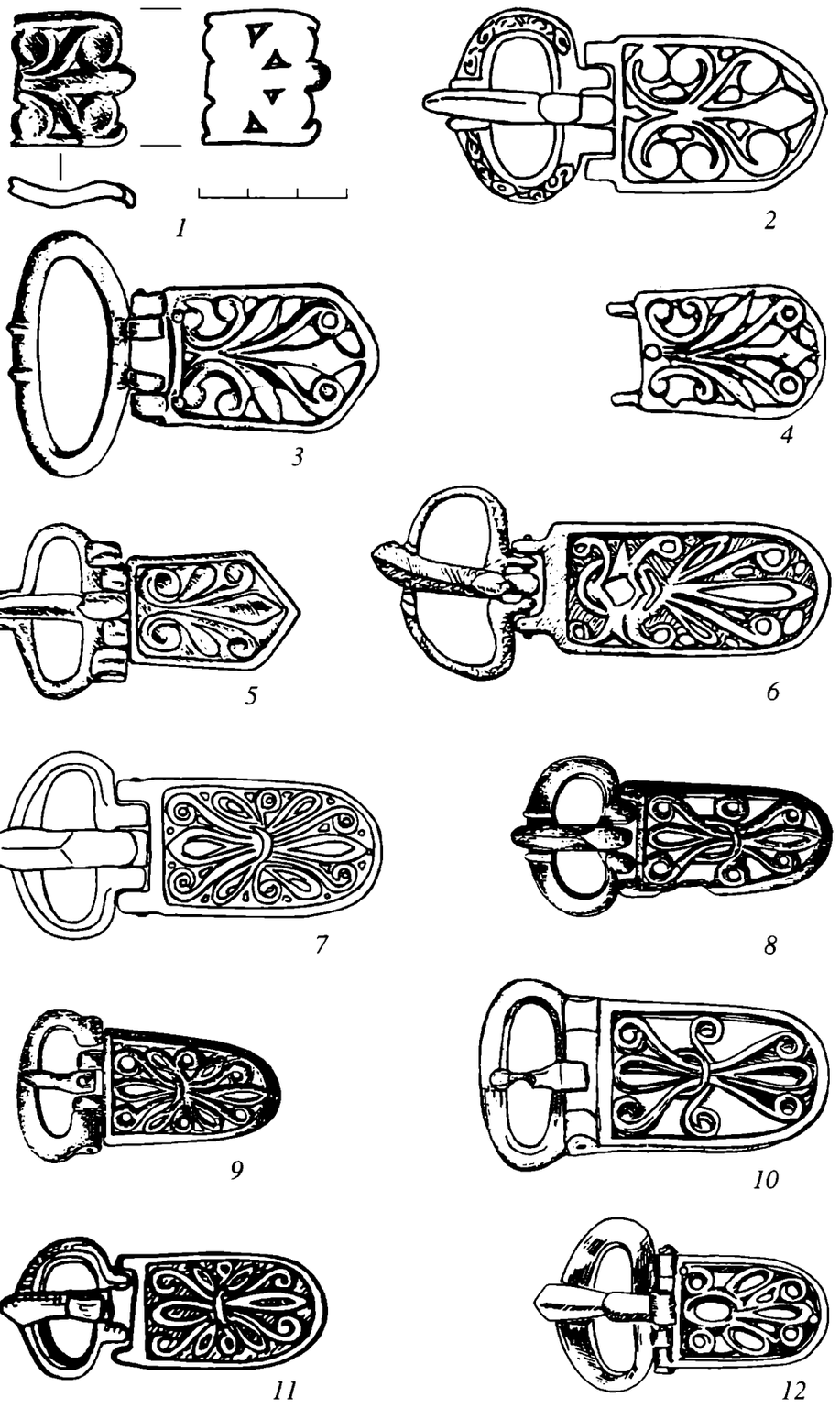


Рис. 1. Поясные пряжки: *1* – с. Трастика, Болгария (Разградский р-н); *2* – Скалистое, Крым; *3* – Михельдорф, Австрия; *4* – Гольяре, Словакия; *5* – Чатай, Словакия; *6* – Симеиз, Крым; *7* – Тепсень, Крым; *8* – Неволино, Россия (Пермская обл.); *9* – Броды, Россия (Пермская обл.); *10* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.); *11* – Мокрая Балка, Северный Кавказ; *12* – Брусяны II (Самарская Лука). Масштаб различный.

му стилю, характерному для переходного периода между Первым и Вторым Аварским каганатом.

Пряжки с тождественным декором известны преимущественно в Приуралье (рис. 1, *8–10*) – могильники Неволино, могила № 48, Броды и Верх-Сая, могилы № 65А, 81 (Goldina, 1992. Taf. 4, *6, 8*; Голдина, Водолаго, 1990. С. 123. Табл. XXVI, *29*), в Поволжье – Крюково-Кужновский могильник (Ковалевская, 1979. Табл. 2 (№ 228)) и на Северном Кавказе (рис. 1, *11*) – могильники Мокрая Балка, катакомба № 120 и Ленинохабль (Ковалевская, 1981. С. 177. Рис. 61). Датированы кон-



Рис. 2. Поясные накладки: *1* – с. Вазово, Болгария (Исперихский р-н); *2* – Скалистое, Крым; *3* – Северный Кавказ; *4* – Броды, Россия (Пермская обл.); *5* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.); *6* – Мокрая Балка, Северный Кавказ; *7* – Песчанка, Северный Кавказ; *8* – Крюково-Кужновский, Россия (Тамбовская обл.); *9* – Крюково-Кужновский, Россия (Тамбовская обл.); *10* – Песчанка, Северный Кавказ; *11* – Гижгид, Северный Кавказ; *12* – Северный Кавказ; *13* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.); *14* – Новинки II (Самарская Лука); *15* – Броды, Россия (Пермская обл.); *16* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.). Масштаб различный.

цом VII – первой половиной VIII в. – для Неволино и первой половиной VIII в. – для Мокрой Балки (Goldina, 1992. S. 501).

Различия в форме и декорации щитков дают основание разделить рассмотренные пряжки на два варианта: западный – из могильников Скалистое, Гольяре, Михельдорф и Чатай и восточный – из Неволина, Бродов, Верх-Сайского и Крюково-Кужновского могильников, Мокрой Балки, Ленинохабля, Тепсеня. В стиле и композиции орнамента на пряжках из Симеиза и Брусян II переплетаются элементы обоих вариантов декора, что показывает связь между ними.

Форма и декорация щитка пряжки из с. Трастик дают основание отнести ее к западному варианту этого типа находок. Рассмотренные параллели позволяют датировать ее концом VII – первой половиной VIII в.

2. Накладка (рис. 2, *1*) бронзовая, литая, односторонняя, ажурная, круглой формы. Украшена семилистной пальметтой с тремя продолговатыми заостренными листьями, между которыми расположены две пары завитых внутрь, завершающихся кольцом побегов. Видны следы дополнительной обработки резцом. Композиция симметрична относительно продольной оси. В нижней части накладки расположен "челюстной" шарнир, держащий полую бронзовую трубочку. Эти элементы не имеют рабочей функции, они декоративны. Накладка крепилась к ремню "свободными" шпеньками в верхней части и с двух проти-

воположных сторон. Размеры: длина 3.5 см; ширина 3.2 см; высота 0.5 см. Открыта в окрестностях с. Вазово, Исперихского р-на, но отсутствуют конкретные данные о месте находки и археологической среде. Шуменский исторический музей, инв. № 22813.

Находка из с. Вазово не имеет известных аналогий в Болгарии. Накладка, идентичная рассматриваемой здесь, была открыта случайно вблизи Скалистинского могильника в Крыму (рис. 2, *2*). А.И. Айбабин датирует эту находку первой половиной VIII в. (Айбабин, 1982. С. 179. Рис. 6, *8*). Подобная накладка (рис. 2, *3*) была куплена для коллекции графа Зичи на Северном Кавказе в начале XX в. (Мавродинов, 1936. С. 209. Обр. 243, *2*), а третья (рис. 2, *4*) была открыта на Бродовском могильнике (Генинг, 1953. С. 92. Рис. 3). В этом районе – в долинах рек Камы и Сылвы, где локализируется неволинская культура, встречаются и другие сходные находки. Особенно близкие рассматриваемой здесь накладке (рис. 2, *5*) известны из могильников у с. Броды, могила № 61, Верх-Сайского, могила № 60 – 16 экземпляров (Goldina, 1992. Taf. 3, *7*; Голдина, Водолаго, 1990. С. 132. Табл. XXXV, *20*) и Крюково-Кужновского могильника, могилы № 139, 352 (Erdélyi, 1982. Abb. 70) (рис. 2, *8*, *9*). Различие состоит в действующем "челюстном" шарнире, держащем прямоугольную рамку. Рассмотренные накладки датированы концом VII – первой половиной VIII в. (Goldina, 1992. S. 501).

Сходный тип деталей поясов (рис. 2, *6*, *7*) встречается и в могильниках Мокрая Балка, катакомба № 120 (Ковалевская, 1981. С. 177. Рис. 61, *14*, *18*) и Песчанка, могила № 6 (Амброз, 1971б. Рис. 13, *37*) на Северном Кавказе. Накладки из Мокрой Балки в отличие от находки из с. Вазово имеют действующие шарниры, оканчивающиеся кольцом. Г.Е. Афанасьев датирует катакомбу № 120 первой половиной VIII в. (Афанасьев, 1979. С. 50, 51). Из северокавказских могильников Песчанки и Гижгида, склеп № 1 (Амброз, 1971б. Рис. 13, *45*; Ковалевская, 1972) известны находки идентичной формы, функции и орнаментации (табл. 2, *10*, *11*). Различие состоит в материале и технике производства – в последних случаях это штамповка. Упомянутые находки вместе с литой накладкой из Песчанки, могила № 6, о которой говорилось выше, датированы А.К. Амброзом второй половиной VIII – первой половиной IX в. (Амброз, 1971б. С. 130). Эта датировка, как нам кажется, не достаточно убедительна, если иметь в виду известную из этого погребения трапециевидную накладку (Амброз, 1971б. Рис. 13, *50*) типа "Житавска Тонь – Столбица II" (Daim, in press. Abb. 35–37), встречающегося на Нижнем Дунае в фазах I и II позднеаварских некрополей, как и в находке из Столбицы с поясными деталями конца VII – первой половиной VIII в. (Daim, in press). В катакомбе № 52 из Дмитриевского могильника 23 серебряные штампованные трапециевидные накладки были в составе сбруйного набора (Плетнева, 1989. Рис. 40), остальные детали которого датируются не позднее конца VII в. (Дюнапентеле, могила 10 – Marosi, Fettich, 1936. Pl. IV, *33–37*; Акалан – Юрукова, 1992. С. 10–16; Галиат – Erdélyi, 1982. Abb. 33 и др.). В Песчанке, могила № 6, открыт и наконечник пояса (Амброз, 1971б. Рис. 13, *5б*), который крепился при помощи двух выступов – "ушек" у верхнего края, датированный А.К. Амброзом второй половиной VIII – первой половиной IX в. (Амброз, 1971. С. 130) в основном на базе западных аналогий этого способа крепления. Этот конструктивный элемент, с нашей точки зрения, не может быть датирующим, когда рассматривается изолированно от остальных технологических особенностей. Доказательством тому служат многочисленные находки из некрополей Приуралья конца VII–VIII в. (Goldina, 1992. Taf. 1, *1–4*), из позднеаварских некрополей фазы I и II и особенно наконечник из раннеболгарского некрополя Малая Рязань, курган 5, погребение 3, датированный концом VII–VIII в. (Багаутдинов и др., 1998. С. 162. Рис. 15, *2*).

Орнамент в виде "подвязанной" пальметты, развитый на прямоугольном поле, характерен для некоторых накладок (табл. 2, *12–16*) из Верх-Сайского могильника, могилы № 29, 60 (Goldina, 1992. Taf. 3, *6*, *9*), из могильника Новинки II, курган 8, погребение № 5 (Матвеева, 1997. Рис. 122, *3*; Багаутдинов и др., 1998. Рис. 15, *4*) и случайных находок с Северного Кавказа (Мавродинов, 1936. Обр. 243, *1*), из Бродов и Верх-Сая (Goldina, 1992. Taf. 3, *8*; Голдина, Водолаго, 1990. С. 127. Табл. XXX, *29*, *30*; С. 132. Табл. XXXV, *22*).

Находка из с. Вазово в настоящий момент маркирует самую западную точку распространения поясных накладок предсалтовского времени с "подвязанной" пальметтой (карта 1). Рассмотренные параллели позволяют датировать ее концом VII – первой половиной VIII в.

3. Наконечник пояса бронзовый, литой, двусторонний, плотный, языковидной формы (рис. 3, *1*). Сохранилась половина наконечника, украшенная девятилистной пальметтой. Три пары листьев завиты внутрь и завершаются волютами, центр которых отмечен небольшими круглыми углублениями. Между двумя парами волют расположены продолговатые листья. Центральный лист пальметты оформлен "копьевидно". Композиция симметрична относительно продольной оси. Вероятно, целостный декор состоял из двух симметрично расположенных относительно поперечной оси пальметт. Нет данных о способе крепления к поясу. Размеры: длина 3.8 см; ширина 2.3 см; высота 0.3 см. Наконечник открыт в Северной Болгарии, конкретное место находки неизвестно.

Близкие параллели рассматриваемому здесь наконечнику известны с территории Второго Авар-

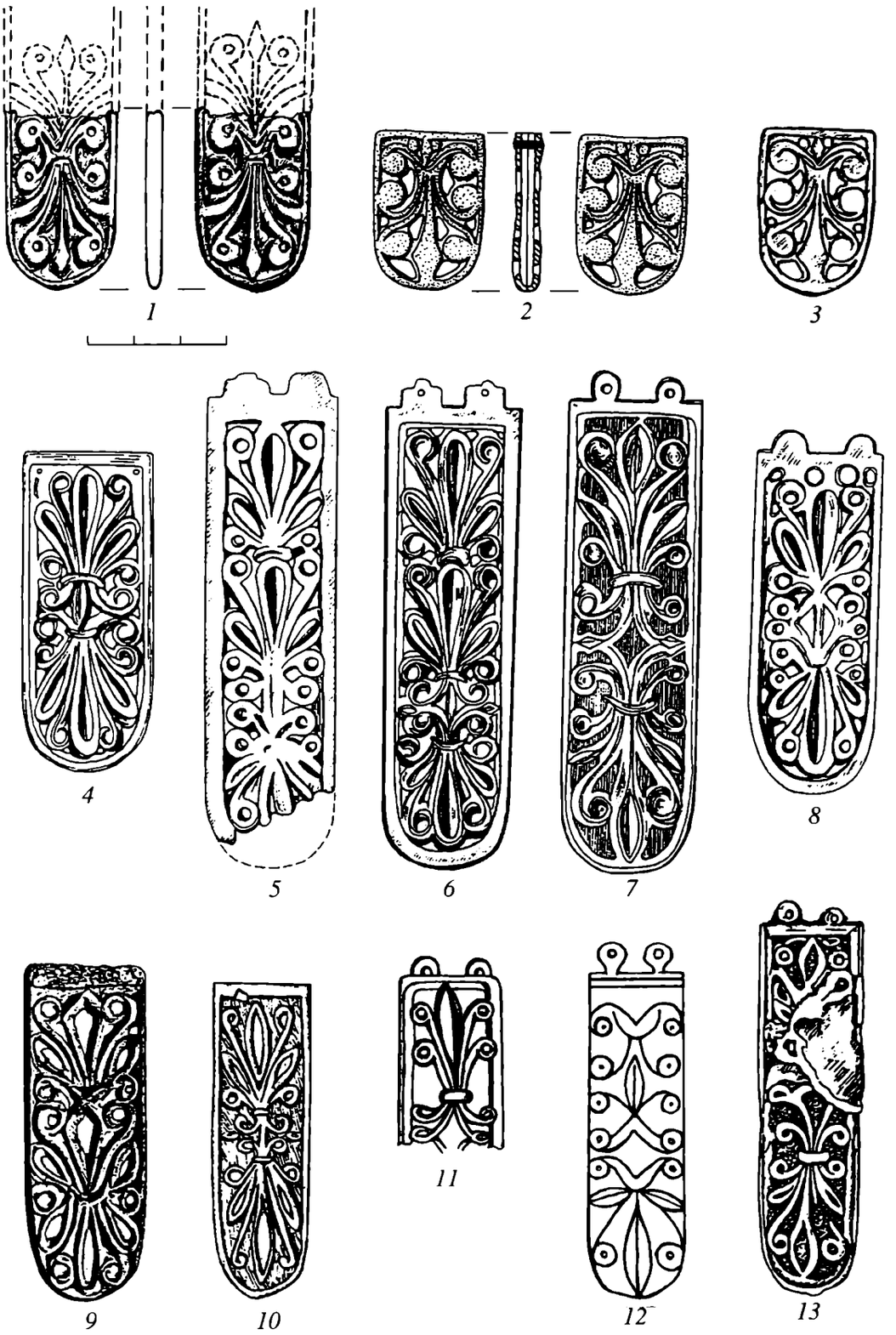


Рис. 3. Наконечники поясов: *1* – Северная Болгария; *2* – Чатай, Словакия; *3* – Радван-над-Дунаем – Житавска Тонь, Словакия; *4* – Неволино, Россия (Пермская обл.); *5* – Агафоново, Россия (Пермская обл.); *6* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.); *7* – Верх-Сая, Россия (Пермская обл.); *8* – Броды, Россия (Пермская обл.); *9* – Ляда, Россия (Тамбовская обл.); *10* – Керчь, Крым; *11* – Билярское городище, Россия (Татарстан), *12* – Крюково-Кужновский, Россия (Тамбовская обл.); *13* – Новинки II (Самарская Лука). Масштаб различный.

ского каганата (рис. 3, *2, 3*) – из могильников Чатай, могила № 74 (Zábojník, in press. Abb. 1, 2) и Радван-над-Дунаем – Житавска Тонь, могила № XXVI, датированных началом первой фазы позднеаварского периода (Zábojník, 1985. Taf. 3, *22*). Для них характерен орнамент из трех пар завитых внутрь листьев, завершающихся волютами. У основания находится ромбовидный выступ. Центральный

лист пальметты оформлен "копьевидно". Различие с публикуемым наконечником состоит в вырезанных около орнамента полях, отсутствии пары продолговатых листьев и в симметричности композиции относительно только продольной оси. Близко к этим находкам стоит группа наконечников, датированных концом VII–VIII в., из могильников в Приуралье (рис. 3, *4–6*) – Неволино, могилы № 108, 136, 191; Агафоново, могила № 330; Верх-Сайского, могилы № 60, 65А, 154 (Goldina, 1992. Taf. 1, *1–4*; Голдина, 1985. С. 221. Табл. XIII, *39*; Голдина, Водолаго, 1990. С. 131. Табл. XXXIV, *36–39*); в Поволжье (табл. 3, *9*, *12*, *13*) – Ляда (Смирнов, 1952. С. 177. Табл. 23, *7*; Erdélyi, 1982. Abb. 53, *2*), Крюково-Кужновский, могила № 405 (Erdélyi, 1982. Abb. 70) и Новинки II, курган 14, погребение № 3 (Матвеева, 1997. Рис. 122, *6*; Багаутдинов и др., 1998. Рис. 15, *5*). Аналогичные находки (табл. 3, *7, 8, 10, 11*) открыты случайно и в Биляре (Мавродинов, 1936. С. 214. Обр. 224а; Халиков, 1973. С. 33. Обр. 11), Керчи (Айбабин, 1982. С. 179. Рис. 6, *10*), Бродах и Верх-Сае (Goldina, 1992. Taf. 1, *1, 5*). Для них характерна ажурная декорация из двух многолистных "перевязанных" пальметт. Композиционная схема очень близка к схеме находки из Северной Болгарии. Различие состоит в большинстве случаев в ажурном исполнении декора и форме центрального листа пальметты.

Как среди пряжек, так и среди наконечников по различию в декоре можно выделить два варианта: западный – из Чатая и Радвана-над-Дунаем и восточный – из Приуралья, Поволжья и Крыма. Симметрично развитый относительно поперечной оси орнамент второго варианта можно объяснить и гораздо большей длиной наконечников. Декорация сохранившейся части наконечника из Северной Болгарии близка к западным образцам, но вероятная композиция орнамента, (симметричная относительно поперечной оси), а также длина наконечника сближают его с восточным вариантом этого типа находок. Рассмотренные параллели позволяют датировать его концом VII – первой половиной VIII в.

Случайность открытия представленных деталей поясов не позволяет связать их с определенной археологической средой. Важен факт, что они встречаются и на территории Северо-Восточной Болгарии. Здесь мы остановимся на нескольких основных теориях, объясняющих происхождение этого типа находок. По мнению В.Ф. Генинга (1979. С. 102) и Е. Голдиной (Goldina, 1992. S. 498), исследовавших детали поясов, украшенные "подвязанной" пальметтой в Приуралье, они являются продуктом византийского влияния из области Понта. Близкую позицию занимает и В.Б. Ковалевская в отношении сходных украшений с Северного Кавказа (Ковалевская, 1979. С. 22). Основание для подобного утверждения мог бы дать и элемент декорации византийского серебряного сосуда VII в. (рис. 4, *7*), открытого в аварском погребении у Тепе в Венгрии (Garam É., 1996. Abb. 22). Исследуя пряжку из Михельдорфа, Ф. Дайм пришел к выводу, что независимо от византийского происхождения мотива она является продуктом местного производства. Основанием для этого вывода служит сплав, использованный для изготовления пряжки, – цинковая бронза, характерный и для других деталей поясов позднеаварского времени (Daim, in press). Вполне вероятно средиземноморское происхождение декора в виде "перевязанной" пальметты на рассматриваемых нами деталях поясов, но пока отсутствуют данные о их производстве на территории Византии. Поясные наборы с аналогичным орнаментом до сих пор не открыты в византийских комплексах, а среди известных образцов византийских поясов нет таких, которые можно было бы принять за их прообразы. А.И. Айбабин рассматривает этот тип поясных украшений в Крыму как чужое, хазарское влияние. Таким же образом он пытается обосновать распространение этих находок в Поволжье, Приуралье и на Северном Кавказе (Айбабин, 1982. С. 184). Эта теория не объясняет присутствие сходных материалов в Болгарии и в Центральной Европе. Иного мнения придерживается И. Бона (Bóna, 1973). Он считает, что детали поясов с "подвязанной" пальметой показывают связи с поздними аварами, а Д. Ласло связывает распространение этого типа поясов с мадьярами (László, 1970). Подобную позицию занимает и И.А. Баранов. Он считает, что эти украшения производились в VII в. в Согде, откуда они проникают в Приуралье. Их распространение в VIII в. на Северном Кавказе, в Крыму и позднее в Центральной Европе он связывает с миграцией мадьяр (Баранов, 1990. С. 123). Эта интересная гипотеза не достаточно подкреплена археологическими материалами и историческими сведениями. В Согде детали поясов интересующего нас типа отсутствуют (Распопова, 1965. С. 78–91), а серебряные сосуды со сходными растительными орнаментами – позднее рассматриваемых здесь поясных украшений (Маршак, 1971. С. 191). С другой стороны, хорошо известные мадьярские поясные гарнитуры времени переселения на запад не совпадают ни по стилю, ни хронологически с предсалтовскими деталями поясов с "перевязанной" пальметтой.

А.И. Айбабин отмечает стилистическую близость декора из многолистных пальметт с завершающимися волютами листьями, как на щитке пряжки из Скалистого, и декорации деталей пояса из Ясинова, бляшек из Келегей и четвертой группы украшений из Малой Перещепины (Айбабин, 1982. С. 178). Рассмотренный в этой работе материал позволяет уточнить связь между ними. Золотой штампованный поясной набор из Ясинова (Айбабин, 1985. С. 191–205) – наконечники ремней, щитовидные накладки и прямоугольный щиток пряжки (рис. 4, *2, 4, 8, 17*) – можно принять за один из прообразов всех деталей по-



Рис. 4. Прототипы декора деталей поясов с "перевязанной" пальметтой: *1* – поясная пряжка, Верх-Сая; *2* – обкова пряжки, Ясиново; *3* – наконечник пояса, Чатай; *4* – наконечник ремня, Ясиново; *5* – наконечник пояса, Северная Болгария; *6* – часть обкова, Вознесенка; *7* – элемент декора серебряного сосуда, Тепе; *8* – поясная накладка, Ясиново; *9* – поясная накладка, Вазово; *10* – накладка, Келегеи; *11* – декорация головы сенмурва, Бия Найман; *12* – бокал, Малая Перещепина; *13* – деталь ножен, Вознесенка; *14* – часть обкова, Малая Перещепина; *15* – обковка, Вознесенка; *16* – наконечник пояса, Керчь; *17* – щитовидная поясная накладка, Ясиново; *18* – кувшин, Малая Перещепина; *19* – наконечник пояса, Неволино; *20* – ручка сосуда, Врап (лицевая сторона); *21* – ручка сосуда, Врап (оборотная сторона). Масштаб различный.

ясов интересующего нас типа. Наконечники ремней из Ясинова украшены семилистной пальметтой с тонкими, завершающимися выпуклыми волютами листьями. У верхних двух пар листья завиты внутрь, вписывая ромбовидный верх, а у нижней пары – извиты наружу (табл. 4, *4*). Эта орнаментальная композиция очень близка декору наконечников из Чатая (табл. 4, *3*) и Радвана-над-Дунаем, щитков пряжек из Скалистого, Гольяре, Михельдорфа, Чатая и особенно из Симеиза. Яси-

новские наконечники отличаются нижней парой развернутых наружу листьев. Композиция из двух зеркально расположенных относительно поперечной оси пальметт, симметричных и по продольной оси, на щитовидных накладках из Ясинова (рис. 4, *17*) близка декору наконечников и пряжек восточного варианта описываемого нами типа (рис. 4, *16, 19*). Различие состоит в рельефном исполнении орнамента и отсутствии пары продолговатых листьев у ясиновских деталей поясов. Декорация золотой оковки пряжки из Ясинова (рис. 4, *2*) композиционно близка орнаментации пряжек с "перевязанной" пальметтой в ее восточном варианте (рис. 4, *1*). Различаются они формой верха пальметты и типом "подвязки". Это относится и к ясиновским поясным накладкам (рис. 4, *8*), чей орнамент сходен с рассматриваемыми нами (рис. 4, *9*). Связующим звеном между ними, вероятно, являются штампованные накладки из Песчанки и Гижгида. Детали пояса из Ясинова – штампованные, а интересующие нас – литые. Это в большой степени определяет различия в декоре и его элементах.

Многолистные пальметты с завершающимися волютами листьями, композиционно близкие рассматриваемым здесь находкам, изображены на предметах, составляющих часть четвертой группы из Малой Перещепины (рис. 4, *12, 15, 18*) – на золотых оковках кувшина, на бокале и на некоторых других вещах (Айбабин, 1982. С. 177. Рис. 5, *2, 7, 8*; 1985. С. 196. Рис. 6, *2*). Эти находки датируются до второй половины VII в. и относятся Б.И. Маршаком к продукции не Согда, а нелокализированного, недолго существовавшего ателье (Маршак, 1971. С. 51), которое, по мнению Й. Вернера, действовало при дворе хана Кубрата (Вернер, 1988. С. 31). Завитые внутрь побеги в симметричных композициях определяются Д. Ласло и Й. Вернером как специфичный стиль "мастера из Малой Перещепины", который в большой степени отличается от византийско-сасанидских образцов (Вернер, 1988. С. 29, 31; László, 1955. P. 282). Общие элементы с орнаментацией поясных украшений с "перевязанной" пальметтой имеет декор ручки золотого сосуда (рис. 4, *20, 21*) из Врапа (Werner, 1986. Taf. 8, *9*). Очевидное сходство стиля изделий четвертой группы из Малой Перещепины и золотого пояса из Ясинова, накладок из Келегей (Айбабин, 1991. С. 28–34) (рис. 4, *10*), некоторых украшений из Вознесенки (Костов, 1998. Фиг. 18, *5, 10;* 33, *2*) (рис. 4, *6, 13, 14*) дает основание отнести их к одному кругу памятников. Доказательством тому является и предлагаемая большинством авторов датировка этих находок серединой – второй половиной VII в. (Bálint, 1989. S. 95, 101).

Для кочевнического пояса в конце VII – начале VIII в. характерны определенные изменения – переход от штампованных к литым украшениям. Можно предположить, что литые детали наборных поясов с "перевязанной" пальметтой являются типологическим и стилистическим развитием рассмотренных штампованных украшений из Ясинова, Малой Перещепины и Келегей.

Говоря об источниках происхождения поясных украшений с "перевязанной" пальметтой, необходимо учитывать, что и другие современные исследователи связывают находку из Малой Перещепины с личностью хана Кубрата (Балинт, 1996. С. 54–62; Залесская и др., 1997. С. 87–102; Сміленко, 1997. С. 191). Еще в 30-е годы XX в. Н. Мавродинов предложил теорию происхождения деталей поясов с рассматриваемым здесь орнаментом (Мавродинов, 1936. С. 214). Он связывает их с праболгарской "художественной индустрией". В своем исследовании Н. Мавродинов использует ограниченный круг памятников, что делает его выводы недостаточно аргументированными с точки зрения современного взгляда на проблему. Детали наборных поясов предсалтовского времени с "перевязанной" пальметтой, открытые в последние 50 лет, позволяют пересмотреть эту теорию.

В Тамбовской области и Приуралье этот вид деталей поясов известен из ямных могильников, на Северном Кавказе – из склепов, катакомб и могил с каменной обкладкой, в Центральной Европе – из ямных, а на Самарской Луке – из курганных могильников. Эти особенности погребального обряда предполагают различную этническую, а часто и социальную принадлежность. В эпоху раннего средневековья ношение определенных типов поясов было распространено на обширных территориях среди различных кочевых племен и государственных формирований. Связывать какую-либо моду поясов только с точно определенным этносом в эту эпоху неоправданно. Это ни в коем случае не исключает возникновения специфического стиля поясов в одном культурном круге и первоначальное распространение моды его представителями. Известные находки описываемого нами типа оставляют впечатление, что эта мода поясных наборов не бытовала во всей Европейской степи, а характерна только для некоторых небольших территорий (рис. 5). Показательны зоны ее распространения – в районах, пограничных со степью. Такую особенность трудно объяснить только культурными влияниями, а, как считает И.А. Баранов, скорее всего это связано с самим населением – непосредственным носителем моды. Это явление, однако, трудно связать с мадьярами. Начало производства и распространения наборных поясов с "перевязанной" пальметтой совпадает хронологически с расселением болгарских племен под натиском хазарского нашествия. Этот факт, как и то, что стиль четвертой группы предметов из находки у Малой Перещепины и пояса из Ясинова являются самой близкой моделью для рассматриваемого нами типа поясных украшений, дает основание для другого предположения. Появление этих находок по границам степи в конце VII в. можно связать с расселением племен и групп из Великой

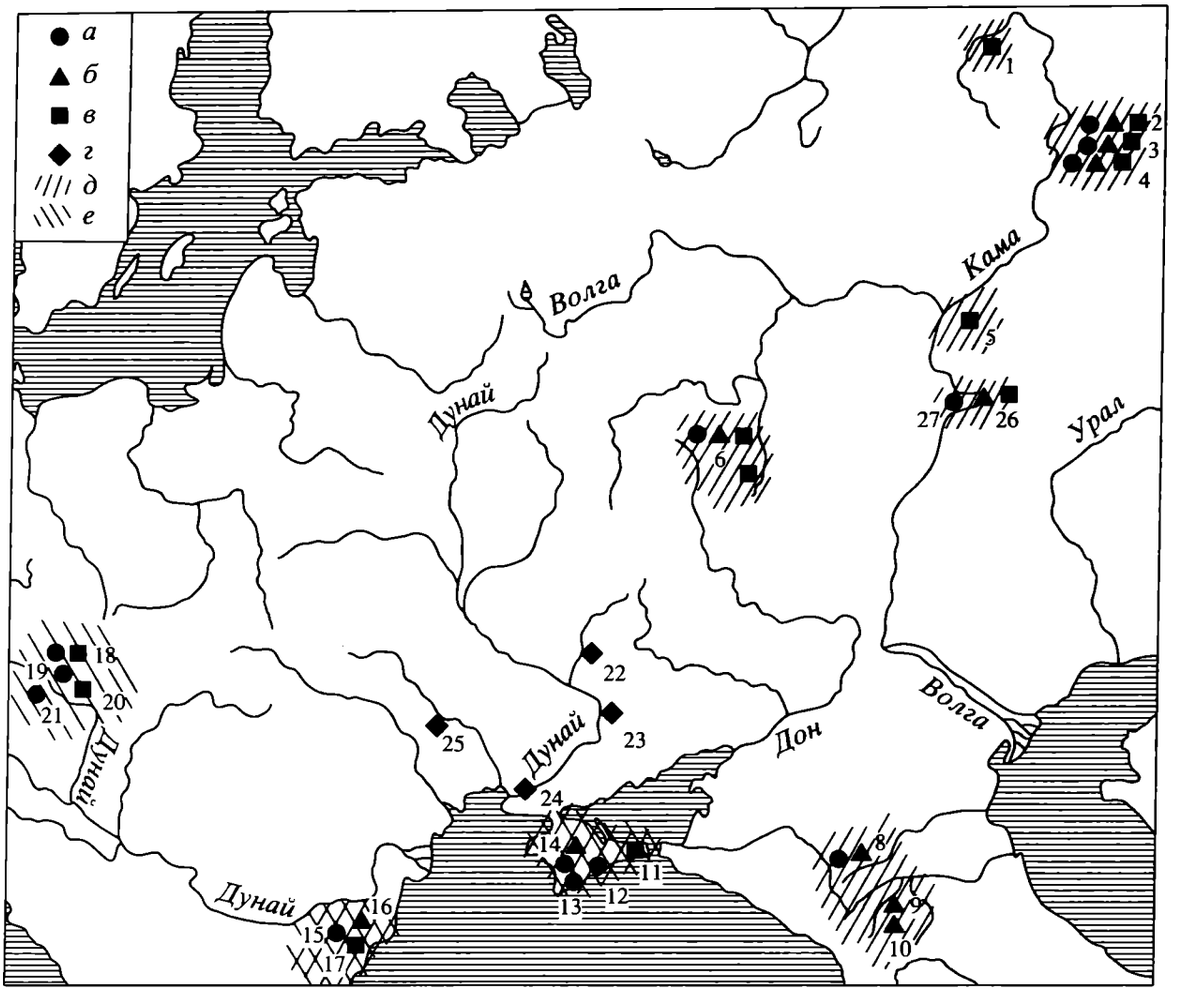


Рис. 5. Распространение деталей поясов с "перевязанной" пальметтой: *а* – поясные пряжки; *б* – поясные накладки; *в* – наконечники поясов; *г* – прототипы декора поясных украшений с "перевязанной" пальметтой; *д* – восточный вариант деталей поясов с "перевязанной" пальметтой; *е* – западный вариант деталей поясов с "перевязанной" пальметтой; *1* – Агафоново; *2* – Верх-Сая; *3* – Броды; *4* – Неволино; *5* – Билярское городище; *6* – Крюково-Кужновский; *7* – Ляда; *8* – Мокрая Балка; *9* – Гижгид; *10* – Песчанка; *11* – Керчь; *12* – Тепсень; *13* – Симеиз, *14* – Скалистое; *15* – Трастика; *16* – Вазово; *17* – Северная Болгария; *18* – Чатай; *19* – Гольяре; *20* – Радван-над-Дунаем; *21* – Михельдорф; *22* – Малая Перещепина; *23* – Вознесенка; *24* – Келегеи; *25* – Ясиново; *26* – Новинки II; *27* – Брусяны II.

Болгарии и их влиянием на соседние народы. Основание для подобного утверждения дают и сведения византийских хронистов о судьбе сыновей Кубрата – Баяна, Котрага, Аспаруха и Кубера (Теофан Изповедник, 1960. С. 262; Никифор, патриарх Константинополски, 1997. С. 49, 50).

Наличие деталей поясов предсалтовского времени с "перевязанной" пальметтой в раннеболгарских некрополях на Самарской Луке и среди немногочисленных находок этого периода на территории Болгарии может послужить подтверждением высказанного предположения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Айбабин А.И. Погребения конца VII – первой половины VIII в. в Крыму // Древности эпохи переселения народов. М., 1982.

Айбабин А.И. Погребение хазарского воина // СА. 1985. № 3.

Айбабин А.И. Келегейское погребение военного вождя // Проблеми на прабългарската история и култура. 1991. № 2.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. I // СА. 1971а. № 2.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. II // СА. 1971б. № 3.

Афанасьев Г.Е. Хронология могильника Мокрая Балка // КСИА. 1979. Вып. 158.

Багаутдинов Р.С., Богачев А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории татар Волго-Камья). Самара, 1998.

Балинт Ч. О принадлежности находки в Малой Пересчепине Куврату // Материалы I тыс. н.э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Киев, 1996.

Баранов И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья. Киев, 1990.

Веймарн Е.В., Айбабин А.И. Скалистинский могильник. Киев, 1993.

Вернер Й. Погребалната находка от Малая Перещепина и Кубрат хан на българите. София, 1988.

Генинг В.Ф. Бродовский могильник // КСИИМК. 1953. Вып. 52.

Генинг В.Ф. Хронология поясной гарнитуры I тысячелетия н.э. // КСИА. 1979. Вып. 158.

Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в верхнем Прикамье. Иркутск, 1985.

Голдина Р.Д., Водолаго Н.В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск, 1990.

Залесская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И., Соколова И.В., Фонякова Н.А. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб., 1997.

Ковалевская В.Б. Аланы и Кавказ. М., 1972.

Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии IV–IX в. Пряжки // САИ. 1979. Вып. Е1–2.

Ковалевская В.Б. Северокавказские древности // Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М., 1981.

Костов Г. Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни. София, 1998.

Мавродинов Н. Прабългарската художествена индустрия // Мадара. II. София, 1936.

Маршак Б.И. Согдийское серебро. М., 1971.

Матвеева Г.И. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Самара, 1997.

Никифор, патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий. Превод на В. Иванов. Варна, 1997.

Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. М., 1989.

Распопова В.И. Поясной набор Согда VII–VIII в. // СА. 1965. № 4.

Сміленко А.Т. Про пограниччя Болгарії і Русі в ранне середньовіччя // Проблеми похождения та історичного развитку слов'ян. Київ; Львів, 1997.

Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. 1952. № 28.

Теофан Изповедник. Хроника. Превод на В. Бешевлиев и Г. Цанкова // ГИБИ. 1960. III.

Халиков А.Х. Столицата на Волжска България от домонголско време // Археология. 1973. № 1.

Чаллань Д. Памятники византийского металлообрабатывающего искусства. I // Acta Antiqua. II. Budapest, 1954.

Юрукова Й. Съкровището от Акалан // Нумизматика и сфрагистика. 1992. № 1–2.

Bálint Cs. Die Archäologie der Steppe Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom. 6 zum 10. Jahrhundert. Wien; Köln, 1989.

Bóna I. VII. Századi avar települések és Árpad – kori magyar falu Dunaújvarosban // Fontes AH. Budapest, 1973.

Daim F. Der Byzantinische Gürtel von 8. Jahrhundert // Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Insbruck, in press.

Dekan J. Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie des VIII. Jahrhuderts // SIA. 1972. XX-2.

Erdélyi I. Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, 1982.

Garam É. Der byzantinische Anteil an der awarischen Kultur // Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Eisenstadt, 1996.

Goldina E. Gürtelteile mit Pflanzenornamenten aus dem Kamagebiet // Awaren Forschungen. I. Wien, 1992.

László G. Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avars // AH. 1955. XXXIV.

László G. A népvándorláskor művészete Magyarországon. Budapest, 1970.

Marosi A., Fettich N. Trouvailles avares de Dunapentélé // AH. 1936. XVIII.

Točik A. Slawisch – awarisches Gräberfeld in Holiare // Archaeologica Slovaca – Catalogi I. Bratislava, 1968.

Tovornik V. Die Gräberfelder von Micheldorf – Kremsdorf Oberösterreich // Die Bayern und ihre Nachbaren. T. 2. Wien, 1985.

Vinski Z. Kasnoantički starosjednosti u Salonitanskoj regiji prema arheološkoj ostavštini predslavenskog supstrata // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. LXIX (1967). Split, 1974.

Werner J. Byzantinische Gürtelschnallen des 6 und 7. Jahrhunderts aus der Sammlung Diergardt // Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte. Bd. I. Berlin, 1955.

Werner J. Der Schatzfund von Vrap in Albanien. Beiträge zur Archäologie der Awarenzeit im mittleren Donauraum // Studien zur Archäologie der Awaren. II. Wien, 1986.

Zábojník J. Zur horizontalen stratigraphie des Gräberfeldes in Radvaň nad Dunajom – Žitavska Tôň // SIA. 1985. XXXIII-2.

Zábojník J. Zur Problematik der "byzantinischen" Gürtebeschläge aus Gataj // Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Insbruck, in press.

The Details of Composed Cast Belts of Pre-Saltovo Period with "Bound" Palmetto Motive from Bulgaria

B. Ivanov, O. Pelevina

Summary

In the article isolated finds of composed cast belts' details (belt-buckle, plaque, and belt-tip) discovered latery in North-Eastern Bulgaria are discussed. Belt ornaments adorned with the same type of decoration from the Volga basin, the Urals, North Caucasus, Crimea, and Central Europe are regarded, consequently, the Bulgarian finds are dated back from the late 7th – first half of the 8th cc. Stylistic analysis of the finds displays two variants of decoration of belt details with "bound" palmetto motif – western and eastern ones, with contact zone in North-Eastern Bulgaria and Crimea. The discussed type of ornaments is evidently connected with the finds from Yasinova, Malaya Pereshchepina, Keleghei and with the transition from stamping to casting belts' details taking place in the late 7th century. Their spread in isolated areas of European steppes may be associated with exodus of the tribes from Great Bulgaria.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 98–110

ПУБЛИКАЦИИ

ТЮРКСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ СУГДЕИ

© 2001 г. И. А. Баранов*, В. В. Майко**

*Государственный Комитет Автономной республики Крым по охране и использованию памятников истории и культуры

**Крымский Филиал Института археологии Национальной Академии наук Украины

Вопрос о языческих верованиях и обрядах северо-причерноморских, в том числе и крымских, тюрок, как и проблема культовых сооружений салтово-маяцкой культуры, недостаточно освещены в археологической литературе. Это объясняется почти полным отсутствием письменных источников и крайней скудостью археологических материалов. Тем не менее, в пространной редакции Жития Константина Философа говорится, что "Был же в народе Фулльском большой дуб, сросшийся с черешней, и под ним приносили жертвы, называя его Александр, и женскому полу не позволяли ни подходить к нему, ни (приносить) жертвы" (Сказание..., 1981. Гл. XII). Реликт этого обряда сохранился у крымских караимов, почитающих священные дубы на старом кладбище Балта-Тиймез (топор не коснулся) в Иосафатовой долине близ городища Чуфут-Кале. В караимских обрядовых песнях сохранилось имя бога неба и света Тенгри-хана. Он был главным божеством в языческом пантеоне ранних тюрок. Ему приносили в жертву коней, кровью которых "поливали вокруг священных деревьев, а голову вешали на сучья" (История..., 1861. С. 200–202) и, судя по всему, были и человеческие жертвоприношения (Гази-Барадж..., 1993. С. 54). В последнем источнике говорится о родстве хазар и болгар и едином для них языческом пантеоне (Гази-Барадж..., 1993. С. 21). Символические изображения культа Тенгри, известные в материалах нескольких салтоских памятников Крыма, были распространены по всей территории Хазарского каганата (Плетнева, 1967. С. 171–179. Представляется очевидным, что для реконструкции религиозных верований средневековых тюрок Таврики большое значение имеет уникальное святилище, изученное в 1987–1993 гг. на участке куртины XV Судакской крепости (рис. 1, *1*). На основании анализа архитектурных остатков и археологического материала выделяются три периода его функционирования.

Реконструкция первоначального объекта, возникающего во второй половине VII в., чрезвычайно трудна, неоднозначна и достаточно субъективна (Баранов, Майко, 1995. С. 71–74), что связано с его плохой сохранностью и неполной изученностью. Зафиксирован только четырехметровый участок циркульной кладки высотой до 0.7 м, дуги которой уходят под оборонительную стену IX в., выступающий из-под внешнего панциря куртины на 0.5–0.7 м (рис. 1, *2*). А.И. Баранов интерпретирует данную кладку как фрагмент алтарной части святилища (Баранов, 1991. С. 147). Разрез остатков алтаря свидетельствует, что последний только по радиусу был выложен каменными пилеными блоками, а в центре забутован крупными камнями-валунами. Он зафиксированы на трехметровом участке с внутренней стороны описываемой куртины. Являясь основой последней, камни забутовки алтарной части святилища находятся ниже камней опоры орфостатного внутреннего панциря крепостной стены, играя роль своеобразного фундамента (рис. 1, *3*).

Помимо сохранившегося фрагмента алтаря к югу от него обнаружено скопление нескольких крупных подпрямоугольных сланцевых плит, ориентированных по оси север – юг. Бóльшая из них имеет своеобразные антропоморфные черты. Другая, находящаяся с внешней стороны куртины, – шесть округлых отверстий (по три в горизонтальном ряду). У северовосточного подножия алтаря обнаружено антропоморфное изваяние, изготовленное из вторично использованного византийского надгробья с рельефным крестом (рис. 2, *9*). В радиусе алтаря обнаружен также развал каменных блоков, в том числе и несколько архитектурных деталей, входивших, вероятно, в конструкцию святилища. Среди скопления камней найден блок с четко вырезанной тамгой в виде "птичьей лапки" (рис. 1, *2*). Подобные изображения известны на блоках оборонительных стен хазарских крепостей Таврики (Герцен, 1990. С. 253. Рис. 17). К северу от остатков алтаря зафиксирован синхронный ему зольник толщиной до 0.5 м, находящийся непосредственно на материковой поверхности. Горизонты зольника представляют собой прослойки горелых углей, золы и пережженной глины. Толщина их колеблется от 0.03 до 0.07 м (рис. 1, *4*).

Археологический материал, происходящий из святилища, хронология и этническая атрибуция объекта детально проанализированы в отдельных работах (Баранов, 1991. С. 147–150; 1994а. С. 17; Баранов, Майков, 1994. С. 99–101; 1995. С. 71–74).

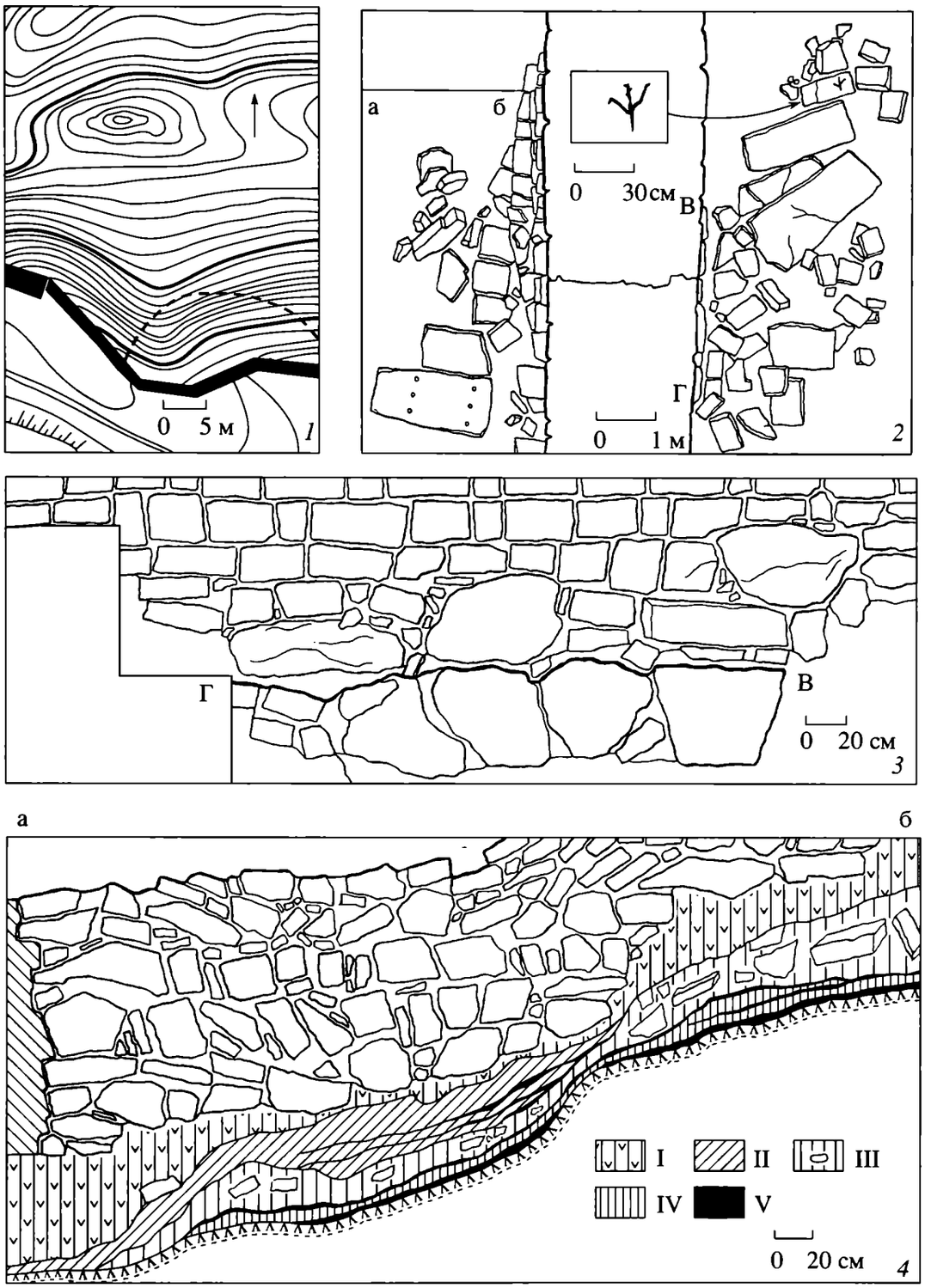


Рис. 1. Святилище Сугдеи. *1* – месторасположение на территории крепости; *2* – план святилища первого периода; *3* – разрез остатков ритуальной площадки; *4* – стратиграфия по оси север–юг: I – слой X в.; II – слой зеленоватой глины с прослойками золы; III – слой развала святилища первого периода; IV – слой коричневой глины; V – слой золы и углей.

Еще раз обратим внимание на комплекс лепной керамики и выделим находки культового характера. Это стилизованная бронзовая фигура лошади, клыки, зубы и небольшой известняковый идол с отбитым в древности лицом (рис. 2, *1–8*). Напомним, что, по мнению И.А. Баранова, именно это капище, связанное с культом общетюркского божества Тенгри, упоминается в Житии Стефана Сурожского в связи с крещением язычников-тюрок Сугдеи (Васильевский, 1915. С. 85, 86). Среди раннетюркских памятников Болгарии наиболее близки Судакскому святилищу праболгарские капища в Балчике и Мадаре (Овчаров, 1986. С. 32. Рис. 2; Рашев, 1992. С. 111, 112), а также ка-

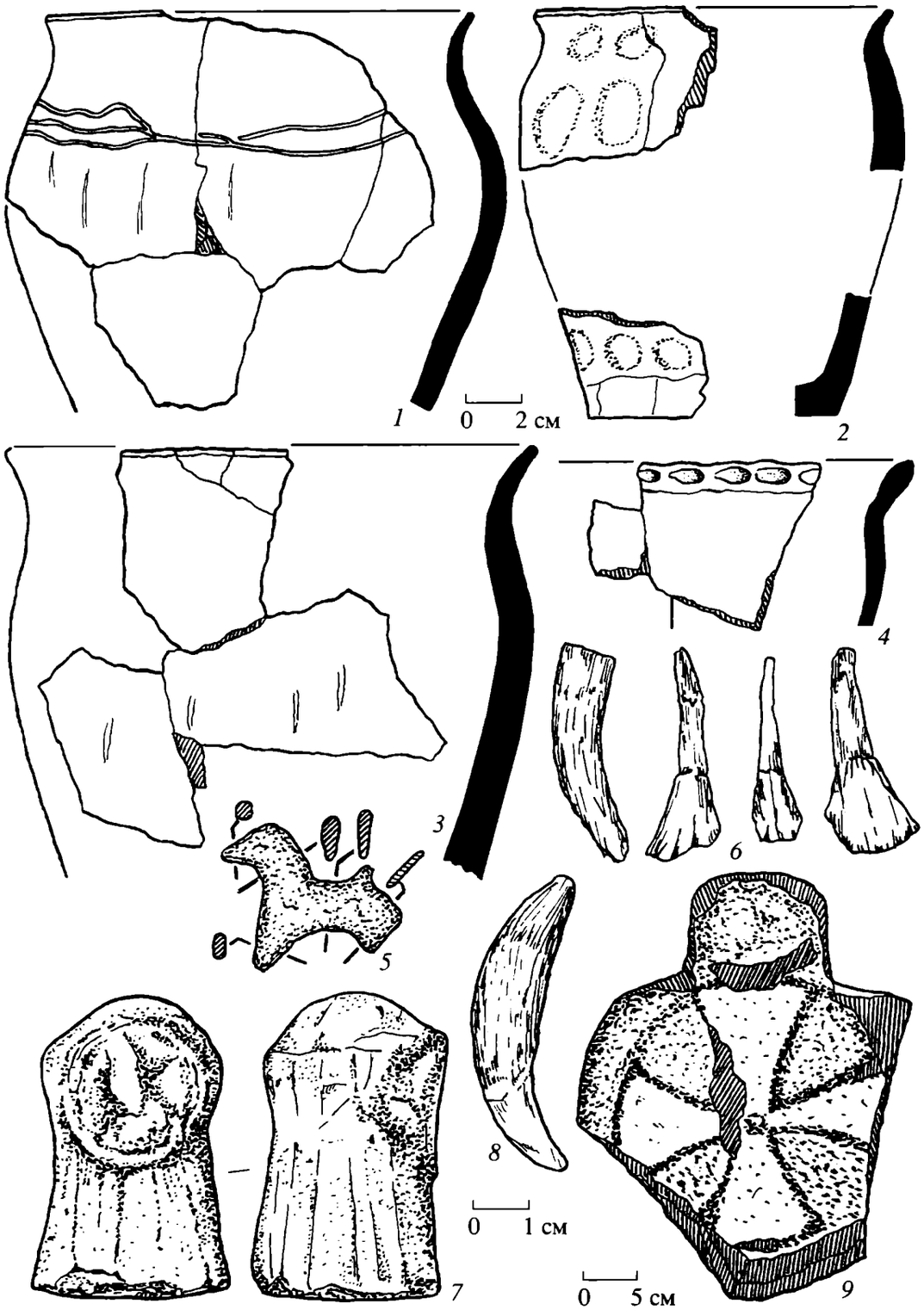


Рис. 2. Святилище первого периода VII–VIII вв. Лепная керамика и культовые изделия.

менное капище, открытое В.В. Хвойко в 1908 г. в центре древнейшего киевского городища.

По разработанной типологии сакральных памятников славян (Козак, 1990. С. 440, 441), которая в данном случае подходит и для праболгар, все перечисленные капища, как и Судакское, относятся к так называемым святилищам-жертвенникам, возводившимся непосредственно на поселении и состоящим из площадки, выложенной камнями, и зольника для остатков жертвоприношений. Интересной особенностью этих святилищ является отсутствие или минимальное количество в археологическом материале каких-либо ритуальных предметов.

Вероятно, во второй половине VIII в. происходит перепланировка этого центрального культо-

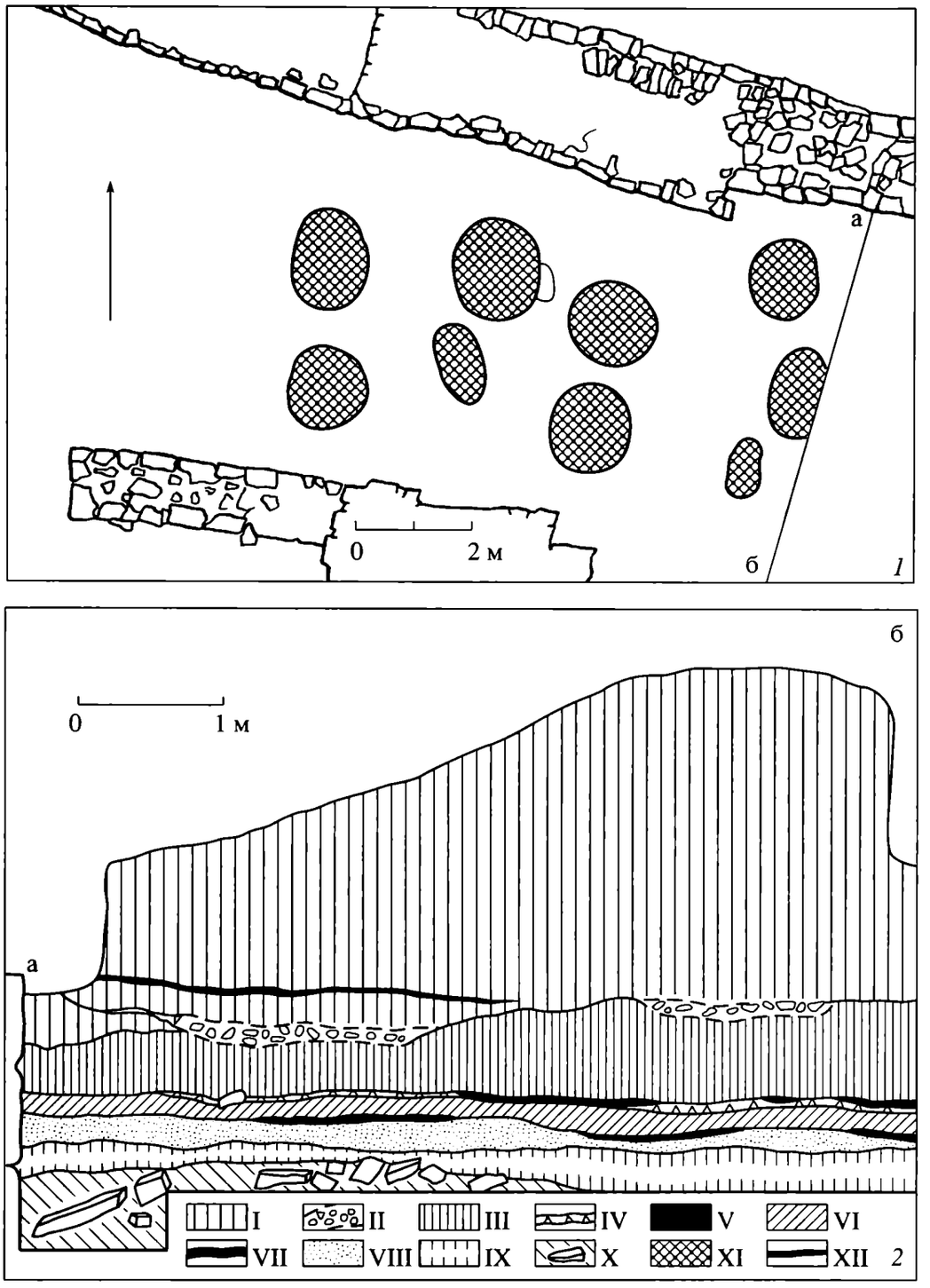


Рис. 3. Святилище второго периода VIII–X вв. *1* – план; *2* – стратиграфия по оси север–юг: I – слой XIV–XV вв.; II – слой строительного мусора XIII в.; III – слой второй половины X в.; IV – слой извести; V – ритуальные очаги; VI – глиняная обмазка; VII – слой дерева; VIII – песок; IX – слой бута и щебня; X – развал капища VII в.; XI – очаги; XII – слой пожара.

вого объекта тюрок Сугдеи, вызванная как частичной сменой населения, так и разрушением первоначального капища (Баранов, Майко, 1996а. С. 71–88). При восстановлении ритуальной площадки салтовцами была произведена сплошная нивелировка участка: промоина засыпана мусором, а участок каменного развала капища подсыпан бутом и щебнем. Поверх бута и щебня была произведена нивелировочная подсыпка песком, поверх которой положена деревянная обрешетка из жердей толщиной до 3 см. Последняя покрыта слоем глиняной обмазки. В восточной части площадки поверх глиняной обмазки зачищен слой белого известкового раствора (рис. 3, *2*). Возможно, им покрывалась вся ритуальная площадка. Святилище, вероятно, было обнесено четырехугольной камен-

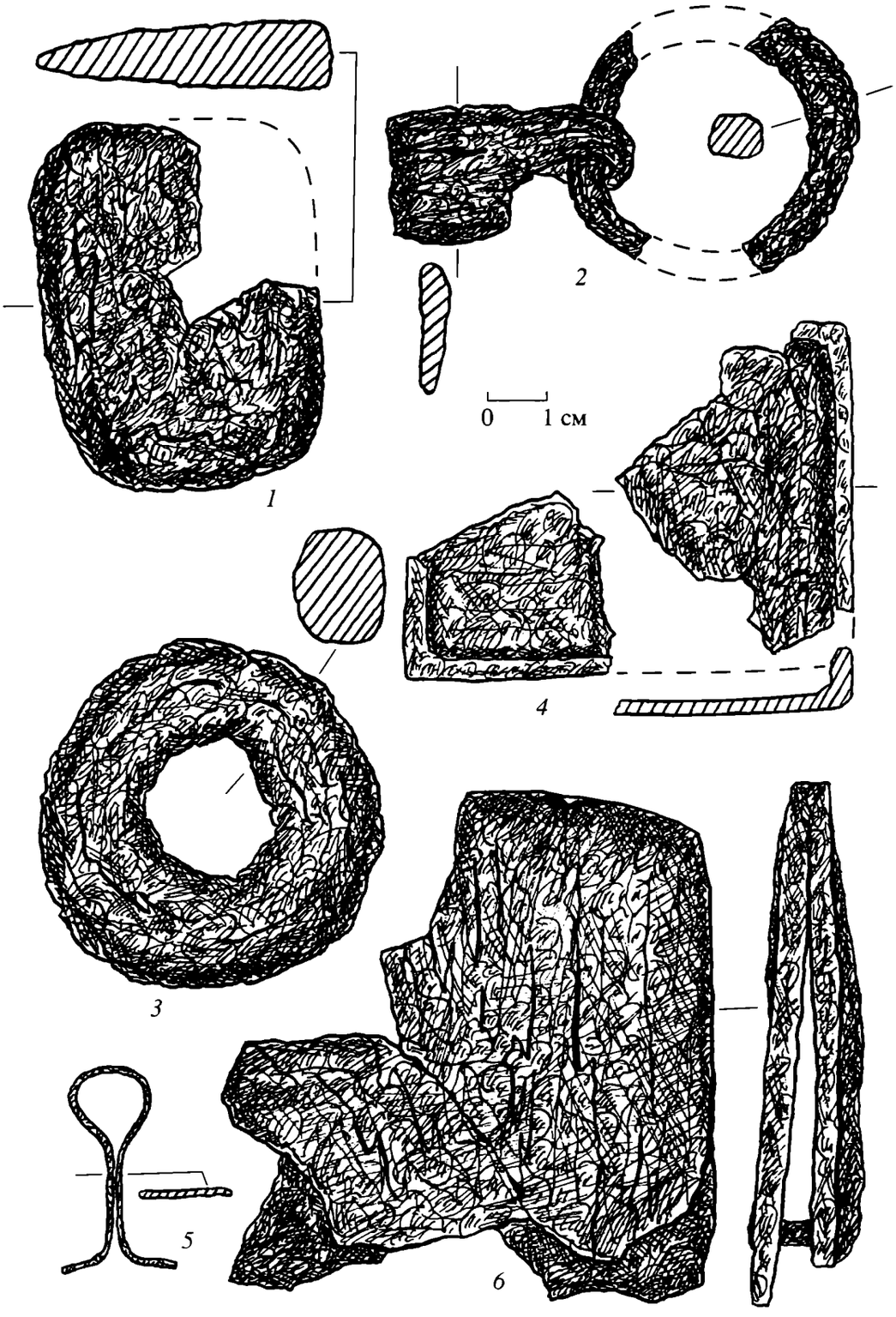


Рис. 4. Святилище второго периода VIII–X вв. Изделия из железа из заполнения ритуальных очагов.

ной оградой, от которой сохранился лишь участок южной стены, опиравшейся на слой, подстилающий обмазку ритуальной площадки. На обмазанном полу ритуальной площадки зачищено девять расположенных бессистемно очагов диаметром 0.7–1.0 м (рис. 3, *1*). Судя по рыхлости грунта и пепла, очаги существовали непродолжительное время. Можно предположить, что кострищ было значительно больше, но они не сохранились, так как после завершения обряда священный пепел с костями животных и другими предметами, побывавшими в огне, ссыпался в зольник. Последний перекрывает зольник святилища второй половины VII в. и камни его развала.

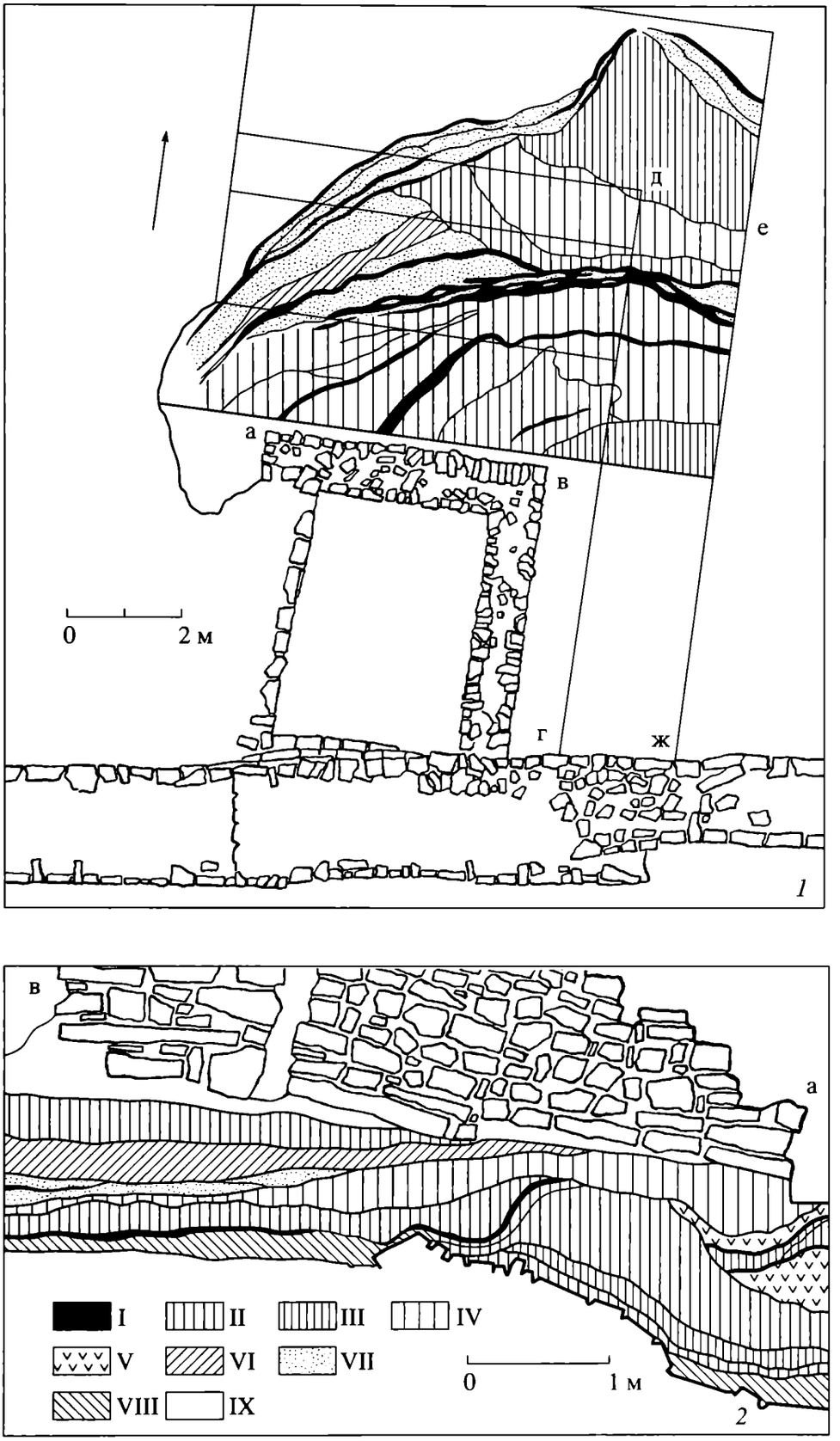


Рис. 5. Святилище третьего периода X в. План (*1*) и стратиграфия (*2*) по оси запад–восток: I – слой углей и золы; II – серый слой с известковыми вкраплениями и золой; III – серый слой с фрагментами углей и золы; IV – светло-коричневый; V – серо-коричневый с желтыми прослойками; VI – коричневый с золой и углями; VII – пепел, смешанный со светло-коричневой глиной; VIII – зеленоватая глина с углями; IX – слой X в.

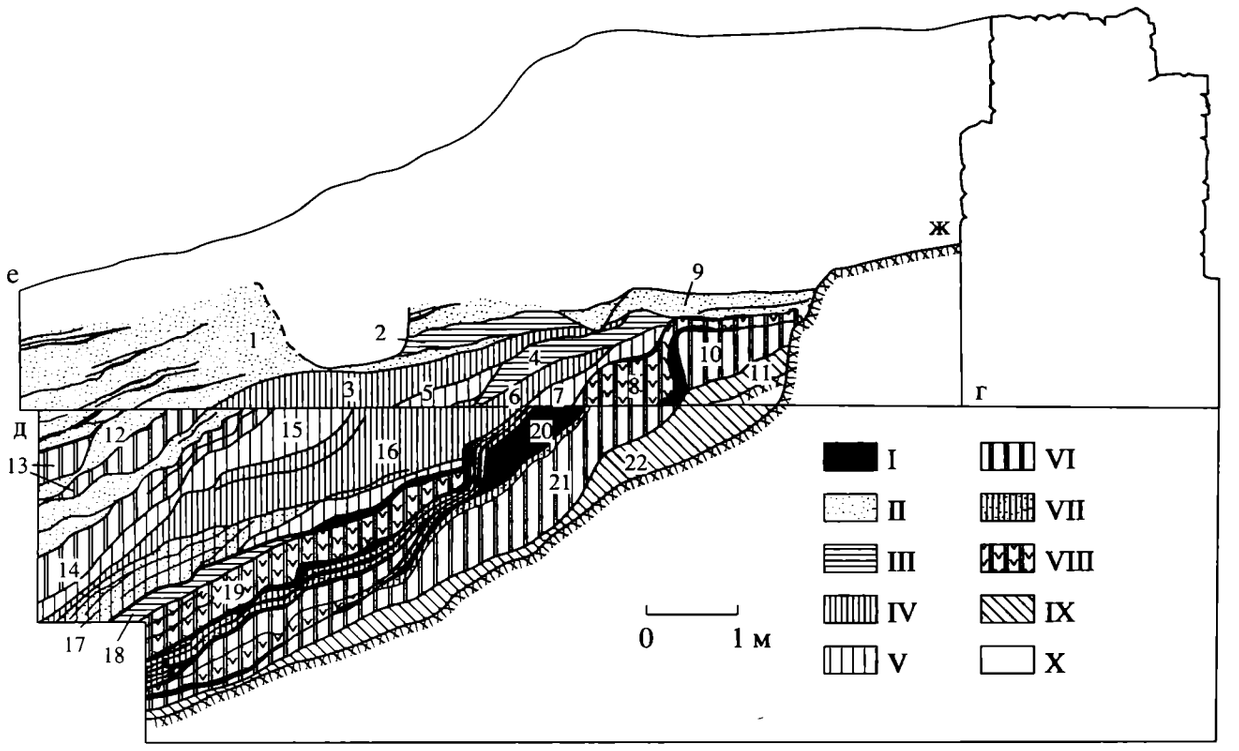


Рис. 6. Святилище третьего периода X в. Стратиграфия по оси север–юг: I – слои золы и углей; II – серый пепел, смешанный со светло-коричневой глиной; III – светлая зола, смешанная с серой глиной; IV – оранжевый слой с примесью печины; V – желто-оранжевый с примесью песка и печины; VI – коричневый; VII – серо-коричневый с желтыми прослойками; VIII – желтый; IX – слой зеленоватой глины с углями; X – слой XIV в.

Археологический материал, происходящий из подсыпки и обмазки святилища, а также из его зольника и заполнения очагов, немногочислен. Его детальному анализу посвящена отдельная работа (Баранов, Майко, 1996а. С. 88). Наличие фрагментов разнообразной кухонной салтовской посуды, причерноморских амфор с зональным рифлением, столовой керамики, комплекса изделий из железа (рис. 4) подтверждает, что объект возник не ранее второй половины VIII в. и с частичными перестройками существовал до середины X в.

Третий период функционирования святилища представлен несравненно более мощным зольником, в южной части частично перекрывшим зольники святилища первого и второго периодов. Напомним, что все они с внешней стороны примыкают к хазарской оборонительной стене Сугдеи второй половины IX в. (рис. 5, *1*) (Баранов, 1994б. С. 38, 39). Именно этот завершающий период функционирования Судакского святилища практически не отражен в публикациях. Остановимся на его характеристике подробнее. Как показала электромагнитная съемка, примерная площадь зольника третьего периода составляет не менее 250 м^2. В плане сооружение представляет собой земляной холм высотой 5.5 м, полукругом примыкающий к крепостной стене и насыпанный на естественный склон, расположенный перед ней. По оси север–юг объект исследован на 8.6 м, что составляет примерно половину его протяженности, по оси запад–восток – на 8.4 м. Атрибуция объекта зависит прежде всего от анализа стратиграфии.

В стратиграфии восточного борта раскопа, делящего памятник пополам по оси север–юг, зафиксировано несколько культурных горизонтов. В верхней части по линии *е–ж* под слоем XIV в. расположен горизонт серого пепла, смешанного со светло-коричневой глиной. Этот нечетко выраженный слой расчленен несколькими расположенными одна под другой прослойками углей и золы (рис. 6, *1*). Под ним в южной части расположен слой золы без видимых примесей песка и серой глины (рис. 6, *2*). Далее идет достаточно мощный оранжевый горизонт, насыщенный печиной и пережженной глиной (рис. 6, *3*). Под ним слой, аналогичный горизонту 2 (рис. 6, *4*), слой желто-оранжевой глины с примесью песка и печины (рис. 6, *5*) и расположенные последовательно слои, аналогичные слою 3 (рис. 6, *6*) и горизонту 5 (рис. 6, *7*). Далее тонкая прослойка углей отделяет горизонт 7 от слоя желтого песка, смешанного с золой и углями (рис. 6, *8*). Ниже – падающий практически отвесно толстый горизонт углей и золы (рис. 6, *9*), за ним мощный слой коричневой глины с примесью углей (рис. 6, *10*). Подстилает горизонт 10 слой зеленоватой глины с обильными примесями печины и углей, вероятно, он связан со святилищем второго периода и является остатками его зольника (рис. 6, *11*). Горизонты зольника по линии *д–г* в нижней его части частично являются продолжением вышеописанных слоев по линии *е–ж*. Вверху расположен слой 12 (рис. 6, *12*), являющийся продолжением слоя 1, но расчлененный здесь не только более мощными прослойками углей, но и двумя толстыми слоями коричне-

вой глины с примесью углей (рис. 6, *13*). Такой же слой коричневой глины, но с большей концентрацией золы, подстилает слой 12 (рис. 6, *14*). Далее идет слой желто-оранжевой глины с прослойками серой золы (рис. 6, *15*) и один из самых мощных оранжевый горизонт золы и печины, являющийся продолжением слоя 3 (рис. 6, *16*). Под ним слой с большей концентрацией песка, переходящий в серо-коричневый горизонт с большими примесями золы (рис. 6, *17*). Далее расположен слой углей, расчлененный горизонтом светлого пепла (рис. 6, *18*), и слой желтого песка с примесью серой золы (рис. 6, *19*). Далее самый мощный горизонт углей, расчлененный прослойками золы, коричневой с углями глины и смешанного с золой песка (рис. 6, *20*), являющийся продолжением слоя 9. Ниже – не менее мощный слой коричневой глины, продолжающий слой 10 (рис. 6, *21*). Подстилает указанные горизонты слой, являющийся продолжением слоя 11 (рис. 6, *22*). Важная стратиграфическая особенность заключается в том, что в плавно падающих упомянутых горизонтах и прежде всего углей и золы фиксируются горизонтальные площадки, не повторяющие рельеф склона. Они явно имеют искусственное происхождение. В слое 1 длина площадки составляет 0.7 м, в слое 12 и 18 – соответственно 1.48 и 0.8 м. В слое 20 зафиксированы две горизонтальные площадки, одна из которых наиболее яркая и выразительная для данного памятника. Высота и угол падения слоя 1 ниже горизонтальной площадки невелики, что придает пологий характер сползания и всему горизонту. Слои 12, 20 круто спускаются вниз по склону. В стратиграфии северной и южной стен раскопа на участке зольника, делящего памятник примерно пополам по оси запад–восток, выявлено несколько культурных горизонтов, каждый из которых сопоставляется со слоями восточной стены раскопа (рис. 5, *2*).

Подводя итог, отметим, что наибольшая мощность горизонтов зольника зафиксирована на участках горизонтальных площадок. Большинство исследователей ставят в прямую зависимость процесс накопления зольника с функционированием того или иного культового сооружения, что совершенно справедливо по отношению к зольникам судакского святилища первого и второго периодов функционирования. Однако отсутствие каких-либо капитальных сооружений как культового, так и ремесленного характера, которые можно было бы связать с зольником третьего периода, позволяет предположить, что сам зольник является земляным культовым объектом с ритуальными площадками, расположенными ступенями по радиусу зольного холма. Аналогичный и синхронный зольник, также не связанный с каким-либо архитектурным сооружением, обнаружен в средневековом Алустоне (Адаксина и др., 1994. С. 13). Отметим, что подобного типа культовые объекты появляются в Таврике во второй половине X в. и неизвестны среди салтовских памятников полуострова.

Описание археологического материала, происходящего из зольника, начнем с керамики. Предваряя описание тарной керамики, отметим, во-первых, что пифосы встречены в виде отдельных мелких фрагментов. Во-вторых так называемые высокогорлые кувшины с ленточной ручкой в количественном отношении превышают аморфную тару, что не характерно для салтовских памятников Крыма. Амфоры делятся на три типа и пять соответствующих им вариантов. Тип 1 – так называемые амфоры с венчиком в виде "отложного воротничка" (Якобсон, 1951. С. 336. Рис. 10). По степени приподнятости и массивности ручек и профилировке корпуса можно выделить три хронологических варианта (рис. 7, *1*). Тип 2 – амфоры с грушевидным рифленым ангобированным туловом. Центр их производства надежно локализован в непосредственной близости от Константинополя (Романчук и др., 1995. С. 143). Тип 3 – желтоглиняные крупные рифленые амфоры с грушевидным туловом. Отличаются составом теста, массивными уплощенными ручками, отходящими от края округлого венчика с пазом для крышки. Редки для Таврики (Якобсон, 1979. С. 72. Рис. 43, 7), в Крыму впервые появляются в поздних салтовских комплексах первой половины X в. (рис. 7, *2*).

Второй категорией тарной керамики являются хорошо известные для Таврики высокогорные кувшины с ленточными ручками, появляющиеся на полуострове в середине IX в. и существующие по крайней мере до начала XI в. Большинство исследователей согласны с тем, что центр их производства находился на Тамани (Плетнева, 1959. С. 249). В пользу их северо-кавказского происхождения говорит нефтяная смола, которой пропитаны внутренние поверхности большинства кувшинов. О разработке месторождений нефти в районе Зихии и Таматархи в середине X в. сообщает Константин Багрянородный (Константин Багрянородный, 1989. С. 272, 273). На всех типах амфор и на некоторых высокогорлых кувшинах присутствуют разнообразные граффито. Коллекция, происходящая из зольника третьего периода, уже сейчас насчитывает более сотни экземпляров. Их анализ – тема отдельного исследования.

Самой яркой и выразительной частью керамического комплекса является кухонная посуда. Ее предварительной типологии посвящена отдельная работа (Баранов, Майко, 1996б. С. 62–73). Напомним, что выделено по три типа горшков и кувшинов, два типа ойнахой, крышки, котлы и миски (рис. 7, *3, 4, 6–9, 11*).

Помимо кухонной керамики яркой отличительной особенностью керамического комплекса зольника третьего периода является набор столовой посуды. В связи с тем что именно он является своеобразным этническим маркером присутствия среди населения, оставившего объект, северокавказских тюрок, остановимся на его характеристике подробнее. Это в подавляющем большинстве кувшины, изготовленные из хорошо отму-

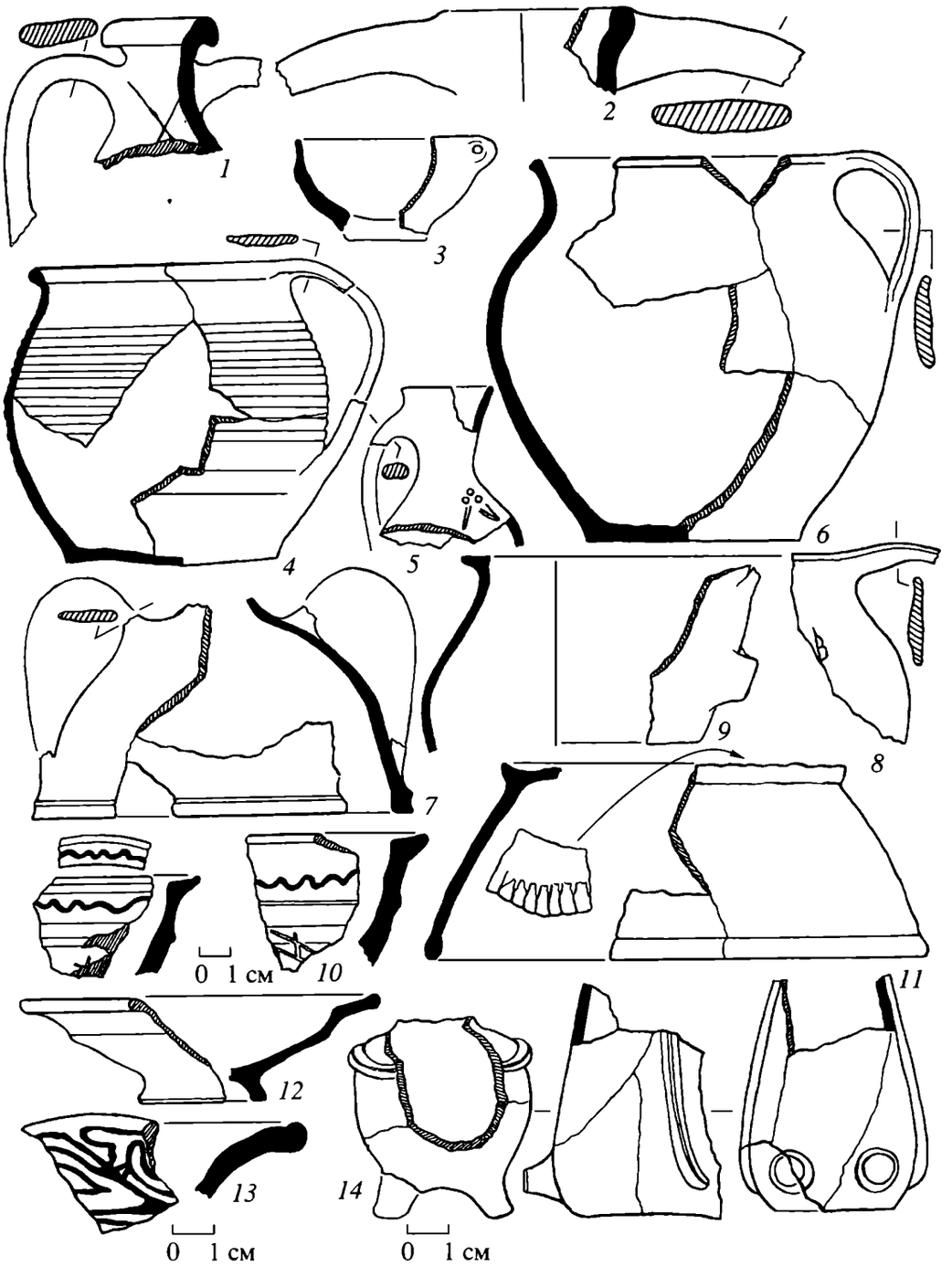


Рис. 7. Святилище третьего периода X в. Основные типы керамики.

ченной и обожженной глины коричневого, бежевого или зеленовато-бежевого цвета с мелкими примесями песка и извести. Поверхность сосудов чаще всего покрыта сплошным лощением. Иногда лощение небрежное, в виде хаотических линий, образующих подчас ромбы. В редких случаях тулово покрыто четкими вертикальными углубленными пролощенными полосами. Характерной особенностью этой категории керамики является и своеобразный прорезной орнамент, нанесенной по сырой глине, в виде различного сочетания треугольников и ромбов, выполненных двойной линией с одним–тремя сомкнутыми или разомкнутыми концентрическими кружками на углах (рис. 7, *5*). Только в одном случае обнаружен орнамент в виде своеобразной лесенки, образованной прорезными горизонтальными линиями с концентрическими кружками по краям каждой "ступеньки". Описываемые типы орнамента иногда заполнены белой пастой. Известны и случаи нанесения граффито на поверхность сосуда. Последние представлены как типичными тюркскими тамгами (трезубец), так и различными буквами греческого алфавита. Помимо Таврики (Баранов, 1990. С. 100. Рис. 35, *5*; Паршина, 1991. С. 82.

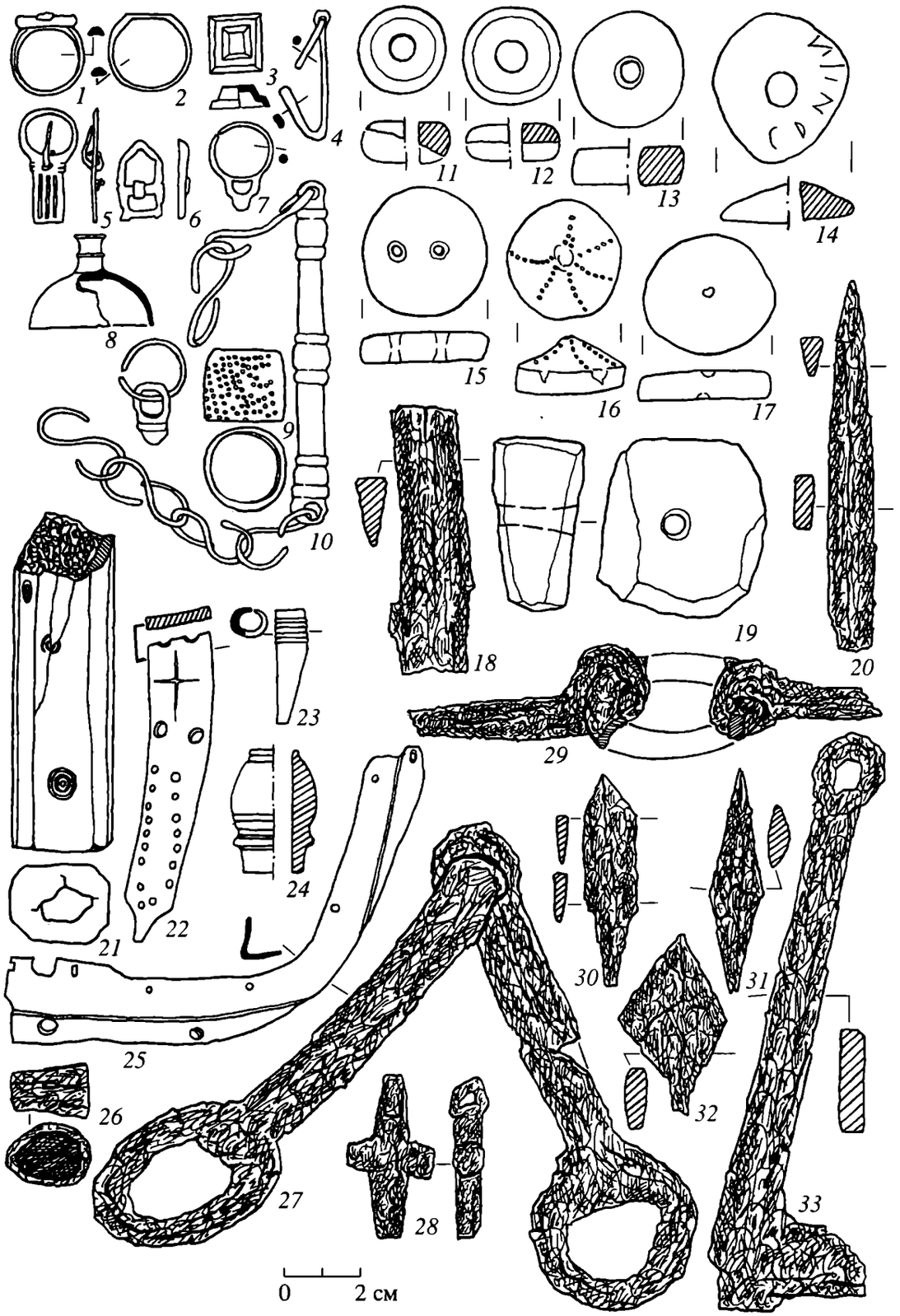


Рис. 8. Святилище третьего периода X в. Изделия из глины, кости, железа и цветных металлов.

Рис. 7) кувшин этого типа, имеющий аналогии на Поднепровье, найден в Саркеле (Якобсон, 1979. С. 81. Рис. 49, *3*). Отдельные фрагменты типологически близких кувшинов с подобным орнаментом известны в Подунавье (Comsa, 1967. Fig. 104, *11, 12, 14–16*). Выделено пять типов кувшинов с вариантами и миски (Баранов, Майко, в печати). Близкие аналогии некоторым типам кувшинов известны среди материалов адыгского могильника X–XI вв. Абинский-4 (Пьянков, 1993. С. 215. Рис. 2, *7*; С. 217. Рис. 4, *14*).

Последней составляющей керамического комплекса является столовая византийская бело- или розовоглиняная поливная посуда, проникающая в Крым в середине IX в. Ее типологическое членение, основанное на материалах зольника, уже рассматривалось в публикации (рис. 7, *10, 12, 13*) (Баранов, Майко, 1997. С. 21–23). Напомним лишь, что для Юго-Восточного и Южного Крыма можно говорить о некоторых различиях, как в процентном соотношении типов, так и в элементах орнамента между керамикой второй половины X – начала XI в. и второй половины IX – первой половины X в.

Изделия из глины представлены в основном пряслицами. Подавляющее большинство их не орнаментировано и изготовлено из тщательно обработанных стенок амфор, два из них с процарапанными греческими словами, а также два шиферных древнерусских прясла (рис. 8, *11–14*). К пряслицам примыкают и аналогичные изделия из стенок амфор, но с двумя отверстиями, предназначенные для сучения нити, керамическое грузило и керамические пробки различного диаметра и толщины. Выделяется пробка конической формы с наколами, выполненными штампом, и крышка, изготовленная из стенки белоглиняного поливного сосуда. К описываемым находкам близки глиняные круглые изделия, имеющие слабо намеченное отверстие с одной или двух сторон. Это либо заготовки для прясел, либо игральные фишки (рис. 8, *15–17, 19*).

Изделия из железа представлены разнообразными по величине ножами, гвоздями (рис. 8, *18, 20*). Кроме них обнаружены различные элементы конской сбруи: кольца, накладки, крупный фрагмент стремени (рис. 8, *27, 29, 33*), несколько наконечников стрел плохой сохранности (рис. 8, *30–32*), массивный ключ от замка, небольшой скобель и тигелек для варки цветных металлов и нательный крест (рис. 8, *26, 28*).

Самыми многочисленными изделиями из камня являются оселки. Среди них выделяются два, изготовленные из серого шифера. Собрана небольшая коллекция галечных тигельков, предназначенных для литья цветных металлов. Отметим находку небольшого стилизованного плохо сохранившегося сланцевого антропоморфа с отбитым в древности лицом.

Изделия из кости представлены ручкой, орнаментированной концентрическими кружками, характерными для кочевнических костяных изделий, накладками на колчан, щипцами, изготовленными из расщепленной кости и двумя сложнопрофилированными навершиями (рис. 8, *21–24*). Кроме упомянутых изделий довольно часто встречаются заглаженные рога животных и астрагалы с насечками, отверстиями, заглаженными краями, служившие в качестве игральных фишек. Обратим внимание на находки клыков и зубов крупных животных, служивших, возможно, в качестве амулетов.

Немногочисленна, но довольно разнообразна коллекция изделий из цветных металлов. Обнаружены две маленькие пряжки, изготовленные из бронзы (рис. 8, *5, 6*), несколько разных по толщине дужек от медных котелков, крючок для подвешивания казана (рис. 8, *4*), разнообразные накладки, в том числе крупная медная оковка колчана с сохранившимися заклепками (рис. 8, *25*). Интересны находки медной тонкой крышечки – половинки так называемого "самоварчика" салтовского типа, серебряного перстня с четырехлапчатой жуковиной и несохранившейся вставкой (рис. 8, *1, 8*) и ворворок (рис. 8, *3*). Данные находки характерны в основном для поздних салтово-маяцких памятников второй половины IX – первой половины X в. Достаточно часто встречаются обычные плоские или округлые в сечении бронзовые кольца, серьги, пуговицы-подвески, наперстки (рис. 8, *2, 7, 9*). Отметим находку элементов бронзового хороса (рис. 8, *10*).

Изделия из стекла представлены прежде всего браслетами. Именно из зольника третьего периода происходит коллекция, насчитывающая в настоящее время более 700 штук. Это, как и наличие бракованных изделий и производственного шлака, позволяет поставить вопрос об их местном производстве. Выделено девять типов браслетов и перстней и несколько соответствующих им вариантов, различающихся и по морфологии, и по технологии изготовления. Их детальный анализ – тема отдельной работы. Из других стеклянных изделий отметим фрагменты тонкостенных стаканов баночной формы, а также мелкие фрагменты витых кольцевых поддонов, сложнопрофилированных ручек, крышек, основания ножек рюмок.

Для культурно-исторической атрибуции зольника третьего периода важны хронологические рамки его существования. За все годы исследований обнаружена всего одна херсоно-византийская монета Василия I самого позднего варианта. Она имела следы сильной потертости и в силу длительного нахождения в обращении мало пригодна для хронологического членения (Гилевич, 1974. С. 91–94). Однако в заполнении большинства жилых объектов Сугдеи и Партенит, содержащих аналогичный материал и составляющих единую культуру с описанными зольником, обнаружены византийские и херсоно-византийские монеты времени самостоятельного правления Константина VII и периода, когда соправителем императора являлся его сын Роман II (945–959 гг.).

Предложенную нижнюю хронологическую границу (середина X в.) подтверждают и стратиграфические наблюдения, сделанные во время раскопок на территории Судакского городища. По всей площади памятника горизонты, включающие салтово-маяцкий материал, перекрываются слоями, содержащими находки, характерные и для про-

анализированного зольника, без стерильной прослойки. В некоторых случаях указанные горизонты расчленены слоем пожара толщиной 3–7 см. В настоящее время в Крыму отсутствуют комплексы, где бы салтово-маяцкий материал сосуществовал с анализируемым. В этой связи показательно, что в керамических комплексах археологических объектов новой для Крыма культуры, в том числе и в материалах из зольника, совершенно отсутствуют амфоры причерноморского типа. Последние, изготавлявшиеся в Крыму и являвшиеся основной категорией аморфной тары салтово-маяцких памятников полуострова, прекращают производиться к середине X в. В то же время в керамических комплексах праболгар Таврики, за исключением отдельных мелких фрагментов в наиболее поздних объектах, отсутствуют импортные византийские амфоры. Последние, наоборот, являются основным типом амфор для памятников, составляющих с зольником третьего периода единую культуру юго-восточного Крыма второй половины X в.

Сложнее определить верхнюю хронологическую границу зольника третьего периода, т.е. время прекращения функционирования всего святилища. В синхронных жилых комплексах Сугдеи и Партенит обнаружено несколько византийских монет второй половины X в. (Паршина, 1991. С. 88), позволяющих констатировать лишь то, что памятники, в том числе и зольник третьего периода, в это время функционировали. Уточнить верхнюю хронологическую границу позволяют стратиграфические данные, полученные при раскопках Судакского городища, где византийские объекты второй половины XI–XII в. перекрывают слои, содержащие проанализированный археологический материал без стерильной прослойки. Иногда они разделены слоем пожара толщиной 5–10 см. В этой связи отметим, что в византийских керамических комплексах Сугдеи середины XI–XII в., содержащих амфоры с венчиком в виде "отложного воротничка" самого позднего варианта, описанная выше керамика представлена в виде единичных фрагментов. Вероятно, верхней хронологической границей зольника и временем прекращения функционирования святилища может быть первая половина, а точнее, первая четверть XI в.

Для культурно-исторической атрибуции зольника третьего периода необходимо учитывать, что время его возникновения в середине X в. совпало с резкой сменой в юго-восточной Таврике материальной культуры. Большинство салтовских поселений гибнет или забрасывается. В городах (Сугдее, Алустоне, Партенитах), салтовские слои перекрываются горизонтами, включающими археологический материал и прежде всего керамику, резко отличающуюся от предшествующих салтовских древностей Крыма (Майко, 1997. С. 109–121). Тем не менее, во-первых, налицо преемственность в домостроительстве. Во-вторых, как оказывается, несмотря на резкие различия в конструкции святилища второго и третьего периодов, наблюдается общая тенденция в выборе ритуального места, бывшего на протяжении нескольких веков священным для тюрок Сугдеи. Если считать эту новую культуру византийской, то, помимо отсутствия прямых аналогий на территории Византии, невозможно найти в письменных источниках объяснение факту массового заселения византийцами юго-восточного Крыма в середине X в. и гибели в связи с этим праболгарских памятников полуострова. Тем более что сильно византированные и христианизированные праболгары Крыма и так поддерживали империю. Даже если считать поход Романа I 932 г. в Таврику против хазар реальностью, то нужно вспомнить, что он, согласно Аль-Масуди, оказался неудачным, войска потерпели поражение (Баранов, 1990. С. 152). Вместе с тем, согласно письму хазарского царя Иосифа, именно в середине X в. почти вся Таврика контролировалась каганатом.

Основываясь на анализе археологического материала, нельзя исключить, что истоки этой новой культуры находятся в тюркских древностях Северного Кавказа (Баранов, 1991. С. 150). Но переселившееся отсюда в Крым население, будучи городским, в этническом плане являлось неоднородным, а в процессе переселения смешалось еще больше. На сегодняшний день можно говорить о том, что в составе переселенцев были кавказские аланы и часть населения, генетически связанного с этническими хазарами. Они привнесли в Таврику совершенно новую, уже сформированную материальную культуру. На наш взгляд, это переселение связано с русско-византийско-хазарским противостоянием, приведшим к походу хазарских войск Песаха 941 г. Последний, описанный в тексте так называемого Кембриджского Анонима (Коковцев, 1932. С. 117–120), послужил причиной гибели салтовской культуры Крыма. Вероятно, следом за армией двигалось и мирное население. После упадка и гибели Хазарского каганата, юго-восточная Таврика попадает под власть Византии. Однако переподчинение территорий, населенных северо-кавказскими переселенцами, не привело к изменениям в составе населения, хотя материальная культура и испытала сильное византийское влияние. Очевидно, юго-восточная Таврика во второй половине X в. была своеобразным, номинально подчиненным Византии реликтом Хазарии, археологическим эквивалентом которой являются исследованные памятники, в том числе и проанализированный выше зольник третьего периода.

Вопрос о судьбах Хазарии после 965 г. – один из наиболее сложных. Тем не менее о существовании остатков хазарского владычества в Крыму свидетельствуют как древнерусские, так и целый комплекс иудейских документов X в. (так называемые Приписки на полях Крымских Библий

(Хвольсон, 1866) и документы хазаро-иудейской переписки). Именно эта так называемая Крымская Хазария второй половины X в. в итоге стала почвой для известного по письменным источникам восстания 1016 г. Георгия Цуло. Возможно, после его подавления и перестает функционировать Судакское святилище, бывшее центральным культовым объектом тюрок Сугдеи три с половиной века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адаксина С.Б. и др. Исследования крепости Алустон // Археологические исследования в Крыму 1993 г. Симферополь, 1994.

Баранов И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья (салтово-маяцкая культура). Киев, 1990.

Баранов И.А. Болгаро-хазарский горизонт средневековой Сугдеи // Проблеми на прабългарската история и култура. София, 1991.

Баранов И.А. Археологическое изучение Сугдеи-Солдайи // Археологические исследования в Крыму 1993 г. Симферополь, 1994а.

Баранов И.А. Таврика в составе Хазарского каганата. Автореф. дис. ... докт. ист. наук, Киев, 1994б.

Баранов И.А., Майко В.В. Среднеднепровские элементы в культуре населения раннесредневековой Таврики // Старожитності Русі України. Київ, 1994.

Баранов И.А., Майко В.В. Пастирско-пенковската култура и проблемът за разселването на прабългарските племена от Средното Поднепровие и Таврика // БСП. 1995. Т. IV.

Баранов И.А., Майко В.В. Комплексът салтовски съоръжения в Судакската крепост // БСП. 1996а. Т. V.

Баранов І.А., Майко В.В. Деякі питання типології і технології виготовлення кухонного посуду X–XI ст. з Судака // Українське гончарство. Кн. 3. Київ, 1996б.

Баранов И.А., Майко В.В. Поливная керамика Сугдеи второй половины X в. // Византия и Крым. Тез. докл. Симферополь, 1997.

Баранов И.А., Майко В.В. К вопросу о типологии столовой лощеной посуды юго-восточного Крыма второй половины X в. // Херсонесский сборник. Вып. X. Севастополь, в печати.

Васильевский В.Г. Введение в Житие Св. Стефана Сурожского // Труды. Т. 2. Пг., 1915.

Гази-Барадж Тарихы. Бахши Иман. Джафар Тамхы. Свод булгарских летописей. Т. 1. Оренбург, 1993.

Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа // МАИЭТ. 1990. Вып. 1.

Гилевич А.М. Клад херсоно-византийских монет (IX–X вв.) из округи Херсонеса // НиС. 1974. Вып. 5.

История агван Моисея Кагантваци, писателя X века. СПб., 1861.

Козак Д.Н. Сакральные памятники Юго-Восточной Европы I тыс. н.э. // Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990.

Коковцев П.К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932.

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.

Майко В.В. Крим и Северен Кавказ през периода от средата на X – до началото на XI в. (проблеми на етнокултурните връзки) // БСП. 1997. Т. VI.

Овчаров Д. Прабългарски култов паметник от Балчик // Археология. 1986. Кн. 2.

Паршина Е.А. Торжище в Партенитах // Византийская Таврика. Киев, 1991.

Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // МИА. 1959. № 75.

Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-Маяцкая культура. М., 1967.

Пьянков А.В. Средневековый могильник Абинский 4 // Древности Кубани и Черноморья. Понтийско-Кавказские исследования. Вып. 1. Краснодар, 1993.

Рашев Р. Средновековните постройки северното от скалния релеф в Мадара // Мадара Ш. Шумен, 1992.

Романчук А.И., Сазанов А.В., Седикова Л.В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург, 1995.

Сказание о начале славянской письменности. М., 1981.

Хвольсон Д.А. Восемнадцать еврейских надгробных надписей из Крыма... СПб., 1866.

Якобсон А.Л. Средневековые амфоры Северного Причерноморья // СА. 1951. Т. XV.

Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л., 1979.

Comsa M. Ceramica locala // Dinogetia. V. 1. Bucuresti, 1967.

Turkic Sanctuary of the Second Half of the 7th–10th Centuries in Sugdea

I. A. Baranov, V. V. Maiko

Summary

In the article a large shrine is regarded situated in the area of curtain 15 in Sugdea fortress (present Sudak). Three periods in its functioning may be outlined: the second half of the 7th – first half of the 8th cc., the mid 8th – mid 10th cc., and the second half of the 10th century. During the first period the monument had shape of sanctuary with oval altar; then after this structure had been destroyed by earthquake the shrine consisted of several hearths; and, finally, it represented a complicated earthen structure with ritual areas within it. The superimposed cinder-heaps connected with all the three periods of the site functioning were repeatedly located in the same place. The published monument assumed various shapes, but during three centuries and a half it constituted the central shrine of the Sugdean Turks.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 111–117

ЗАМЕТКИ

НОВЫЕ НАХОДКИ КАМЕННЫХ ОБРАЗКОВ И МАТРИЦЫ ПРИКЛАДНОЙ ПЕЧАТИ ИЗ ВОЛОГДЫ И БЕЛООЗЕРА[1]

© 2001 г. Н. А. Макаров*, А. В. Суворов**

* Институт археологии РАН, Москва

** Научно-производственный центр "Древности Севера"

Хотя Вологда традиционно рассматривается как один из важнейших центров художественной культуры на Севере Руси в XIII–XV вв., в археологических коллекциях, собранных в вологодских землях, памятники прикладного искусства представлены очень небольшой серией вещей. Недавно она пополнилась несколькими новыми предметами, найденными при случайных земляных работах и в ходе полевых исследований. Два из них – каменные образки, обнаруженные на территории г. Вологда, третий – каменная печать-матрица, обнаруженная примерно в 60 км от Вологды, на Кубенском озере. Происхождение еще одной иконки, недавно поступившей в собрание Кирилло-Белозерского музея-заповедника, связано с окрестностями другого средневекового севернорусского города – Белоозера, где ранее уже было найдено несколько выразительных образцов мелкой каменной пластики (Макаров, Захаров, 1995).

Иконка с поясным изображением Богоматери с младенцем (рис. 1) найдена на северо-восточной окраине Вологды, за пределами ее исторической части, в ходе земляных работ на садовом участке. По сообщению находчика И.И. Опалихина она была обнаружена на глубине около 0.1 м от современной поверхности в слое, содержавшем угли и древесный тлен. Образок вырезан из плоской плитки красновато-коричневого сланца трапециевидной формы, высота которой составляет 59 мм, а ширина в нижней части – 52 мм, а в верхней части – 47 мм. Нижний левый угол плитки на всю толщину снят фаской.

На лицевой стороне иконы – рельефное изображение Богоматери типа Умиление, со склоненной влево, к младенцу, головой, в 3/4 поворота. Богоматерь поддерживает младенца снизу левой рукой, все пальцы которой, исключая указательный, изображены подогнутыми. Правая ее рука с отставленным большим пальцем прижата к груди возле руки младенца. Младенец Христос представлен сидящим на левой руке матери. Голова младенца обращена к склоненной голове Богоматери, левая рука протянута к ее правому плечу. Правой рукой младенец охватывает шею матери: изображены выступающие из-за шеи кончики четырех его пальцев. Из-под хитона младенца выступают показанные в профиль босые ступни с едва намеченными пальцами. Рельеф и фактура складок одежд трактованы параллельными врезанными линиями, большей частью довольно условно. Некоторые полосы ткани изображены декорированными прочерченными поперечными линиями. Голову Христа-младенца окружает рельефно выполненный декорированный нимб с вписанным в него крестом с расширяющимися концами. Нимб вокруг головы Богоматери изображен лишь двойной прочерченной линией. На крае мафория надо лбом Богоматери изображен равноконечный крест, вписанный в очерченный двойной линией полукруг. Образок выполнен рукой достаточно квалифицированного резчика, но изображения лика младенца, рук и разделка одежд несут определенные черты схематизма. Заглубленный ковчег, в который помещено изображение, окружает гладкая рельефная рамка шириной 5–7 мм.

На свободном поле ковчега на фоне вырезаны монограммы "МР ΘУ" и "IC XC" под титлами, разделенные каждая на две части по сторонам соответствующей фигуры. Необычно начертание в монограмме последней буквы "С", которая из-за горизонтальной черты в средней части скорее может быть прочитана как "Е". Начертание букв "Р" и "У" характерно преимущественно для XIV в., хотя встречается как в более ранний (XIII в.), так и в более поздний (первая половина XV в.) период[2]. Каменные образки с начертанием титлов в виде знака весов датированы Т.В. Николаевой XIII–XIV и XV вв. (Николаева, 1983. Табл. 22, *5*; 35, *1*; 46, *8*, *9*). Хотя начертания большинства букв монограммы не могут рассматриваться как четкие хронологические индикаторы, по совокупности палеографических признаков она с наибольшей вероятностью может быть отнесена к концу XIV – первой половине XV в.

[1] Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта 99-06-80177 "Археология севернорусской деревни".

[2] Авторы признательны А.А. Медынцевой за консультации по палеографии надписей.



Рис. 1. Каменная иконка с изображением Богоматери Одигитрии из Вологды.

Иконка Богоматери найдена на значительном удалении от тех участков, где в ходе археологических раскопок зафиксирована городская застройка XIII–XV в. Место находки было включено в черту города Вологды лишь в новейшее время. Можно предположить, что образок происходит из культурного слоя пригородного села или усадьбы.

Второй образок, с изображением св. Николая (рис. 2), находящийся ныне в собрании коллекционера Г.П. Белинского, также был обнаружен в Вологде при проведении земляных работ, но точно установить место его находки не удалось. Иконка вырезана из темного красновато-коричневого сланца. Нижние углы иконки прямые, закругленная верхняя часть снабжена широким выступающим ушком с отверстием. Высота образка с ушком 52 мм, без ушка 43.5 мм, ширина иконки 31 мм. Максимальная толщина предмета по нижнему полю ковчега и выступающей фигуре святого 8.5 мм. Оборотная сторона, боковые грани плитки и поля ковчега пришлифованы. Часть площади обратной стороны иконки сохранила первоначальную зернистую поверхность плитки.

Святой изображен в полный рост фронтально, почти во всю высоту ковчега, сравнительно высоким рельефом на сильно углубленном фоне. Фигура Николы имеет столпообразные очертания. Выступающая из-под фелони правая рука приподнята в благославляющем жесте, левая рука поддерживает Евангелие. Голову святого с крупно моделированными чертами и глазами навыкате окружает нимб с двойной окантовкой. Святительские одежды переданы схематично, но точно: намечены складки фелони, кисти по низу епитрахили, складка над выступающими из-под рясы концами ступней. Святой стоит на поземе, полоса которого отделена от фона рельефной линией и заштрихована косой клеткой. На переплете Евангелия, на епитрахили и оплечьях омофора начертаны изображения креста. Иконка имеет довольно широкую (5.5–6.5 мм) гладкую рельефную рамку. На ушке выгравировано еще одно изображение четырехконечного креста. По обеим сторонам фигуры, на дне ковчега помещены две колончатые резные вглубь почти идентичные надписи "**никола**". Расположенная слева от фигуры надпись выделяется лишь тем, что последняя ее буква "А" помещена в круг и представляет собой, таким образом, сокращение титула "ἅγιος", который должен был быть помещен перед именем святого.

По мнению А.А. Медынцевой, палеографические особенности надписи находят соответствие в эпиграфических памятниках второй половины XIII – рубежа XIII–XIV вв. В качестве датирующих признаков могут рассматриваться, в частнос-



Рис. 2. Каменная иконка с изображением св. Николая из Вологды.

ти, начертание буквы "И" с наклонной перекладиной, впервые появляющейся в XIII в., буква "Н" с косой перекладиной, характерной для XII–XIII вв. (Черепнин, 1956. С. 154, 241. Табл. 2), и "А" с оплывшей петлей во всю величину буквы, появляющейся в конце XIII – начале XIV в. Очевидно, в качестве датирующего признака можно рассматривать и позем, заштрихованный косой сеткой. Каменные образки с аналогичным оформлением позема, помещенные в свод Т.В. Николаевой (всего 6 экз.), датированы XIII–XIV вв. (Николаева, 1983. С. 85. № 146, 147. Табл. 28, *1*, *2*), XIV в. (Николаева, 1983. С. 111, 113, 226. Табл. 21, *4*, *6*; 39, *6*) и концом XV в. (Николаева, 1983. С. 110. № 242. Табл. 43, *1*). Еще одна иконка, изображающая трех святителей, стоящих на поземе в виде косой решетки, найдена в Новгороде на Троицком раскопе в слоях конца XIV – начала XV в. (Седова, 1999. С. 374–378).

В своде древнерусских каменных образков, изданном в 1983 г., числятся две иконки, происхождение которых связано с Вологдой (Николаева, 1983. С. 35, 36, 117). Одна из них – прямоугольная иконка из мергеля с поясным изображением св. Николая – найдена в комплексе постройки XIII в., одной из древнейших, исследованных в Вологде в ходе раскопок. Вторая – двусторонняя икона с изображением Константина и Елены и Ксении и Параскевы Пятницы из собрания П.И. Щукина. На рамке последней начертана надпись "**костянтинова оаврилово а резал истома на ввлогде**". Т.В. Николаева датировала этот образок 60–70-ми годами XV в. В 1995 г. при раскопках в Вологде в слое конца XIII–XIV вв. найдена заготовка каменной иконки с полукруглым завершением и намеченной рамкой (Кукушкин и др., 1996. С. 57, 58). Оба образка, включенные в свод Т.В. Николаевой, отличаются условностью и грубостью изображений, выдающих руку не очень умелых резчиков. Черты примитивизма особенно заметны в передаче фигуры и трактовке одежд св. Николая на иконке из раскопок А.В. Никитина. Новые находки из Вологды представляют собой продукцию мастеров, более профессионально владевших искусством резьбы по камню.

Еще один образок с изображением св. Николая (рис. 3), найденный в окрестностях Старого Города – Белоозера, поступил в Кирилло-Белозерский музей-заповедник от коллекционера Г.И. Алексеева. По словам находчика, он происходит из сборов на правом берегу р. Шексна, на месте с. Каргулино, где в 1992 г. Онежско-Сухонской экспедицией ИА РАН было зафиксировано позднесредневековое селище (Макаров и др., 2000). До своего упразднения в 1764 г. здесь находился Троицкий Усть-Шехонский монастырь, основанный, согласно историческим сочинениям конца XVI в., первым белозерским князем Глебом Васильковичем в урочище "Переливна" и впоследствии дважды менявший свое местоположение в связи с разливами Шексны, подтапливавшей обитель (Макаров, Охотина-Линд, 2000. С. 186–198).



Рис. 3. Каменная иконка с изображением св. Николая из Каргулина.

Иконка вырезана из серого сланца, нижние углы ее прямые, верх дугообразно закруглен. Образок немного окатан, что обычно для вещей, собранных на размытых берегах водохранилищ. Высота его 27 мм, ширина – 22 мм.

Икона несет поясное изображение св. Николая с благославляющей правой рукой и Евангелием перед грудью – в левой. Лик Николы – с овальными, обведенными двойной линией глазами, высоким лбом и небольшой бородой. На плечах – омофор с большими четырехконечными крестами с точками в средокрестиях и на перекладинах. Изображение креста в ромбе на переплете Евангелия повреждено выбоиной. Разделка одежд дана штрихами, край мантии орнаментирован ромбами. Нимб рельефный с окантовкой. Все изображение, в особенности лик и руки святого, отмечено чертами примитивизма. Иконка обрамлена гладкой рельефной рамкой шириной 2–3.5 мм.

На территории Старого Города – Белоозера найдено в общей сложности пять каменных образков. Два из них – миниатюрная круглая иконка с изображением св. Якова и фрагментированная иконка с погрудным изображением неизвестного святого – были обнаружены при раскопках в Белоозере в горизонтах XII–XIII вв. (Голубева, 1973. С. 17; Николаева, 1983. С. 57, 59). Каменная иконка с поясным изображением св. Николая найдена на Белоозере при случайных обстоятельствах и позднее передана в Белозерский краеведческий музей. Еще два образка – неоконченная иконка с изображением св. Глеба и круглый образок со стилизованным изображением креста – были найдены в 1993 г. в ходе археологических исследований на размываемых участках берега Шексны. Учитывая стилистические особенности белозерских образков и топографическую связь их с участками, плотно заселенными в XII–XIII вв., три последних предмета могут быть датированы вышеуказанным периодом. Находка на Белоозере неоконченной иконки не оставляет сомнений в том, что в этом городе работали квалифицированные резчики (Макаров, Захаров, 1995. С. 209–216).

Отсутствие надписи и выразительных стилистических особенностей и неопределенный археологический контекст затрудняют датировку образка с изображением Николы, найденного в Каргулине. От обнаруженных здесь ранее произведений мелкой пластики он отличается более высоким рельефом, характерным для каменной пластики XIV–XV вв. Поэтому хронологическая близость его к основному массиву древностей Старого Города – Белоозера, датируемых второй половиной X–XIII в., маловероятна. Скорее всего образок должен быть отнесен к XIV–XV вв.

Резные образки из камня, происходящие с северных окраин Руси, составляют довольно скромную группу в своде мелкой пластики, опубликованном в 1983 г. Т.В. Николаевой. Помимо уже упомянутых каменных иконок из Вологды и Белоозера в него включены лишь две иконки XV – начала XVI в. – Гроб Господень и Богоматерь Владимирская, поступившие в Сольвычегодский краеведческий музей из ризницы Сольвычегодского Благовещенского собора. На связь еще трех образков с Сольвычегодском и Великом Устюгом указывают, по мнению Т.В. Николаевой, особенности их стилистики, композиции и иконографии (Николаева, 1983. С. 118, 119). Основываясь на этих материалах, Т.В. Николаева сделала заключение об отсутствии на Севере крупных мастерских каменной пластики. Хотя, по ее мнению, в Вологде, Великом Устюге и Сольвычегодске в XV в. работали отдельные мастера, занимавшиеся резьбой по камню, основными материалами для производства мелкой скульптуры на Севере были не камень, а дерево и моржовый клык. Традиция



Рис. 4. Каменная печать с поселения Коробово VI на Кубенском озере.

резьбы по камню не получила здесь широкого распространения (Николаева, 1983. С. 36).

Однако за два последних десятилетия коллекция каменных иконок с северных окраин Руси пополнилась новыми находками. Публикуя белозерские образки, один из авторов этой статьи уже отмечал некоторые малоизвестные и вновь найденные предметы из других городов, в частности, хранящуюся в Великоустюжском краеведческом музее иконку с изображением Богоматери Одигитрии, обнаруженную при случайных земляных работах в Великом Устюге у церкви Вознесения, и серебряную оправу от каменного образка с острова Вайгач (Макаров, Захаров, 1995. С. 214). К этому перечню стоит прибавить каменный образок XII–XIII вв. с изображением Богоматери, найденный на юге Белозерья, на поселении Луковец (Башенькин, 1997. С. 24. Рис. 10), и упомянутую выше заготовку иконки из Вологды (Кукушкин и др., 1996. С. 57, 58). Появление новых находок дает основание считать, что обычай ношения каменных иконок получил определенное распространение на Севере, а часть каменных образков изготовлена в северорусских городах.

Овальная печать-матрица (рис. 4) найдена в августе 1999 г. А.В. Суворовым при обследовании поселения Коробово VI на левом берегу р. Ельма недалеко от впадения ее в Кубенское озеро. Сильно нарушенный земляными работами и распашкой культурный слой поселения содержит материалы эпохи мезолита, бронзы, раннего железного века и средневековья (X–XIII вв.). Среди подъемного материала присутствует несколько фрагментов круговой керамики с профилировкой XIII–XIV вв., составляющих очень небольшую часть коллекции.

Печать изготовлена из серого камня. Щиток имеет овальную форму, размеры его 21 × 17 мм, толщина 3.5 мм. В центре щитка глубоко врезанное профильное изображение повернутого вправо зверя с когтистыми лапами, торчащими ушами и загнутым за спину хвостом. Возможно, на щитке изображен единорог – морда зверя завершается узким выступом. Вокруг изображения надпись: **печат протасьіева**. Очевидно, печать носилась в оправе, однако никаких следов ее не сохранилось.

По мнению А.А. Медынцевой, палеографические признаки надписи находят соответствие в эпиграфических памятниках XIII–XIV вв. Начертание буквы "Р" с крупной квадратной головкой характерно для XIV в., начертание буквы "В" для конца XIII–XIV вв. Архаичное начертание имеет буква "Ч" в виде бокальчика, однако в данном случае оно может быть интерпретировано как особенность "манерного" почерка второй половины XIV в. Однако в целом мелкое "обратное" письмо надписи невыразительно в палеографическом отношении и не может служить надежной основой для датирования.

Известно, что восково-мастичные печати, для оттискивания которых предназначались печати-матрицы, получили широкое распространение на Руси с 80-х гг. XIV в. (Соболева, 1991. С. 125). Восковые печати с изображением животного, птицы, фигуры человека или многофигурной композиции и круговой надписью обычны для русской сфрагистики конца XIV – начала XVI в. Хорошо известны на этих печатях и профильные изображения животного, в том числе с поднятым изогнутым хвостом. В каталог Н.А. Соболевой включено восемь восковых печатей с подобным изображением и круговой надписью (Соболева, 1991. С. 175, 177, 178, 183, 184, 193, 194. № 108, 112, 115, 137, 142, 182, 184), скреплявших документы 1440–1490-х гг. По своему оформлению эти восковые оттиски близки печати-матрице с Кубенского озера, хотя надписи на них обычно несут не только имя, но и отчество владельца. Три из этих печатей скрепляют документы из архива Кирилло-Белозерского монастыря – данную, меновую и отводную грамоты на земельные владения на Белоозере. Две печати из этой серии принадлежат должностным лицам – разъездчику и судье великого князя, шесть остальных – частным лицам, участвовавшим в земельных сделках.

Костяные и металлические печати-матрицы с эмблематическим изображением в центре щитка и круговой надписью встречены при раскопках в целом ряде древнерусских городов, однако число их остается сравнительно скромным. Нам известно семь находок подобных печатей. Наиболее известная из них – костяная прикладная печать из раскопок в Зарядье в Москве с изображением фигуры воина со щитом и мечом и надписью "печать ивана каровы". Находка происходит из культурного слоя XV в. (Рабинович, 1954). В Новгороде на Неревском раскопе в слоях третьей четверти XV в. найдена костяная печать в форме конуса, на шитке которой изображена птица и помещена надпись "**василья микитінич**". В.Л. Янин атрибутирует ее как печать посадника Василия Никитича, упоминаемого в летописи под 1411, 1420, 1421 и 1423 гг. (Янин, 1959. С. 304). Две двусторонние плоские печати с ушками найдены при случайных обстоятельствах в Суздале. Одна из них костяная, на лицевой стороне ее – изображение птицы и круговая надпись "**печать богданова**", на оборотной стороне – изображение шестикрылого серафима. Вторая печать отлита из белого металла и несет на лицевой стороне изображение крылатого коня и надпись "**печать прокоша расо**", а на обороте тамгообразный знак (Седова, Курганова, 1989. С. 257–263). Две печати-матрицы этого типа происходят из Твери. Костяная печать с ушком, найденная в перемешанном культурном слое на территории Затьмацкого посада, имеет изображение фигуры воина с мечом и щитом овальной формы. По периметру щитка выгравирована зеркальная надпись "**печать попа кузьмы**". По аналогиям издатели находки датируют ее серединой–второй половиной XV в. (Хохлов, Хухарев, 1992. С. 160–163; 1999. С. 131–137). Металлическая печать-матрица с изображением зверя и круговой надписью, обнаруженная в 1991 г. на территории Тверского кремля, известна лишь по кратким упоминаниям в публикациях (Травкин, Хухарев, 1999. С. 140). В Вологде И.П. Кукушкиным в 1992 г. найдена костяная двусторонняя печать с ушком, на лицевой стороне которой помещены изображение человека с мечом и щитом и круговая надпись "**печать зазиркіна**", а на обороте – неясное изображение и надпись "**печать рато...ина**". Автор раскопок датирует комплекс, с которым связана эта находка, XV в. (Башенькин, Кукушкин, 1994. С. 39, 40).

Прикладные печати с эмблематическим изображением в центре щитка и круговой надписью – не единственный тип печати, использовавшийся на Руси в конце XIV–XV вв. Значительно более многочисленную серию находок представляют собой печати с эмблематическими фигурами животных и птиц, тамгообразными знаками, изображениями святых без надписей, появившиеся, повидимому, в середине XIII в. и остававшиеся в употреблении до первой половины XV в. Подобные печати-матрицы, как правило, имеют форму шахматной фигурки (Полубояринова, 1971. С. 95–97; 1983. С. 95, 96; Колчин, Рыбина, 1982. С. 210, 211. Рис. 23; Макаров, Чернецов, 1988; Травкин, Хухарев, 1999. С. 139–143). Известны также и печати-матрицы строчными надписями и без изображений (Гайдуков, 1992. С. 84). Среди них единственная известная нам печать, изготовленная из камня. Печать плоская, в виде круглого медальона с ушком с четырехстрочной надписью "**печать феодося каменскаго**". Она найдена в 1994 г. недалеко от Вологды на территории позднесредневекового селища на р. Сухона близ деревни Устье-Вологодское (Кукушкин, Кукушкина, 1997. С. 631–633). Авторы публикации полагают, что печать могла принадлежать игумену Спасо-Каменного монастыря Феодосию, упоминаемому в одной из жалованных грамот 1450-х гг. Значительно более поздним временем (XVI–XVII вв.) датируется еще одна каменная печать, найденная в Москве при раскопках в Чертолье – конусообразная с плохо читаемой надписью ("офимш...) (Беляев, Векслер, 1996. С. 121).

Таким образом, печать с селища Коробово VI представляет собой редкую находку. Пополняя скромную серию печатей-матриц с круговой надписью и эмблематическим изображением в центре щитка, она является первой печатью этого типа, найденной на сельском поселении. Исходя из современных представлений о бытовании печатей с круговой надписью и эмблематическим изображением, находка с Кубенского озера может быть датирована концом XIV–XV вв. Хотя во владельцах печатей-матриц рассматриваемого типа обчно видят должностных лиц (Седова, Курганова, 1989. С. 259; Башенькин, Кукушкин, 1994. С. 40), мы можем с равным основанием предположить, что печать с Кубенского озера подобно целому ряду восковых печатей с профильным изображением зверя на поземельных актах XV в. принадлежала частному лицу.

Для археологического изучения Севера существенное значение имеет связь по крайней мере трех из четырех публикуемых находок с поселениями негородского типа, но расположенными вблизи городских центров. Письменные источники характеризуют период XIV–XV вв. как время бурной внутренней колонизации вологодских и белозерских земель, сопровождавшийся становлением сложной системы управления черными волостями и формированием монастырских и частновладельческих вотчин. Одним из следствий этого должно было стать появление в сельских областях значительного круга лиц сравнительно высокого социального и имущественного статуса – землевладельцев, их слуг, управлявших вотчинами, и должностных лиц. Имена многих из них известны нам по документам из архивов северных монастырей, однако сколько-нибудь заметных археологи-

ческих свидетельств присутствия этих людей в деревнях, селах и волостных центрах в нашем распоряжении до недавнего времени не было. Сельские поселения XIV–XV вв. на северных окраинах Руси археологически слабо уловимы, а собираемый на них вещевой материал обычно беден и маловыразителен. Вновь найденные каменные образки и печать вместе с ранее найденной печатью Феодосия Каменского из Устья Вологодского могут рассматриваться как единственные пока археологические индикаторы важных социально-экономических процессов, до сих пор остававшихся вне поля зрения археологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Башенькин А.Н. Вологодская область в древности и средневековье // Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.

Башенькин А.Н., Кукушкин И.П. Древняя Вологда // Вологда. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994.

Беляев Л.А., Векслер А.Г. Археология средневековой Москвы (Итоги исследований 1980–1990-х годов) // РА. 1996. № 3.

Гайдуков П.Г. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М., 1992.

Голубева Л.А. Весь и славяне на Белом озере. М., 1973.

Колчин Б.А., Рыбина Е.А. Раскоп на улице Кирова // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982.

Кукушкин И.П., Кукушкина Е.Н. Печать Феодосия Каменского // Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.

Кукушкин И.П., Кукушкина Е.Н., Сеничев М.Ю. Работы в Вологде и Вологодском районе // АО–1995. 1996.

Макаров Н.А. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв. М., 1997.

Макаров Н.А., Захаров С.Д. Три каменных образка из Белоозера // РА. 1995. № 1.

Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужилова А.П. Средневековое расселение на Белом озере. М., 2000.

Макаров Н.А., Охотина-Линд Н.А. Сказание о Троицком Усть-Шехонском монастыре и круг произведений по истории Белозерья // Florelegium. К 60-летию Б.Н. Флори. М., 2000.

Макаров Н.А., Чернецов А.В. Сфрагистические материалы из Белоозера // Древности славян и Руси. М., 1988.

Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI–XV вв. // САИ. 1983. Е1-60.

Полубояринова М.Д. Костяная печать из Серенска // КСИА. 1983. Вып. 175.

Рабинович М.Г. Материалы по истории Великого посада Москвы // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М., 1954.

Седова М.В. Каменная иконка XIV в. с Троицкого раскопа Новгорода // Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию В.Л. Янина. М., 1999.

Седова М.В., Курганова Н.М. Три случайные находки печатей XV в. в Суздале // История и культура древнерусского города. М., 1989.

Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991.

Травкин П.Н., Хухарев В.В. Печать-матрица из Плеса // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 3. Тверь, 1999.

Хохлов А.Н., Хухарев В.В. Новые находки прикладных печатей-матриц из Твери // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1992.

Хохлов А.Н., Хухарев В.В. Прикладные печати-матрицы из раскопок Затьмацкого посада в Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 3. Тверь, 1999.

Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956.

Янин В.Л. Печати из новгородских раскопок 1955 г. // МИА. 1959. № 65.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 118–122

ЗАМЕТКИ

ОБРАЗОК СВЯТОГО МАТФЕЯ С ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ЭМАЛЬЮ

© 2001 г. В. И. Кошман

Институт истории НАН Беларуси, Минск

В 1999 г. во время шурфовки автором статьи городища Капланцы Березинского района Минской области (Республика Беларусь) был найден образок, изготовленный в технике перегородчатой эмали.

Данное городище находится на мысу левого берега р. Клева, левого притока р. Березина. Мыс образован впадением в р. Клева безымяного ручья. Площадка городища круглая, размером 50 × 49 м. Высота над поймой 17–20 м. В настоящий момент в связи с подмыванием северной стороны городища небольшая его часть обрушилась в реку (с напольной стороны). По краю городища проходит оплывший дугообразный вал высотой до 2 м. У подножия городища прослеживается запаханный ров глубиной 0.3–0.4 м и шириной 2–3.5 м.

Городище известно с 1924 г. (Опросные листы..., 1924. С. 135–138) и неоднократно обследовалось археологами. В 1930 г. А.М. Лявданский заложил небольшой шурф на нем и собрал подъемный материал на прилегающем селище. Среди материала: фрагменты гончарной керамики, обломки лепных сосудов со штриховкой, груболепная гладкая керамика, фрагмент венчика милоградской культуры, расщепленный кремень[1]. В 1979 и 1985 гг. городище обследовала Т.С. Бубенько (1979. С. 9. Рис. 38–42; 1985. С. 3). В 1980-е годы городище было включено в список памятников республиканского значения (Збор помнікаў..., 1987. № 306; Список памятников..., 1990. С. 184. № 1157). В 1988 г. Л.Д. Поболь заложил в восточной части городища шурф размером 1 × 1 м. Были найдены фрагменты лепной посуды милоградской и зарубинецкой культуры, гончарная керамика, фрагмент подковообразной фибулы и железное шило (Археалогія..., 1993. С. 310; Поболь, 1989. С. 14). Он же предположил, что городище являлось родовым центром общин, размещавшихся на территории 30 км^2 в бассейне нижнего течения р. Клева.

Еще в 1924 г. было отмечено, что около городища находятся два курганных могильника из 45 курганов (Опросные листы..., 1924. С. 136). Во время обследования городища Т.С. Бубенько в 1979 г. курганов насчитывалось уже 8 (Бубенько, 1979. С. 9). К августу 2000 г. все курганы уже были уничтожены распашкой. Судя по рассказам местных жителей, во время распашки находили много человеческих костей и изделий из железа.

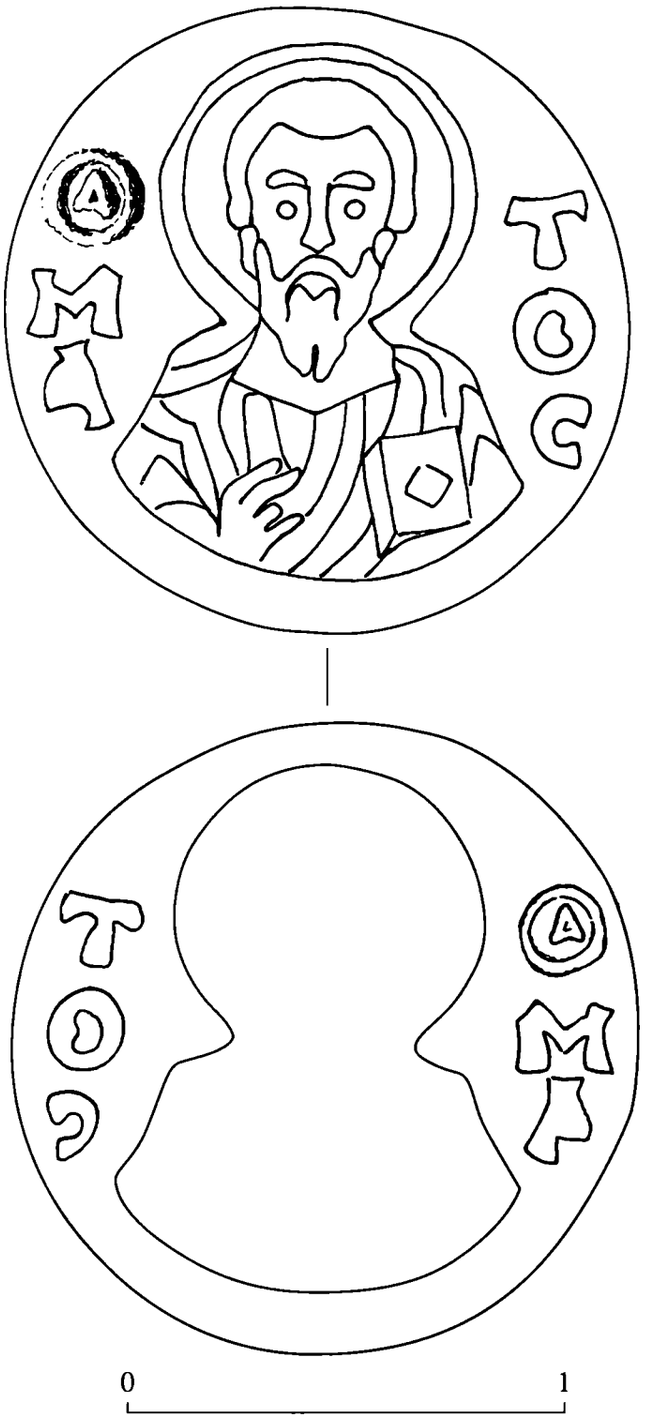
С запада к городищу примыкает селище площадью 1.5–2 га. В 1999–2000 гг. городище и селище обследовалось автором: был заложен шурф площадью 16 м^2, на селище. Вскрытая площадь на городище составляет 48 м^2 (к августу 2000 г.). Культурный пласт имел мощность 0.8–1.05 м на городище и 0.4–0.45 м на селище. Культурный слой на городище стратиграфически однороден: заполнение – темно-серый жирный гумус, материк – плотная белая глина. Первые два пласта насыщены фрагментами гончарных сосудов. Из индивидуальных находок следует отметить свинцовую актовую печать с изображениями святых на обеих сторонах, детали от замков, ножи, фрагмент амфоры, фрагменты изделий из цветного металла, изделия из шиферного сланца и др. В нижних пластах встречаются обломки лепных сосудов милоградской, зарубинецкой и штрихованной керамики культур. Найдены пряслица милоградской культуры, грузики дьякова типа и каменный шлифованный топорик. В 1999 г. во время зачистки западной стороны шурфа на глубине 0.35 м и был найден золотой образок, изготовленный в технике перегородчатой эмали. Находка крайне важная, так как до последнего времени на территории Беларуси было известно всего пять изделий в технике перегородчатой эмали. Данную находку можно смело поставить в один ряд с таким выдающимся шедевром и святыней белорусской земли, в изготовлении которой также использовалась перегородчатая эмаль, – крестом Евфросинии Полоцкой.

Обратимся теперь к описанию самого медальона с перегородчатой эмалью. Оговоримся сразу, что название "образок" достаточно условно и его также можно назвать медальоном или иконкой-вставкой. Это миниатюрная золотая пластинка диаметром 1.4 см, на которой выполнено эмалевое изображение святого (рисунок). Сохранность эмали очень хорошая, лишь в букве "Θ" полностью выпала эмаль сургучного цвета. Ряд совершенно мелких повреждений на эмали можно скорее связать с производственным процессом, чем с его использованием. По бокам изображения дана надпись "ΘΜΑ" (слева) и "ΤΟС" (справа). По-ви-

[1] Материалы хранятся в Институте истории НАН Беларуси под номером 1147.



Образок св. Матфея с перегородчатой эмалью (лицевая и оборотная сторона): фото.



Образок св. Матфея с перегородчатой эмалью (лицевая и оборотная сторона): прорисовка.

димому, это греческое сокращение слова "Θ" (агиос) – святой, "МАТОС" – Матфей. Здесь налицо несоответствие между совершенством изображения и примитивной, с ошибкой, надписи. На известных нам памятниках эмалевого искусства и в иконографии мы не встречали подобное написание. Почти на всех миниатюрах, иконах и эмалевых пластинках всегда пишется "ΘΜΑΤθΕΟС". В нашем случае пропущены две буквы. Возможно, это объясняется какой-то традицией написания имени этого святого в это время в Византии или же в написании допущена банальная ошибка. Объяснение недостатка двух букв очень малым размером медальона неубедительно, так как сама вещь выполнена на крайне высоком профессиональном уровне и мастер был в состоянии вместить все буквы надписи без особого труда. Существует еще один образок, которому по тонкости работы среди русских эмалей аналогов нет, а надпись выполнена очень грубо и с ошибкой. Это образок св. Анны, найденный в Киеве во время раскопок Д.В. Милеева в 1910–1911 гг.[2] Известен еще один медальон, на котором надпись "Матфей" сделана с пропуском буквы: на образке евангелиста Матфея, который находится на окладе иконы Богоматери в Мартвильском монастыре в Мингрелии, имеется надпись "ΘΜΑΤΕΟС". Как видим, мастер пропустил или счел лишней букву "θ" (Кондаков, 1892. С. 145).

Поражает богатством и яркостью цветовая гамма медальона. Для изображения евангелиста мастер использовал шесть цветов: сургучный (темно-красный) цвет – в надписи, на переплете книги, на нимбе и при изображении рта; желтый цвет – на форзаце книги (Евангелие) и на оплечье; белым цветом, по-видимому, изображен драгоценный камень на форзаце Евангелия; светло-голубую смальту мастер использовал для передачи хитона, волос, бровей и глаз; ультрамариновым (темно-синим) цветом изображен гиматий и нимб. Открытые части тела переданы прекрасным телесным цветом (лицо, шея, правая рука). Изделие поражает гармонией красок, чистотой и интенсивностью тонов. Чистота и сочность эмалевых красок зависят от содержания множества компонентов в стеклянной массе (свинца, буры, окиси олова, кобальтовой окиси и т.д.). Тем не менее сохранность эмали обеспечивалась не только составом эмалей, а, в первую очередь, полировкой, благодаря которой, несмотря на долгое пребывание в земле, эмаль обычно сохраняла свой цвет и всю чистоту приданных ей тонов. Прекрасная полировка, а следовательно, и сохранность изделий – один из признаков византийской работы.

Наш медальон можно с уверенностью отнести к шедеврам византийского эмальерного дела и по ряду других признаков. Так, наша эмаль исполнена на золоте. Благородный, неокисляющийся металл способствовал лучшему сохранению эмалей как в процессе производства, так и в употреблении. Древнерусские эмали чаще всего исполнялись на электре, иногда использовалась медь и бронза. Все это приводило к тому, что древнерусские эмали в тех же условиях сохранялись гораздо хуже византийских. Доказательством византийского происхождения служит также и качество самой эмали, т.е. ее

[2] Автор приносит благодарность Т.И. Макаровой за консультацию.

цвет, прозрачность и шлифовка. Наша эмаль демонстрирует все эти признаки. Кроме того, толщина эмалевого слоя и соответствующая высота перегородочек позволяют предполагать, что перед нами блестящая работа конца X–XI вв. Глубина лотка на изделии составляет 0.6–0.8 мм. Вещи более позднего времени, в том числе древнерусские, имеют лотки гораздо большей глубины (до 2 мм). Чистый телесный тон с легким оливковым оттенком встречается только в X – первой половине XI в., а позже составляет случайность (Кондаков, 1892. С. 48, 49). Расцвет же эмальерного дела в Византии относится к VI–XII вв. (Макарова, 1975. С. 4). В XI в. произошел тот резкий перелом в судьбах византийского искусства, который лишил его жизненных элементов греческого античного предания, с таким рвением восстановленного в IX в. после иконоборцев (Кондаков, 1892. С. 195).

Обратимся к трактовке образа евангелиста Матфея. Типы изображений евангелистов сложились сравнительно ранее других, уже в VI столетии, и держались устойчиво вплоть до конца XII в. Так, уже в Сирийском Евангелии Рабулы (586 г.) в сцене избрания апостола Матфей представлен седым, грузным старцем (Кондаков, 1892. С. 273). Устойчивое изображение Матфея было повторено многочисленными мозаиками и миниатюрами. В нашем случае евангелист изображен погрудно, в анфас. Левой рукой, скрытой под гиматием, он держит Евангелие, а правой благословляет. Важной особенностью является именословная форма его благословления. Не касаясь истории форм благословлений, отметим, что именословие стало формой, предпочтительною в период IX–X вв. (Кондаков, 1892. С. 274). Св. Матфей всегда изображался седым. В нашем случае седые волосы, борода и брови переданы светло-голубой смальтой. Небольшая борода разделена надвое. По замечанию Н.П. Кузмича, мастер, изготовивший медальон, очень умело и нетрадиционно изобразил рот евангелиста[3]. Глаза даны без зрачков, их заполнение слегка отличается от телесного фона лица. Вообще автор удачно и пропорционально изобразил всю фигуру Матфея. Он производит впечатление благодушного человека с открытым и ясным лицом.

Интересная картина предстает перед нами при рассмотрении системы перегородок, образующих одежду. Умение передавать человеческое тело в движении, а также ткани, окутывающие его, восходят к античному искусству. Н.П. Кондаков, специально исследовавший византийские миниатюры, находит первоисточник приемов драпировок одежд византийского искусства эпохи расцвета в древнейших кодексах V–VI вв., в этих уцелевших "обломках чистого византийского искусства" (Кондаков, 1876. С. 41, 59). От считал, что уже в этих миниатюрах вырабатывался "шаблон" для передачи драпировок, который, как и иконографический шаблон в целом, оказывается ведущим на протяжении последующих столетий. Конечно, приемы передачи тканей в эмалях имели свою специфику, обусловленную самой техникой этого ремесла, но не приходится сомневаться, что в целом они восходили к общим для всего византийского искусства истокам.

Т.И. Макарова, специально изучавшая системы приемов передачи шраффировки одежд, установила, что она состоит из чередования восьми вариантов, благодаря которым укладывали золотые перегородки (Макарова, 1975. С. 14). В нашем случае очевиден свободный прием передачи одежды. Ниспадающие ткани гиматия и оплечье на хитоне переданы использованием приема угла. Золотые перегородки уложены углом. Прием ячейки мастер применил при передаче складок светло-голубого хитона. В этом случае перегородка сгибалась вдвое и образовывала ячейку, замкнутую с одной и раскрытую с другой стороны. На византийских эмалях X–XII вв. система приемов, где основную роль играет ячейка, достигла необыкновенного технического совершенства. Для византийских эмалей характерна большая частота перегородок. Так, на пластинах с Иаковом и Варфоломеем Мстиславова Евангелия, 50 перегородок пересекают площадь в один квадратный сантиметр. Лучшие древнерусские эмали дают частоту в 25–30 перегородок (Алексеев и др., 1998. С. 50). Наш медальон дает частоту, приближенную к византийским эмалям, что является еще одним доказательством в пользу византийского происхождения изделия.

Точной аналогии нашему медальону найти не удалось. Все известные экземпляры часто уступают по качеству исполнения и превосходят по размерам наш экземпляр. Изображения евангелистов значительно отличаются от нашего как цветовой гаммой, так и манерой исполнения.

Что касается использования этого медальона, здесь мы также сталкиваемся с определенными трудностями. На нем отсутствуют какие-либо следы использования на каком-то изделии (отверстия для нашивания на ткань или прикрепления к деревянной основе, следы связывающего вещества на обратной стороне и т.д.). Нельзя однозначно сказать, это вещь светская или духовная. В древности были часты случаи "перехода" эмалевых изделий с вещей светских на церковные (как дары, вклады и т.д.). Поиски аналогий в использовании подобных изделий показали, что они могли использоваться на окладах икон (икона архангела Гавриила в Джумати, икона Богоматери в монастыре Хопи в Мингрелии, Хахульский триптих) (Амиранашвили, 1972; Кондаков, 1892. С. 143, 256),

[3] Автор благодарен мастеру-ювелиру Н.М. Кузмичу за консультацию.

как вставки в крест (Намюрский крест, крест Никорцминдского храма) (Кондаков, 1892. С. 160, 165), на окладах Евангелий (оклад Евангелия в библиотеке собора св. Марка в Венеции, оклад Мстиславова Евангелия) (Кондаков, 1892. С. 176; Макарова, 1975. С. 74–79), в качестве образка-тельника (киевские образки с изображениями Спаса, св. Анны и св. Павла, рязанский образок с изображением Богоматери и т.д.) (Кондаков, 1892. С. 195; Макарова, 1975. С. 61. Табл. 15), на цатах и бармах (Каменнобродская цата, бармы из Сахновки и Киева) (Макарова, 1975. С. 57).

Как видим, использоваться такой образок мог довольно широко. Тем не менее поскольку образок по размерам довольно миниатюрен, он мог использоваться только на изделии, которое можно рассматривать с близкого расстояния или держать в руках (в других случаях будут теряться все его эстетические качества), его использование на окладе иконы становится довольно проблематичным: известные цаты и бармы, имеющие эмалевые изображения, превосходят наш экземпляр как минимум в 2 раза. К примеру, наиболее вероятное использование медальона из Капланцев – в качестве накладки на оклад Евангелия, как вставки в крест или в качестве образка-тельника. Более детально выяснить его назначение на данный момент невозможно. Отсутствие отверстий на поле образка или связывающего вещества для прикрепления к какому-либо изделию может свидетельствовать о том, что он закреплялся системой зажимов. Именно такой принцип использовался при закреплении накладок на окладах Евангелий, крестах и на образках-тельниках. Кстати, при таком способе закрепления на медальоне не останется каких-нибудь следов от его использования на изделии.

Нельзя обойти и вопрос, как оказался медальон на городище. Как уже упоминалось выше, вопрос о социальном статусе поселения также остается открытым. Малая исследованная площадь и недостаток материалов не позволяют представить ясной картины роли городища в системе окружающих поселений, и развитии торговли и обмена с соседними поселениями. Правда, после небольших раскопок 2000 г. можно говорить о связях поселениях с Волынью (находки шиферного пряслица и шиферного точильного брусочка), с Северным Причерноморьем (фрагмент красноглиняной амфоры), возможно, с Киевом (фрагменты стеклянных браслетов). Как известно, самыми значимыми путями в древности были водные пути. Огромное значение имел путь "из варяг в греки". Помимо этого пути, очевидно, существовал путь по Березине (Алексеев, 1996. С. 87). Река Клева является левым притоком р. Березина и прямое попадание на городище Капланцы предметов южного происхождения (киевских, византийских) вполне вероятно. Открытым остается вопрос и о социальном статусе владельца этого образка или изделия, в состав которого он входил.

В заключение следует еще раз отметить, что перед нами изделие, изготовленное византийским мастером-ювелиром очень высокой квалификации. На это указывает прекрасное качество эмалей, полировка изделия, своеобразная и богатая цветовая гамма и частота перегородок. Датировать образок следует концом X–XI вв.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев Л.В. Полоцкая земля. М., 1966.

Алексеев Л.В., Макарова Т.И., Кузмич Н.П. Крест – красота церкви. Минск, 1998.

Амиранашвили Ш. Хахульский триптих. Тбилиси, 1972.

Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мінск, 1993.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кн. 1. Мінск, 1987.

Кондаков Н.П. История Византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Одесса, 1876.

Кондаков Н.П. История и памятники византийской эмали. СПб., 1892.

Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975.

Опросные листы 1924 г. по Червенскому уезду // Архіў ІГ НАН Беларусі. 1924. Справа 70. Воніс 1.

Бубенько Т.С. Отчет об археологических исследованиях на территории Березинского района Минской области // Архіў ІГ НАН Беларусі. 1979. Справа 642.

Бубенько Т.С. Отчет об археологических разведках, проведенных в Минской и Витебской областях в 1985 г. // Архіў ІГ НАН Беларусі. 1985. Справа 1608.

Поболь Л.Д. Археологический отчет о полевых работах в бассейне р. Березины в 1988 г. // Архіў ІГ НАН Беларусі. 1989. Справа 1068.

Список памятников истории и культуры республиканского значения Белорусской ССР. Кн. 2. Минск, 1990.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 123–131

ИСТОРИЯ НАУКИ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ (НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 1935 г.)

© 2001 г. А. Ю. Ватлин, А. Р. Канторович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

29 июля 1935 г. в специальной коллегии Московского городского суда началось рассмотрение ординарного дела по обвинению в "контрреволюционной деятельности", за которую печально известная 58-я статья УК РСФСР обещала наказание вплоть до смертной казни. Неординарным был состав подсудимых – трое видных ученых, профессоров, оставивших заметный след в археологии: Алексей Степанович Башкиров (1885–1963), Илья Николаевич Бороздин (1883–1959) и Алексей Алексеевич Захаров (1884–1937?).

Основные вехи научной деятельности А.С. Башкирова и И.Н. Бороздина к настоящему времени освещены в ряде работ, в том числе в их некрологах, опубликованных в журнале "Советская археология" (Москаленко, 1960; 1963; Пятышева, 1963; Боброва, 1986; из последних сообщений см.: Смирнов, 1998; Носкова и др., 2000. С. 154). Кроме того, когда эта статья уже была подготовлена, из печати вышла книга "Жизнь и судьба профессора Ильи Николаевича Бороздина", содержащая подробнейшую и всеобъемлющую биографию ученого, написанную П.А. Бороздиной (Бороздина, 2000)[1]. Менее освещена творческая деятельность А.А. Захарова; она была охарактеризована М.А. Миллером и А.А. Формозовым (Miller, 1956. P. 56, 60, 89; Формозов, 1998. С. 198; см. также краткие сведения о работе А.А. Захарова в ГИМ в книге: И за строкой воспоминаний..., 1997. С. 116, 268).

О личных судьбах этих ученых, в том числе об их репрессировании, впервые было сказано в трудах А.М. Талльгрена и М.А. Миллера (Tallgren, 1936. P. 149; Miller, 1956. P. 100, 101). Значительное внимание этому факту уделил в своих работах по истории отечественной археологии А.А. Формозов (1995. С. 47; 1998. С. 197, 198). Он предположил, что их арест относится к самому началу 30-х гг. и является частью большой кампании по разгрому РАНИОН. А.А. Формозов также отметил, что о жизни этих ученых непосредственно после их высылки в Казахстан, в особенности о судьбе А.А. Захарова, известно крайне мало. Впрочем, в отношении И.Н. Бороздина эта лакуна теперь восполнена вышеназванным исследованием П.А. Бороздиной; здесь, в частности, используются материалы проходившего в Казахстане следствия 1937 г., которое осуществлялось в отношении И.Н. Бороздина, причем другим подследственным был А.А. Захаров (Бороздина, 2000. С. 108–112)[2].

В основу же предлагаемой статьи легли материалы более раннего следственного дела, освещающего обстоятельства вышеупомянутого следствия и суда в 1935 г. в Москве в отношении А.С. Башкирова, И.Н. Бороздина и А.А. Захарова (Дело по обвинению Башкирова...) и позволяющего, во-первых, уточнить существенные факты биографии этих ученых, во-вторых, рассмотреть более детально один из показательных эпизодов в истории отечественной науки[3]. Из материалов дела стало ясно, что все трое были арестованы в начале 1935 г. (А.С. Башкиров – 8 января, И.Н. Бороздин и А.А. Захаров – 14 февраля)[4]. До того ни А.С. Башкиров, ни И.Н. Бороздин не подвергались аресту и суду (Дело по обвинению Башкирова... Л. 5, 14), тогда как А.А. Захаров однажды уже арестовывался и обвинялся по ст. 58-10, 58-11 ("контрреволюционная деятельность"). После этого ареста, состоявшегося, очевидно, 25 января 1934 г., он находился в тюрьме до 2 апреля 1934 г. и затем был выпущен на свободу с приговором Особого совещания об условной высылке "в Севкрай" сроком на два года (Дело по обвинению Башкирова... Л. 21, 22 об, 126 об.)[5].

Анкеты арестованных сообщают о том, что на момент задержания в 1935 г. все они жили в Москве: А.С. Башкиров был научным сотрудником Все-

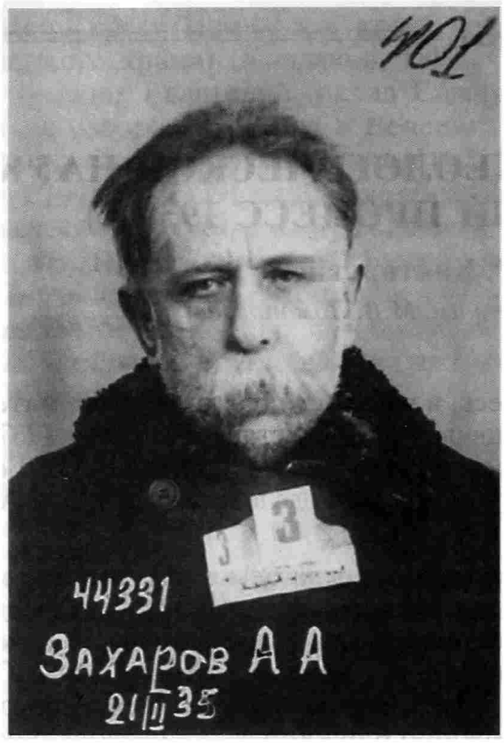
[1] Мы благодарим А.А. Формозова за любезное сообщение об этом издании.

[2] Реквизиты следственного дела, по данным П.А. Бороздиной: Центральный архив Министерства безопасности СССР. Архивное следственное дело № 451314. Общий следственный фонд 3377 е-55 (Бороздина, 2000. С. 168).

[3] В исследовании П.А. Бороздиной также нашли отражение некоторые обстоятельства следствия и суда 1935 г. (Бороздина, 2000. С. 108–111), однако, насколько нам известно, детальный анализ соответствующего дела до сих пор никем не предпринимался.

[4] Ср. исследование П.А. Бороздиной; к сожалению, в этой работе инвертирована последовательность арестов А.С. Башкирова и И.Н. Бороздина (Бороздина, 2000. С. 108, 109).

[5] Считать 25 января 1934 г. наиболее вероятным днем первого ареста А.А. Захарова позволяет нам то, что в справке, содержащейся в изучаемом деле, именно эта дата указана как срок отсчета условной высылки (Дело по обвинению Башкирова... Л. 21).



А.А. Захаров. Фотография из следственного дела 1935 г.

союзной академии архитектуры, И.Н. Бороздин – заведующим кафедрой Педагогического института им. Бубнова, А.А. Захаров – заведующим библиотекой Музея Антропологии МГУ (Дело по обвинению Башкирова... Л. 5, 14, 20). Таким образом, хотя репрессии против них не были непосредственно связаны с кампанией по разгрому РАНИОН, начатой еще в 1931 г. (Формозов, 1995. С. 47), но при этом, безусловно, арест этих ученых стал одним из мероприятий идеологической чистки, ликвидации системы высшего гуманитарного образования, репрессирования краеведов, музейных и институтских работников в конце 20-х – первой половине 30-х гг. (Формозов, 1995. С. 43–57). Кроме того, как мы увидим из материалов изучаемого дела, дополнительным компрометирующим показателем стал для следователей тот факт, что некогда все трое работали в системе "идейно сомнительной" РАНИОН и были знакомы с ленинградскими и, главное, московскими учеными, проходившими по знаменитому "Академическому делу" 1929–1931 гг., сфабрикованному органами ОГПУ в Ленинграде[6]. "От "Академического дела" отпочковался еще ряд дел" (Формозов, 1998. С. 195), и рассматриваемые нами следствие и суд если не непосредственно, то опосредованно стояли в этом ряду.

Первым, как уже было сказано, арестовали профессора А.С. Башкирова. В Академии архитектуры, где он работал, внимательно следили за его высказываниями – в справке на арест, датированной 5 января 1935 г., они занимают несколько страниц. Приведем одно из наиболее ярких мест, где, даже если принять во внимание то, что "антисоветская составляющая" услужливо выпячивалась в агентурных донесениях секретных сотрудников органам НКВД, мы найдем свидетельство гражданской позиции отечественных ученых, искренне болевших за будущее своей страны:

"... Индустриализация строится на костях и крови... Жертвы, которые принес рабочий класс России, настолько велики, что несколько поколений у нас принесено в жертву идее построения социализма в одной стране, идее, которую Сталин проводит в жизнь, не считаясь с кровью, проливаемой тем же рабочим классом, для которого и происходит так называемое "построение социализма". Сталин – это тот Молох, в жертву которому приносятся миллионы человеческих жизней" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 1).

Арестованные следом за А.С. Башкировым И.Н. Бороздин и А.А. Захаров также давно были под бдительным оком репрессивных органов, осведомленных об их критическом отношении к властям. В особенности это относится к А.А. Захарову, о чем свидетельствует восстанавливаемая по материалам дела предыстория его второго ареста. Еще в конце 20-х гг., работая в РАНИОН, он публично отказался присоединиться к проходившей в этом учреждении кампании по одобрению приговора по "шахтинскому делу", сфабрикованному по прямому указанию Политбюро (Дело по обвинению Башкирова... Л. 211). Мужество А.А. Захарова позднее проявилось и в выражении солидарности с коллегами, арестованными в рамках "Академического дела", что стоило ученому места в РАНИОН. "При аресте профессора Готье Захаров открыто выступал в Институте археологии и искусствознания РАНИОНа с заявлением, что арест Готье есть акт насилия диктатуры пролетариата над наукой. Это выступление было зафиксировано в протоколе заседания и предшествовало демонстративному уходу Захарова из РАНИОНа" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 58)[7].

Следующая порция компромата, содержащегося в деле, касалась излишне вольных высказываний А.А. Захарова на его последнем месте работы в Музее Антропологии МГУ в 1931 г. в беседе с

[6] "Академическое дело", оно же дело о "Всенародном союзе борьбы за освобождение свободной России", к настоящему времени подробно освещено в научной литературе, а следственные материалы по нему частично опубликованы (См.: Перченок, 1991; Академическое дело..., 1993; 1998; Формозов, 1998. С. 192–195).

[7] Впрочем, в другом материале, показании одного из свидетелей, увольнение А.А. Захарова из РАНИОН связывается с более ранним событием – с его протестом против шахтинского процесса (Дело по обвинению Башкирова... Л. 211).

приезжим эстонским ученым (Дело по обвинению Башкирова... Л. 216, 217 об.). А.А. Захаров едва не лишился и этого места работы, но продолжал испытывать судьбу, позволяя себе критиковать и новые порядки в высшей школе, и внутриполитический курс правящего режима. В результате, как уже сказано, последовал первый арест и освобождение с условным наказанием. Отсрочка нового свидания с политической полицией оказалась совсем недолгой.

Следствие по делу трех профессоров начал двадцативосьмилетний сержант госбезопасности В.А. Смирнов, в анкетных данных которого стояло: "образование низшее"[8]. Позже В.А. Смирнов дослужится до начальника одного из подразделений Московского управления НКВД: по иронии судьбы он будет заниматься "чекистским обслуживанием" учебных заведений и студенческой молодежи столицы. В годы массового террора именно под его руководством будут сфабрикованы дела о мифическом московском филиале организации "Гитлерюгенд" и о "Союзе польских патриотов". По этим делам осенью 1937 – весной 1938 г. в Москве было расстреляно более сотни молодых немцев и поляков – в основном политэмигрантов (См. об этом: Дель, Мусиенко, 1999. С. 33–38; Ватлин, 1999. С. 25–32). Но блестящей карьеры у В.А. Смирнова не получилось: в 1938 г. он был арестован и осужден, но не за фальсификацию следственных дел, а за участие в мифической "троцкистской организации", в которую он был якобы завербован в 1934 г., т.е. именно тогда, когда "разворачивал" дело о заговоре московских археологов.

Технология следствия уже была разработана в НКВД до мелочей. Вначале оперуполномоченный вникал в обстоятельства жизни и деятельности подследственных. В связи с этим А.С. Башкирову как первому из дававших показания пришлось подробно знакомить следователя со своими личными обстоятельствами и кругом знакомых, а также с общей ситуацией в археологической науке. Его рассказы дают нам интересную информацию относительно постоянных попыток ученого сообщества воссоздать высшее гуманитарное, в частности, историко-археологическое образование, – попыток, в особенности усилившихся в 1934 г. в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о преподавании истории. Речь шла, в частности, и об основании кафедры археологии в МГУ. "Разгром археологии в 1931 г., – рассказывал А.С. Башкиров, – и прекращение работ всех археологов и искусствоведов в Москве, принадлежащих к старой школе, естественно вызвали их разброд". "В 1932 г. был ряд совещаний в доме ученых в комиссии по истории техники <...> среди работников разных специальностей, были археологи: Городцов, Бороздин, Башкиров. Обсуждались вопросы организации археологических работ под флагом ист<ории>техники <...>. Одновременно обсуждались вопросы о положении исторических и других гуманитарных наук (археологии, литературы, языка, этнографии, искусства), преподавание которых в 1-м МГУ было прекращено и восстановление которых считалось необходимым". "В 1933 г. были отдельные встречи, ни к чему не приводящие. Оживление наступило с момента декрета о преподавании истории. Отдельные встречи выявляли надежды на новое объединение в 1-м МГУ – Городцов, Захаров, Бороздин, Некрасов, Протасов – все по отдельности высказывались об этом. У искусствоведов было то же" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 397. Конверт. С. 1, 2).

Затем, после получения такой вполне объективной и никого не компрометирующей информации, следователь неожиданно для последственного начинал конструировать "контрреволюционный заговор" с участием нескольких человек. В дальнейшем в наличии этого заговора органам предстояло убедить новых обвиняемых, причем круг последних стремились максимально расширить.

Этап агрессивного давления на А.С. Башкирова начался почти сразу же после его ареста и продолжался до тех пор, пока внимание следователей (помимо Смирнова дело вели оперуполномоченные Марков и Аленцев) не переключилось на арестованных 14 февраля 1935 г. И.Н. Бороздина и А.А. Захарова. Материалы следственного дела дают нам возможность реконструировать "расписание" допросов А.С. Башкирова. Фиксация временной протяженности и суточной периодичности допросов обнажает ту систему давления на подследственных, которая приводила к самооговорам и к ложным показаниям. А.С. Башкиров подвергся 17 допросам, из них 14 пришлось на январь–февраль. Нередко следователь указывал в протоколе не только дату допроса, но и время его начала и окончания. В результате обнаруживается, что А.С. Башкирова часто допрашивали ночью (причем в определенный период – несколько ночей подряд). Поскольку устав Бутырской тюрьмы, в которой содержались А.С. Башкиров, И.Н. Бороздин и А.А. Захаров, не допускал дневного сна заключенных, логично предположить, что мы здесь имеем дело с тактикой изнурения подследственного. Показательно также, что ночные допросы А.С. Башкирова от 14 января и 19 января, продолжавшиеся, по данным следователя, соответственно три часа и почти пять часов, протокольно отразились лишь в одном вопросе следователя и одном коротком ответе подследственного (Дело по обвинению Башкирова... Л. 40, 41, 50).

В одном из своих письменных заявлений А.С. Башкиров пытался убедить следователя в

[8] Выписка из архивного следственного дела на Смирнова В.А. (Дело по обвинению Смирнова... Л. 67).

том, что его "упорство" является результатом не сокрытия фактов контрреволюционной деятельности, а их отсутствия[9]. Вряд ли оперуполномоченный не отдавал себе в этом отчета, но его интересовали не факты, а признательные показания, получить которые нужно было любой ценой. Работа следствия шла по известному сценарию, который будет окончательно отлажен в период массового террора 1937–1938 гг. Реальные факты борьбы ученого сообщества за выживание археологической науки в условиях идеологического диктата немедленно получали криминально-политическую интерпретацию. Так, выезды на раскопки рассматривались как установление связей с местными контрреволюционными центрами и националистическими элементами (Дело по обвинению Башкирова... Л. 50, 77, 84, 86–88, 230). Письменные и непосредственные контакты с зарубежными учеными, в том числе с такими знаменитыми, как Э. Миннз[10], А. Таллыгрен и Э. Герцфельд, считались подтверждением контрреволюционной деятельности (Дело по обвинению Башкирова... Л. 95, 96). Даже рядовые встречи и дискуссии в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина трактовались как "подпольные собрания"[11]. Деятельность "контрреволюционеров от археологии" оказывалась фактически идентичной истории РАНИОН. Следствие пыталось доказать, что их "подпольная организация" якобы возникла еще в 1924–1925 гг. одновременно с созданием в рамках РАНИОН Института археологии и Института искусствознания и соответственно включала не только самих подследственных, но и таких крупных ученых РАНИОН, как Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, М.М. Богословский, А.И. Некрасов и др. (Дело по обвинению Башкирова... Л. 92). Учитывая, что к моменту следствия те же Ю.В. Готье и С.В. Бахрушин уже были осуждены по "Академическому делу", ясно, что замыслы следователей были направлены на то, чтобы представить "группу Башкирова, Бороздина и Захарова" как часть большой контрреволюционной организации, основа которой была ликвидирована в ходе оперативных действий по "Академическому делу". Не случайно следователи стремились получить от подследственных признания в их связях с ленинградскими историками, в первую очередь с академиками С.Ф. Платоновым, Н.П. Лихачевым – главными обвиняемыми по "Академическому делу", а также с С.А. Жебелевым и С.Ф. Ольденбургом. Не случайно и то, что в обвинительном заключении, о котором еще пойдет речь, особо подчеркивались факты контактов подследственных в 1934 г. с вернувшимися из ссылки Ю.В. Готье и С.В. Бахрушиным (Дело по обвинению Башкирова... Л. 231).

Кроме того, в ходе следствия органы пытались выставить в качестве конкретного результата деятельности "контрреволюционной организации Башкирова, Бороздина и Захарова" издание в 1927 и 1930 гг. книг Ю.В. Готье "Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства" и "Железный век в Восточной Европе" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 101, 103). Даже упомянутые инициативы по созданию кафедры археологии в МГУ оказывались предосудительными акциями ("Захаров предлагал приступить к организации археологического отделения при 1-м МГУ, где снова можно начать свою контрреволюционную работу" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 97).

Но при всем этом даже в протоколах допросов деятельность обвиняемых в содержательном плане не выглядела контрреволюционной. Так, А.С. Башкиров, откровенно заявив, что "в ряде вопросов" им "не разделялась политика пролетарской диктатуры", разъяснял далее, что он был недоволен классовым отбором в вузы, игнорированием гуманитарных наук на фоне возвышения наук технических и естественных и, наконец, монополией марксистской методологии, ибо, как он подчеркивал, "наука в моем понимании может существовать и без марксистского теоретического обоснования" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 40, 41). А.А. Захаров говорил, что он выступал и выступает против планирования исследовательской деятельности, поскольку считает, что это подрывает свободу творчества; что он подвергает сомнению "классовость в науке", поскольку "результаты науки должны являться достоянием всех классов"; что "взятые советским правительством темпы в строительстве" он считает чрезмерными и перенапрягающими силы (Дело по обвинению Башкирова... Л. 162). Кроме того, на том же допросе А.А. Захаров заявлял и о более серьезном пункте своего расхождения с властью: "Постоянное возмущение во мне вызывали репрессии, проводимые в Советском Союзе, и главным образом репрессии против научных работников. Против этого я протестовал". Однако на по-

[9] В частности, А.С. Башкиров пишет: "Прошу верить в мою осторожность в даче показаний, а не упорство" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 397. Конверт. С. 4).

[10] О переписке А.А. Захарова с Э. Миннзом см.: Скифский роман, 1997. С. 317. В частности, в письме к М.И. Ростовцеву от 23.12.1931 Э. Миннз замечает: "Захаров мне часто пишет, а каждое письмо делает впечатление, что, может быть, это последнее. По характеру и обстоятельствам он стал так одинок, что в один прекрасный день возьмет и покончит с собою" (Скифский роман, 1997. С. 318). В одном из писем осени 1935 г. Э. Миннз сообщал М.И. Ростовцеву о том, что А.А. Захаров сослан в Алма-Ату (Скифский роман, 1997. С. 319).

[11] "Местами сборищ и обсуждения линии к/р деятельности являлись квартиры Любовского, Егорова, Городцова и в др. местах (библиотека Ленина)" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 86). Вероятно, в документе неточность: следует читать "Любавского". Очевидно, имелся в виду Матвей Кузьмич Любавский (1860–1936), известный историк, ученик В.О. Ключевского, ректор МГУ в 1911–1917 гг.

следовавшее замечание следователя: "Следствие располагает данными о том, что Вы вели организованную к/р[12] деятельность", – А.А. Захаров твердо отвечал: "Я категорически заявляю, что никакой к/р деятельности я не вел, ни в каких к/р организациях не состоял" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 162 об.).

Несмотря на все усилия следователя – вызов большого числа свидетелей и даже затребованные из Архива революции справки о возможной принадлежности кого-либо из профессоров к царской охранке или полиции (Дело по обвинению Башкирова... Л. 25), – "контрреволюционная организация" московских археологов явно не складывалась. После штурма в январе–феврале следственный процесс был заморожен, и только в конце мая состоялись очные ставки между обвиняемыми. Они говорили о чем угодно, но только не о своей мифической заговорщической деятельности. Вот характерный эпизод очной ставки от 28 мая, проливающий свет на то, какие усилия приходилось прилагать ученым старой школы для реабилитации фундаментальных предметов в высшем гуманитарном образовании:

"Бороздин: По вопросу о подготовке молодых специалистов Захаров говорил о том, что она является недостаточной, лишенной системы, он усиленно восставал против того, что в учебных заведениях на факультетах, где изучается древняя история, не ведется изучение древних языков, считал, что без древних языков нельзя создать специалистов, хотя бы они и владели новыми языками <...>

Захаров: Выставляемое мною требование о введении древних языков сейчас принято в МГУ на истфаке. И данный поступок я не считал антисоветской агитацией" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 166 об, 168).

Вообще А.А. Захаров проявил особую стойкость в этой ситуации. На первом же своем допросе, состоявшемся 16 февраля, на провокационный вопрос следователя: "Назовите лиц из числа Ваших знакомых, известных Вам как националисты, ныне проживающие в Москве", он категорически парировал: "Таких знакомых у меня нет" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 148).

Эту линию противостояния А.А. Захаров выдержал вплоть до последнего допроса, во время которого особенно ярко проявилось его мужество. В тот день – 28 мая – этот тяжелобольной, с трудом передвигавшийся человек (об этом говорят содержащиеся в деле анкета арестованного, обращение его жены в спецколлегию Мосгорсуда с просьбой о его медицинском освидетельствовании и личное обращение А.А. Захарова (Дело по обвинению Башкирова... Л. 23, 343, 349)) выдержал сначала две очные ставки со своими "подельниками", а затем был подвергнут достаточно длительному допросу. На сей раз следователь не ограничился краткой фиксацией отказа обвиняемого признать себя виновным, а подробно записал его мотивировку. Этот документ является ярким примером того, как в условиях всевластия карательных органов люди сохраняли в себе силы на противостояние им. Не имея возможности опубликовать протокол допроса полностью, представим хотя бы несколько ключевых заявлений А.А. Захарова:

"Следствие я считаю волынкой, дерганьем нервов, и что обвиняемый не показывай, вопрос о нем уже предрешен. Так я сужу по примерам из камеры Бутырского изолятора. Всех высылают (имеется в виду высылка за "контрреволюционную деятельность". – *Авт.*), хотя я считаю, что многие не имеют никакой вины и не заслуживают наказаний <...> Я считаю себя человеком законченным и далее к научной работе не способным. Органы Советской власти заставить работать меня не смогут, они могут меня уничтожить, но работать я не буду. Я считаю, что в настоящее время идет самый настоящий террор против научных работников, и давать показания нахожу излишним, поскольку мне абсолютно не верят" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 160).

А.А. Захаров не только коснулся судеб науки, но и дал резкую оценку тогдашней государственной политике. "Я являюсь сторонником действительно демократических свобод, т.к. думаю, что истина выясняется при столкновении и критике самых разнообразных мнений. Этого нет в Советском Союзе, и я был против этого. Марксистско-ленинское учение я считал подлежащим критике", – говорил он на допросе (Дело по обвинению Башкирова... Л. 162). В другом документе – в своем заявлении прокурору – А.А. Захаров также не останавливался перед тем, чтобы указать репрессивным органам на их произвол, резонно подчеркивая, что за свои "немарксистские взгляды" он уже получил условный срок в 1934 г., а дважды за одно и то же не принято осуждать[13].

Следователь В.А.Смирнов и его начальство, очевидно, рассчитывавшие первоначально на масштабный разворот дела, не уступавший "Академическому", оказались в непростом положении. При составлении обвинительного заключения им оказалось недостаточно скудных признательных заявлений некоторых из обвиняемых и показаний

[12]То есть "контрреволюционную". Так во всем деле, и соответственно во всех цитатах из дела здесь и далее.

[13]Он, в частности, писал: "... ряд обвинений, предъявляемых мне, как то протест против смертной казни, были уже предметом моего привлечения в 1934 г. и, следовательно, теперь я вторично обвиняюсь по тем же пунктам, что и ранее, и за которые я уже получил наказание. Ясно, что нельзя несколько раз осуждать за одно и то же" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 349).

тех свидетелей, которые под давлением работников НКВД во время следствия были вынуждены дать негативные отзывы о своих коллегах. Ощущая узость обвинительной базы, следователи решили дополнительно опереться на пространные цитаты из опубликованных статьей и рецензий научных оппонентов подследственных. В частности, в дело в качестве улики подшит полный выпуск "Сообщений ГАИМК" за 1932 г. (№ 1–2), содержащий весьма критическую рецензию К.В. Тревер на книгу А.С. Башкирова "Искусство Дагестана" (М., 1930); столь же внимательно следствие отнеслось и к рецензии А.Ю. Якубовского в "Проблемах истории материальной культуры" (1933, № 3–4) на сборник статей под редакцией И.Н. Бороздина ("Художественная культура советского Востока". М.; Л., 1931). Следователи усердно выискивали наиболее резкие замечания рецензентов, тщательно подчеркивали эти строки в тексте, с тем чтобы затем процитировать некоторые фрагменты в обвинительном заключении (Дело по обвинению Башкирова... Л. 233, 234). Ясно, что сами авторы рецензий были далеки от мысли, что оценки, высказанные ими в пылу научной полемики, будут когда-либо рассматриваться как доказательства обвинения[14]. Не часто оружием НКВД оказывалась научная критика, пусть даже в полемически заостренной форме, вообще характерной для 30-х годов.

Несмотря на все эти усилия, В.А. Смирнову и его сотрудникам не удалось инкриминировать подследственным какие-либо конкретные преступные действия. Впрочем, обвинительное заключение, подписанное 21 июня 1935 г., начиналось многозначительной фразой о том, что "СПО УГБ УНКВД МО арестована группа научных работников гуманитарных наук (историки, археологи, этнографы), систематически занимавшаяся пропагандой к/р националистических идей". В реальности эта группа "историков, археологов, этнографов" состояла всего лишь из трех известных нам человек: следствие воспользовалось здесь тем, что А.А. Захаров был одновременно историком и археологом, И.Н. Бороздин – историком, археологом и этнографом[15], а А.С. Башкиров – археологом и этнографом.

Далее в этом документе следствие пыталось представить трех профессоров в качестве активных контрреволюционеров с большим стажем, для чего их "амальгамировали" с фигурантами "Академического дела". В обвинительном заключении подчеркивалось, что "указанная группа – Башкиров А.С., Бороздин И.Н. и Захаров А.А., в прошлом – до 1930 г. была тесно связана с представителями к/р националистических формирований реакционных кругов профессуры и научных работников историко-археологических и этнографических наук (Дело по обвинению Башкирова... Л. 49, 84, 86, 87, 88) и на протяжении нескольких лет вела к/р работу в плане срыва подготовки полноценных кадров <...>.

Приблизительно с лета 1934 г. участники группы <...> пытаются объединить вокруг себя к/р настроенных работников, для чего устраивают встречи с возвратившимися из ссылки Бахрушиным, Готье, Лобовским[16] и др. (Дело по обвинению Башкирова... Л. 90, 91), входят в московские реакционные круги научных работников и продолжают вести систематическую к/р работу на культурном фронте" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 230, 231). Как видим, те самые собрания ученых, обсуждавших вопросы восстановления исторического образования, о которых рассказывал А.С. Башкиров, теперь были представлены как контрреволюционные заговорщические сходки.

Однако несмотря на столь многообещающее начало, никаких реальных фактов антиправительственной деятельности подследственных обвинительное заключение не приводило, если не считать стандартных и обтекаемых фраз о том, что "обвиняемые систематически вели антисоветскую агитацию" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 231), "пропаганду националистических идей" и реализовывали ("протаскивали") "свои враждебные установки в науке" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 235). Явно фальсифицированы были и обвинения профессоров в национализме и шовинизме, также отражавшие политическую конъюнктуру того времени. При этом по ходу следствия обвиняемым – членам единой, по мысли следователей, контрреволюционной организации – инкриминировали национализм совершенно противоположного толка: А.С. Башкирову – пантюркизм (имея в виду его связи с археологами Крыма)[17], А.А. Захарову – русский национализм, а И.Н. Бороздину – и то, и другое.

Наконец, в вопросе об антиправительственной организации как таковой следствие вынуждено было ограничиться весьма неопределенной формулировкой о "контрреволюционной национали-

[14] Таким образом, восстанавливаемая на основе данного следственного дела хронология событий показывает, что рецензия К.В. Тревер на книгу А.С. Башкирова была опубликована не в тот момент, когда он уже был репрессирован (Формозов, 1998. С. 197), а задолго до этого.

[15] И.Н. Бороздин был также литературным и театральным критиком (см.: Бороздина, 2000).

[16] Вероятно, с М.К. Любавским (см. примечание 11).

[17] В частности, указывалось (далее мы полностью сохраняем орфографию, пунктуацию и стилистику документа), что А.С. Башкиров, "проводя археологические раскопки, обеспечивал указанных лиц фактическим материалом, поддерживающим их пантюркистскую теорию, сводящуюся к идеализации Турции и рассматривающую татар как часть турецкой семьи, следовательно, в результате это давало право Турции в территор.<иальном> полит.<ическом> присоединении к себе турецких народов СССР и основание к этому требовать самими крымскими татарами это присоединение" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 50).

стической группе, имевшей тенденцию к организационному оформлению" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 235).

При этом следователи явно стремились подчеркнуть общественную опасность подследственных, для чего методом "домино" пытались еще более расширить круг обвиняемых и тем самым, возможно, создать впечатление о широкомасштабном заговоре московских археологов. Не случайно в завершающей части обвинительного заключения зафиксировано намерение органов инициировать еще одно следствие в отношении нескольких видных ученых, якобы связанных с "контрреволюционной группой Башкирова, Бороздина и Захарова" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 236). В их числе был упомянут не кто иной, как патриарх отечественной археологии Василий Алексеевич Городцов[18]. Этому тезису обвинительного заключения предшествовали упорные попытки по ходу следствия подтолкнуть обвиняемых к дискредитации В.А. Городцова; тщательно фиксировалось все, что казалось следователям компрометирующим материалом. При этом в фокусе внимания органов в качестве контрреволюционной акции оказалось одно из крупнейших научных достижений В.А. Городцова – развитие принципов типологического метода, сделавшее в эти годы имя ученого знаменитым в Европе и Америке. "В 1926 г. на одном из собраний членов контрреволюционной организации археологического отделения (РАНИОН. – *Авт.*) Городцовым было предложено проводить обработку археологических материалов механистическим историко-сравнительным и типологическим методом" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 94). "Являясь сторонником типологического метода, он поручал студентам разработку типов бытового инвентаря, украшений и пр. той или иной культуры, чем создавал схоластическое отношение, прорабатывал эти вопросы главным образом в своих практических вопросах со студентами" (так в тексте. – *Авт.*) (Дело по обвинению Башкирова... Л. 102). Абсурдными для современного читателя, но вполне приемлемыми для следователя были и другие обвинения в адрес знаменитого ученого: "В 1-м МГУ на лекциях и на семинарах Городцов, работая по курсу доисторической археологии, главным образом разрабатывал вопросы археологии Русской равнины, главным образом делал ударение на культуру восточных славян, в частности вятичей и финских племен (так в тексте. – *Авт.*). Этим защищалась расовая точка зрения деления народов на отдельные племена вопреки марксистской методологии, рассматривающей культуру народов по формациям" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 99).

Однако новое следствие, по которому обвиняемым был бы уже В.А. Городцов, так и не было начато, – во многом благодаря тому, что А.С. Башкиров, И.Н. Бороздин и А.А. Захаров, с которыми он якобы имел контрреволюционные связи, никак не пожелали на суде признать какие-либо конкретные факты своей антиправительственной деятельности.

Между тем подготовка судебного процесса (обвинение по статьям 58-10. Ч. 1. 58-11 УК РСФСР) стала последней попыткой властей сохранить лицо. Среди вызванных на суд в качестве свидетелей оказались такие видные, в будущем крупнейшие археологи, как А.В. Арциховский, А.Я. Брюсов, С.В. Киселев и другие. Но, назначив разбирательство дела на 29 июля, судьи не учли специфики археологической работы – в разгаре был полевой сезон, что давало многим свидетелям благовидный предлог избежать участия в судебном фарсе. В деле содержится несколько справок из учреждений, где работали вызываемые в суд свидетели, в которых сообщается о невозможности их присутствия на процессе ввиду пребывания в экспедициях (см., например: Дело по обвинению Башкирова... Л. 357 об.). Таким образом, неявка многих свидетелей (Н.Л. Эрнста не смогли вызвать из Симферополя, С.В. Киселева, А.Я. Брюсова и др. не было в Москве) в значительной мере способствовала развалу дела в ходе судебного заседания.

Но главную роль в этом сыграло поведение на самом суде обвиняемых и тех свидетелей, которые все же явились. Несмотря на закрытый и несостязательный характер процесса в спецколлегии Мосгорсуда, И.Н. Бороздин и А.А. Захаров полностью, а А.С. Башкиров частично отрицали предъявленные им обвинения. Свидетели же, в частности А.В. Арциховский, фактически подтвердили необоснованность выводов следствия, ограничившись лишь указанием на немарксистский характер научных взглядов обвиняемых[19], что, впрочем, соответствовало действительности и чего не считали нужным скрывать и сами профессора, получившие образование задолго до революции.

В результате трех заседаний суд принял 9 августа 1935 г. решение "об отложении дела слушанием" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 381), после чего судебная процедура больше не возобновлялась, а дело было направлено прокуратурой

[18] В обвинительном заключении говорится: "Весь следственный материал в отношении других проходящих по следственному делу – Денике, Городцов, Бахрушин и др. – выделить в копиях в особое производство" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 236).

[19] В частности, А.В. Арциховский заявил следующее: "Башкиров во всех своих выступлениях несоветского не говорил", "Бороздин лучше знал марксистско-ленинскую теорию, насчет шовинистических взглядов я его статей не читал", "Захаров со старыми взглядами XIX в. – с домарксистскими взглядами." (Дело по обвинению Башкирова... Л. 379). Ср. сходные данные в работе П.А. Бороздиной (2000. С. 109, 110).

на Особое совещание НКВД. 14 сентября обвиняемые, так и не выпущенные на свободу, по распоряжению ОСО были сосланы на три года (считая со дня ареста) в Казахстан "за контрреволюционную деятельность" без указания на какую-либо статью Уголовного кодекса (Дело по обвинению Башкирова... Л. 391–393). В 1955 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР полностью реабилитировала всех троих по этому обвинению (Дело по обвинению Башкирова... Л. 401, 402)[20].

Какова же была судьба трех профессоров непосредственно в ссылке и после нее? Упомянутые выше некрологи И.Н. Бороздина и А.С. Башкирова, опубликованные в 1960 и 1963 гг., не содержат никакой информации о самом факте репрессирования этих ученых. По данным внутриведомственной переписки из изученного нами дела, А.С. Башкиров после отбытия трех лет ссылки работал в Калинине преподавателем кафедры археологии местного педагогического института (Дело по обвинению Башкирова... Л. 360, 373). С 1945 г. до своей кончины (в Москве, 1 января 1963 г.) он, как указывает Н.В. Пятышева, заведовал кафедрой всеобщей истории в Ярославском педагогическом институте (Пятышева, 1963. С. 316); по сведениям исследовательницы, он работал также в Калининском пединституте и в Московском пединституте им. Потемкина (Пятышева, 1963. С. 316).

Публикация замечательного исследования П.А. Бороздиной, как уже сказано, восполнила пробел в информации о судьбе И.Н. Бороздина. П.А. Бороздина, опираясь, в частности, на материалы соответствующего нового следственного дела, сообщает, что И.Н. Бороздин, высланный в Алма-Ату, работал в Казахском госпединституте, а в ночь с 17 на 18 ноября 1937 г. он был вновь арестован, на этот раз органами НКВД Казахстана, и приговорен к 10 годам ИТЛ, о чем ему сообщили 5 декабря 1937 г., когда отправляли по этапу; при этом на следствии от него безуспешно добивались компрометации А.А. Захарова (Бороздина, 2000. С. 111, 112). Эту информацию подтверждает внутриведомственная переписка, содержащаяся в материалах изученного нами следственного дела 1935 г., но относящаяся к более позднему времени: здесь сказано, что И.Н. Бороздин был повторно осужден 1 декабря 1937 г. Тройкой Управления НКВД Алма-Атинской области (Дело по обвинению Башкирова... Л. 396). В работе П.А. Бороздиной освещена и вся дальнейшая биография этого мужественного человека – пребывание в лагере, досрочное освобождение в 1943 г. (его реабилитация по обоим обвинениям состоялась лишь в 1955 г.) и последующая работа – сначала в качестве заведующего кафедрой всеобщей истории Ашхабадского пединститута, затем, с 1949 г. до его кончины в 1959 г. – в качестве заведующего кафедрой всеобщей истории Воронежского университета (Бороздина, 2000. С. 112–163; см. также Москаленко, 1960. С. 311).

Иначе сложилась судьба А.А. Захарова. А.А. Формозов, опираясь на данные М.А. Миллера, отметил, что А.А. Захаров "был выслан в Алма-Ату полупарализованным, прикованным к креслу" и дальнейших сведений о нем нет (Формозов, 1998. С. 198). Материалы изученного нами дела подтвердили эту информацию о состоянии его здоровья, но никаких данных о А.А. Захарове после его высылки в Казахстан здесь не содержится, если не считать реабилитационного постановления Верховного Суда от 1955 г. Уведомление о реабилитации А.А. Захарова было вручено его сыну, как видно из соответствующей расписки, содержащейся в деле (Дело по обвинению Башкирова... Л. 405), тогда как А.С. Башкиров и И.Н. Бороздин получили эти уведомления лично, как обычно и делалось в случае, если реабилитируемый был жив к этому моменту. До сих пор в биографической литературе предполагалось, что А.А. Захаров умер в 1947 г. (И за строкой воспоминаний..., 1997. С. 268; Скифский роман, 1997. С. 326; Четыре письма..., 1999. С. 38. Прим. 5). Однако исследование П.А. Бороздиной, очевидно, подводит печальный итог этой теме. В соответствии с приведенными ею данными из следственного дела 1937 г., выясняется, что Тройка Управления НКВД Алма-Атинской области, осудившая 1 декабря 1937 г. И.Н. Бороздина, в тот же день приговорила А.А. Захарова к расстрелу (Бороздина, 2000. С. 109).

Известный финский археолог А.М. Талльгрен в своем в целом благожелательном обзоре "Археологические исследования в Советской России", опубликованном в X томе издаваемых им "Древностей Северной Евразии" (постоянным автором которых был А.А. Захаров[21]), с горечью писал о результатах своей вторичной после 1920-х гг. поездки в СССР, состоявшейся в 1936 г.: "Я посетил учреждения, в которых мне не встретился ни один сотрудник, который бы работал там в 1928 г.

[20] "Постановление Особого совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР от 14 сентября 1935 года по делу Башкирова Алексея Степановича, Бороздина Ильи Николаевича и Захарова Алексея Алексеевича отменить и дело о них прекратить за недоказанностью предъявленного им обвинения" (Дело по обвинению Башкирова... Л. 402).

[21] А.А. Захарову принадлежат в этом издании статьи на самые разнообразные темы: по археологии Сибири (о раскопках Берельских курганов В.В. Радловым (ESA. III)), по археологии Дагестана (ESA, V, VI), по скифской (ESA. VII) и славянской археологии (ESA. IX). Показательно, что А.А. Захаров не прекратил своего участия в "Eurasia septentrionalis antiqua" и после того, как в 1931 г. А.М. Талльгрен и его журнал подверглись резкой политической критике в советской археологической печати (см.: Скифский роман, 1997. С. 501, 502).

Я могу упомянуть несколько археологов, которые были отстранены: Г. Боровка, И. Фабрициус, М. Грязнов, Яворницкий, В. Козловская, М. Макаренко, А. Миллер (умер), С. Рудинский, С. Теплоухов (умер), А. Захаров, Б. Жуков (умер). Среди них – блестящие ученые и достойнейшие люди, преданные и сильные граждане своей страны <...> Как же, должно быть, богато человечество, если оно может обойтись без таких прекрасных людей. Но может ли мир, могут ли Советы позволять себе прерывать творческую деятельность людей, обладающих интересом, энтузиазмом, знаниями и способностями? Не все из этих людей лишились своих жизней, но все они были сосланы. 1931 год, равно как и конец 1934 – начало 1935 года были особенно тяжелыми временами для музейных сотрудников" (Tallgren, 1936. P. 149) (ср.: Формозов, 1995. С. 43–46).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993.

Академическое дело 1929–1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2. Дело по обвинению академика Е.В. Тарле. Ч. 1–2. СПб., 1998.

Боброва С.П. И.Н. Бороздин как историк-славист // Советское славяноведение. 1986. № 1.

Бороздина П.А. "Думой века измерил..." // Жизнь и судьба профессора Ильи Николаевича Бороздина. Воронеж, 2000.

Ватлин А. Союз польских патриотов. Польские студенты в Бутове // Бутовский полигон. 1937–1938. Книга памяти жертв политических репрессий. Вып. 3. М., 1999.

Дело по обвинению Башкирова А.С., Бороздина И.Н. и Захарова А.А. // ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. № П21128.

Дело по обвинению Смирнова В.А. // ГАРФ. Д. П50139.

Дель О., Мусиенко Н. Гитлерюгенд и другие фальсификации НКВД // Бутовский полигон. 1937–1938. Книга памяти жертв политических репрессий. Вып. 3. М., 1999.

И за строкой воспоминаний большая жизнь... Мемуары, дневники, письма. К 125-летию Государственного Исторического музея. М., 1997.

Москаленко А.Е. И.Н. Бороздин // СА. 1960. № 2.

Москаленко А.Е. Памяти И.Н. Бороздина (1883–1959) // Вопросы истории славян. Вып. 1. Воронеж. 1963.

Носкова Л.М., Эрлих В.Р., Мкртычев Т.К., Днепровский К.А. Археология в Государственном музее Востока // РА. 2000. № 3.

Перченок Ф.Ф. Академия наук на великом переломе // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991.

Пятышева Н. А.С. Башкиров // СА. 1963. № 3.

Скифский роман. М., 1997.

Смирнов В.Ф. Высокое призвание. Профессор И.Н. Бороздин и его деятельность в Воронежском университете // Вестник Воронежского государственного университета. 1998. Сер. 1. Гуманитарные науки.

Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. М., 1995.

Формозов А.А. Русские археологи и политические репрессии 1920–1940-х гг. // РА. 1998. № 3.

Четыре письма Б.Н. Гракова к Э.Х. Миннзу (публикация Г.М. Бонгарда-Левина) // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М., 1999.

Miller M.A. Archaeology in the USSR. New York, 1956.

Tallgren A.M. Archaeological studies in Soviet Russia // ESA. 1936. X.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 132–136

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

МОНАХОВ С.Ю. ГРЕЧЕСКИЕ АМФОРЫ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. КОМПЛЕКСЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТАРЫ VII–II ВЕКОВ ДО Н.Э. Саратов, 1999. 678 с.

Амфоры – керамические сосуды для транспортировки жидких, реже сыпучих продуктов (вина, масла, зерна и т.д.), а также минерального сырья[1] в трюмах морских и речных судов – являются важнейшим источником для изучения истории античного сельского хозяйства и ремесла, торговли и мореплавания.

Исследование античной амфорной тары – одно из традиционных направлений исследований российского антиковедения. Наиболее важные вопросы, связанные с изучением амфорной тары, были сформулированы еще в работе Б.Н. Гракова "Тара и хранение сельскохозяйственных продуктов в классической Греции IV–IV вв. до н.э." (1935). Среди них локализация центров, занимавшихся производством амфорной тары, выделение емкостных стандартов, изучение хронологии и типологии.

От рецензируемой книги статью Б.Н. Гракова отделяет целая серия работ российских и зарубежных исследователей, в которых в той или иной степени решаются указанные проблемы. В российской историографии наиболее важными вехами, бесспорно, стали труды И.Б. Зеест и И.Б. Брашинского. Благодаря первой обобщающей работе в этой области – книге И.Б. Зеест "Керамическая тара Боспора" (1960) – простые остродонные амфоры, массовый археологический материал для значительного числа северопричерноморских памятников, стали полноценным историческим источником.

Спустя практически четверть века было опубликовано фундаментальное исследование И.Б. Брашинского "Методы исследования античной торговли" (1984). В главах этой книги рассмотрены основные итоги и перспективы изучения этой группы материала, сформулирована методика изучения античной торговли на примере массовых материалов, позволяющая получить поддающиеся проверке количественные характеристики торговых отношений в античную эпоху.

В более конкретизированном виде и на качественно более высоком уровне знаний о материале И.Б. Брашинским были сформулированы самые актуальные в настоящий момент задачи: локализация керамической тары, соотношение клейменой и неклейменной тары, стандарты амфор, а также синхронизация и хронология керамической тары. Каждому из этих направлений он посвящает отдельный раздел. Особый интерес в контексте с рецензируемой работой вызывает глава "Синхронные группы керамической тары. Проблемы хронологии", где систематизированы имеющиеся к этому времени данные для узких датировок тех или иных амфорных форм – закрытые комплексы, содержащие амфорную тару. Отмечен значительный рост числа этой группы источников. В частности, если в 60-х гг. в распоряжении И.Б. Зеест было всего 8 комплексов в основном IV в. до н.э., то исследование И.Б. Брашинского опирается на имеющиеся в 80-х гг. 46 комплексов более широкого хронологического диапазона (со второй четверти V по II в. до н.э.) (см.: II. 1. "Археологические комплексы, содержащие разнотипные амфоры (комплексы синхронных амфор)" (Брашинский, 1984. С. 204–209). В рецензируемой книге, вышедшей в 1999 г., С.Ю. Монахов оперирует уже почти 200 опорными комплексами, датирующимися в пределах конца VII–II в. до н.э. (Монахов, 1999. С. 14. Прил. 1). Таким образом, источниковедческая база для изучения хронологии амфорной тары во многом благодаря усилиям автора книги выросла более чем в 4 раза, что наряду со значительным прогрессом в изучении хронологии амфорной тары, в особенности керамической эпиграфики, послужило объективной предпосылкой для создания этого свода.

С.Ю. Монахов уже давно успешно занимается изучением античной амфорной тары VII–II в. до н.э. Широкоизвестны его работы по типологии и хронологии эллинистических амфор северопричерноморских центров (Херсонес, Синопа) (Монахов, 1989; 1992).

Во Введении рецензируемой работы, посвященной прежде всего созданию свода керамических комплексов с амфорами, сообщается о задачах данного исследования и применяемой здесь методике обработки материалов. В качестве первоочередной названа необходимость "обосновать надежные и узкие временные рамки для ряда опорных памятников Причерноморья", кроме того, по словам автора, в отдельных случаях они

[1] Известны находки в амфорах нефти и красителей.

способствуют локализации отдельных серий амфор, что в конечном итоге позволит получить новые данные о динамике торговых связей в этот период (С. 23–24).

Известно, что узость датировки каждого археологического комплекса зависит от ряда причин: наличия хронологически однородных материалов и условий складывания того или иного комплекса. Поэтому во вводной части был поднят вопрос о понимании "закрытого" (чистого) и "открытого" комплексов. Он давно обсуждается в археологической литературе, однако в отношении комплексов, содержащих амфорные материалы, в силу признаваемых всеми возможностей значительного сужения датировки приобрел большую остроту и имеет некоторую специфику. В частности, в свое время И.Б. Брашинским комплексами "первого порядка" были названы "погребальные и склады амфор, к которым, особенно в последние годы, прибавляются комплексы кораблекрушений" (Брашинский, 1984. С. 130). По наблюдениям С.Ю. Монахова, из этого списка следует отдать предпочтение комплексам кораблекрушений и погребений, так как период формирования комплекса амфорного хранилища может быть гораздо более продолжительным, около 20–30 лет (Монахов, 1999. С. 17). Однако, как показывают приведенные автором примеры, на практике все оказывается еще сложнее и проверка "чистоты" каждого комплекса должна стать темой самостоятельного исследования.

Среди методик изучения хронологии названы морфологический и метод датированных аналогий как наиболее универсальные, а также не употреблявшийся до этого настолько широко метод корреляции хронологии клейм разных центров, фабрикантских и магистратских, применяемый только для периода, когда была распространена практика систематического клеймения амфорной тары (см. таблицу на С. 9–10).

Структура работы всецело связана с темой исследования – хронологической систематизацией материала. Часть 1 посвящена комплексам архаического и раннеклассического времени (конец VII–VI вв. до н.э.). Для периода, представленного в работе шестью комплексами[2], датированными традиционно с точностью в четверть столетия (С. 33), имело бы смысл привести все закрытые комплексы, прежде всего погребальные, содержащие даже одну амфору этого периода[3]. Среди них имеются экземпляры, которые могли бы заполнить имеющуюся лакуну (вторая четверть VI в. до н.э.).

Подытоживая этот, как, собственно, и другие разделы, автор стремится дать исторические (экономические) выводы, в данном случае о структуре амфорного импорта (С. 60). Вместе с тем распределение совсем немногочисленных комплексов в значительном хронологическом промежутке оказалось неравномерным, кроме того, в состав приведенных комплексов вошли далеко не все формы, получившие довольно широкое распространение в Причерноморье и засвидетельствованные в археологическом контексте (см., например, амфоры "круга Клазомен", датируемые в пределах конца VII–третьей четверти VI в. до н.э. (Монахов, 1996. С. 44)), что, как признает автор, не позволяет составить даже самой общей картины поступления товаров в амфорной таре в Причерноморье.

Комплексы первой половины V в. н.э. более многочисленны (17 (С. 113)[4]. В отличие от материалов предыдущего времени приведены самостоятельные хронологические индикаторы – хиосские амфоры, а для второй четверти использованы также амфоры Фасоса и Менды, что позволило автору сузить датировку до 20 лет (С. 61). Амфоры указанных центров являются основой хронологии и во второй половине V в. до н.э. (С. 117). Важно, что на завершающем этапе этого периода в комплексах появляются первые образцы причерноморской амфорной тары (гераклейская амфора в яме-ботросе из Ольвии (раскопки 1979 г.) (С. 148–153).

Открывает раздел средиземноморский комплекс колодца Q 12 : 13 (Афинская Агора), привлеченный "в силу своей уникальности и разнообразия представленного материала" (С. 61), что позволяет использовать его как базовый для причерноморских. Однако о цели приведения ряда других средиземноморских комплексов можно только догадываться: в разделе по комплексу кораблекрушения у Балеарских островов причерноморский материал использован для уточнения его датировки в целом (С. 379), в главе, посвященной эллинистическим материалам, они призваны заполнить информационный вакуум и, по всей видимости, позволяют датировать редкие для Причерноморья формы (С. 538–544). Учитывая общую тему исследования, посвященного греческим амфорам в Причерноморье, думаю, что за счет этих комплексов вполне можно было бы расширить приложение. Здесь же уместно привести хотя бы в табличной форме новейшие разработки датировок по фасосским, гераклейским, синопским клеймам, послужившие основой хронологического разделения основной массы комплексов.

[2] По данным автора, за последние 100 лет открыто "чуть более десятка комплексов" этого периода (Монахов, 1999. С. 33), о которых в таком исследовании следовало бы привести в приложении данные о составе, датировке, соответствующей библиографии.

[3] Они сопоставимы с приведенными комплексами, состоящими из двух однотипных амфор (курган 1 у пос. Коломак и Ольвийская землянка (раскопки 1975 г.).

[4] На с. 61 указано, что их – 11.

Часть 2 посвящена комплексам керамической тары позднеклассического времени в Причерноморье. Она наиболее представительна: число учтенных здесь комплексов значительно больше, чем архаических, раннеклассических и эллинистических вместе взятых. По мнению автора, это объясняется бурным экономическим и политическим развитием причерноморских государств, а также интенсификацией связей с племенами варварской периферии. Вне всякого сомнения, этот раздел наиболее глубокий и содержательный во всей книге: объем приведенного материала является цепочкой надежных хронологических реперов для изучения широкого круга проблем (синхронных археологических комплексов, истории тех или иных причерноморских центров, истории торговых отношений). Следует подчеркнуть, что в этой книге с успехом решена на современном уровне основополагающая для этого периода задача[5] по уточнению датировок погребальных комплексов скифской знати по обнаруженным в них амфорам как наиболее позднему среди остальных предметов погребально-поминального инвентаря.

Несмотря на резкое возрастание материалов в этот период, раздел организован четко и логично: весь массив распределен автором на три временных блока протяженностью два-три десятилетия каждый, основой хронологии которых стала совершенно обоснованно датировка этапов гераклейского клеймения[6]. Гераклейская тара – одна из самых многочисленных и на настоящий момент, пожалуй, одна из самых изученных групп для первых трех четвертей IV в. до н.э., установленная последовательность смены гераклейских магистратов с 90-х по 30-е годы IV в. до н.э. позволяет сузить хронологические рамки ряда комплексов первой–третьей четвертей IV в. до н.э. до 10 лет.

Как отмечает автор, внутри каждого временного блока комплексы сгруппированы прежде всего по степени их "чистоты", которая определяется в зависимости от наличия или отсутствия в их составе "помимо ядра шлейфа более ранних материалов" (С. 159). В действительности основой выделения групп стало наличие в составе комплексов тех или иных клейм. Например, в составе одного и того же подраздела комплексов с гераклейскими и фасосскими магистратскими клеймами оказались не совсем "чистый" комплекс из ям надскального слоя из I квартала Херсонеса и комплекс кургана у с. Ольгино, датируемый автором концом 90-х – первой половиной 80-х годов (С. 217–223).

К 90–80-м гг. IV в. до н.э. отнесено несколько десятков комплексов[7]. Наиболее ранние (правда, абсолютная датировка не названа ни во вводной части (С. 160), ни в выводах (С. 191–193)) комплексы в этом временном блоке содержат фабрикантские клейма самой ранней группы и неклейменные фасосские амфоры (19 комплексов) (§ 1: С. 162–193).

Другая, более поздняя серия комплексов этого блока (§2: С. 193–238) содержит раннюю фасосскую клейменую тару, а также магистратские гераклейские клейма (С. 193). Считается, что начало магистратского клеймения на Фасосе и в Гераклее Понтийской может быть датировано не позднее второй половины 90-х гг. (С. 161).

Параграф 3 сформирован по "остаточному" принципу: в него включены комплексы, содержащие амфоры без клейм (например, Менда, Пепарет, Солоха I и др.), морфологические признаки которых, а также аналогии соответствуют этому временному блоку (С. 238–248).

Выводы даны по структуре ввозимой продукции в амфорной таре, направлениям и динамике торговых связей. Кроме того, систематизированы комплексы, в которых присутствуют ранние гераклейские клейма фабрикантов (Табл. I. С. 192), а также приведены случаи синхронизации клейм Гераклеи, Фасоса, Пепарета и Менды (Табл. II. С. 236–237). Подобные сводки даны и для материалов второй–третьей четвертей IV в. до н.э. (Табл. III–IV. С. 317–318, 415–417. См. также приложение 4). По более поздним комплексам (конца IV–II в. н.э.), в не меньшей степени обеспеченным амфорными клеймами, но других центров (Синопы, Родоса, Херсонеса), подобные разработки автор не приводит. Таким образом, методика уточнения датировки комплексов на основе синхронизации клейм в работе получила применение на ограниченном хронологическом промежутке.

В выводах по всем разделам отсутствует, пожалуй, самая важная для широкого круга исследователей *информация о периоде бытования той или иной амфорной формы*. Думается, что закономерным итогом этого исследования должна была стать и синхронизация форм амфор разных центров – эта работа была начата еще И.Б. Брашинским (1984. Прил. II, *2*).

Хронологические рамки комплексов 70-х – середины 60-х годов определены двумя событиями: прекращением практики использования сильно сокращенных имен в гераклейском магистратском

[5] Напомним, что формулирование и первые шаги по ее реализации были предприняты еще И.Б. Брашинским (1965).

[6] Основная информация по гераклейскому клеймению дана в Приложении 4 (С. 627–635) и в отсутствующей в книге главе 20 (см. С. 158. Сноска 1).

[7] Все учтенные комплексы сведены в таблице Приложения 1. Однако подача материала не может быть признана удовлетворительной: разновременные комплексы даны вперемешку. Некоторое неудобство доставляет и описание в одном разделе двух комплексов, особенно если целесообразность этого объединения не очевидна (С. 178–176, 211, ср.: С. 322.)

клеймении (нижняя граница) и началом магистратского клеймения в Синопе (С. 249). Основой датировки внутри этого хронологического промежутка являются список магистратов, исполняющих свои обязанности в Гераклее в это время, и фасосские магистратские группы "С" и "D" по И. Гарлану (С. 250).

Среди прочих приведен средиземноморский комплекс кораблекрушения у Болеарских островов, в котором числится около 500 амфор. По словам автора, он вполне мог представлять собой остатки нескольких кораблекрушений (С. 18). К сожалению, в тексте описания комплекса об этом совсем не упомянуто (С. 372), что может ввести в заблуждение читателя, знакомящегося с книгой выборочно. В связи с этим предлагаемая дата комплекса по обнаруженному здесь синопскому клейму представляется не убедительной. Думается, что часть приведенных в публикации форм может бытовать и значительно позже.

В § 1 включены комплексы (13) с клеймами более ранних магистратов, употребленных в сильном сокращении (С. 251–280). § 2 – комплексы (16), содержащие гераклейские клейма конца 70–60-х годов (С. 280–311). В третьем параграфе приведено два комплекса, не содержащих эпиграфических материалов (С. 311–319).

Верхняя граница комплексов второй половины 60-х – середины 20-х гг. IV в. до н.э. не так определенна, как нижняя, которая, как уже указывалось выше, обозначена началом синопского клеймения (С. 249). Первой половиной – серединой 20-х гг. IV в. до н.э. датируются, по наблюдениям автора, самые поздние комплексы с гераклейскими магистратскими клеймами. Однако в связи с тем, что установленная на настоящий момент последовательность смены магистратов и фабрикантов Гераклеи имеет лакуны, довольно многочисленный материал внутри этого временного блока сгруппирован в соответствии с преобладающей амфорной серией: § 1 – с гераклейскими магистратскими клеймами (С. 322–371); § 2 – включает комплексы с клейменной синопской тарой (С. 371–400); § 3 – комплексы без клейм (С. 400–415). Таким образом, выделенные в этом временном блоке группы не имеют хронологического соподчинения. Распределение комплексов (41) внутри этого временного блока на три хронологические группы проведено в заключительном разделе (С. 418). Здесь же автором даны особенности в динамике ввоза товаров в амфорной таре в причерноморский регион.

Верхней границей комплексов эллинистического времени (часть 3) стал рубеж третьей-четвертой четвертей IV в. до н.э., что несколько позже общепринятой начальной даты эллинистического периода в целом: по мнению автора, именно в это время происходят политические и экономические изменения, которые произошли в Средиземноморье и Причерноморье после завершения походов Александра Македонского.

Автор столкнулся с заметным сужением источниковой базы, что привело к снижению ее информативной ценности: сокращается число погребальных комплексов местной знати, среди комплексов этого времени преобладают материалы, происходящие из слоев, связанных с перепланировками, разгромом. Здесь сыграли свою роль и объективные, и субъективные причины. В первую очередь это серьезные изменения этнополитической ситуации в степной части Причерноморья, которые привели к прерыванию сложившихся связей и фактически к потере этого рынка на достаточно продолжительный период.

Этим обстоятельством, как уже отмечалось выше, объясняется активное привлечение средиземноморских комплексов (С. 426). Сильно контрастируют с материалами из других регионов памятники Прикубанья, где отмечено значительное количество недавно малоизвестных амфорных форм (см., например: Зеест, 1960. С. 92; Лимберис, 1988. Рис. 6, *3*; Pulak, Towndsend, 1987), что является косвенным свидетельством политической стабильности и наличия тесных связей с античными причерноморскими центрами в этот период.

Думается, что материал из этого раздела нуждается в некоторых уточнениях. В частности, автор приводит карагодеуахшский комплекс по публикации И.Б. Зеест (С. 411–413. Ср.: Зеест, 1960. С. 95), однако, судя по описям ГЭ (ГЭ 2492/30–33), амфор больше.

Обстоятельства находки двух амфор в Новороссийске, которые приведены в работе ("Погребение 1973 года в Новороссийске" (С. 457–459), сноска 79), не совсем точно. Материалы (НМ 2709/1–3)) обнаружены при хозяйственных работах на улице Яковлева и, судя по находкам в обломках какого-то каменного сооружения, возможно, гробницы в виде каменного ящика представляют единый комплекс, в состав которого входит и чаша, украшенная в стиле керамики "Западного склона".

Отмечается, что особое значение для хронологии этого периода имеет хронологическая классификация клейм Синопы и Фасоса. Однако нельзя сказать, что временные блоки комплексов этого периода также четко увязаны с хронологией этих клейм, как гераклейские клейма с более ранними комплексами, поэтому обоснованность выделения временных блоков не так очевидна. В итоге и выводы резко контрастируют по своей значимости.

Комплексы временного блока последней четверти IV – первой трети III в. до н.э. разделены автором на две хронологические группы: последней четверти IV–III вв. до н.э. (С. 428–448) и более многочисленную – первой трети III в. до н.э. (С. 448–531).

Период с середины III по первую половину II в. до н.э. – целое столетие – представлен лишь 12 комплексами керамической тары, что сопоставимо с материалами архаического времени, однако их малочисленность обусловлена совсем другими причинами. Материал сгруппирован в два временных блока, основой для деления стала "естественно сложившаяся динамика торгово-экономических связей": комплексы середины – второй половины III века до н.э. (8) (С. 533–553), почти на треть состоящие из средиземноморских материалов, комплексы первой половины II в. до н.э. (4) (С. 553–568). Этот раздел, я думаю, вполне можно было бы расширить и за счет причерноморских, в частности северокавказских, комплексов из Прикубанья или, например, малоизвестного материала (в основном обломки родосских амфор), обнаруженного под оборонительной стеной Грушевского городища (Гадло, Найденко, 1980. С. 295–320).

В Заключении С.Ю. Монаховым отмечена сложность сопоставления информации, получаемой при изучении керамических комплексов. Тем не менее полученные данные позволяют автору констатировать аритмичность поступления товаров как основную особенность торговли в античную эпоху в Причерноморье. По мнению автора, "керамические комплексы нельзя считать точным слепком с реальной картины торгового обмена в древности", потому что многие реальные участники этих контактов по каким-то причинам могут оказаться не засвидетельствованными (С. 572).

Пожалуй, это первый опыт подобного рода фундаментального исследования как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Не вызывает сомнения, что рецензируемая книга – итог многолетнего труда автора – является тем базисом, на основе которого будет продолжена разработка целого комплекса проблем, связанных с изучением амфорной тары.

Велика прикладная роль этого исследования для широкого круга специалистов, занимающихся исследованием древностей Причерноморья VI–II вв. до н.э. в целом. Его можно поставить в один ряд со "Сводами археологических источников" (Е.М. Алексеевой, А.К. Амброза, А.Н. Кирпичникова и др.), которые для многих исследователей являются настольной книгой. Следует подчеркнуть, что работа выполнена на качественно высоком уровне, в целом материалы даны в археологическом контексте, снабжены необходимым иллюстративным материалом.

Однако ряд тем, затронутых в работе, оставляет впечатление недосказанности, требует отдельного рассмотрения. С одной стороны, автор ограничил свою задачу обработкой и публикацией с соответственными комментариями комплексов, включающих в себя амфорный материал, с другой, он постоянно обращается к решению важных и нужных, выходящих за рамки исследования задач: типология и хронология амфорной тары, динамика и объемы торговли в изучаемую эпоху. В связи с этим хочется пожелать автору скорейшей публикации результатов его разработок (С. 574) в полном объеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Брашинский И.Б. Новые материалы к датировке курганов скифской племенной знати Северного Причерноморья // Eirene. 1965. V. IV.

Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли. М., 1984.

Гадло А.В., Найденко А.В. Исследования Грушевского городища под Ставрополем в 1973 г. // Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 15–16. Ставрополь, 1980.

Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. № 83.

Лимберис Н.Ю. Конские погребения из могильника городища № 3 у хутора имени Ленина // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Краснодар, 1988.

Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. до н.э. Саратов, 1989.

Монахов С.Ю. Динамика форм и стандартов синопских амфор // Греческие амфоры. Проблемы развития ремесла и торговли в античном мире. Саратов, 1992.

Монахов С.Ю. Амфоры Клазомен и "круга Клазомен" // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тез. докл. VIII междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону, 1996.

Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары VII–II веков до н.э. Саратов, 1999.

Pulak C., Townsend Rh.F. The hellenistic Shipwreck at Serce Limani, Turkey: Preliminary Report // AJA. 1987. V. 91.

Институт археологии РАН, Москва

А. А. Малышев

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 137–143

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

МОНАХОВ С.Ю. ГРЕЧЕСКИЕ АМФОРЫ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. КОМПЛЕКСЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТАРЫ VII–II ВЕКОВ ДО Н.Э. Саратов, 1999. 680 с.

Изучение амфор – керамической тары и керамических клейм античного мира – всегда являлось приоритетным направлением советской и российской классической археологии. Достаточно вспомнить работы Е.М. Придика, Б.Н. Гракова, Т.Н. Книпович, И.Б. Зеест, Д.Б. Шелова, Ю.Г. Виноградова, И.Б. Брашинского, Н.А. Лейпунской, В.И. Каца и многих других исследователей. Одновременно формировалась и американская школа, основательницей которой по праву считается В.Р. Грейс. В настоящее время данное направление развивается очень интенсивно. Только для того, чтобы осветить основные тенденции и направления развития "амфорологии" потребовалось специальное издание ("Bulletin archeo-logique: amphores et timbres amporiques"). С 1987 по 1996 гг. в нем учтено 437 работ, причем список далеко не полный. В 1994 году в Стамбуле проходил Второй конгресс по изучению амфор, труды которого увидели свет только в 1999 году. Столь длительный срок издания сделал данный сборник в значительной своей части "морально" устаревшим, так как одновременно или несколько ранее увидели свет коллективная монография Р.М. Кука и П. Дюпона (Dupont, 1998) и работа С.Ю. Монахова, частично опубликованные в трудах стамбульского конгресса (Dupont, 1999; Monachov, 1999).

Данное вступление к рецензируемой работе отнюдь не случайно. П. Дюпон, основываясь на типологическом анализе эволюции амфор каждого отдельно взятого центра производства, анализе глин, как амфор, так и расписной керамики, сходства профилированных деталей амфор и расписной ионийской керамики, а также используя данные последних лет раскопок по массовому амфорному материалу основных винопроизводящих и маслопроизводящих центров, представил достаточно убедительное обоснование локализации нескольких центров производства, включая такие как Самос и Милет. Вышедшая одновременно монография С.Ю. Монахова не учитывает этих данных, что достаточно резко снижает ее научный уровень и, что особенно важно, вводит в заблуждение многих полевых исследователей, так как одновременно присутствуют в определениях милетские амфоры "круг Милет–Самос", по П. Дюпону (Табл. 4. Рис. 1. Табл. 14. Рис. 15–17), ранее обозначившиеся как "протофасосские" (Табл. 16. Рис. 1–9) или на сложнопрофилированном кольцевом поддоне, производство которых, скорее всего, связано с полисами Северной Греции (Табл. 4. Рис. 4–8); "Самос", по В. Грейс, центр, локализация которого в настоящий момент не поддается определению, Самос или "самосский круг" для амфоры, скорее всего, представляющей афинскую продукцию, типа найденной в комплексе № 7 : 3 Афинской Агоры (Табл. 28. Рис. 1. Табл. 29, 1) (Boulter, 1953. Pl 39, 147); "Самос", по И.Б. Брашинскому, относимые в настоящее время к производству Милета (Табл. 36, 1) (Dupont, 1998. P. 175, 217), "Самос" – для группы амфор типа найденной в кургане 4 у с. Рыжановка (Табл. 164, 5. С. 373–374), определение места производства которой нельзя в настоящее время считать установленной.

Сосуды эолийского круга различных типов автор все обозначает как лесбосские, красноглиняные и сероглиняные (С. 600–601). С методической точки зрения это представляется не вполне правомерным. Шесть эолийских полисов располагались на о. Лесбос, еще 12 находились на материке. Не приходится сомневаться, что островные эолийские полисы занимали ведущее положение в области виноторговли, но представляется более правильным, пока не установлена надежная локализация каждого отдельного эолийского центра производства, пользоваться более обобщающей терминологией.

Рецензируемая работа состоит из Введения, восьми глав, Заключения и восьми приложений. К сожалению, объем издания не позволил автору включить главу "Типология амфор ведущих центров – экспортеров товаров в керамической таре" (С. 24. Ссылка 43). Помимо этого в других частях работы отсутствует определение **типа амфоры**. Ввиду этого дальнейшее понимание и критика исследования становится весьма затруднительной.

Второй момент, который вызывает недоумение – это терминология, используемая в данном издании. При обозначении определенного типа, например книдских амфор, появляются типы IIC – "воротничковый" (С. 612) (имеются ввиду амфоры с массивным треугольным в сечении венчиком). Такое же обозначение ввел А.Л. Якобсон для типа амфор X–XI вв. н.э. (Якобсон, 1979. С. 109). Или – II–G "сигарообразный" (С. 613). Все это удивительным образом сочетается с "именной" типо-

логией – тип II–А "хавиарес" (С. 61) (имеется в виду, что рассматриваемый сосуд происходит из коллекции Н. Хавиареса и введен в научный оборот с соответствующей ссылкой В. Грейс) или тип II–Е "эберт", что подразумевает, что амфора происходит из раскопок М. Эберта Марицинского могильника. Представляется неприемлемым использование в данной ситуации археологического "сленга". Вместо общепринятого ("амфора типа найденной в кургане 1 у пос. Коломак") – "коломакский тип" (С. 594) для хиосских амфор или "милетские амфоры Репяховатого типа" (С. 599) (подразумевается милетская амфора из кургана Репяховатая могила).

При описании сосудов и их профилированных частей представляется более правильным использовать геометрические термины (Лейпунская, 1981; Гошев, 1994), которые, хотя и занимают в публикации больше места, позволяют формулировать морфологические признаки, а не оперировать только сравнительными понятиями, которые у каждого человека достаточно субъективны.

Рецензируемая работа С.Ю. Монахова качественно расширяет базу источников для исследования керамической тары рассматриваемого периода. Ее по праву можно считать научным подвигом. Автор вводит в научный оборот колоссальный по объему материал, значительная часть которого публикуется впервые, другая часть – на качественно новом научном уровне (прекрасные прорисовки, описание сосуда, метрические параметры). Автор восполнил пробел, который в свое время образовался из-за недостаточного внимания археологов к богатейшим амфорным коллекциям, происходящим из раскопок.

Несмотря на то что автор ставит целью создание каталогов-определителей целых амфор, при описании редких или уникальных типов, не всегда приводится характеристика глины сосудов, отсутствует ряд важнейших метрических параметров, таких, как высота амфоры (в этом смысле более приемлемой представляется часть работы, опубликованная в трудах конгресса в Стамбуле), размеры профильных частей амфор. На самом деле сделана попытка в одном издании решить сразу две стратегические задачи – публикационную и аналитическую. Но ввиду указанных выше недостатков публикационная задача не может считаться полностью выполненой.

Нельзя не отметить высочайшее качество иллюстративного материала, причем тщательнейшим образом стандартизированного (С. 26). Это предоставляет уникальную возможность пользователю переводить графические изображения в словесно-логическое описание признаков, чем сам автор пользуется крайне редко.

Что касается источниковедческой базы исследования С.Ю. Монахова, необходимо отметить: музейные собрания России и Украины действительно располагают колоссальными коллекциями античной керамической тары, но, за редчайшим исключением, там хранятся амфорные комплексы в неполном составе. Таким образом, изначально в распоряжении автора оказалась ограниченная информационная база: Ольвия, землянка 1975 года (одна амфора из двух, составлявших комплекс) (С. 37–38); Ольвия, склад 1949 года (всего восемь целых и восемь фрагментированных – сохранилось две амфоры) (С. 54–57); Нимфей, сожжение Д–2 (около двух десятков целых и фрагментированных амфор – осталось 5) (С. 57–60); Ольвия, яма 421–1979 года (5 из 10) (С. 83–87); курган 13 у с. Великая Знаменка (15 из 17) (С. 106–111); Нимфей, склад 1978 года (12 из 50) (С. 125–130); Ольвия, землянка 1979 года (3 из 5) (С. 130–131); Никоний, склад 3 1960 года (7 из 17) (С. 131–135); курган № 3 группы "Мреснота могила" (2 из 3) (С. 139–140); Ольвия, склад № 2 1971 года (сосудов было более 100, целых 9, осталось 5) (С. 140–143); Ольвия склад 1 1971 года (общее количество неизвестно, 2 из 3) (С. 144–145); Ольвия, яма-ботрос 1979 года (14 целых, 86 фрагментированных, сохранилось 10) (С. 148–153). Всего неполных комплексов в монографии разбирается не менее 60, 39 комплексов известны автору только по публикациям. Значительная часть остальных не содержит целых форм, или амфора, найденная в них, единственная. Таким образом, приводимая автором цифра – 200 известных ему комплексов – не вполне корректна.

С методической точки зрения нельзя понять утверждение С.Ю. Монахова, что "керамические комплексы нельзя считать калькой с реальной картины торгового обмена в древности" (С. 15). С этим утверждением можно было бы согласиться, если речь шла об единичных, не коррелируемых комплексах. Однако амфоры одного типа в сериях находятся в других одновременных комплексах в сериях, при этом типы сосудов различных центров производства находят аналогии в одновременных комплексах. Аналогичное явление наблюдается в предшествующих и последующих по хронологии комплексах, поэтому нельзя за этим не видеть отражения объективной реальности. Вне всякого сомнения, сосуды, ввозившиеся в регион Северного Причерноморья в больших количествах, чаще попадали в комплексы (С. 15).

Понятие "аритмичного" (импульсивного) попадания товаров на причерноморские рынки надо фактически обосновывать, а не исходить из предположения, как из аксиомы. В связи с тем, что наши реальные возможности хронологического определения отдельных амфор ограничены, как правило, четвертью столетия, доказать определенную неравномерность торговых связей не представляется возможным.

Еще более неясен постулат, что керамические комплексы не фиксируют плавной эволюции типов амфор (С. 15). Амфорные комплексы, известные в настоящее время, как раз и фиксируют плавное изменение (эволюцию) амфор отдельных центров производства.

С.Ю. Монахов констатирует наличие нескольких типов и стандартов керамической тары в одном центре производства в один промежуток времени, но в данном случае была бы уместна ссылка на В. Грейс, давно обосновавшую данное положение (Grace, 1949).

Недостаточное внимание автора к относительной хронологии амфорных комплексов приводит к увлечению "узкой" абсолютной хронологической привязкой комплексов. В результате предлагаемые даты не всегда обоснованы.

При анализе комплексов VII–V вв. до н.э. автор использует два основных метода: морфологический, позволяющий наметить тенденцию развития форм, и метод датированных аналогий, дающий основание для установления узкой даты (С. 23). Можно считать доказанным, что в развитии, например, хиосской и фасосской керамической тары, наблюдается развитие стандартов (Абрамов, 1990; 1998). Однако наблюдения за изменением основных метрических параметров, которые рано или поздно определяют стандарт, в работе отсутствуют, при наличии обширнейших приложений с метрическими параметрами.

Это объясняется, на мой взгляд, отсутствием четкого определения типа амфоры. Окончательное заключение по хронологии того или иного комплекса амфор мы можем получить при анализе морфологии каждого отдельного сосуда, его профилированных частей и при учете метрических параметров, с учетом данных керамической эпиграфики для более поздних периодов. Только учет всех перечисленных признаков у всех сосудов в комплексе даст возможность выявить хронологические признаки на больших амфорных сериях и, в конечном счете, более точные выводы о хронологии рассматриваемого объекта. В большинстве случаев подобный детальный анализ в рецензируемой работе отсутствует, что в первую очередь объясняется лимитированным объемом издания.

Нельзя не согласиться с точкой зрения С.Ю. Монахова, что начиная с IV в. до н.э. возможности синхронизации комплексов с использованием данных керамической эпиграфики значительно возрастают. Однако автор не использует возможности синхронизации керамических комплексов, предлагая вместо нее теорию комплексов "чистых" и "нечистых" (Монахов, 1997), в результате чего большинство комплексов амфор Северного Причерноморья оказываются искусственно растянутыми в хронологическом отношении. Представляется правильным, что для определения в широких и узких рамках самого комплекса важны только стратиграфические наблюдения и наблюдения по характеру формирования данного комплекса, получаемые в ходе археологических исследований. К последующему хронологическому анализу материала необходимо привлекать весь материал, а не только амфорный.

Наиболее ранняя группа амфорных комплексов IV в до н.э. выделена С.Ю. Монаховым верно, она включает комплексы, содержащие клейменую гераклейскую керамическую тару с легендами, несущими только имя фабриканта. С.Ю. Монахов ограничивает данный период только первыми двумя десятилетиями IV в. до н.э. (С. 160–161), в то время как В.И. Кац сужает его еще больше и относит к более раннему времени – 415–400 гг. до н.э. (Кац, 1997. С. 214–216).

В настоящее время не известно ни одного закрытого комплекса, по которому мы могли бы синхронизировать или сблизить по времени деятельность двух последующих групп гераклейских магистратов – более ранней (Ортесилай, Аристокл, Коас и NIK (–)) с более поздней группой (IA (–), ПА (–), ΛY (–), EIK (–)) и примыкающих к ним – Молосс, Аристон, Стифон, Алкет, Диномарх, Орос и Кромний. Если первая, более ранняя, группа гераклейских чиновников надежно (по ольвийскому складу 1947 года и погребению 51 1912 года некрополя Ольвии) синхронизируется с фасосскими магистратами Лавром и TI (–), не позже 385 г. до н.э. по И. Гарлану (Garlan, 1986. P. 232. Tabl. A), то вторая – более поздняя – синхронна фасосскому магистрату Клеофону, по комплексам Никоний подвал 1 1960 года и Порфмий яма 8 1968 года, – середина 60-х гг. IV в. до н.э. (Garlan, 1986. P. 232. Tabl. A), и синопскому астиномному клейму Никомеда, по комплексу кургана 3 у с. Красное. Последнее датировано Н.Ф. Федосеевым около 365 г. до н.э. (Fedoseev, 1999. P. 41).

С.Ю. Монахов частично синхронизирует две рассматриваемые выше группы на основании комплекса 32 из Горгиппии (С. 232–235. Табл. 96), который включает материал, охватывающий весь IV в. до н.э., и очень условного комплекса над названием "ямы и надскальный слой в 1 квартале Херсонеса" (С. 217–220. Табл. 91), где выявлен материал всего IV и начала III вв. до н.э. включительно. Для синхронизации керамических комплексов эти два объекта не могут быть использованы.

Если принять во внимание предлагаемую поправку, то получается достаточно устойчивая взаимосвязь в плане синхронизации керамического клеймения Фасоса, Гераклеи Понтийской и Синопы, но, что более важно, исчезает проблема "чистых" и "нечистых" комплексов. Причем среди фабрикантских клейм присутствует несколько имен,

не встречающихся среди фабрикантских клейм предыдущей группы комплексов (С. 236–237, 317).

Что касается более мелких замечаний по отдельным комплексам, можно выделить следующие.

Ошибочная дата (опечатка) приводится для керамики из комплекса левой погребальной камеры гробницы 4 некрополя Червитери – 650–630 гг. до н.э., а не 550–530 гг. до н.э., как в тексте (С. 37) (Dupont, 1998. P. 146. Fig. 23, *1*, *h*.)

При рассмотрении комплекса Березанского колодца № 5 (С. 40–54. Табл. 4–7) автор совершенно справедливо выделяет милетскую амфору на сложнопрофилированном кольцевом поддоне, но не приводит аналогии, достаточно давно опубликованной из комплекса кургана 9 у с. Куцеволовка (Бокий, Ольховский, 1994). Данный комплекс, как и другие, относящиеся к третьей четверти VI в. до н.э. (Пантикапей яма 7 1957 года, Истрия, сектор Т, здание С, комплекс из Бон Порте у побережья Франции), не учитываются в рецензируемой работе (Абрамов, 1993. С. 5, 20). Все перечисленные комплексы объединяет наличие в их составе хиосских амфор с воронкообразным горлом – тип ІБ–1.

Замечания вызывает методика ввода в научный оборот комплекса амфор из ольвийской полуземлянки 1975 года. Единственный изученный автором сосуд – хиосская амфора с воронкообразным горлом. Клазоменская амфора известна ему только по фотографии. Однако для иллюстрации сосуда автор приводит прорисовку, включая профильные части другой клазоменской амфоры из ольвийского погребения 3 1937 года, которая имеет уникальные для данного центра производства метрические параметры, полностью совпадающие с метрическими параметрами хиосских амфор с воронкообразным горлом (С. 38. Ссылка 19. Табл. 3, 2).

С осторожностью необходимо подходить и к комплексу, который обычно обозначается как кораблекрушение около Донузлава (С. 163–165. Табл. 56). Амфоры и их фрагменты выявлены на расстоянии 150–220 м от берега на глубинах от 4.0–4.8 м от поверхности воды, в составе не менее трех скоплений на площади 80 × 90 м (Блаватский, 1964. С. 1–5. Рис. 1). Дальнейшие исследования в этом районе выявили материал, включающий фрагменты керамики от VI в. до н.э. до I в.н.э. (Петерс, 1964. С. 12, 13). Исходя из небольшой глубины, на которой выявлен материал, есть основания предполагать, что мы имеем дело скорее с остатками затопленной части поселения. Вряд ли мы имеем право рассматривать данный материал в качестве комплекса, тем более только по фрагментам, сохранившимся в Евпаторийском музее.

При рассмотрении комплекса ольвийского склада 1949 года учитывается только два сосуда: эолийская красноглиняная амфора и амфора фасосского круга (С. 54–57. Табл. 8). Вне поля зрения исследователя осталась клазоменская амфора О49–2405, опубликованная Н.А. Лейпунской (Лейпунська, 1973. С. 56, 57. № 11/132). Не учитывается еще экземпляр эолийской амфоры с усеченноконусовидным дном, опубликованный позднее (Лейпунская, 1987. С. 100. Рис. 34, *9*, *10*). Все сосуды данного комплекса находят аналогии в афинском комплексе Q 12 : 3, который датируется около 520–480 гг. до н.э. С учетом, что основной материал комплекса не доступен для исследования, сужать дату до последних двух десятилетий VI в. до н.э. нет никаких оснований.

Маловероятным представляется и то, что нимфейский комплекс Д2 1976 года должен датироваться ранее комплекса Q 12 : 3 Афинской Агоры (С. 58). Наблюдения за изменениями стандартов хиосской керамической тары, представленной в обоих комплексах, свидетельствуют как раз об обратном.

Следующий важный комплекс, который стоит упомянуть, – керамика в заполнении колодца № 4 из раскопок 1990 года на о. Березань. Хронологию данного комплекса С.Ю. Монахов определяет первыми двумя десятилетиями V в. до н.э. (С. 77). Однако при внимательном рассмотрении материала оказывается возможным выделить материал как третьей четверти VI в. до н.э. (Табл. 14. Рис. 6–7), так и второй четверти V в. до н.э. (Табл. 14. Рис. 1, 11, 13. Табл. 16. Рис. 17–19) при полном преобладании материала конца VI–начала V вв. до н.э. Такое хронологическое распределение материала при единственной целой амфоре позволяет трактовать заполнение как целенаправленную засыпь колодца во второй четверти V в. до н.э. Немаловажно, что данный комплекс выбран не полностью, только до уровня грунтовых вод.

Не совсем обоснованной представляется и предлагаемая датировка первой третью V в. до н.э. комплекса амфор из Ольвии, яма 421 1979 года (С. 83–87. Табл. 21–22). Хотя из девяти хиосских амфор сохранилось только шесть и одна амфора круга Фасоса, хронологию этого комплекса по типу хиосских амфор в настоящее время можно определить достаточно надежно. Данный тип хиосской керамической тары датируется от 480 года до середины V в. до н.э., так как эти сосуды присутствуют в афинских комплексах после персидского разгрома, а последняя фаза их бытования опирается на хронологию комплекса № 7 : 3 Афинской Агоры (Boulter, 1953. P. 104, 105. Pl. 39, *150*). Ольвийский комплекс относится к ранней фазе предлагаемого периода, как и патрейский склад 1991 года (Абрамов, 1994. С. 128–130) (С. 88–92. Табл. 24–25).

Занижена и датировка комплексов Ольвия, яма 69 1989 года (С. 97–98. Табл. 28) и кургана 12 у с. Стебелев (С. 99–101. Табл. 29). Оба комплекса содержат не самосские амфоры, как указано в тек-

сте, а, вероятно, аттические амфоры, находящие полные аналогии в комплексе № 7 : 3 Афинской Агоры (Boulter, 1953. P. 101, 102. Pl. 39, *147*) и должны датироваться около 460–440 гг. до н.э., т.е. синхронны комплексу амфор из кургана 13 с. Великая Знаменка (С. 106–111. Табл. 33–35).

При анализе комплексов второй половины V в. до н.э. нельзя не согласиться с мнением С.Ю. Монахова, что важнейшим хронологическим индикатором в данном случае являются амфоры Хиоса, Фасоса и Менды, а также лесбосские сероглиняные амфоры (С. 117). Однако при этом надо учитывать и обстоятельство, выявленное при раскопках "Дома пунийских амфор" в Коринфе. Хиосская прямогорлая керамическая тара появляется не ранее 430 г. до н.э., т.е. после начала Пелопоннесской войны (Mattingly, 1981. P. 78). Так как данное обстоятельство в рецензируемой работе не учитывается, комплексы, содержащие хиосские прямогорлые амфоры, получают заниженную датировку: Ольвия, землянка 1979 года (С. 130–131. Табл. 42), Никоний, склад № 3 1960 года (С. 131–135. Табл. 43–44).

При рассмотрении склада амфор с поселения Сладките Кладенцы (С. 145–147) не учтенной осталась фрагментированная мендийская амфора (Лазаров, 1973. № 157) Характерная особенность данного комплекса – полное отсутствие гераклейской керамической тары, в изобилии представленной в складе № 2 того же поселения (С. 194).

Крайне важен выявленный С.Ю. Монаховым факт, что в комплексах, содержащих амфоры с ранними фабрикантскими клеймами Гераклеи Понтийской, присутствует только фасосская неклейменая керамическая тара типа ШБ–2 (Абрамов, 1998. С. 9, 10). Данное обстоятельство, вне всякого сомнения, указывает на то, что практика регулярного клеймения на Фасосе возникла позже, чем в Гераклее Понтийской. При этом проблема абсолютных датировок регулярного клеймения как фасосской, так и гераклейской керамической тары сохраняется (С. 193). Вероятно, установленным можно считать факт появления неклейменой синопской керамической тары в первой четверти VI в. до н.э. по комплексу ямы № 347 из Никония (С. 189–190. Табл. 73, 1). Не ясно утверждение, что амфора из данного комплекса имеет 3/5 стандартного объема. Это самый ранний синопский сосуд. С каким стандартом мы сравниваем его объем?

В этот же период появляются амфоры типа Пепарет I, по И. Гарлану, ранее – "Солоха II" (табл. 66, 2. Табл. 70, 1). К комплексам данной хронологической группы можно отнести: курган Двугорбая могила (С. 162–163. Табл. 55), курган 9 1909 года Елизаветовского могильника (С. 165–167. Табл. 57), колодец 1992 года из Херсонеса (С. 176–177. Табл. 64), курган Южный у ст. Елисаветинской на Кубани (С. 177–179. Табл. 65), курган 19 1911 г. Елизаветовского могильника (С. 179–181. Табл. 66), погребение № 2 кургана 76 Елизаветовского могильника (С. 185–186. Табл. 70).

Вторая хронологическая группа для IV в. до н.э. опирается на клейма наиболее ранних гераклейских магистратов – Ортесилай, Аристокл, Коас и NIK(–), которым соответствуют фасосские, теперь уже с полным правом определяющиеся как биконические, амфоры типов ШБ–1 и ШБ–3 с клеймами ранних групп магистратов Лавра и TI(–) (амфоры и полуамфоры) (Абрамов, 1998. С. 10). К комплексам данной хронологической группы в первую очередь относится ольвийский склад 1947 года (С. 194–201. Табл. 75–78); Березань, склад 1968 года (С. 202–203. Табл. 79–80); погребение 51 1912 года некрополя Ольвии (С. 203–205. Табл. 81).

Третья хронологическая группа для комплексов IV в. до н.э. включает комплексы с именами гераклейских магистратов в сокращении IA (–), ΠA (–), ΛY (–), EIK (–) и примыкающими к ним Молосс, Аристон, Стифон, Алкет, Диномарх, Орос и Кромний. В комплексах рассматриваемой группы присутствуют фасосские амфоры как типа ШБ–3, так и, вероятно, более поздние варианты ША, ШВ–1 (Абрамов, 1998), но не выходящие за пределы первой половины IV в. до н.э. В этот же период появляется гераклейская керамическая тара, подражающая фасосскому образцу ШБ–3 (Табл. 100, 2) и амфоры типа Пепарет II, по И. Гарлану (Амперер, Гарлан, 1992. С. 20. Рис. 12) ранее определявшиеся как боспорские или херсонесские (Табл. 106, 4. С. 262). К комплексам данного хронологического периода следует отнести подвал № 1 1960 года из Никония (С. 227–229. Табл. 94), подвал № 2 1960 года из Никония (С. 229–232. Табл. 95), тризну кургана 5 группы "Пять братьев" Елизаветовского могильника (С. 251–253. Табл. 100), погребение 2 кургана 4 некрополя Никония (С. 253–255. Табл. 101), погребение 8 и тризну кургана 4 с. Первомаевка (С. 255–258. Табл. 102–103), погребение 72 1862 года из Пантикапея (С. 258–260. Табл. 104), яму 5 1987 года из Порфмия (С. 260–263. Табл. 105–106), яму 1951 года из Нимфея (С. 267–270. Табл. 110), курган зХ с. Петуховка (С. 272–274. Табл. 111), подвал 1970 г. из Никония (С. 274–276. Табл. 112), курган 4S с. Петуховка (С. 276–277. Табл. 113), Бердянский курган (С. 284–289. Табл. 117–120), яму 8 1968 года из Порфмия (С. 297–299. Табл. 124). Вероятно, к этому же периоду следует отнести и комплекс кургана 14 1909 года из Елизаветовского могильника, содержащий амфоры типа Пепарет I и Пепарет II (С. 311–313. Табл. 133).

К четвертой хронологической группе комплексов IV в до н.э. необходимо, согласно С.Ю. Монахову, отнести комплексы, содержащие синопские амфоры с клеймами первой хронологической группы Б.Н. Гракова и фасосских магистратов

групп F и G по И. Гарлану (С. 320, 321). В данных комплексах присутствуют фасосские амфоры типа IIIБ–2, IIIВ–1 и характерные только для них IIВ–1, а также мендейская керамическая тара типа найденной в Мелитопольском кургане (Абрамов, 1993. С. 22).

Опорный комплекс – тризна кургана 3 у с. Красное (Серова, Яровой, 1987. С. 28–30; Монахов, 1997. С. 207, 208). Он представляет собой скопление фрагментов амфор в заполнении рва. Только одну гераклейскую амфору удалось реставрировать полностью. Одиннадцать гераклейских амфор изготовлены при магистрате Стифоне в мастерских Гераклида, Носса и Аристона (С. 20–21). На двух ручках синопских амфор засвидетельствовано клеймо астинома Никомеда I хронологической группы, по Б.Н. Гракову. О единстве комплекса свидетельствует сам его состав. С синхронностью составляющих данного комплекса согласилась Н.А. Павличенко (1992. С. 143).

К завершающим комплексам рассматриваемой хронологической группы относятся курган 8 группы "Пять братьев" Елизаветовского могильника (С. 358–362. Табл. 157–158), комплекс кургана 14 у с. Гюновка (С. 379–381. Табл. 167), погребения 9 1969 года из Вани (С. 382–283. Табл. 169) и колодца 269 из Горгиппии (С. 383–386. Табл. 170).

Анализ последующих хронологических групп амфорных комплексов возражений не вызывает. Определяющими для конца IV – начала III в. до н.э. является эволюция гераклейской керамической тары, возобновление практики фабрикантского клеймения в данном центре и развитие синопских и херсонесских амфор. Клейма данных центров стали наиболее важными хронологическими индикаторами. Особо следует отметить выделение на северопричерноморских материалах керамической тары Книда конца IV в. до н.э. (табл. 191, 1; Табл. 192, 1; Табл. 193, 1–2). Для комплексов позднее середины III в. до н.э. наибольшее значение приобретает клейменая керамическая тара о. Родос и Синопы.

Несколько слов необходимо сказать о приложениях к рецензируемой работе. Приложение 1 "Указатель комплексов", составлено удачно: в алфавитном порядке при соблюдении нумерации курганов и погребений, что в значительной мере облегчает работу с рассматриваемым изданием (С. 575–580). Аналогичное впечатление оставляет Приложение 2 "Указатель имен магистратов и фабрикантов", которое содержит полный список имен, встречающихся на керамических клеймах рассматриваемых комплексов.

Не совсем ясен принцип подбора информации при составлении Приложения 3 "Метрические характеристики амфор". Иногда привлекаются данные из сводок метрических параметров амфор предыдущих лет, например из сводки И.Б. Брашинского (1980; 1984), иногда нет. В таблице хиосских амфор присутствует ссылка на рисунок, в других случаях указывается только номер таблицы или таблиц, иллюстрирующих комплекс. Как уже указывалось, во всех таблицах отсутствует такой важнейший параметр, как высота сосуда. В таблицах при этом имеется значительное количество сосудов, которые в монографии не рассматриваются. Приводимые данные по объемам амфор на основании обмерного чертежа представляются не совсем обоснованными.

Приложение 4 "Случаи синхронизации клейм гераклейских, фасосских и синопских магистратов по комплексам IV в. до н.э.", на мой взгляд, наглядно демонстрирует несовершенство хронологической схемы, предлагаемой для этого периода (С. 627–635). В данной таблице практически отсутствуют комплексы, не "растянутые" по хронологии минимум на 15 лет. Список гераклейских магистратов является основой для составления данной таблицы, хотя более правомерен подход, исходящий из самих комплексов. Это обстоятельство наложило отпечаток на все разделы рецензируемой работы, охватывающие материалы IV в. до н.э.

Подводя итоги, необходимо отметить, что безусловной заслугой автора является ввод в научный оборот огромного количества нового, ранее недоступного для анализа материала. Тем не менее аналитическая часть данной работы: определение центров производства амфор, вопросы хронологии и типологии керамической тары отдельных центров производства – оставляет больше вопросов, чем дает на них ответы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов А.П. Общие тенденции эволюции керамической тары Восточного Средиземноморья в VII–I вв. до н.э. // Традиции и инновации в материальной культуре древних обществ. М., 1990.

Абрамов А.П. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. 1993. № 3.

Абрамов А.П. Патрей. Раскопки 1990–1991 гг. // Боспорский сборник. 1994. № 4.

Абрамов А.П. Типология амфор Фасоса // Древности Боспора. 1998. Вып. 1.

Амперер Ж.И., Гарлан И. Греческие амфорные мастерские // Греческие амфоры. Саратов, 1992.

Блаватский В.Д. Отчет о I Донузлавской подводной экспедиции 1964 года // Архив ИА РАН. Р–1. № 2827.

Бокий Н.М., Ольховский В.С. Раннескифский курган на Днепровском Правобережье // РА. 1994. № 2.

Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в V–III вв. до н.э. Л., 1980.

Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли (на примере Северного Причерноморья). Л., 1984.

Гошев И.С. Правила описания сосудов // Теория и прикладные методы в археологии. Саратов, 1994.

Кац В.И. Хронология клейм Гераклеи Понтийской (состояние и перспективы изучения) // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 1997.

Лазаров М. Антични амфори (VI–I ст. пр. н.э.) от Българското Черноморие // Известия на народен музей Варна. 1973. Т. IX (XXIV).

Лейпунська Н.О. Класифікація амфор архаічного часу з Ольвії // Археологія. 1973. № 8.

Лейпунская Н.А. Керамическая тара из Ольвии. Киев, 1981.

Лейпунская Н.А. Амфоры // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев, 1987.

Монахов С.Ю. Об амфорных комплексах "чистых" и "нечистых", "узких" и "широких" // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 1997.

Павличенко Н.А. К вопросу о времени бытования предлога ЕПІ в гераклейских клеймах // Греческие амфоры. Саратов, 1992.

Петерс Б.Г. Отчет о II и III подводно-археологических экспедициях ИА АН СССР // Архив ИА РАН. Р. 1. № 2827.

Серова Н.Л., Яровой Е.В. Григориопольские курганы. Кишинев, 1987.

Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л., 1979.

Boulter C. Pottery of the mid-fifth century from a well in the Athenian Agora // Hesperia. 1953. V. XXII,[1] 2.

Dupont P. Archaic East Greec Trade amphoras // East Greec Pottery. London; New York, 1998.

Dupont P. La circulation amphorique en mer Noire a l'epoque archaique. Specificites et problems // Production et commerce des amphores anciennes en Mer Moire, 1999.

Garlan Y. Quelques nouveaux ateliers amphoriques a Thasos // BCH. 1986. Suppl. XIII.

Grace V.R. Standart pottery containers of the Ancient Greek World // Hesperia. 1949. Suppl. VIII,[1] 2.

Mattingly H.B. Coins and amphores – Chios, Samos and Thasos in the fifth century B.C. // The Journal of Hellenistic studies. 1981. V. CI.

Monachov S.Ju. Quelques series d'amphores greques des VII–V s. av. n.e. au Nord de la mer Noire // Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. 1999.

Fedoseev N.F. Classification des timbres astynomoques de Sinope // Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. 1999.

Институт археологии РАН, Москва *А.П. Абрамов*

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 144–149

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

МЕДЫНЦЕВА А.А. ГРАМОТНОСТЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ. ПО ПАМЯТНИКАМ ЭПИГРАФИКИ X – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА. М.: Наука, 2000. 288 с.

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.

Иван Бунин

С приумножением археологических источников и развитием реставрационных работ на памятниках древнерусского зодчества эпиграфика занимает все более почетное место среди других вспомогательны исторических и филологических дисциплин. Поскольку надписи обнаруживают на разных материалах, функционально и символически различных произведениях, они несут разнородную смысловую нагрузку. В рецензируемой монографии А.А. Медынцева убедительно продемонстрировала подчас уникальные возможности эпиграфических источников: "Информация эта достаточно многообразна: это и имена изготовивших предмет ремесленников, и имена владельцев, молитвенные и поминальные надписи, перечни долгов и феодальных повинностей, записи об исторических событиях и необычайных природных явлениях и т.д.... Фактическая информация, как и методы исследования, разнятся в зависимости от каждой категории эпиграфических памятников" (С. 267).

После многих десятилетий изысканий ученых, касающихся преимущественно локальных тем по древнерусской эпиграфике X–XIII вв., обобщающий труд А.А. Медынцевой – известного специалиста по древнерусской письменности – во многих отношениях следует считать образцовым. Исчерпывающая и всесторонняя полнота исследования, высокий профессионализм наряду с творческим подходом к материалу придают ее монографии характер не узкоспециального труда, но скорее учебного пособия, руководства для будущих работ.

Уважительно и объективно относясь к работам русских палеографов (в конце монографии – обширный список литературы) от А.Н. Оленина и до исследований последних десятилетий (Б.А. Рыбаков, В.Л. Янин, Т.В. Рождественская), А.А. Медынцева далеко не всегда всецело разделяет их выводы. Но главное, что на примерах наиболее многогранных изысканий предшественников она справедливо констатирует невозможность и непродуктивность чисто филологического изучения надписей; ряд статей затрагивает гораздо более широкие историко-культурные аспекты памятников эпиграфики.

Автором максимально использован весь имевшийся в его распоряжении материал – как сохранившиеся произведения, так и известные только по прорисям и фотографиям; в ряде случаев в научный обиход введены тексты, еще не изданные и не изученные или не привлекавшие внимания специалистов. А.А. Медынцева скрупулезно исследовала надписи-граффити на амфорах-корчагах, пряслицах, серебряных платежных слитках и литейных формочках, граффити на стенах зданий, плинфах и строительной штукатурке. Надписи на дереве, на предметах прикладного искусства, на мозаиках и фресках, каменной резьбе и т.д. дают возможность углубить понимание экономической и духовной жизни русского средневековья, великую цивилизующую роль самой письменности.

А.А. Медынцева разработала и строго сформулировала методику работы с эпиграфическим материалом: "1) прежде всего надпись необходимо датировать палеографически. При этом палеографическая датировка проверяется и уточняется по материалам датированных памятников эпиграфики, по возможности в качестве аналогий надписи, близкие по стилю и способу исполнения и месту нахождения; 2) палеографическая датировка должна быть проверена данными по истории русского языка; 3) стратиграфически; 4) типологически и стилистически; 5) исторически" (С. 20). По мнению исследователя, графика надписей – важнейший элемент их атрибуции: индивидуальные особенности почерка мастера, "малозначащие" мотивы декора, особенно в мелкой пластике, позволяют выявить круг его изделий, локализовать центр их изготовления.

В результате тщательного палеографического, языковедческого, лингвистическо-географического анализа уточнены датировки, места изготовления отдельных памятников и их групп. Некоторые надписи при соотнесении с письменными источниками связываются с известными историческими лицами и получают точную дату. В истории русского декоративно-прикладного искусства (в ра-

ботах по металлу и пр.) роль эпиграфики особенно велика. Буквицы, чеканные на металле, сближаются с нарядными инициалами рукописей.

Книга Медынцевой, написанная в контексте с исторической, социальной и культурной жизнью домонгольской Руси, представляет синтетический труд, требующий незаурядной эрудиции. Автор имеет полное право достаточно жестко относиться к псевдонаучным "открытиям" наподобие гипотезы Н.В. Энговатова (в начале 60-х гг.), вполне негативно – к таким откровенным фальсификациям, как "Велесова книга", или к тщетным попыткам дешифровать фрагменты "дохристианской письменности славян" – загадочные "черты и резы", распространенные в Северном Причерноморье. В наше время подобные нездоровые сенсации в околонаучных кругах притягивают даже некоторых ученых.

Интригующая проблема происхождения письменности на Руси, времени ее возникновения породила огромную литературу. Трудность решения состоит в единичности достоверных памятников эпиграфики, сложности их прочтения и перевода. Медынцева проработала огромный историографический материал, особенно касающийся до сих пор древнейшей надписи "горухща" на амфоре из Гнёздовского кургана второй четверти X в. Графическая сложность, "темный" смысл надписи, породившей множество гипотез и домыслов, требует от специалиста сугубой осторожности в конечных выводах. После эпиграфического и историко-критического экскурса она пришла к заключению, что "...графические особенности надписи, не позволяющие пока ее достоверное прочтение, не позволяют и дать ее окончательное толкование... Так или иначе, до тех пор, пока не появились новые данные, нужно констатировать факт, что Гнёздовская надпись – славянская, написана в начале X в. (? – *В.Д.*) письмом... не находящим и в настоящее время однозначного объяснения" (С. 31). Но главный вывод вполне определенный: "... и гнёздовская, и таманская находки (не поддающийся восстановлению фрагмент слова на ручке амфоры в слоях X в. из раскопок Тмутаракани (*В.Д.*), если и не дают определенных данных о типе письма, безусловно являются фактическими доказательствами использования письменности греко-кириллического типа на Руси в дохристианское время" (С. 247).

Время княгини Ольги, принявшей христианство при существовании в Киеве христианской общины, не оставило после себя эпиграфических следов, поскольку, как справедливо указывает Медынцева, официальным языком религии был греческий язык, недоступный славянскому населению. Первые две определенные кириллические надписи, обнаруженные в Новгороде, относятся к 70-м гг. X в. Они вырезаны на так называемых деревянных цилиндрах-замках, которыми опечатывали мешки с собранной данью (драгоценными мехами и пр.). Серию надписей на цилиндрах домонгольского времени Медынцева изучила со всей возможной полнотой. Некоторые цилиндры помечены изображением княжеского знака и меча ("власть и сила"), что можно сравнить с граффити на куфических монетах.

Детальное изучение памятников не дереве, керамике, монетах приводит исследователя к исторически важным заключениям: древнейшие, бесспорно, кириллические надписи X–XI вв. "показывают довольно широкий диапазон использования письменности: в системе государственного фиска, в торговле и кредитно-ростовщических сделках... показывают процесс обучения грамоте" (С. 215).

Автору чужда тенденция искусственно удревнять появление славянской письменности на Руси, но не стоит и преувеличивать ее роль в догосударственный, "дружинный" период. Фактологически пока не подтверждается предположение, "что славянская (кириллическая) письменность была принята в качестве государственной... в эпоху Ольги и Святослава, хотя первые бесспорно кириллические надписи пока относятся ко времени княжения сыновей Святослава – Ярополка и Владимира" (С. 255). Между обоими утверждениями заметно противоречие. Увеличение числа и разнообразия знаков владельцев на керамической таре для больших емкостей вина, оливкового масла, специй и пр. А.А. Медынцева справедливо связывает с активизацией деятельности торговцев-воинов по великим речным магистралям Восточной Европы – "пути из варяг в греки" и Волжско-Каспийскому бассейну. Вдоль них располагались протогородские центры, складывались ранние города. В IX–начале X в. беспорядочные граффити на тарной керамике – не столько буквы или их цифровые начертания, сколько примитивные и разнообразные комбинации штрихов – не поддающихся прочтению знаков владения.

Неверен тезис исследователя, что возникновение на памятниках эпиграфических текстов – обязательное сопутствующее условие возникновения и развития государственности. Таким образом, усовершенствование письменности и языка (во всех проявлениях) идет вслед за усложнением институтов княжеской государственной организации, формированием экономики и обмена. Задолго до образования устойчивых государств в Скандинавии существовало младшее руническое письмо, применявшееся для культовых надписей на каменных и деревянных надгробиях (младшие руны шведско-норвежского и датского вариантов от-

носятся к IX–XI вв.). Тюркоязычную руническую письменность использовали в пределах Хазарского каганата, но большинство хазарских документов написаны на древнееврейском языке, на арабском и персидском, древнеармянском и других языках. В X в. древнерусские протокириллические надписи на огромной территории встречены в единичных экземплярах. Их роль сугубо рациональная.

Если для "дружинного" периода имеет место появление единичных эпиграфических памятников, то официальное принятие христианства (высочайший цивилизационный акт), а вслед за ним и внедрение письменности, ее блестящее развитие, в том числе на памятниках эпиграфики, способствует прежде всего вознесению Руси на качественно новую культурную и духовную высоту. Нельзя не отметить несколько упрощенный автором тезис о причинах возникновения русской письменности, процветавшей в "феодальных городах" (? – *В.Д.*) домонгольской Руси. Такое грандиозное явление, как письменность, вряд ли можно сводить только к политическим и экономическим реалиям даже в дохристианский период: "Письменность в первую очередь обслуживала нужды развивающегося государства: а именно сбор даней и их реализацию – внешнюю торговлю" (С. 254). "Письменность появилась и использовалась впервые (? – *В.Д.*) в деловой – государственной и торговой – сфере" (С. 253). Экономический детерминизм, характерный для советской науки: "Заслугой ученых советского периода является постановка вопроса о появлении письменности на Руси в связи с общим социально-экономическим развитием, с внутренними потребностями складывающегося государства" (С. 233), – ничего не объясняющий штамп на "казенном лексиконе" – резко выпадает из четкого и логичного стилистического пространства в книге А.А. Медынцевой. Не считаю достоинством труда А.А. Медынцевой игнорирование духовного, магического смысла Слова (Глагола, Логоса) в дохристианский период, "в начале времен" (см.: Бытие, 2, 19–20). В древности истово верили в магическую силу слова, способную разрушать укрепленные города. Германские руны играли магическую роль; до недавнего времени повсеместно письменное слово или символический знак отгоняли хвори (злых духов), даровали исцеление. Символические начертания в русском язычестве играли сходную роль. Смысловые "орнаментальные мотивы" на предметах вооружения, металлических украшениях одежды, процарапанные на дирхемах, выдавленные в виде клейм на горшках и т.д. в славяно-скандинавской среде отражали сложный комплекс мифопоэтических и магических представлений. В языческой "знаковой системе", сохранявшейся столетиями наряду с христианством или в слиянии с ним, можно усмотреть некое зачаточное использование "письменности".

В последней главе автор прослеживает постепенное распространение грамотности среди различных социальных групп на Руси после принятия христианства. Ни политико-административные задачи, ни потребности дальней торговли, ни стремление к увековечиванию былинных подвигов или потребности зачаточного летописания не стали с XI в. главным причинами широкого развития просвещения. Все перекрывает связанный с началом государственного строительства цивилизационный фактор. "Славянская письменность и славянский язык были признаны официально совместно с крещением" (С. 257). Именно фигура Владимира Святого, повергшего языческих кумиров и принявшего одну из великих религий средневековья, стоит у самых основ древнерусской цивилизации.

Медынцева справедливо отмечает, что при отсутствии древнерусских рукописей конца X – первой половины XI в. (Одна из древнейших древнерусских рукописных книг Остромирово Евангелие 1056 г.) свидетельства эпиграфики занимают особое место. Так, надписи на первых монетах Владимира – символах престижа государственной власти – доказывают, что "письменность, принятая одновременно с крещением, была славянской, кириллической по письму, причем, вероятно, эта же письменность была признана и языком религии" (С. 259). Важность вывода не нуждается в комментариях.

Чем больше исследований, особенно маститых ученых, посвящено тому или иному известному памятнику эпиграфики, тем сложнее возвращаться к его дополнительному изучению, вновь разбираясь в хитросплетении мнений о его датировке, месте исполнения, принадлежности определенным историческим лицам. Во многих случаях эпиграфическая конкретизация наблюдения над текстом достигает предела. Например, с математической точностью А.А. Медынцева опровергает сомнения в подлинности знаменитого Тмутараканского камня.

Особенно информативны надписи на предметах прикладного искусства как светского назначения, так и христианского культа. Остановлюсь лишь на нескольких памятниках, в атрибуции которых ярко проявились тщательность к малейшим деталям и реконструктивные способности автора. Каждый из приведенных примеров можно считать отдельным микроисследованием, органично вписанным в текст монографии. "Топорик Андрея Боголюбского" с большой долей вероятности исследователь переадресует Всеволоду–Андрею Ярославичу (вторая половина XI в). Уникальный шлем "Ярослава Всеволодовича" собран из не-

скольких частей. Последним его владельцем стал Ярослав Всеволодович. В 1216 г. вместе с братом Юрием они были разгромлены новгородскими ратями в Липецкой битве. Медынцева высказала предположение, что накануне сечи братья обменялись шлемами. Подобные обычаи были известны в средневековье. Так, перед Куликовской битвой Дмитрий Иванович "сошел с коня и на другого коня сел, и сбросил с себя одежду царскую и в другие оделся" ("Сказание о Мамаевом побоище", основная ред.). Шлем Ярослава нашли более чем в 20 км от места сражения при дороге на Владимир, куда бежал Юрий и где в лихорадочной спешке мог спрятать золоченый шлем и кольчугу.

Скрупулезному микроисследованию подвергся верхний край чары черниговского князя Владимира Давыдовича. Выявлен "черновик" процарапанной до чеканки разметки надписи. Удалось почти полностью воспроизвести первоначальное изречение: "се чара Володова Давыдовича. Кто из нее пье[ть] помале, тому на здоровье, а хваля бога [и] своего [г]осподаря великого не упье[тся]". Призыв заздравной надписи пить "помале" соответствует этическим руководствам Изборника 1076 г., где содержатся высказывания о вреде пьянства и пользе воздержания. Напротив, основная позднейшая надпись наряду с рядом особенностей в графике, фонетике и лексике меняет и оттенки смысла, что отражено во второй фразе окончательного варианта: "кто из нее пье тому на здоровье". Сравнение надписей позволяет заглянуть в процесс работы над словом, объяснить особенности окончательного текста, выявить южнорусские диалектизмы в языке мастера. В результате вырисовывается фигура ремесленника высшей квалификации – изготовителя церемониального сосуда по заказу князя. В ходе работы он мог сменить слова, графику надписи, ее смысловой акцент, что свидетельствует о его образованности. "Тексты обеих надписей позволяют не только сравнивать графику "делового" и "торжественного" стиля... Многие явления в истории языка гораздо раньше отражаются в памятниках так называемой "бытовой", а не канонической, традиционной письменности" (С. 111).

Пристальное внимание к памятникам эпиграфики, их изучение в комплексе других наук позволили Медынцевой внести существенные коррективы в традиционные взгляды. Обширный экскурс посвящен Архангельской ставротеке (не позднее середины XII в.). Она приводит все альтернативные варианты, подробно рассматривая все "за" и "против". Убедительно доказано, что на ставротеке изображен Климент, папа Римский и ученик апостола Петра, тесно связанный с "просвещением" славянства. Хранившиеся в Киеве мощи Климента пользовались глубоким почитанием, он прославлялся как заступник Русской земли. Система определения одноименных святых вводит читателя монографии в "научную кухню" автора, в логику его построений, что приумножает достоинства книги в целом. Но А.А. Медынцевой свойственна и похвальная осторожность: там, где прийти к категорическим выводам затруднительно, всегда остается место для версий. Лакуны в надписях могут допускать разные прочтения. Однако синтез источников, умение свести их в единый историко-культурный континуум, строгая система доказательств – словом, многолетний профессиональный опыт – чаще убеждают в правоте исследователя. На ее же сторону можно стать в полемике о серебряных окладах больших (так называемых корсунских икон) из ризницы новгородского Софийского собора (оклад иконы Петра и Павла и оклад иконы Богоматери). Архаические по своему облику надписи на окладах относятся к середине – второй половине XI в., в чем убеждает детальная палеографическая характеристика. Важен вывод о роли окладов как образцов одних из первых дошедших до нас опытов переработки византийских традиций на местной русской почве. Прослежена связь с болгарской письменной традицией, но сохранены русифицированные формы имен.

Весь арсенал сведений о памятнике, упомянутом в древности, обзор мнений (весьма разноречивых) современных ученых, а главное собственная стройная и строгая и вместе с тем изощренно-остроумная система аргументации придает выводам Медынцевой преимущество в полемике с оппонентами. Рассмотрение вещей и их групп приводит ко многим важным выводам, касающимся русской письменности и ее ритуальной роли. Например: "Памятники эпиграфики дольше сохраняют архаические начертания" (С. 136). Прообразом письма могли служить граффити на причерноморских амфорах-корчагах – нечитаемые знаки, буквы-цифры, имена, а иногда даже благопожелательные и сопроводительные надписи.

Трудно переоценить значение граффити на стенах архитектурных памятников Киева, Новгорода, Старой Ладоги, Владимира, Смоленска, Пскова, Полоцка, Старой Рязани. И в Киеве, и в Новгороде преобладают надписи, связанные с церковной обрядностью, служат своеобразным заклинанием (традиционные формулы "Господи помози" с указанием имени и автографы: "писал имярек" и др.). Но чтение граффити на храмах приводит Медынцеву в однозначному выводу: грамотеи происходили из разных социальных "групп".

Как и в "берестологии", в граффити на храмах отражены разнородные культурные пласты: "Несмотря на официальные запрещения писать на сте-

нах церкви, такие надписи оставлялись не только прихожанами, но и самими церковниками самого различного сана, от епископа до дьячка или пономаря. Очевидно, в представлении жителей средневековой Руси такая запись приравнивалась к молитве, записанной на церковной стене и от этого как бы постоянно действующей" (С. 75). Встречаются хозяйственные и бытовые тексты, но некоторые по своей значимости можно приравнять к летописным (запись о смерти Ярослава Мудрого или сообщение о мире на Желяни в Киевском Софийском соборе). В Новгородской Софии запись о начале строительства храма дополнена тремя именами-автографами художников. В рифмованной насмешке над задремавшим певчим звучит живая разговорная речь. Фольклорная детская песенка-считалка о перепелке, которая "паре в дуброве, постави кашу, постави пироги" (Новгородская София), оказалась связанной с языческой погребальной обрядностью (Т.В. Рождественская). Анонимный моралист обругал автора считалки, дописав ниже: "усохните те руки". Интересны специальные таблички для календарных расчетов в форме так называемой "пасхальной" руки. Следовательно, достаточно сложные календарные вычисления, известные по более поздним источникам, использовали на Руси в домонгольское время. Но все же большинство надписей оставлены людьми из числа церковных служителей, переписчиками рукописей, реже – знатными дружинниками и боярами и прочими людьми. Среди владевших грамотой подвизались "рукотворных дел мастера", украшавшие храмы культовой утварью, ведущие зодчие, художники-монументалисты и иконописцы.

Большинство граффити на стенах храмов связано с христианскими представлениями. Дело в том, что в первые века на Руси новая вера носила исключительно катехизический характер: образованность не выросла здесь, как в Византии, из античной традиции, а всецело связана с христианизирующей миссией. Это отразилось на составе книжности, подавляющая часть которой состояла из произведений духовной литературы. Элементарное образование сводилось к овладению чтением из определенного свода религиозных текстов. Чтение по складам и выучивание наизусть основных молитв и Псалтыри, возможно, исчерпывали содержание формального образования приходских церковнослужителей и наиболее любознательных мирян. По близким и понятным псалмам учились читать, гадали, они входили в повседневный быт. "Псалмы – это вылившаяся, выплеснувшаяся напряженная внутренняя жизнь личности, экстатический прорыв к истине" (Евгений Курганов). Но если догадка А.А. Медынцевой верна, некоторым "плинфотворителям" не было чуждо внутреннее постижение христианских таинств. На плинфе из Успенского собора Киево-Печерской лавры, заложенной в стену храма, упоминается лоза (олицетворение евхаристии и самого Христа). Возможно, плинфу с магическими словами символически приравняли к посаженной в землю лозе, умножавшей плоды христианского учения.

Иного содержания – берестяные грамоты, и автору следовало бы вкратце на них остановиться, так как подобное сравнение разной по духу и назначению русской письменной неофициальной культуры XI–XIII вв. плодотворно. В отличие от памятников эпиграфики практичные новгородцы переписываются друг с другом о сугубо мирских делах: "военные и административные донесения, сведения о ценах на продукты в разных землях, сведения о торговых операциях на Руси, зачастую большого размаха, долговые списки и послания сборщикам податей, судебные тяжбы, вызов на божий суд путем испытания водой, списки приданого невесты, даже интимные любовные послания (80-е гг. XI в.) и т.д. Купеческая республика на Волхове создала особый мир письменный связей, распространенный в широких слоях торгово-ремесленного населения города, а не только среди элитарных слоев общества. Если первые русские памятники эпиграфики пока известны с середины X до 70-х гг. X в. включительно, то они продолжают существовать в течение всего русского средневековья. Автор справедливо констатирует, что книжная письменность начинает широко распространяться по мере развития богослужебной литературы с середины XI в. Не исключено, что "Слово о полку Игореве" и близкие ему произведения XII–XIII вв. принадлежали перу клерикальных авторов, знакомых с дохристианскими поверьями. Теперь "памятники эпиграфики отступают на второй план как источники по истории письма и письменности, но сохраняют первенствующее положение при изучении распространения грамотности, являющейся основой всякого образования, среди различных слоев населения Древней Руси" (С. 263–264). "Наибольшее значение имеют отдельные категории находок: монументальные надписи, владельческие надписи, подписи мастеров" (там же). Разумеется, в труде отмечено неоднородное распространение грамотности в разных половозрастных и социальных группах. Так, если женщины из привилегированной среды подписывали свое имя на шиферных пряслицах и пр., то сельское население, особенно удаленное от городов, было почти безграмотным. Пожалуй, следовало бы подробнее остановиться на просвещенности купцов XI–XIII вв., ведущих коммерческие операции в дальних ("заморских") странах, – "гостей".

Исследователь констатирует рост грамотности на Руси со второй половины XI в. до первой

трети XIII в., когда произошло катастрофическое нашествие. Несмотря на краткость текстов памятников эпиграфики этого времени, они обладают географической и социальной определенностью. "Бытовые" надписи связаны с городами, преимущественно крупными.

В своей новой монографии А.А. Медынцева выступила не только как специалист в области эпиграфики. При современном уровне развития любой науки, где не обойтись без смежных дисциплин, она проявила незаурядную проницательность при анализе разнородных фактов из области археологии, лингвистики, литературоведения, истории культуры, искусствоведения. Ее труд вносит неоценимый вклад в освоение древнерусской письменности.

Институт археологии РАН, Москва

В.П. Даркевич

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 150–153

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ARNIS RADIŅŠ. 10.–13. GADSIMTA SENKAPI LATGALU APDZĪVOTAJĀ TERITORIJĀ UN AUSTRAMLATIJAS ETNISKĀS SOCIĀLĀS UN POLITISKĀS VĒSTURES JAUTĀJUMI. Riga, 1999. 199 pp., 110 att.

Книга посвящена погребальным памятникам латгалов X–XIII вв. На основе их всестороннего анализа характеризуется этническая, социальная и политическая история Латгалии. В письменных источниках латгалы впервые упоминаются в Повести временных лет (летьгола), к XIII–XIV вв. относятся фрагментарные известия о них в Хронике Генриха Латвийского и других документах Ливонского ордена.

Труд А. Радиньша – первое монографическое исследование истории и культуры средневековых латгалов. В основе работы лежат результаты раскопок могильников, выполненных несколькими поколениями исследователей с 30-х годов XIX в. Сосредоточение внимания на погребальных памятниках представляется оправданным, поскольку эти древности являются наиболее исследованными и наиболее информативными объектами для изысканий в области этнической истории. Они позволяют выделить этнографические особенности латгалов, в деталях определить территорию их расселения, решить некоторые вопросы этногенеза и социальной истории.

В первой главе исследования дан обстоятельный историографический обзор раскопочных работ. При этом выделяются три периода. Первый (до 1918 г.) характеризуется первичным накоплением материалов. Более или менее крупные раскопки были проведены на ряде некрополей, наиболее крупными и значимыми среди которых являются изыскания 1890–1892 гг. И.Р. Романова и В.И. Сизова на Лудзенском (Люцинском) могильнике. На втором этапе (1918–1945 гг.) раскопками было охвачено свыше десятка могильников, но большинство их были фрагментарными. Весьма крупные раскопки грунтовых могильников, выполненные на современном уровне, относятся к третьему периоду (после 1945 г.). Число исследованных погребений в ряде некрополей достигло 150–400. Эти раскопки и составили основной источниковый фонд для рецензируемого исследования.

Во второй главе дается всесторонняя характеристика грунтовых могильников – основных погребальных памятников латгалов X–XIII вв. Их к настоящему времени выявлено свыше 200. Раскопки производились на 80 некрополях, в результате открыто около 2000 погребений.

Типично латгальскими были захоронения в подчетырехугольных, реже овальных ямах глубиной 0.3–0.6 м. Умерших клали на спину в вытянутом положении на подстилку из коры деревьев или досок, иногда в колодах или гробах. Характерна диаметрально противоположная ориентация мужских (головой на восток) и женских (головой на запад) погребений. Большой интерес представляют наблюдения исследователя относительно положения рук умерших. Устанавливается, что в X–XI вв. доминирующими были трупоположения с руками, поднятыми к голове, что, по всей вероятности, обусловлено какими-то языческими представлениями латгалов, разгадать которые пока не удается. Реже встречаются захоронения этого времени с поднятой к голове одной рукой и с руками, сложенными в локтях. В XII в. число трупоположений с поднятыми вверх руками заметно уменьшается, а в XIII в. эта обрядность почти полностью исчезает.

В 23 могильниках зафиксированы захоронения по обряду кремации. Обычно они находятся вразброс среди могил с трупоположениями. Число трупосожжений на каждом памятнике невелико (в Нукшинском могильнике – 2.3% из числа раскопанных захоронений; в Эрглу Яунакену – 3.4; в Аглонас и Преку Гугеру – около 5) и в целом не превышает 10%. В большинстве случаев (около 60% исследованных трупосожжений) остатки кремаций, собранные с погребальных костров, помещались в округлые ямы размерами около 0.25 × 0.9–1 м. Остальная часть трупосожжений хоронилась в ямах, идентичных могилам, которые устраивались для трупоположений. В таких ямах обнаруживаются такие же следы настилов из коры или досок, как и при ингумациях. Остатки кремации помещались кучкой, реже рассыпались по всей яме. В ряде случаев удалось подметить, что при размещении кальцинированных костей кучкой соблюдалась противоположная ориентация – остатки мужских погребений помещались у восточного края могильной ямы (в том месте, где находилась голова умершего при захоронениях по обряду ингумации), женских – у западного. Вещевой инвентарь могил с трупосожжениями немногочислен и не отличается от типичного латгальского.

Исследователи латгальских древностей обычно связывали погребения по обряду трупосожжения с представителями иноплеменного населения – лит-

вой, славянами-кривичами или прибалтийскими финнами, которым эта обрядность в языческое время была весьма характерна. Иноплеменники в латгальский этнос оказались включенными в результате или брачных связей, или ассимиляционных процессов. А. Радиньш соглашается с этим только отчасти. Он полагает, что обряд кремации был также характерен для латгальской обрядности. Трупосожжения, в которых форма могильной ямы и ориентация идентичны трупоположениям, по его мнению, принадлежат собственно латгалам. Обряд кремации, по мнению исследователя, применялся для латгалов-воинов, погибших на чужбине, и останки их доставлялись на родину, где и погребались. С этим трудно согласиться, поскольку погребальная обрядность самым теснейшим образом связана с языческими представлениями. Невозможно представить, чтобы мировоззрения латгалов давали вольности в выборе похоронного ритуала. Да и анализ распространения обряда трупосожжения в ареале латгалов свидетельствует в пользу его иноплеменного начала. Так, нельзя не обратить внимания на то, что все без исключения погребения латгалов VII в. совершены по обряду ингумации. Только в VIII–IX вв., когда латгалы заселяют более широкую территорию, в их могильниках, преимущественно на вновь освоенных землях, появляются единичные трупосожжения. Да и позднее, в X–XIII вв., захоронения по обряду кремации (см. карту на рис. 19) сконцентрированы в основном в областях, где латгалы внутрирегионально взаимодействовали с ливами, вендами, кривичами и эстами. Погребения на латгальских грунтовых некрополях по обряду кремации в округлых ямах – явно не латгальский обряд. Их достаточно определенно можно связывать с иноплеменниками. Что касается трупосожжений, совершенных в подчетырехугольных или овальных могильных ямах, то их, на мой взгляд, следует рассматривать как захоронения иноплеменников на стадии ассимиляции их латгалами. Это были уже почти латгалы, но какое-то время сохранялся прежний ритуал кремации.

В третьей главе в качестве полноправных погребальных памятников латгалов рассматриваются курганные могильники. Их на исследуемой территории картографировано 50, среди которых раскопками затронуто 15. Всего исследовано около 200 курганов, но далеко не все на современном уровне.

По своему облику курганные могильники и сами насыпи в них тождественны восточно-славянским некрополям и идентичным памятникам в Северной Курземе, в низовьях Даугавы и на Гауе, принадлежащих, по мнению прибалтийских археологов, ливам, а, согласно моим изысканиям, являющихся памятниками вендов-славян, известных в этих трех регионах по письменным документам (Седов, 1995. С. 179–182).

Описываемые А. Радиньшем курганы имели в основаниях зольно-угольные прослойки, захоронения в них совершались по обряду трупоположения в могильных ямах. Вещевой инвентарь погребенных однотипен с материалами латгальских грунтовых могильников. В этой связи исследователь рассматривает курганы Латгалии как собственно латгальские и утверждает, что латгалам свойственны были обе обрядности – в грунтовых могильниках и в курганах.

С таким заключением согласиться никак нельзя. Анализ курганного обряда на территории Латвии невозможно вести в отрыве от основной территории его распространения. Зарождение обычая сооружать курганные насыпи для захоронений на северо-западе лесной полосы Восточно-европейской равнины относится к V–VI вв. Этот ритуал стал характерным для населения культуры псковских длинных курганов, ареал которой простирается от побережья Псковского озера и бассейна р. Великая – на западе до Чагодощи – на востоке. Это были кривичи – этноплеменное образование, в состав которого на первых порах вошли только что расселившиеся в этих землях славяне, балты и местные финноязычные жители. В результате ассимиляционных процессов основной массив этого населения был славянизирован и вошел в состав древнерусской народности.

Памятники культуры псковских длинных курганов имеются в восточных окраинных районах современной Латвии и их никак нельзя связывать с латгалами. Захоронения в них совершались по обряду трупосожжения и совсем не по латгальскому ритуалу. К сожалению, курганы с захоронениями по обряду кремации последних столетий I тыс. н.э. (длинные и полусферические), по всем параметрам сопоставимые с кривичскими, вообще не получили должного освещения в рецензируемой книге. Судя по раскопкам XIX в., курганы с остатками сожжений есть и в северо-восточных районах Латвии. Целостный анализ курганной обрядности Северо-Запада показывает, что на территории латгалов она зародилась не самостоятельно, а под воздействием соседнего населения. Об этом говорит и распространение курганов преимущественно в восточной части территории, рассматриваемой А. Радиньшем. Это, в частности, ярко демонстрирует карта на рис. 22 – все могильники, насчитывающие свыше 200 курганных насыпей, сконцентрированы на пограничье латгалов с кривичами. Лишь в бассейне Гауи появление курганного обряда в латгальской среде было связано не с кривичами, а стало результатом взаимодействия латгалов с вендами (или ливами). Нельзя не обратить внимание на то, что курганные и грунтовые могильники на латгальской территории сосуществуют раздельно, не сливаясь в общие кладбища. Скорее всего носители культуры псковских длинных курганов расселились на

восточных окраинах современной Латвии прежде латгалов. Первые захоронения в латгальских грунтовых могильниках здесь датируются преимущественно X в., лишь в немногих некрополях имеются погребения VIII–IX вв.

Если курганные захоронения Латгалии можно определенно относить к кривичским поселенцам, то этого нельзя сказать о курганах с трупоположениями в могильных ямах с типично латгальскими инвентарями. Скорее всего такие памятники являются показателем культурной и, очевидно, языковой ассимиляции иноплеменников, попавших в латгальскую среду.

Вопрос о взаимоотношениях бескурганной и курганной обрядности в земле латгалов, по-видимому, нуждается в дополнительных изысканиях.

Представляется крайне неудачным то, что карта распространения могильных памятников на рис. 1 строго ограничена современными государственными границами Латвии, что с историко-археологических позиций оправдать невозможно. За пределами карты остались и латгальские грунтовые могильники и курганы с трупоположениями, сопоставимые с латгальскими. Это несколько затрудняет понимание развития погребальной обрядности на территории латгалов. Целесообразно было бы на всех картах иметь единую нумерацию памятников. На картах (рис. 9 и 22) нумерация могильников вообще отсутствует. Отдельные курганные некрополи на последней карте нанесены неточно и несопоставимы с общей картой на рис. 1 (например, на рис. 22 в низовьях р. Айквиесте обозначены два курганных могильника, которых на общей карте нет; на рис. 1 в низовьях р. Тирза фиксирован один курганный могильник, на рис. 22 их два; в междуречье нижнего течения Дубны и Фейманки на рис. 22 документировано два курганных могильника, отсутствующих на первой карте).

Весьма обстоятельно написана четвертая глава рассматриваемого труда, посвященная погребальным инвентарям. Характеризуются особенности женских, мужских и детских вещевых наборов, бытовые предметы, прослеживаются временные изменения.

В следующем разделе автор демонстрирует языческий характер анализируемых некрополей. Какого-либо влияния христианства в них не проявляется. Только с XIII в. в западных частях Латгалии вблизи административных центров, при костелах возникают христианские кладбища с захоронениями по обряду ингумации с западной ориентацией и с немногочисленными вещами. Основная же масса латгалов продолжала хоронить умерших по языческому обряду. В. Латгалии сложилось двоеверие, которое в сельских местностях сохранялось до конца эпохи средневековья.

В шестой главе рассматриваются вопросы социального и политического развития латгальского общества. Погребальный инвентарь, как утверждает исследователь, содержит информацию об имущественном и социальном положении умерших, но при изучении его необходимо учитывать хронологические факторы и локальные особенности. В округах Ерсике и Кокнесе А. Радиньш выделяет захоронения военно-дружинного сословия, которые характеризуются сочетанием топоров и копий, наличием богато украшенных поясов и других находок. Погребения верхних слоев общества по богатым поясам и комплексу вещей выделяются и в других местах ареала латгалов, по находкам весов и гирек определяются могилы купцов. В том же разделе рассматривается вопрос о соотношении территорий княжеств Ерсика и Кокнесе и округов Талава и Атзеле, известных по письменным источникам с данными археологии. В могильных древностях каких-либо особенностей этих территорий не выявляется. Серьезных оснований для конкретизации предполагаемой земли Латыгола также нет.

Последняя глава посвящена этническим проблемам. В ней утверждается, что становление грунтовых могильников с характерным для латгалов обрядом имело место в V/VI–VII вв. на правобережье Даугавы, в нижнем течении Айвиексте и западнее. В генезисе латгалов при этом участвовали группы земгалов и куршей, погребальными памятниками которых являются курганы с каменными венцами, а также племена центральной Литвы, хоронившие умерших в грунтовых могильниках. Это решение представляется схематичным, поскольку оно покоится в основном на внешних сопоставлениях. Очевидно, проблема становления латгалов нуждается в специальном освещении. Автор пишет о влиянии на этот процесс в VII в. восточных балтов, будто бы переселившихся из Среднего Подвинья, что археологически никак не оправдано. В это время в Полоцком Подвинье и Смоленском Поднепровье была распространена тушемлинская (или тушемлинско-банцеровская) культура и каких-либо ее элементов в ареале латгальских могильников VII в. выявить не удается. Позднее в восточные районы Латвии проникали уже кривичи и следами их инфильтрации являются и курганы, о чем шла речь выше, а также водные названия славянского происхождения, на что обращали внимание лингвисты (Дамбе, 1981. С. 157–162). Нуждается в конкретизации и вопрос об участии в этногенезе латгалов местного финского населения северных районов Латвии. Пока это очевидно лишь на материалах Кивтского могильника.

Монография А. Радиньша ценна прежде всего всесторонним исследованием погребальной обрядности латгалов X–XIII вв. и анализом вещевого материала, т.е. систематизацией источникового фонда. Несомненный интерес представляют наблюдения и выводы автора о социальном раз-

витии латгальского общества и о языческо-христианских взаимоотношениях. Поднятые автором вопросы этноисторического характера дискуссионны, но это никак не влияет на общую высокую оценку исследования, не снижает его научной значимости. Труд А. Радиньша – несомненный вклад в археологию Прибалтики.

Институт археологии РАН, Москва

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дамбе В.М. Славянские следы в латвийской гидронимии и микротопонимии // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.

Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.

В. В. Седов

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 154–162

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КОЛЬЦОВ Л.В., ЖИЛИН М.Г. МЕЗОЛИТ ВОЛГО-ОКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ (ПАМЯТНИКИ БУТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ). М.: Наука, 1999.

Выход в свет рецензируемой публикации[1] показывает, что вялотекущая дискуссия по вопросам Волго-Окского мезолита утратила свой академический характер. Конечно, можно было бы в очередной раз не обращать внимания и на менторский тон, и на непозволительную лексику, и на попытки М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова провозглашать истину в последней инстанции, далекую, кстати, от объективности. Однако в нынешних условиях, когда исследователи не имеют возможности лично ознакомиться с публикуемыми материалами, замалчивать известные мне факты значило бы содействовать распространению ложной информации и фактически покрывать ее. В этой связи я заранее должен извиниться перед читателями за сведения, которые по этическим соображениям не хотел ранее оглашать. В начале–середине 1980-х гг. при подготовке кандидатской диссертации я проработал все доступные материалы, относимые к бутовской культуре. В их числе, благодаря любезному разрешению М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова, я изучал собранные ими коллекции и документацию, при анализе которых столкнулся с фактами, позволяющими обоснованно утверждать написанное выше. В отличие от меня М.Г. Жилин и Л.В. Кольцов знакомы с материалами моих исследований, как, впрочем, и ряда других, лишь по литературе. Перейдем теперь непосредственно к анализу публикации.

Прежде всего отмечу несоответствие названия содержанию: 1) авторы не анализируют данные по всему волго-окскому мезолиту, а ограничиваются публикацией материалов, причисляемых ими к одной из имеющихся в Волго-Окском бассейне культур – бутовской; 2) не менее десятка стоянок располагаются вне пределов Волго-Окского междуречья (С. 92); 3) неправомерно отнесение ряда памятников именно к бутовским. Например, культурная принадлежность Высокино 2 авторам "осталась не ясной" (С. 11), тем не менее ее, как и Култино 3 (С. 19–22), они перечисляют среди бутовских. Отнесение же к бутовским стоянки Гремячее говорит о незнании ими коллекции. Это один из немногих "чистых" памятников аренсбургской культуры (Taute, 1968). Никаких бутовских наконечников в нем нет, а то, что Л.В. Кольцов и технолог М.Г. Жилин принимают за плоскую ретушь на брюшке одного из наконечников (Воеводский, 1941. Табл. II. Рис. 3), – это технологический выкол, возникший из-за применения "жесткого" посредника.

Провозглашенная авторами многочисленность бутовских памятников – это видимость, нужная им, чтобы создать иллюзию массовости стоянок и материала. Реальность такова, что культурная принадлежность больше половины из них из-за невыразительности или сортированности неопределима или, если позволяет судить материал, она не бутовская. В этом списке можно назвать: Настасьино, Красново 1, Култино 1 и 3, Соболево 1, 3, 7, Кошево 2, Жихарево, Дмитровское 2, 3, Пищалкино, Оршу, Скнятино 1–3, Польцо, Лотову Гору, Яндашевскую, Подольское 3, Горшиху, Боровичскую, Гремячее, Турынинские Дворики, Жабынь, Озерну 2, Тростенское городище, Устье, Шильцеву Заводь 5, Беливо 4А, Лягалин Бор, Велетьминское 9, Угольново 1, 3, Утрех 5, Ивановское 3 и 7, Берендеево 3 и другие стоянки (Сорокин, 1990).

Если оставаться в рамках научной дискуссии, то суть наших разногласий заключается в подходе к источнику и методу работы с ним. Я считаю, что весь материал должен подвергаться источниковедческой критике, а для решения культурологических вопросов должны использоваться лишь достоверные и надежные коллекции (Сорокин, 1990; 2000а; Кравцов, Сорокин, 1991) Кредо М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова заключается "во введении в науку *любых новых*[2] материалов" (С. 5). Удивляют оба процитированных эпитета. Если новыми считать материалы Елина Бора, собранные Л.В. Кольцовым в 1959 и 1961 гг., Заборовья 2 – в 1965 и 1968 гг., Пищалкино – в 1957, 1965, 1969 гг., Кошево 2 – в 1975 и 1977 гг. или Соболево 5 – в 1970–1972 гг., то что же тогда относить к старым? Впрочем, анализ текста показывает, что ряд описываемых материалов не просто нов для авторов, но многие из них они вообще не видели. Чем, как не этим, можно объяснить, почему Л.В. Кольцов (1989. Табл. 40, 9), а теперь и М.Г. Жилин, называют неправильную пластину с нерегулярной ретушью из Алтыново "клинком типа перочинного но-

[1] Этот термин отражает специфику издания, так как назвать монографией плод усилий двух авторов, не посвященный одной теме, было бы нарушением норм русского языка.

[2] Курсив здесь и далее мой. – *А.С.*

жа" (С. 74, 75, 90) или наконечники стоянки Гремячее – постсвидерскими. Не могу согласиться и с эпитетом "любые", ибо каждая публикация ценна не количеством, а качеством и достоверностью изложенных в ней сведений. К сожалению, именно их-то и нет в рецензируемом издании. Отсутствие точного числа изделий определяет не просто несопоставимость коллекций, но и их полную непригодность для научного анализа. Перечисление ребристых сколов с пластинами и пластин вместе с орудиями на пластинах – это не только смещение понятий разного таксономического ранга (С. 13–18, 21, 25–27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 49, 52), но и элементарная неграмотность. В качестве заготовок для орудий указываются лишь пластины и изредка отщепы, прочие заготовки не отмечаются, но они ничуть не меньший показатель техники и культурной специфики. Резцовые отщепы перечисляются вместе с резцами (С. 14, 21), краевой скол скребка вместе со скребками (С. 26), но это отходы производства, а не орудия. Для всех памятников искажены сведения по пластинам, сколам подживления и резцовым сколам. В любой несортированной коллекции технологические снятия всегда численно превышают нуклеусы, а число резцовых отщепков сопоставимо с числом резцов. По-другому быть не может. Малочисленность этих предметов в коллекциях, добытых М.Г. Жилиным и Л.В. Кольцовым, красноречиво говорит об уровне полевой методики и квалификации их исследователей.

Для проверки данных рецензируемой работы достаточно обратиться к изложенным в ней наиболее выразительным материалам – Заборовью 2, Соболево 5, Елину Бору и Култино 1. На этих стоянках, кроме Култино 1, было более одного раскопа, но материал описан суммарно. Зато мое описание верхнего слоя Истока 1 по отдельным комплексам (Сорокин, 1990. С. 72–82) авторы преподносят как "ухудшение качества источника" (С. 57) и в целях его улучшения ими он "анализируется как единое целое" (С. 57). Этот упрек был бы правомерен, но они не заметили, что сразу после описания по комплексам я привожу и суммарное описание материалов (Сорокин, 1990. С. 82–84). Такой подход в отличие от предлагаемого М.Г. Жилиным и Л.В. Кольцовым делает проверяемыми и достоверными выводы. Обращу внимание и на другое: сравнение данных М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова с опубликованными мной показывает, что ими искажены все цифры, кроме числа наконечников и косых острий (С. 58–61). Подобному же "улучшению" подверглись и все другие исследованные мной стоянки, включая Микулино (С. 58–61, 64), хотя тут был один раскоп и было достаточно просто переписать данные из моих работ (Сорокин, 1981; 1990).

При описании Елина Бора авторы тоже попытались "улучшить" материалы (С. 45, 46), но, судя по отсутствию общего числа изделий, эта процедура успехом не увенчалась. Они пишут: "*Количество отщепов и пластин...*, которое можно уверенно отнести к среднему слою, *точному определению не поддается*. Вероятно, к нему относится подавляющее большинство этих изделий. *Т.о., перед нами типичный комплекс поздних этапов* (? – *А.С.*) *бутовской культуры...*" (С. 46). Логика потрясающая, но заключение не соответствует действительности: в материалах Л.В. Кольцова 1959 и 1961 гг. насчитывается 8160 предметов. Из текста видно, что и менее внушительные цифры плохо поддаются авторам. Характеризуя Култино 3, они пишут: "Всего найдено... около 3600 изделий..." (С. 23), а складывая число пластин, среди которых "неправильных 171, правильных 97, ребристых 13", получают в сумме 282 (С. 13). Стоит ли после этого удивляться, что в Елином Бору М.Г. Жилин и Л.В. Кольцов насчитали всего 351 орудие. Если бы они перед тем, как опубликовать, действительно ознакомились с материалами стоянки, то знали бы, что коллекция, собранная Л.В. Кольцовым, включает 823 орудия. Стоит ли говорить о том, что сведения, приводимые в публикации, абсолютно не сходятся с реальными?

Впрочем, Елин заслуживает упоминания не из-за арифметики. В отчетах 1959 и 1961 гг. Л.В. Кольцов говорит о стоянке как о трехслойной и в МИА № 126 публикует материалы среднего и нижнего слоев (Кольцов, 1966). По Л.В. Кольцову, нижний слой представлен 18 орудиями, среди которых присутствует и единственный наконечник (Кольцов, 1966; 1989. Табл. 40, *13*). Между тем этот же наконечник в его полевом отчете[3] приведен среди материалов среднего слоя, а в полевую опись занесен как подъемный материал. Кстати, номера всех остальных 17 орудий тоже не сходятся с так называемыми находками нижнего слоя, поскольку их разноска по "слоям" в описи была выполнена значительно позднее, чем коллекция была передана на хранение в Суздаль. Все эти странности могли быть случайностью, но и отчет, и статья, и опись, и карандашные приписки в ней написаны одним автором – Л.В. Кольцовым. Поэтому совершенно очевидно, что никакого нижнего, как, впрочем, и среднего слоя на стоянке нет, она однослойная, хотя и содержит небольшую позднюю примесь. "Многослойный" памятник понадобился Л.В. Кольцову к защите кандидатской диссертации, а материалов для периодизации Волго-Окского мезолита не хватало[4]. Если бы Л.В. Кольцов хоть раз после 1959 г. держал в руках так на-

[3] Архив ИА РАН. Р–1. № 2000. Рис. 10, *1*.

[4] Многослойность стоянки не подтверждает и ее шурфовка в 1987 г. М.Г. Жилиным (Архив ИА РАН. Р–1. № 12522). Нельзя по этому отчету узнать, откуда была взята и палинологическая колонка, якобы давшая атлантическую дату для среднего и дриасовую для нижнего слоев (С. 56). Это тоже пример "улучшения источника".

зываемый наконечник из нижнего слоя, а заодно посмотрел бы и М.Г. Жилин, им стало бы понятно, что этот предмет с нерегулярной ретушью, изготовленный из ребристого отщепа, относится к той самой поздней примеси, которая присутствует на стоянке. Таким образом, нет и никакой елиноборской культуры, потребность в которой возникла у Л.В. Кольцова при подготовке докторской диссертации.

Не соответствуют действительности и данные по Култино 1, Соболево 5, Заборовью 2 и другим крупным собраниям. Стоит ли тогда удивляться тем бесчисленным ошибкам (назовем это так), которые встречаются в тексте? Например, о Суконцево 7 они пишут: "Памятник раскапывался в 1984–1986 гг. А.Н. Сорокиным" (С. 11). Неверно, Суконцево 7 в 1986 г. я не копал. Альба 2 названа ими рессетинской стоянкой (С. 74), хотя несколько отщепов, найденных там, недостаточны для атрибуции (Трусов, 1980). Фраза: "нижние слои стоянок Золоторучье 1 и Алтыново, Заозерье" (С. 90) не соответствует реальности, так как Заозерье – это подъемный материал. Не соответствует действительности утверждение, что "материалы Красной 3 не опубликованы" (С. 44) (См.: Смирнов, Сорокин, 1988). Нет нужды продолжать эти примеры, чтобы понять технологию "улучшения источников" и сделать вывод о полной источниковедческой несостоятельности издания как публикации. Но было бы неприлично не привести двух выражений М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова, адекватно отражающих написанное ими: "обнаруженные изделия характеризуют стоянки с различной степенью приближения к действительной картине" (С. 57) и "оперировать полученными данными следует с определенными допущениями, поскольку... слишком велика погрешность их применения" (С. 57, 62).

Теперь о типологии. В типологическом списке (С. 62) можно прочесть: "2 – нуклеусы подконические и конические, 3 – нуклеусы одноплощадочные подконические и конические". Вводя такое деление, авторы, вероятно, полагают, что подконические и конические нуклеусы бывают двух- или многоплощадочные. Читаем дальше: "51 – овальные топоры и тесла оббитые; 51 – подпрямоугольные топоры и тесла оббитые; 53 – подтреугольные топоры и тесла оббитые" (С. 62). "Тип 39 – *один настоящий* микрорезец, *другой с полувыемками* на обоих краях" (С. 62). Они даже упоминают о специальной технике производства псевдомикрорезцов (С. 24), а "*полувыемки*" считают их главной принадлежностью (С. 19, 24, 63). Беда в том, что это не техника, а производственный брак (Нужний, 1992), поэтому бессмысленно говорить и о "связи бутовской культуры со свидерской" (С. 74) по данному признаку, но об этом ниже. "Тип 42 – наконечник по форме аренсбургский, но с плоской подтеской на брюшке" (С. 62). До этого "открытия" главным признаком аренсбургских наконечников было отсутствие плоской подтески на брюшке (Taute, 1968). Стоит ли тогда удивляться утверждению, что "в Тихоново встречены только очень ранние наконечники стрел – свидерские и *аренсбургский*" (С. 55). Вероятно, авторы не знают, что заготовки для свидерских наконечников снимались с двуплощадочных челновидных нуклеусов, поэтому на их спинках присутствуют негативы встречного скалывания, чего нет ни на одном из наконечников стоянки Тихоново, заготовки для которых снимались с конических нуклеусов. Следовательно, эти наконечники не свидерские. Такой же натяжной является и интерпретация *двух* невыразительных обломков в качестве аренсбургских наконечников.

Не буду говорить о других типологических "открытиях". Мало того, что типологический список (С. 62) объединяет изделия разного таксономического ранга (заготовки, отходы производства, технологические сколы, орудия, обломки) и уже в силу этого бессмыслен, но при таком подходе к систематике он блестяще подтверждает вывод, что "в бутовской культуре нет ни одного общего для нее типа изделий" (Сорокин, 1990). Впрочем, исключение все же есть – тип 20, резцы на сломе заготовки (С. 58–61), но ничего так не подтверждает правил, как исключения, ибо никакой "культурной" спецификой этот тип не обладает.

Еще Ф. Борд писал, что 100 морфологических орудий – необходимый минимум, чтобы обходиться без статистических методов. В случае, если число орудий меньше, их использование обязательно. Именно статистика малых чисел позволяет говорить о значимости единичных признаков, а фактически – об обоснованности выводов (Федоров-Давыдов, 1977). Поэтому даже свое незнание статистических методов нужно признавать деликатно (С. 62), а не попрекать тех, кто для объективности применяет эти методы (С. 71). Когда они пишут: "В нижнем слое *Алтынова* найдено единственное острие типа клинка перочинного ножа..., что позволяет связывать этот памятник с кругом культур типа федермессер" (С. 90), беда не в том, что по одному предмету определяется культурная принадлежность материала, которого они не видели, а в том, что они не отличают случайный предмет от орудия. Так и создается древняя история, конкиста, сегментация, диалектика и т.д., и т.п. Необходимость "изобретения" острия типа клинка перочинного ножа в Алтыново объясняется прозаически: в начале–середине 1970 гг. Л.В. Кольцов активно готовит материалы к докторской диссертации по Волго-Окскому мезолиту, а их катастрофически не хватает. Так жертвой становятся вещи, отдельные памятники и целые культуры. Опыт к тому времени уже имелся: при подготовке кандидатской диссертации им были "улучшены" материалы Елина Бора, Коприно, даты Дмитровской 1 и Скнятино. Для докторской диссертации

была изобретена единоборская культура, перекрывание бутовскими наконечниками иеневских в Старо-Константиновской 4 и Тихоново, финально-мезолитические даты иеневских стоянок, три жилища в Соболево 5 и т.д. Но докторская диссертация была "защищена" по чужим публикациям и вроде бы надобность во всем этом отпала. Тем не менее великая сила инерции не дает выбраться из "колеи".

Недалеко ушел и лучший его ученик М.Г. Жилин, изучавший трасологию по не вымытым полностью коллекциям и "улучшивший" в 1996 г. отчет по программе "Наследие", сообщив в нем данные о раскопках не за отчетный год, а выполненные двумя годами ранее.

Чтобы отвлечься от минорного тона, приведу несколько примеров могучего русского языка, которым изобилует публикация. Прежде всего поражает глубина и логика высказываний. "Происходившие в северном полушарии 15–10 тыс. лет назад *изменения в природе* оказались необыкновенно серьезными для первобытного человека, поскольку *повлекли* за собой *значительную перемену* прежде всего *в характере окружающей* его *природной обстановки*..." (С. 5); "*...наряду с хорошей способностью к адаптации* к новым природным условиям... в культурах постсвидерского круга *проявляется диалектическая противоположность последней*"[5] (С. 6); "Один из авторов данной книги... датировал стоянку Бутово началом бореального времени... Появившиеся в последнее время радиокарбоновая и пыльцевая даты подтвердили... эту датировку, определив *время даты* существования стоянки концом пребореала" (С. 54); "...трапеции были *заимствованы бутовским населением еще на ранних этапах его развития*" (С. 71); "М.Г. Жилин изучал технику..., что дало ему возможность говорить о *прогрессировании* в течение развития культуры *технологии расщепления вторичной обработки* кремня..." (С. 9); "В *своей... посмертной работе...* он ставит вопрос о существовании в регионе особой мезолитической культуры" (С. 9); "Население бутовской культуры *внесло свой вклад* в развитие этноса свидерской традиции. *С его помощью* указанный *этнос заселил* такие территории, как Волго-Окское междуречье, Валдайская возвышенность, часть Карелии..." (С. 91).

Не менее весом вклад авторов и в естественнонаучные дисциплины: "*Определены кости* следующих *животных*: лось (445), бобр (225)..., мыши (5), птицы (1243), *рыбы* (518, *не считая чешуи*)" (С. 88); "...мыши (14), птицы (45), *рыбы* (149). *Перечисленная фауна типична для таежных* и *подтаежных лесов* конца пребореала" (С. 85); "...это были разной степени сомкнутости таежные сосново-березовые леса в сочетании с болотами" (С. 84). А утверждение: "Радиокарбоновый анализ... дает сразу краткую временную характеристику. Однако *в нем часто бывают уклонения от истинного возраста...*" (С. 54), как и обвинение меня в метафизике (С. 71), расценить иначе, чем рецидив "лысенковщины", не могу.

Велик вклад М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова в археологическую теорию и реконструкцию. Можно прочесть буквально следующее: "группа аренсбургского населения... расселяется в верховьях Волги, где, по-видимому, существовал "*культурный вакуум*", *поскольку эти районы только освободились от ледника*" (С. 90) или "...развитие материальной культуры данного *археологического подразделения* (культурной общности, культуры, *культурной группы*)" (С. 71); "*...другие же культурные проявления* без керамики относятся им к неолиту" (С. 9). "Яма № 1... Заполнение аналогично заполнению... ямы № 4, но, кроме того, здесь *найдены кусочки охры*... Назначение ям не совсем ясно. ...Можно предположить, что *ямы № 1 и 4 были мусорными*" (С. 13). "Поверхность... подвергалась распашке, которая, однако, не полностью разрушила *культурный горизонт*" (С. 17). "...5) Песок светлый оглеенный с ортзандами (материк)... Основная масса находок *привязана* к погребенной почве, хотя они были... также в самой верхней части слоя 5" (С. 12). Простите, а на каком основании слой 5 – материк?

Теперь о "синтетической" (С. 9) – по терминологии авторов – части публикации. В параграфе "Периодизация бутовской культуры", который дается после характеристики инвентаря, уже описанного по этапам, присутствует смесь из таких понятий, как "ранняя и поздняя" бутовская культуры (С. 63), "...особенно на поздних и финальных этапах" (С. 63); "...стоянок средних и поздних этапов" (С. 63–65); "Стоянки Озерки 5 и Окаемово 4 относятся к последнему этапу бутовской культуры" (С. 67, 68). Однако никаких данных для такого обилия бутовских культур и этапов нет. Кроме необъяснимой тяги Л.В. Кольцова к четырехчленности эта периодизация подтверждает весьма поверхностное знание материалов обоими авторами. Мало того, что она строится на единичных признаках, но даже они в ряде случаев даны неверно. Так, первый этап представлен единственным памятником – Тихоново и, значит, это не этап. "К следующему этапу отнесены памятники типа *Бутова*... несколько более ранние... и... несколько более поздние" (С. 72), на которых "среди наконечников начинают преобладать постсвидерские формы" и "в ряде комплексов есть наконечники, аналогичные пуллийским" (С. 72). Оба эти утверждения неверны, ибо свидерских наконечников в бутовской культуре нет ни в одном из памятников, а так называемые "пуллийские" – это всего три наконечника из Бутово и Прислона, причем "чистота" обоих памятников не доказана.

[5] Стиль авторов во всех цитатах сохранен полностью. – *А.С.*

На "следующем этапе... нет прямоугольников, пластин с затупленным краем и концом, исчезают свидерская и пуллийская технологические традиции" (С. 72). Эти утверждения также неверны, потому что прямоугольники единичны, не образуют серий и уже в силу этого не могут являться весомым "репером", а микролиты с затупленным краем и концом имеются в Борисово 1, т.е. никуда не исчезают. Постсвидерские наконечники сохраняются и на так называемом четвертом этапе, а о "пуллийской традиции", как отмечалось, всерьез говорить не приходится. И, наконец, утверждение "на последнем этапе... отсутствуют геометрические микролиты" (С. 72) лишено смысла, так как прямоугольник есть в сборах П.П. Кудрявцева из Елина Бора. Причем эта коллекция использована в публикации и, следовательно, они должны ее знать. Лучше всего о собственной периодизации сказали сами авторы: "Периодизация, построенная археологами, – в известном смысле искусственное сооружение, которое может не отражать действительного хода исторического процесса" (С. 71). И добавить тут, пожалуй, нечего.

Несколько слов о сложении бутовской культуры. Практически это повтор написанного Л.В. Кольцовым в 1970–1980-х гг., добавился лишь соавтор и в качестве "источника" бутовской культуры стала выступать стоянка Саласпилс-Лаукскола. Аргументация Л.В. Кольцова была мною подробно разобрана (Сорокин, 1989; 1990) и нет особой нужды ее повторять, но кое о чем следует все же упомянуть.

1. В качестве заготовок для каменных орудий во все времена использовались главным образом отщепы и пластины, поэтому выводить родство бутовских и свидерских памятников из того, что в них присутствует пластинчатая техника (С. 73), значит не сказать ничего. Но вот техника получения пластин в этих культурах разная. В свидерской культуре – это торцевое расщепление челновидных нуклеусов, поэтому пластинчатые заготовки на спинках имеют негативы встречного скалывания, а в бутовской – круговое раскалывание конических и призматических ядрищ, при котором спинка заготовки имеет, как правило, огранку в одном направлении. Благодаря этому легко различить, например, свидерские и так называемые постсвидерские наконечники. В пользу родства этих культур могло бы свидетельствовать не столько, как пишут авторы, спорадическое появление в свидерских стоянках "двухплощадочных призматических и переходных от них к коническим ядрищ" (С. 73), сколько эпизодическое сохранение в ранних бутовских материалах "двуплощадочных призматических с одной плоскостью скалывания" – по терминологии авторов, или, говоря общепринятым языком, челновидных ядрищ. Однако ни в одном из так называемых ранних – по М.Г. Жилину и Л.В. Кольцову – памятников (Тихоново, Бутово, Прислон, Микулино, Лотова Гора, Петрушино, Задне-Пилево 1, 2, Заборовье 2, Култино 4, Соболево 5, Пекуново и др.) нет ни одного подобного изделия, что очень странно при их гипотетическом родстве.

2. Что касается "повторения форм бутовских скребков и резцов сведерских и аренсбургских" (С. 73), они точно так же повторяют и мадленские, и граветские, и любые другие верхнепалеолитические и мезолитические скребки и резцы, потому что не имеют культурной специфики. А вот говорить о наличии в бутовских материалах свидерских и аренсбургских наконечников (С. 73) неправильно, потому что ни тех ни других в них нет.

3. Относительно происхождения бутовской культуры из индустрии Саласпилс-Лаукскола. В отличие от научно-популярной, художественной, публицистической и бульварной литературы в научной литературе принято ссылаться на цитируемое издание. Это обеспечивает корректность самих цитат, делает проверяемыми иллюстрируемые ими выводы и служит знаком уважения к источнику информации. В публикации Л.В. Кольцова и М.Г. Жилина неоднократно упоминаются материалы этого памятника, с которым они связывают и "сложение бутовской культуры" и другие рассуждения (С. 58–62, 73–75), однако ссылка на публикацию И.А. Загорской отсутствует. Это не только подчеркивает их стиль работы, но и красноречиво свидетельствует о степени "доказательности" выводов.

Не соответствует действительности утверждение авторов, что "эту стоянку и бутовские роднит присутствие псевдомикрорезцов" (С. 74). Возможно, они и есть в Саласпилс-Лаукскола (по данным авторов их 3 экз.), но они единичны в бутовских стоянках и представлены не в самых ранних из них (С. 60). Кроме того, псевдомикрорезцы в Саласпилс-Лаукскола в отличие от бутовских имели две краевые выемки и использовались – по данным Л.В. Кольцова и М.Г. Жилина – для изготовления наконечников стрел (С. 24). Хорошо известно, что такого приема нет в свидерской культуре, напротив, он характерен для аренсбургской культуры, что не позволяет считать "чистым" свидерским и названный памятник.

Далее они пишут, что в бутовских памятниках "встречаются ланцетовидные острия (по устному сообщению И.А. Загорской такие острия есть и в некоторых скоплениях Саласпилс-Лауксколы)" (С. 74, 75). Не буду акцентировать, чего стоит ссылка на устное сообщение, если и печатная информация постоянно искажается авторами, как и тот факт, что эта ссылка бросает негативный свет на качество публикации, которая служит для них основным источником информации, отмечу лишь случайность этой формы, если она вообще при-

сутствует на памятнике. Массовую категорию изделий упустить из виду нельзя.

Не следует авторам изобретать и микролиты с затупленным краем в свидерской культуре, в "чистых" комплексах их нет (Зализняк, 1989; 1995), а ссылка на микролиты с затупленным краем в Березно 10 (С. 75) – совсем неудачна. Единственный такой предмет найден в Березно 6, а не в Березно 10 (Зализняк, 1989. С. 50–54. Рис. 30, *10*), причем Л.Л. Зализняк в тексте указывает, что микропластинка "встречена с зубом мамонта" и что она "типологически чужда свидерскому комплексу" (Зализняк, 1989. С. 50). Таким образом, совершенно очевидно, что никаких доказательств происхождения бутовской культуры от свидерской как не было, так и нет.

Несколько слов о возрасте рессетинской культуры. Данных по этому вопросу пока еще крайне мало, тем не менее я не могу согласиться с выводами, предлагаемыми М.Г. Жилиным и Л.В. Кольцовым. Дата Култино 3, приводимая ими, не убедительна, во-первых, потому, что она одна, во-вторых, потому, что стоянка располагается на высокой пойме и периодически затапливается, т.е. образец может быть омоложен или случаен, в-третьих, – из-за облика коллекции. Эта коллекция имеет рессетинские и бутовские признаки. Поскольку единство материалов не доказано, неясно, к чему относится и сама дата.

Говоря о соотношении этих культур, не буду акцентировать внимание на стратиграфических данных, полученных на торфяниковых стоянках бассейна р. Дубна и свидетельствующих о предшествовании рессетинских материалов бутовским (Сидоров, Сорокин, 1997; 1998). Но не могу не обратить внимания на замалчивание М.Г. Жилиным и Л.В. Кольцовым пребореальной даты нижнего слоя стоянки Усть-Тудовка 4, полученной еще в 1984 г. и опубликованной лишь в 1999 г. (Jilin, Koltsov, 1999). На этом памятнике присутствуют пережиточные рессетинские формы изделий, поэтому дата никак не укладывалась в концепцию авторов и была "временно забыта".

Что касается возраста рессетинских стоянок в окрестностях Суконцево, здесь прежде всего важна геоморфология отложений. В Суконцево 9 и 10 находки залегают в галечнике второй левобережной террасы Волги, т.е. во флювиогляциальных отложениях плейстоценового возраста, поэтому утверждение, что они "датируются не ранее рубежа пребореал/бореал" (С. 74). – это очередное "улучшение источника". Не хочется говорить о моральной стороне того, что Л.В. Кольцов в 1986 г. без моего согласия и уведомления раскапывал открытую и исследованную мной в 1985 г. стоянку Суконцево 9. Отмечу лишь одно обстоятельство, говорящее о его полевой квалификации. В 1984 г. при оборудовании экспедиционного лагеря и рытье мусорной ямы в углу незасыпанного раскопа стоянки Хрипелево 2, выкопанного А.В. Мирецким под научным руководством Л.В. Кольцова, было установлено, что ими за материк был принят слой галечника, подстилающий супесь с находками. Однако в этом галечнике тоже залегали находки, т.е. памятник не однослойный. Мощность верхнего культурного слоя составляет около 40 см (Мирецкий, 1984). Мощность галечника с нижним культурным слоем равна 95 см. Поэтому я не могу исключить, что принятое Л.В. Кольцовым за шлейф[6] стоянки Суконцево 9 (С. 74) на самом деле является отдельным памятником, приуроченным к останцу погребенной первой террасы левого берега Волги[7]. Таким образом палинологическая колонка, если она бралась, может отражать возраст этого "пойменного" памятника, а не Суконцево 9. Если то, что раскопано (? – *А.С.*) Л.В. Кольцовым, действительно шлейф, то фактически могло быть определено время переотложения материала в пойму, не обязательно совпадающее со временем функционирования стоянки Суконцево 9. Во всяком случае на расположенной неподалеку бутовской стоянке Суконцево 7, приуроченной к выраженному здесь участку первой террасы, шлейф которой "запирает" горло рукава Волги (что косвенно подтверждает и более ранний, а не более поздний, как утверждают авторы, возраст расположенных ниже стоянок рессетинской культуры Суконцево 8–11), четко зафиксированы два момента переотложения в пойму археологического материала: нижний синхронен слою стоянки (даты 9650 ± 100, ЛЕ 3015, 9220 ± 50, ГИН 3902), верхний отложился после того, как стоянка перестала функционировать (даты 8900 ± 100, ГИН 4734 и 8710 ± 150, ГИН 4733). Стратиграфическое положение всех дат, относящихся к верхнему и нижнему шлейфам, зафиксировано в лабораториях, проводивших анализы, и прекрасно известно и Л.В. Кольцову, и М.Г. Жилину, неоднократно присутствовавшим на моих раскопах Суконцево 7 в 1984 и 1985 гг. и в момент взятия самих образцов. Таким образом, авторы в очередной раз солгали о своем неведении этого обстоятельства (С. 54, 74). Следовательно, названные факты говорят о предшествовании рессетинской культуры бутовской.

Теперь о памятниках типа Красново 1, которые М.Г. Жилин и Л.В. Кольцов считают "специализированными охотничьими лагерями бутовской культуры" (С. 78, 79). Памятники этого типа, как я уже писал, выделены и названы по наименее выразительной коллекции (Сорокин, 1990), тогда как наиболее представительным из них является

[6] В отчете Л.В. Кольцова (Архив ИА РАН. Р–1. № 11750) отсутствуют сведения о шурфе в пойме.

[7] На этом месте четко обозначен лишь уступ второй террасы, а более молодые формы скрыты старичными отложениями.

Култино 1. Реальность, однако, такова, что по всем показателям Култино 1 расходится со всеми выразительными бутовскими стоянками. Дело даже не в том, что авторы считают ее специализированным охотничьим лагерем, хотя интерпретировать в качестве "kill-site" материал, который в количественном отношении превосходит любую из базовых бутовских стоянок, неверно, а в том, что и при такой трактовке остается фактом отсутствие в Култино 1 типичного бутовского охотничьего вооружения – постсвидерских наконечников стрел и микролитов с затупленным краем. В качестве наконечников в Култино 1 использовались скошенные острия. Не косые, как в бутовской, а скошенные, с углом заострения <60°. Именно обилие скошенных острий в Култино 1, не считая абсолютного совпадения форм обрабатывающих орудий, и позволяет отождествлять эту стоянку с материалами камской культуры. Очевидно и другое: Култино 1 дает полный типологический поселенческий набор, включая резцы, скребки, ножи, сверла, скобели и даже рубящие орудия, поэтому это тоже базовая стоянка. Все названные различия не являются случайными по той простой причине, что изделий в Култино 1 больше, чем во всех вместе взятых представительных бутовских базовых стоянках (Соболево 5, Елин Бор, Заборовье 2, Петрушино, Микулино, Задне-Пилево 1 и др.). Следовательно, и Култино 1, и другие памятники типа Красново 1, раз в них нет традиционного для бутовской культуры охотничьего вооружения, не имеют к ней отношения. Можно отметить интересную деталь: среди памятников, которые включены в "новую периодизацию", нет ни одного, причисляемого Л.В. Кольцовым и М.Г. Жилиным к типу Красново 1. Их своеобразие настолько велико, что даже у авторов не хватает решимости отнести любой из этих памятников к конкретному этапу "бутовской периодизации".

Для того чтобы доказать бутовскую принадлежность памятников типа Красново 1, М.Г. Жилин и Л.В. Кольцов опять "улучшают" источник. Они пишут: "наконечники стрел на пластинах есть и на трех стоянках типа Красново 1: Соболево 3 – 4, Пищалкино – 2, Велетьминская 9 – 1". (С. 66). На самом деле единственный из перечисленных памятников, который может быть отнесен к типу Красново 1, – это Велетьминское 9, но никаких достоверных постсвидерских наконечников в нем нет, а типологические особенности Соболево 3 и Пищалкино вызваны не типом памятников, как полагают авторы, а сортировкой обеих коллекций. И в Соболево 3 (С. 36, 37), и в Пищалкино (С. 25) число пластин значительно превышает все прочие вместе взятые изделия, чего нет ни в одной полноценной волго-окской коллекции. Любая сортированная коллекция отражает лишь представление конкретного исследователя о материале и его квалификацию, но не тот реальный комплекс, который был некогда оставлен. Вот почему интерпретация М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова этих стоянок в качестве охотничьих лагерей – фикция.

Невыразительный обломок в Велетьминской 9 (С. 124. Рис. 33, 50), даже если его признать за фрагмент постсвидерского наконечника, не может быть весомым аргументом в силу: а) его единичности, б) способности наконечников летать и высокой вероятности их случайного попадания в любой комплекс, в) невозможности расчленения материалов разных типов памятников (например, охотничьего лагеря и стоянки) в случае их планиграфического совпадения. Процесс смешения археологического материала при планиграфическом совпадении разнородных материалов объективен и происходит без вмешательства человека (Сорокин, 2000а,б). Это повышает требования к исследователю, ведь мы в ходе полевых исследований фактически формируем источник, поэтому обязаны делать это добросовестно, а не строить очередную пирамиду из одного недостоверного предмета.

Примером специализированной охотничьей стоянки бутовской культуры служит Задне-Пилево 2 (Сорокин, 1990). С этим (без ссылки на меня) соглашаются авторы (С. 72), но никакого отношения Задне-Пилево 2 к памятникам типа Красново 1, как они утверждают, не имеет.

Что касается бутовско-иеневского взаимодействия, как и вообще контактов населения в мезолите, эта проблема подробно освещена в двух недавно вышедших моих работах (Сорокин, 2000а,б). Основной их вывод: никаких бесспорных данных о бутовско-иеневском взаимодействии в настоящее время нет, а заключение об их контактах сделано на недостоверных источниках. Напротив, М.Г. Жилин и Л.В. Кольцов всерьез полагают, что "...лезвие шлифованного тесла в Сельце 3 говорит о влиянии бутовской культуры на иеневскую" (С. 66), а картина взаимоотношений в мезолите, которую они рисуют, – это эпическое полотно с батальными элементами. "Бутовская культура... существовала в раннем голоцене, *захватывая вторую половину* пребореального, весь бореальный и начало атлантического *периода*..." (С. 84); "На *поздних ступенях развития* бутовская культура *захватывает* нижнее течение Оки..." (С. 91); "исследуемая культура входит в круг постсвидерских мезолитических культур, который *захватывает* значительную часть северной половины Европы" (С. 77). "Бутовская культура *существовала в окружении* сосуществующих с ней мезолитических культур" (С. 76); "...следует признать *мощные контакты* на этой ступени кундской и бутовской культур..." (С. 91); "Постсвидерское население в Верхнем Поволжье и Поочье *столкнулось с потомками* насельников Усть-Тудовки – иеневской культурой" (С. 90); "...с усть-

Камской культурой у "бутовцев" не было никаких контактов" (С. 78); "сухонская *культура* или *отделилась* от бутовской *на поздних ступенях развития последней или находилась с ней в постоянной и прочной связи*, как с родственной группой населения" (С. 78) и т. д., и т. п. Чем же объясняется промискуитет или его отсутствие? Ответ авторов несколько туманен: "в этой миграции... участвовало население не только бутовской культуры, но и родственной ей валдайской культуры и, возможно, других культур или механизм возникновения подобных памятников был более сложным, чем просто миграция" (С. 77). Увы, авторы действительно не видят, что генезис синкретизма весьма прост – это элементарное механическое смешение разнокультурных материалов, причем Л.В. Кольцов, сам того не подозревая, однажды уже описал этот "механизм". Выявленная им "закономерность сложения мезолитических культур Северной Европы" (Кольцов, 1979) и есть процедура образования смешанных материалов, а никак не археологических культур.

Следует, однако, отметить и известный сдвиг по сравнению с ранними произведениями Л.В. Кольцова: в рецензируемой публикации конкиста и реконкиста заменены термином "сегментация". По-русски проще было бы назвать деление. Этот процесс известен из материалов античности, но было ли чему делиться в мезолите? Такой вопрос у М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова даже не возникает. А зря, ведь теоретическая вероятность еще не означает реальности процесса. Но как эпически все описано. Мало того, что "сегментация" происходит волнами, оказывается, "...*третья волна*, в отличие от первых двух, *была*, видимо, *не очень мощной и не оказала* существенного *влияния* на *развитие* последующих *культур*..." (С. 91).

Чтобы оценить достоверность "исторических" реконструкций авторов, обращусь к несложным арифметическим расчетам. Поскольку бутовская культура, по М.Г. Жилину и Л.В. Кольцову, существовала не менее 2.2 тыс. лет и к ней они отнесли 75 стоянок, то длительность обитания на каждом памятнике должна составлять ~29 лет, с чем абсолютно нельзя согласиться. Допустим, что число памятников занижено в 10 раз и их было 750, хотя столько не составляет весь массив данных по мезолитическим стоянкам Центральной России. Тогда длительность обитания равна ~3 годам, что также много, учитывая, что все они сезонные, но выстраивает стоянки в последовательную цепочку и не оставляет места для перенаселенности Волго-Окского междуречья. Предположим, наконец, что число стоянок было в 100 раз больше зафиксированного, т.е. 7500. Тогда длительность пребывания на одном памятнике составит ~3 месяца, т.е. кратна сезону обитания, что более реально, но опять не оставляет никакого места для перенаселенности. Подсчет можно произвести и исходя из количества каменных изделий, но опять арифметика дает лишь последовательность во времени. Это позволяет сделать вывод о надуманности идеи сегментации и несоответствии ее здравому смыслу и историзму.

Нет нужды углубляться в проблему взаимодействия бутовского населения уже хотя бы потому, что численно оно было ничтожно, и 75 памятников, даже если все они бутовские, тому яркое доказательство. Анализ показывает, что как пародию на диалектику можно расценивать усилия М.Г. Жилина и Л.В. Кольцова видеть развитие там, где его нет, изобретать миграции, сегментации, вторжения, вытеснения и ассимиляции. Нет сомнения, что они совершенно не представляют себе исторических реалий. Да, это было подвижное население, которое совершало сезонные кочевья в пределах кормовых территорий, но это абсолютно не значит, что оно куда-то вторгалось или кого-то вытесняло и т. д.

Нет нужды вновь обращаться и к генезису верхневолжской культуры. Ничего нового в своей аргументации о ее "взаимосвязи" с бутовской культурой они не прибавили и ни один из моих аргументов (Кравцов, Сорокин, 1991) не опровергли, поскольку все, что они говорят, "представлено... в недостаточном для серьезного анализа количестве и ассортименте" (С. 82), а "аргументация... является надуманной" (С. 80). Таким образом "окончательное сложение... верхневолжской культуры" (С. 83) вновь не состоялось.

Не буду останавливаться и на разборе других сюжетов. Суть не "в моем нежелании анализировать" (С. 80) те или иные материалы или темы, а в реальной оценке источников и нежелании заниматься их "улучшением".

Чего в рецензируемой публикации больше: незнания, ошибок, вымысла, подтасовки или фальсификации, – судить не берусь. Замечу лишь, что попытку загнать мезолит Центральной России в прокрустово ложе бутовской культуры следует признать неудачной. Остается лишь сожалеть, что финансирование издания осуществлено РГНФ, а не на средства авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Воеводский М.В. Стоянка Гремячее // МИА. 1941. № 2.

Зализняк Л.Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. Киев, 1989.

Залізняк Л.Л. Фінальный палеоліт Україні // Археологія. 1995. Вип. 1.

Кольцов Л.В. Новые раскопки стоянки Елин Бор // МИА. 1966. Вып. 126.

Кольцов Л.В. О характере сложения раннемезолитических культур Северной Европы // СА. 1979. № 4.

Кольцов Л.В. Мезолит Волго-Окского междуречья // Мезолит СССР. М., 1989.

Кравцов А.Е., Сорокин А.Н. Актуальные вопросы Волго-Окского мезолита. М., 1991.

Мирецкий А.В. Отчет о раскопках и разведках в Калининской области в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 9431, 9431а.

Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам'янному віці. Київ, 1992.

Сидоров В.В., Сорокин А.Н. Многослойное поселение Замостье 5 // Древности Залесского края: Матер. к Междунар. конфер. "Каменный век Европейских равнин". Сергиев-Посад, 1997.

Сидоров В.В., Сорокин А.Н. Раскопки многослойного поселения Замостье 5 // Тверской археологический сборник. Вып. 3. Тверь, 1998.

Смирнов А.С., Сорокин А.Н. Стоянка Красная 3 // Вопросы археологии и истории Верхнего Поочья. Боровск, 1988.

Сорокин А.Н. Мезолит Великих Мещерских озер // СА. 1981. № 4.

Сорокин А.Н. К проблеме происхождения бутовской культуры // СА. 1989. № 2.

Сорокин А.Н. Бутовская мезолитическая культура (по материалам Деснинской экспедиции). М., 1990.

Сорокин А.Н. Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы. Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 2000а.

Сорокин А.Н. Метаморфозы источника по мезолиту Восточной Европы // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Т. 1. Тверь, 2000б.

Трусов А.В. Работы Московского областного краеведческого музея // АО–1979. 1980.

Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. М., 1977.

Jilin M.G., Koltsov L.V. Tanged points cultures in the upper Volga Basin // Tanged Points cultures in Europe. Lublin, 1999.

Taute W. Die Stielspitzen-Gruppen in Nordlichen Mitteleuropa. Köln, 1968.

Институт археологии РАН,
Москва

А.Н. Сорокин

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 163–167

ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "СРУБНАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДРЕВНОСТЕЙ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ" (Воронеж, 2000)

С 16 по 18 ноября 2000 г. на базе кафедры археологии Воронежского государственного университета проведена международная научная конференция "Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи".[1]

В работе конференции приняли участие более 50 ученых из России и Украины, а также многочисленная группа студентов Воронежского госуниверситета, специализирующихся по археологии. Российская археология была представлена археологами из Москвы, Новосибирска, Уфы, Ростова-на-Дону, Липецка, Оренбурга, Тамбова, Пущино, Воронежа, других городов. В конференции участвовала значительная группа археологов из Украины: Киева, Донецка, Алчевска. В конференции участвовали представители естественных наук, являющиеся специалистами в области археологического почвоведения: зам. директора Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Демкин В.А. (Пущино), Б.П. Ахтырцев (Воронеж, ВГУ), А.Б. Ахтырцев (Воронежский сельскохозяйственный университет) и др.

Эта конференция, посвященная осмыслению крупнейшего образования эпохи поздней бронзы – срубной культурно-исторической общности и ее места в системе культур евразийской степи и лесостепи эпохи бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.), по широте охвата обсуждавшихся проблем качественно отличается от предшествующих конференций по проблематике этой общности.

Единодушным оказался подход, согласно которому срубный мир представляет собой консолидированную по основным признакам материальной культуры культурно-историческую общность, в основе которой близость не только хозяйственной (пастушеские скотоводы) и мировоззренческой моделей, но и скорее всего этническое единство. Весьма показательно, что проблематика срубной культурно-исторической общности преимущественно рассматривалась в системе постпервобытности, в контексте взаимодействия пастушеских скотоводов с более южными территориями в рамках развития цивилизационных процессов древности.

Всего на конференции было заслушано 40 докладов. Пленарные доклады были посвящены общей проблематике, связанной с оценкой срубной общности и ее места в системе культурно-исторических образований эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи, как, впрочем, и общим проблемам изучения энеолита–бронзы Старого Света.

Конференцию открыл доклад *члена-корр. РАН Р.М. Мунчаева* (Москва), посвященный новейшим достижениям отечественных археологов в изучении древнейших земледельческих цивилизаций Северной Месопотамии. Им же были охарактеризованы и основные проблемы изучения бронзового века Северного Кавказа, включая оценку этнокультурных связей и взаимовлияний населения северокавказских территорий и более северных степных регионов Восточной Европы, в том числе и носителей срубной общности.

В совместном докладе *акад. РАН В.И. Молодина* (Новосибирск) и *А.Д. Пряхина* (Воронеж) "Срубная культурно-историческая общность в системе древностей Евразийской степи и лесостепи" дана развернутая оценка современного состояния в изучении этого культурно-исторического явления, других культурно-исторических образований этого времени Евразийской степи и лесостепи, намечены перспективы исследовательского поиска.

В докладе *В.С. Горбунова* (Уфа) основное внимание было уделено оценке заволжско-уральского региона распространения древностей срубной культуры. Наряду с этим было изложено общее видение проблематики этой общности, включая оценку соотношения срубного и алакульского миров. В докладе *В.В. Отрощенко* (Киев) "О культурах срубной общности" срубная культурно-историческая общность оценена через призму выделения и осмысления двух широтных срубных культур: покровской (преимущественно лесостепная) и бережновско-маевской (преимущественно степная). Доклад *Е.Н. Черных* (Москва) "Феномен и парадоксы Каргалинского комплекса" хотя и был посвящен оценке каргалинского горно-металлурги-

[1] Конференция проводилась при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 00-01-14020г).

ческого комплекса, касался и общей проблематики металлургии эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи.

В докладе *А.Т. Синюка* (Воронеж) "Некоторые аспекты изучения донской срубной культуры", касавшегося в основном оценки срубных погребальных памятников на территории южных районов Воронежской области, речь шла и об общей оценке абашевско-срубной проблематики как донской лесостепи, так и прилегающих степных пространств.

Остальные доклады были сделаны на двух секциях. Уместным будет подчеркнуть, что впервые в рамках подобного рода конференций выделена секция по историографии археологии эпохи бронзы Евразийской степи и лесостепи.

В докладе *А.Д. Пряхина* "Срубная культурно-историческая общность (первые полвека изучения и осмысления массива памятников)" дана оценка того периода в осмыслении срубных, как, впрочем, и других древностей, когда последние оценивались в рамках конкретных археологических культур, без акцентирования внимания на выделении и обосновании внутри них локальных вариантов и своего рода "подкультур". Особое внимание А.Д. Пряхиным было обращено на оценку современного этапа в изучении и осмыслении проблематики эпохи бронзы в российской археологии. В значительной степени историографическим был и доклад *А.П. Медведева* (Воронеж), посвященный анализу подходов к проблеме этнокультурной принадлежности населения срубной общности. Им была поставлена под сомнение доминирующая в настоящее время точка зрения об индоиранской (иранской) принадлежности носителей срубной общности.

Е.Ю. Захарова (Воронеж) охарактеризовала развитие исследовательской мысли в русле изучения мировоззренческих, прежде всего мифологических, представлений носителей срубной общности. Доклады *Е.Б. Свистовой* (Воронеж) касались историографической оценки отдельных сторон производственной деятельности носителей срубной общности донского бассейна (выход на изучение преемственности производственной деятельности носителей доно-волжской абашевской и донской лесостепной срубной культур; история изучения поселений срубной культурно-исторической общности со свидетельствами производственной деятельности).

Внимание присутствующих привлекли основные положения, изложенные в тесте доклада *С.В. Кузьминых* (Москва), в котором речь идет об оценке северной периферии срубной культурно-исторической общности на разных этапах ее изучения.

Доклад *Я.П. Гершковича* (Киев) касался историографии сабатиновской культуры, статус которой по отношению к срубной общности до сих пор остается дискуссионным. Историографии еще одной дискуссионной темы, связанной с оценкой памятников покровского типа, был посвящен доклад *Р.В. Гулюка* (Воронеж).

Ряд историографических докладов касался оценки вклада отдельных исследователей в осмысление срубной культурно-исторической общности. Интерес участников конференции вызвал доклад *И.Е. Сафонова* (Воронеж), посвященный оценке малоизвестного периода в деятельности В.А. Городцова по изучению проблематики эпохи бронзы Евразии (30-е–первая половина 40-х гг.). Доклад *А.В. Моисеева* (Воронеж) касался оценки абашевско-срубной проблематики в исследованиях П.Д. Либерова.

Доклады историографического направления нашли положительный отклик среди участников конференции, принявших самое заинтересованное участие в их обсуждении.

Большая часть докладов была заслушана на секции "Исследования". Они могут быть сгруппированы в несколько блоков.

Один из них касается оценки различных аспектов хозяйственно-производственной деятельности носителей срубной общности, а в какой-то степени и оценки их общественной структуры. Выступающие сошлись во мнении, что носители срубной общности – это общество с преимущественно скотоводческой моделью хозяйствования, в которой высокого, фактически ремесленного уровня развития достигает металлургия и металлообработка.

Особенно наглядно это положение было продемонстрировано в уже упоминавшемся докладе Е.Н. Черных. Этот же подход был характерен и для доклада *А.С. Саврасова* (Воронеж) "Организация производственной деятельности населения срубной культурно-исторической общности (металлообработка и металлургия)", посвященного западному – доно-донецкому центру металлургии и металлообработки срубного мира, в рамках которого приоритетное значение имеют свидетельства, происходящие с Мосоловкого поселения металлургов-литейщиков на р. Битюг, а также материалы с Картамышского рудопроявления в Донбассе. Кстати сказать, развернутая оценка названного рудопроявления была дана в совместном докладе российских (А.Д. Пряхин и А.С. Саврасов) и украинских (В.В. Отрощенко и Ю.М. Бровендер) ученых, в основу которого положены результаты исследования последних лет совместной археологической экспедиции Института археологии НАН Украины и Воронежского госуниверситета. В докладе подчеркнуто, что осмысление Донбасса с позиций горно-металлургического центра эпохи бронзы является насущной задачей для археологии, позволяющей выйти на решение принципи-

альных вопросов развития обществ этой эпохи применительно к пространствам к западу от Волги.

В связи со сказанным приведем и опубликованный в материалах конференции доклад *М.А. Изотовой* (Саратов), которая пытается выделить ритуальные комплексы на срубном поселении "Макаровская речка" на р. Хопер в Саратовской области, связанные, по ее мнению, с производственной деятельностью металлургов и кузнецов.

Об особенностях кожевенного производства, ткачества и гончарства, с точки зрения применения в них костяных орудий труда, применительно к доно-донецкому региону срубной общности шла речь в докладе *А.Н. Усачука* (Донецк) "Костяные изделия срубных поселений доно-донецкого региона". В докладе *В.В. Килейникова* (Воронеж) дан анализ результатов трасологического анализа преимущественно костяных орудий труда, происходящих с Верхнетуровского поселения донской лесостепной срубной культуры, исследуемого в последние годы совместной экспедицией Воронежского госпедуниверситета и Воронежского госуниверситета.

Целостный подход к оценке уровня развития степных обществ на территории Украины изложен в докладе *Е.П. Бунятян* (Киев). По ее представлениям, в течение эпохи бронзы вырабатывается система хозяйствования, в которой скотоводство и земледелие приобретают в конечном итоге характер гармоничного сочетания, сопровождавшегося территориальным разграничением данных отраслей хозяйствования, ярко проявившее себя особенно в срубно-сабатиновское время. В это время, как полагает Е.П. Бунятян, в срубной среде (бережновско-маевская культура по В.В. Отрощенко) отмечается тенденция к возрастанию подвижности, а у сабатиновцев – к увеличению роли земледельческого начала. Показательно, что, по приводимым ею наблюдениям, у срубников в это время возрастают масштабы культового строительства, включая возведение длинных курганов – святилищ, что в общем-то свидетельствует об усложнении структуры их социальной организации.

Отдельную группу составляют доклады, в которых речь идет о срубных культурах. Изложены подчас принципиально разные подходы к их выделению. В ряде докладов прозвучал тезис о существовании двух массивов носителей срубной общности, объединяющих степные и лесостепные пространства: заволжско-приуральского и донецко-донского, включающего и правобережье Волги (прежде всего уже упоминавшийся доклад проф. В.С. Горбунова (Уфа), выступление проф. А.Д. Пряхина (Воронеж). Река Волга в этом случае выступает разграничителем этих двух массивов населения срубной общности. В упоминавшемся же докладе В.В. Отрощенко (Киев) отстаивалась точка зрения, согласно которой выделяются две широтные срубные культуры: покровская (преимущественно лесостепная) и бережновско-маевская (преимущественно степная). С В.В. Отрощенко солидаризировался Ю.М. Бровендер (Алчевск), выделяющий в бассейне Северского Донца памятники покровской (в левобережье) и бережновско-маевской (в правобережье) культур. При этом памятники покровской срубной культуры, по мнению автора, показывают доминирующее начало "покровского импульса" со Среднего Дона, а бережновско-маевские Донецкого кряжа свидетельствуют об определяющей роли в процессе их формирования местного многоваликового компонента. Авторы ряда других докладов исходили из тезиса, согласно которому в лесостепной зоне следует выделять несколько срубных культур, в числе которых и донская лесостепная.

Наибольшее внимание привлекла оценка памятников донской лесостепной срубной культуры: доклады *Н.Б. Моисеева* (Тамбов), *Ю.В. Луньковой* (Москва), *А.Н. Бессуднова*, *Е.Н. Мельникова*, *В.А. Чивилева* (Липецк) и др. *И.Е. Сафонов* (Воронеж), сопоставив орнаментацию на керамике донской лесостепной срубной культуры и на керамике позднего этапа доно-волжской абашевской культуры, делает вывод о том, что срубный орнаментальный комплекс формировался на тех же структурирующих звеньях, что и абашевский. А.Т. Синюком (Воронеж) в уже упоминавшемся ранее докладе было высказано сомнение в правомерности названия данной культуры донской лесостепной. Он предложил именовать ее донской срубной.

Звучала мысль и о выделении отдельных вариантов на степных пространствах срубного мира (например, текст доклада *И.А. Сорокиной* (Москва) "Освоение степного предгорного Закубанья населением срубной культурно-исторической общности"). Состоявшаяся дискуссия по этому вопросу не привела к выработке единых критериев оценок, а тем самым и мало в чем сблизила имеющиеся подходы и оценки.

На конференции получила также освещение проблематика, связанная с изучением происхождения "срубной культуры", с осмыслением процесса формирования срубной общности, с дальнейшей разработкой периодизации срубных древностей. Принципиально важным в данной связи представляется звучавший в целом ряде докладов тезис о том, что становление срубной культуры происходило в значительной степени на территории донского бассейна (бассейн Дона, включая правобережье Волги). Развернутая аргументация этой концепции, связывающей генезис срубной общности прежде всего с доно-волжской абашевской культурой, была дана в докладах *Г.Г. Пятых* (Москва) "Проблема формирования срубной культурно-исторической области" и *Ю.П. Матвеева*

(Воронеж) "Становление срубной культуры в Донском бассейне".

В этой связи были изложены и соответствующие подходы к оценке памятников "покровского типа", ведущая линия в оценке которых – признание их промежуточного характера в системе доно-волжская абашевская культура – срубный мир. Рассматривались они и в системе оценки срубных древностей (пример подготовленного на конференцию доклада В.И. Мамонтова (Волгоград) "Памятники срубной культуры степного Подонья").

Обращалось внимание на наличие и более сложной подосновы в формировании срубных древностей (текст доклада *О.Д. Мочалова* (Самара) "К проблеме сложения срубной культуры Поволжья (по данным анализа керамики)"). Собственно тот же подход просматривается и в построениях *М.В. Халяпина* (Оренбург), сосредоточившего основное внимание на проблеме взаимодействия срубников и алакульцев на начальном этапе позднего бронзового века. Заметим, фактически у него речь больше идет о завершающем этапе средней бронзы.

Несколько особняком стоит доклад *В.В. Рогудеева* (Ростов-на-Дону). По его представлению, не абсолютизируя тезис о перерастании катакомбной культуры в срубную, следует учитывать наличие ряда сходных для двух культур черт в погребальном обряде. При этом, на его взгляд, своего рода проводником катакомбных традиций в срубную среду выступала культура многоваликовой керамики.

Что же касается периодизации срубных древностей, то на данной конференции эта проблема не привлекла к себе пристального внимания. Следует выделить доклад *Р.А. Литвиненко* (Донецк) "Периодизация срубных древностей доно-донецкого региона (по погребальным памятникам Северского Донца)". Основываясь в том числе и на достаточно многочисленных стратиграфических наблюдениях, для бассейна Донца он выделяет предсрубный этап (культура многоваликовой керамики, доно-волжская абашевская культура – "покровский культурный тип") и три собственно срубных этапа. Нетрудно заметить, что представленная им периодизация достаточно определенно согласуется с имеющейся периодизацией древностей донской лесостепной срубной культуры (Ю.П. Матвеев и др.).

На конференции лишь в общих чертах говорилось об исторических судьбах носителей срубной общности. Подчеркивалось, что на настоящий день эта проблематика является слабо разработанной, особенно применительно к донскому бассейну. Поэтому понятен тот интерес, с которым был воспринят доклад *В.В. Потапова* (Ростов-на-Дону), в котором автор представил подборку имеющихся на сегодняшний день свидетельств, как с бытовых, так и с погребальных памятников завершающего этапа эпохи бронзы Нижнего Подонья. По его мнению, имеющая место дискуссия о культурной принадлежности памятников последних веков II тыс. до н.э. носит в значительной степени терминологический характер. Сам же автор считает, что применительно к памятникам рассматриваемого времени можно говорить не о позднем этапе срубной культуры, а о постсрубных культурах или культурных образованиях в составе так называемого восточного блока общности культур валиковой керамики.

Из приведенного обзора явствует, что на конференции наибольшее внимание было уделено оценке срубных древностей бассейна Дона (включая Северский Донец и правобережье Волги). Это позволило существенно поколебать устоявшиеся представления о значении срубных древностей Поволжья, особенно Заволжья, для понимания тех процессов, которые имели место на пространствах срубной культурно-исторической общности. Уже это обстоятельство выводит исследование срубной культурно-исторической общности на качественно новые рубежи, в чем, собственно говоря, заключается один из важных итогов конференции.

Завершая изложение основных итогов конференции, назовем доклады, затронувшие палеоэкологическую и палеоклиматическую тематику. Один из них посвящен осмыслению причин общей смены культур эпохи бронзы – доклад *В.И. Мельника* (Москва) "Проблема смены культур эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи". В основе этих процессов, как считает докладчик, лежал обусловленный серьезными климатическими изменениями миграционный фактор.

Большой интерес участников конференции вызвали и доклады, в которых были даны результаты палеопочвенных исследований на памятниках срубной культурно-исторической общности: доклад *В.А. Демкина, Т.В. Алексеевой, А.О. Алексеева, Т.С. Демкиной* (Пущино) "Размышления о стратиграфии и технологии создания загадочного археологического памятника в Волгоградском Задонье") и доклад *А.Б. Ахтырцева* и *Б.П. Ахтырцева* (Воронеж) "Палеопочвы и природная среда среднерусской лесостепи в срубное время".

На заключительном заседании были подведены итоги и намечены перспективы дальнейшего исследовательского поиска по проблематике срубной культурно-исторической общности.

В выступлениях участников отмечалось, что насущной задачей является совершенствование источниковой базы: создание сводов, специализированных каталогов с использованием единой компьютерной сети. Важно, что участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться с накопленным опытом работы в

этом направлении археологов в Воронежском госуниверситете, в рамках деятельности кабинета исторической информатики, который долгое время возглавлял В.И. Беседин, а сейчас – И.Е. Сафонов. Отмечалась перспективность проведения историографических исследований как отдельного направления в археологии эпохи бронзы, которые ныне ведутся в Воронежском университете в рамках деятельности совместной научно-исследовательской лаборатории по историографии археологии Евразии Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и ВГУ.

Участники конференции отметили и тот факт, что в Воронежском госуниверситете сложилась известная в стране и за рубежом научная школа в области археологии эпохи бронзы Евразийской степи и лесостепи.

Было высказано пожелание проведения на базе кафедры археологии Воронежского госуниверситета в ближайшие годы отдельной научной конференции, где была бы осмыслена проблематика "досрубного" времени, особенно в связи с оценкой абашевской культурно-исторической общности. В предварительном плане была намечена тематика базовых докладов на предполагаемую конференцию.

К началу работы конференции были изданы материалы конференции (см.: Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи: Материалы международной научной конференции. – Воронеж, 2000. – 203 с.). Это дало возможность обсудить содержание и тех докладов, авторы которых не смогли принять непосредственного участия в работе конференции.

В ходе конференции ее участники имели возможность ознакомиться с коллекциями музея археологии Воронежского госуниверситета, на базе которого было проведено одно из заседаний. Наибольшее внимание участников конференции привлекла коллекция свидетельств производственной деятельности, происходящая с получившего широкую известность Мосоловского поселения металлургов-литейщиков на р. Битюг.

Воронежский государственный университет

А.Д. Пряхин, Е.Ю. Захарова

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 168–171

ХРОНИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ "РУСЬ В XIII ВЕКЕ: КОНТИНУИТЕТ ИЛИ РАЗРЫВ ТРАДИЦИЙ?" (Москва, 2000)

С 14 по 16 ноября 2000 г. в Институте археологии РАН (г. Москва) проходила конференция "Русь в XIII веке: континуитет или разрыв традиций?", на которую съехались археологи из различных городов европейской части России, а также из Киева (Украина). Конференция была проведена при финансовой поддержке РГНФ (код проекта 00-01-14006г). Необходимость проведения такой конференции была вызвана тем, что за последние десятилетия в руках исследователей накопились факты, заставлявшие их по-новому осмысливать последствия монголо-татарского нашествия 1237–1240 гг. Многочисленные примеры преемственности в развитии русских городов и сел на протяжении XIII в., с одной стороны, и свидетельства разрыва традиций на территориях, не затронутых нашествием, – с другой, стали входить в противоречие с выработанной в предшествующий период концепцией, рассматривавшей Батыев погром как событие, изменившее всю материальную и духовную культуру Руси. Для выхода из этого противоречия назрела необходимость проведения встречи исследователей разных регионов Руси и прямого обмена мнениями по данной проблеме.

За время работы конференции было заслушано и обсуждено 30 докладов. Тезисы 25 докладов, представленные авторами, были опубликованы к началу конференции в сборнике.

Конференцию открыл чл.-корр. РАН *Н.А. Макаров*, отметивший важность проводимой встречи для разрешения накопившихся в отечественной археологии вопросов, связанных с проблемой монголо-татарского нашествия. Главными аспектами этой проблемы являются недостаток узко датированных комплексов в пределах XIII в. и трудности с интерпретацией уничтоженных пожарами построек. Было подчеркнуто, что отождествление комплексов, связь которых с военными действиями не очевидна, а узкая датировка невозможна, с последствиями Батыева нашествия способствует формированию необъективных представлений о масштабах трагедии 1237–1240 гг. Наряду с упадком ряда городов в XIII в. происходило динамичное развитие целого ряда центров (Твери, Москвы, Коломны, Переяславля-Рязанского и др.). Отмечено, что изменения в системе сельского расселения, происходившие на протяжении XIII в. на всей территории Руси, совпали по времени с нападением монголов, однако были обусловлены не только и не столько этим нападением, сколько внутренними процессами в экономике и социальной сфере. В заключение докладчик призвал к более внимательному и взвешенному изучению отдельных памятников и регионов.

А.В. Чернецов, заведующий отделом славяно-русской археологии ИА РАН, обратил внимание собравшихся на то, что попытки пересмотра традиционной оценки исторического значения монголо-татарского нашествия предпринимались неоднократно, однако не все из них выдерживают критику. Вместе с тем археологов не должна завораживать патетика летописных рассказов об этом событии, которые содержат очень мало конкретных сведений. Несмотря на появление новых материалов, их количество еще недостаточно для формирования принципиально нового видения рассматриваемой эпохи. Поэтому вновь добытые археологические материалы могут сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Г.Ю. Ивакин (Киев) в докладе "Киев и монгольское нашествие" указал на то, что мнение о запустении Киева после 1240 г. проистекало в прошлом из недостатка археологических данных, касающихся периода второй половины XIII–XV вв., и недостаточного учета сведений письменных источников. Исследования последних десятилетий показали, что материальная культура города в этот период характеризовалась сохранением традиций XI–XII вв. и отсутствием резких изменений. Обнаружены яркие образцы высокой художественной культуры и свидетельства широких внешних связей Киева в XIII–XIV вв.

Доклад *М.В. Седовой* (Москва) "Судьба городов Северо-Восточной Руси в XIII в." был посвящен оценке последствий монголо-татарского нашествия, которые, по мнению докладчика, были в целом негативными для этого региона. Рост ряда крупных центров замедлился, археологически фиксируются черты упадка. В то же время большинство городских центров сохранило свой потенциал, а некоторые города получили импульс для своего развития.

В докладе *А.В. Чернецова* "Старая Рязань и монголо-татарское нашествие" были систематизированы ранее известные и представлены новые данные, подтверждающие существование этого города в качестве важного военно-политического и культурного центра после разгрома 1237 г.,

т.е. на протяжении второй половины XIII и XIV в. Отмечены находки многочисленных образцов керамики этого времени, золотоордынской каменной пластинки с именем хана.

И.Ю. Стрикалов (Москва) в докладе "Проблемы хронологии древнерусской керамики XIII в. Старой Рязани и ее округи" дал развернутую характеристику своеобразного типа керамических горшков, получившего распространение в Старой Рязани на протяжении всего XIII в. и послужившего основой для формирования керамических типов XIV в. Были также отмечены изменения в системе расселения сельского населения городской округи в XIII в. (его концентрация на берегах р. Ока).

Доклад *А.Б. Мазурова* (Коломна) "Эволюция Коломны в XIII–XIV вв.: от малого города Древней Руси к домену великого князя Московского" был посвящен характеристике застройки и планировочной структуры Коломны. Данные археологических раскопок позволили докладчику утверждать, что после кризиса середины XIII в., очевидно, связанного с монголо-татарским нашествием, уже во второй половине XIII в. город продолжал динамично развиваться и к середине XIV в. его площадь значительно превышала территорию города домонгольской эпохи. Этот феномен связывается автором с притоком населения с южный окраин Руси и включением Коломны в состав Московского княжества.

В докладе *А.Е. Леонтьева* (Ростов) "Ростов Великий. Динамика изменения территории и этапы истории города в X–XV вв." отмечалось, что Ростов, избежавший полного разорения в 1238 г., стал во второй половине XIII в. основным, самым крупным по своим размерам центром Северо-Восточной Руси. Однако реализовать эту потенциальную возможность Ростову впоследствии не удалось, что было связано с активной политикой усиливавшейся Москвы. В XIV–XV вв. город находился в состоянии стагнации. Таким образом, на торможение развития города оказали влияние не поход Батыя, а иные факторы.

И.К. Лабутина и *М.И. Кулакова* (Псков) в докладе "Псков в XIII в. (археологические наблюдения по динамике расселения и строительства)" объяснили выявленные раскопками признаки разрыва традиции заселения различных участков Пскова в XIII в. (эти участки были оставлены населением и вновь застроены лишь в XV–XVII вв.) разорениями города в 1212, 1218 и 1240 гг. и военной опасностью, продолжавшей грозить Пскову со стороны Ливонского ордена во второй половине XIII в.

Доклад *Ю.Э. Жарнова* (Владимир) "Археологические исследования во Владимире и "проблема 1238 г." осветил результаты раскопок последних лет в бывшей столице Владимиро-Суздальского княжества. Свидетельства монгольского разгрома во Владимире представлены богатой усадьбой конца XII–первой трети XIII в. с остатками построек, уничтоженных пожаром, на месте которых вплоть до XVIII в. располагались огороды. Причиной потери Владимиром экономического и политического потенциала, по мнению докладчика, явились разгром 1238 г. и ряд последовавших за ним разорений, не позволивших городу восстановить былую численность населения.

В докладе *Е.К. Кадиевой* (Ярославль) "Керамика из усадьбы конца XII–XIII вв. во Владимире" излагались результаты изучения крупной коллекции посудной керамики, полученной при раскопках Ю.Э. Жарнова во Владимире. Оказалось, что к периоду "после 1238 г." принадлежало лишь 5% керамики, собранной на участке раскопок. Следовательно, в период после разгрома Владимира Батыем жизнь в этой части города практически прекратилась.

С.Д. Захаров (Москва) в докладе "На Беле озере два городка" представил убедительное объяснение затухания жизни в Белоозере на Шексне и перемещения центра региона в Белозерск на южном берегу Белого озера вследствие изменения экономической базы населения Белозерья, перешедшего в XIII в. от промыслового хозяйства (добыча пушнины) к пашенному земледелию. Причину этого докладчик видит в истощении промысловых ресурсов окружающих территорий.

В докладе *Т.Д. Пановой* (Москва) "Москва и монгольское нашествие: характер культурного слоя Кремля XIII в." было подчеркнуто, что данные археологии свидетельствуют о непрерывном и поступательном развитии Москвы в XIII в. Этому развитию не смог помешать и пережитый городом зимой 1237/1238 гг. разгром, археологическим свидетельством которого автор считает два клада серебряных ювелирных украшений, обнаруженных в Московском Кремле.

Доклад *С.З. Чернова* (Москва) "Сельское расселение в Московском княжестве второй половины XIII в.: "традиционные" и "новационные" модели выхода из кризиса (по материалам археологических исследований 1990-х годов волостей Пехорка и Воря)" был посвящен изучению причин изменений в расселенческой структуре подмосковных регионов, в одних из которых (находившихся на пути монгольских войск в 1237–1238 гг.) количество поселений и их размещение не претерпело существенных изменений, тогда как в других часто фиксировался хронологический разрыв между поселениями первой половины XIII и XIV в.

В совместном докладе *Н.А. Макарова, С.Д. Захарова* и *И.Е. Зайцевой* (Москва) "Сельские поселения на Кубенском озере в XII–XIII вв. – от расцвета к запустению" на основании результатов археологических раскопок поселения Минино I,

сопровождавшихся палеоботаническими, карпологическими и палеоэкологическими исследованиями, сделан вывод о том, что прекращение жизни на этом поселении в середине XIII в. может объясняться невозможностью сохранения прежних форм промыслово-земледельческого хозяйства (нацеленного в основном на добычу пушнины) вследствие исчерпания соответствующих природных ресурсов. Новые поселения, возникшие в этом регионе, принадлежали населению, главным занятием которого было пашенное земледелие. Климатические особенности региона обусловили и освоение под пашню водораздельных участков, не использовавшихся в предшествующий период.

Совместный доклад *М.И. Гоняного*, *М.Я. Каца* (Москва) и *А.Н. Наумова* (Тула) "Опыт разведочных археолого-геофизических исследований на древнерусских поселениях конца XII–середины XIV в. района Куликова поля" осветил результаты работ последних лет на Верхнем Дону, где в отличие от других районов Юго-Восточной Руси на вторую половину XIII–первую половину XIV в. приходился пик поселенческой активности (рост числа сельских поселений и соответственно численности населения). Коллекции находок с верхнедонских поселений свидетельствуют о высоком (для той эпохи) уровне развития местного ремесла и обеспеченности жителей ремесленной продукцией.

С.В. Шполянский (Москва) в докладе "Изучение малодворных сельских поселений на примере раскопок селища XIII в. у с. Ознобишино в Подмосковье" высказал предположение о продолжении использования так называемых "вятичских" древностей (височных колец, перстней и т.п.) в быту жителей Подмосковья второй половины XIII в., когда они прекращают играть роль погребального инвентаря.

В докладе *Н.А. Кренке* (Москва) "Сельская округа Москвы в XII–XIII вв." отмечалось, что археологические данные не позволяют утверждать о кардинальных изменениях в материальной культуре жителей Москвы и окрестностей в середине XIII в. Докладчик подчеркнул, что для датировки таких изменений основную проблему составляет недостаток узко датированных комплексов и обратил внимание на большое значение их радиоуглеродного датирования.

Доклад *П.Д. Малыгина* (Тверь) "Судьба Торжка и Твери в XIII в." был посвящен сравнению материалов из этих двух соседних городов. При наличии в Торжке мощных угольных прослоек от пожара, надежно датированного 1238 г., в Твери таких ярких комплексов пока не обнаружено. По мнению докладчика, в Твери наблюдается запаздывание по сравнению с Новгородом бытования ряда вещей, характерных для XIII в.

М.Д. Полубояринова (Москва) в докладе "Города Волжской Булгарии в XIII в." охарактеризовала процесс затухания жизни одних центров этой страны (в первую очередь Биляра) при расширении и развитии других. Примером последних является Болгар, переживший Батыев разгром и значительно расширивший свою территорию в золотоордынскую эпоху.

В докладе *В.Ю. Коваля* (Москва) "Керамика Востока на Руси: XIII век" был сделан вывод о существенных изменениях, происшедших на протяжении XIII в. в направлениях, объемах и способах ввоза импортной керамики из стран Востока и Византии на Русь. Однако полностью традиции внешних связей Руси Батыевым нашествием прерваны не были. По мнению докладчика, можно говорить о преемственности в русско-восточных связях, обусловившей массовый импорт на Русь восточной художественно оформленной посуды в XIV в.

Доклад *И.В. Волкова* (Москва) "Поселения Приазовья в XII–XIII вв." был посвящен локализации Приазовской Руси второй половины XII–первой половины XIII в. в дельте Дона и на побережье Таганрогского залива с использованием сочинений арабских географов и данных археологии. Исчезновение этих поселений связывается докладчиком с принудительным перемещением их населения в строившиеся золотоордынские города.

А.А. Медынцева (Москва) в докладе "Грамотность в Древней Руси в XIII в." констатировала упадок грамотности на Руси в середине–второй половине XIII в. по данным эпиграфики. В то же время Новгородские берестяные грамоты свидетельствуют о сохранении на Северо-Западе Руси прежнего уровня грамотности. Подчеркнуто сохранение в этот период на Руси христианской религии и славянской письменности как свидетельства континуитета культуры.

В докладе *А.Е. Мусина* (Санкт-Петербург) "Христианские древности XI–XIV вв. (проблема развития и региональные особенности)" была предложена оригинальная типология предметов христианского культа (прежде всего крестов), основывающаяся на их "иконографическом типе" (по Н.П. Кондакову). Использование этой типологии позволило докладчику сделать вывод о сохранении в культуре Руси XIII–XIV вв. наиболее массовых типов крестов-тельников, нивелировке микрорегиональных различий и преемственности в существовавших типах крестов.

Т.В. Гусева (Нижний Новгород) в докладе "Древнерусские города Городец-на-Волге и Нижний Новгород. Монгольское нашествие в свете археологических данных" рассказала о результатах проведенных здесь археологических исследований. В отличие от соседних регионов на вторую

половину XIII в. в этих городах приходится период их динамичного развития и роста.

Доклад *Л.В. Покровской* (Москва) "Финно-угорские украшения в Новгороде XIII века" содержал характеристику украшений женского костюма финно-угорского происхождения, свидетельствующих о проживании финно-угров на новгородских усадьбах, принадлежавших крупным боярским родам. В XIII в. здесь наблюдается увеличение доли таких украшений среди обнаруженных при раскопках ювелирных изделий.

В докладе *Н.В. Жилиной* (Москва) "Русская филигрань до и после 1237 г." констатировался разрыв в традиции в изготовлении русского скано-зерненого убора, вызванного, по мнению докладчика, монголо-татарским нашествием и разрушением ведущих ювелирных мастерских. После 1237 г. зернь выходит из употребления в ювелирном искусстве Руси, а в сканом узоре наблюдаются существенные изменения.

И.Е. Зайцева (Москва) в докладе "Химический состав цветного металла Серенска в XIII веке" представила результаты спектрального анализа металла ювелирных украшений из Серенска. Основная масса таких украшений была изготовлена из свинцово-оловянистой бронзы, т.е. в русле "вятичской" традиции бронзолитейного мастерства, однако после середины XIII в. в Серенске начинают широко использоваться латунные сплавы, что свидетельствует, по мнению докладчика, о поставках металла из Прибалтики в связи с началом политического доминирования в регионе Литвы.

Доклад *А.Н. Хохлова* (Тверь) "Тверь и Тверское Верхневолжье в XIII веке" был посвящен результатам новых раскопок в Твери и ее округе, подтверждающим, по представлениям докладчика, гипотезу о возникновении Твери в домонгольскую эпоху. Изменение поселенческой структуры в XIII в. объясняется изменением гидрологического режима рек в этот период.

Ю.М. Лесман (Санкт-Петербург) в докладе "Ювелирные изделия Новгорода и Новгородской земли в XIII веке: традиции и инновации" представил статистические материалы, свидетельствующие о том, что на протяжении XIII в. в Новгороде происходил ускоренный (по сравнению с предшествующим временем) процесс выхода из употребления старых типов украшений и выработки новых типов, что и привело к существенному изменению средневекового женского убора.

На конференции была проведена дискуссия по вопросам, обсуждавшимся в докладах участников. В ходе дискуссии выступили Н.А. Макаров, А.В. Чернецов, Н.В. Жилина, С.З. Чернов, Н.А. Кренке, П.Д. Малыгин, В.Ю. Коваль, А.Н. Хохлов. Выступавшими было отмечено большое значение проведенной встречи, в результате которой традиционное представление о катастрофических изменениях в русской культуре в результате Батыева нашествия подверглось существенной корректировке. Механизм этих изменений теперь представляется значительно более сложным, чем это казалось ранее. Наряду с внешними факторами (монголо-татарское вторжение и экспансия Ливонского ордена) огромное значение имел целый ряд факторов внутреннего социально-экономического развития.

Доклады, прозвучавшие на конференции, показали, что исследования последних лет позволяют сделать значительный вклад в разработку обсуждавшейся проблемы. Это и материалы по археологии средневековых русских городов, и новые данные об эволюции поселенческих структур. Очевидно, что именно археологии принадлежит ведущая роль в дальнейших исследованиях, посвященных тематике конференции и целого ряда смежных вопросов.

В настоящее время материалы конференции подготавливаются к печати в виде сборника статей участников.

Институт археологии РАН, Москва

В.Ю. Коваль

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 172–181

ХРОНИКА

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ХАКАССКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Хакасская археологическая экспедиция была основана в 1950 г. Леонидом Романовичем Кызласовым – тогда аспирантом, ныне профессором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, лауреатом Государственной и Ломоносовской премий. До 1993 г. экспедиция работала как учебно-исследовательское подразделение кафедры археологии МГУ (в 1955, 1957 гг. – совместно с ИИМК АН СССР, с 1978 г. – с Саяно-Алтайской группой, отрядом, экспедицией ИА АН СССР/РАН). В 1950, 1958 и 1959 гг. в организации работ принял участие Хакасский НИИЯЛИ, в 1956 и 1960 гг. – Тувинский краеведческий музей. С 1993 г. деятельность экспедиции всецело финансируется Советом Министров и Правительством Республики Хакасия, начальником ее стал д.и.н. И.Л. Кызласов, заместителем начальника – директор Хакасского республиканского краеведческого музея Л.П. Мылтыгашева.

Экспедиция провела свой юбилей в Республике Хакасия и использовала его как для дальнейшего укрепления позиций науки в самой республике и в Сибири, так и для повышения авторитета Хакасии в глазах российского научного сообщества. Все юбилейные мероприятия проводились совместно с Хакасским республиканским краеведческим музеем (директор Л.П. Мылтыгашева) и Хакасским НИИ языка, литературы и истории (директор В.Н. Тугужекова). Мероприятия продолжались девять дней и проводились за счет экономии бюджетных средств, предоставленных экспедиции Правительством Хакасии на исследования 2000 г., и благодаря существенной поддержке учреждений-спонсоров: Института аграрных проблем Хакасии (директор В.К. Савостьянов), Саяно-Шушенской ГЭС (ген. директор В.И. Брызгалов), Национального банка Республики Хакасия ЦБ РФ (председатель Р.З. Закиров), Министерства транспорта и дорожного хозяйства РХ (министр П.Н. Волков).

В юбилейной программе приняли участие ученые четырех научно-исследовательских институтов, двух госуниверситетов и четырех музеев из Абакана, Минусинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Улан-Удэ, Владивостока и Улангома (Монголия). Программа состояла из четырех циклов.

Выставка "Печатные труды Хакасской археологической экспедиции" (30 августа–7 сентября, г. Абакан) представляла 14 монографий и 9 научно-популярных книг, написанных за 50 лет, а также основные сборники статей и коллективные тома, в создании которых приняли участие сотрудники экспедиции. Почетное место среди них занимала первая в науке "История Хакасии с древнейших времен до 1917 года" (М., 1993), ответственным редактором и автором 13.5 печатных листов текста которой был Л.Р. Кызласов. За годы финансирования экспедиции Республикой Хакасия опубликовано шесть изданий. Археологические коллекции начали поступать в Хакасский музей уже в первый год работы экспедиции и ныне составляют основу соответствовавших фондов и экспозиции.

Конференция "Новые задачи изучения истории Южной Сибири" (31 августа–1 сентября, пос. Зеленое) открылась юбилейными приветствиями: Председателя Правительства Республики Хакасия А.И. Лебедя (адреса экспедиции и ее основателю Л.Р. Кызласову преподнес зам. министра культуры РХ Е.М. Аникин), Хакасского НИИЯЛИ (д.и.н. В.Н. Тугужекова), Алтайского госуниверситета (к.и.н. А.А. Тишкин, г. Барнаул), Музея Увс сомона Монголии (директор Х. Монхоо, г. Улангом). Поздравления продолжались и на другой день, когда прибыли представители Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (к.и.н. Б.Б. Дашибалов, г. Улан-Удэ) и Дальневосточного центра палеоэкологии (д.и.н. В.И. Дьяков, г. Владивосток). Приветствия поступили из Красноярска, Барнаула, Казани. В зале заседаний было много гостей из Абакана, хакасской интеллигенции, журналистов из местных газет, радио и телевидения.

На конференции заслушано и обсуждено 15 докладов археологов, историков и языковедов, так или иначе отразивших тематику работ Хакасской экспедиции и по характеру разделявшихся на три группы: 1) освещение роли ученых-предшественников; 2) подведение итогов и осмысление перспектив исследований; 3) демонстрация новых материалов и опыта сохранения древних памятников.

Работа началась с обширного доклада начальника экспедиции *И.Л. Кызласова* "Хакасская археологическая экспедиция и новые задачи изучения истории Южной Сибири". Особенностью экспедиции является не только то редкое обстоятельство, что 50 лет древняя хакасская земля и вся Южная Сибирь изучается по единому замыслу, но и со-

храняемое единство подходов к задачам и источникам исследования. Экспедицию отличает *университетская* традиция археологической всеохватности: нет ни таких эпох, ни таких категорий древностей, которые не изучались бы ею – от палеолитических сборов и раскопок неолитических стоянок до исследования памятников XVIII–XIX вв. Другое своеобразие, которое определяет место экспедиции в пределах названной универсальности, – это московская университетская традиция исторической археологии, некогда выраженная А.В. Арциховским крылатой теперь фразой: "Археология – это история, вооруженная лопатой". Отсюда и главный, вновь отличительный метод изысканий – комплексный подход к постижению проблем: применение данных археологии, этнографии, письменных источников, филологических, антропологических и прочих разработок. Главный результат такого исследовательского труда – воссоздание до того неведомой истории двух южносибирских народов: тувинцев и хакасов. Историзм подхода к разрешаемым проблемам закономерно потребовал широкой географии научных поисков: кроме Хакасии и Красноярского края, в разные годы экспедиция работала в Казахстане и Киргизии, в Туве и на Алтае, в Бурятии. Обнаружены и выделены древности и письменные источники, позволившие внести значительный вклад в познание истории северных и южных алтайцев, шорцев, чулымцев, тофов, хантов и манси, селькупов, уйгуров, киргизов, казахов, якутов, бурят, монголов и других обитателей Сибири и Центральной Азии. Существенно продвинуто изучение некоторых древних народов Средней Азии – прежде всего саков, тюргешей и карлуков.

И направления, и методы деятельности Хакасской экспедиции определяются ее принадлежностью к школе крупнейшего советского археолога чл.-корр. АН СССР С.В. Киселева, учеником которого является проф. Л.Р. Кызласов[1]. В 1949 г. вышел в свет до сих пор не имеющий аналога труд Сергея Владимировича "Древняя история Южной Сибири", впервые широко осветивший важнейшие этапы исторического пути огромного края, служившего на протяжении тысячелетий активнейшим центром культурного развития Евразии. Однако археологических и письменных источников для характеристики не только отдельных периодов, но и целых регионов было недостаточно или не было совсем. Возникшая на следующий год после издания книги С.В. Киселева Хакасская экспедиция осознанно начала разработку именно этих областей науки. Главной задачей явилась изучение истории Хакасии и в ту пору совершенно археологически не освоенной Тувы.

I. Для древних периодов назовем получение первых серийных неолитических материалов (1968–1969 гг.). В 1986 г. создан первый перечень неолитических местонахождений Хакасско-Минусинской котловины, дана новая оценка исторической роли этой эпохи. В 1970–1971 гг. впервые проведены раскопки вокруг древнейших каменных изваяний Евразии, открывшие тот тип археологических памятников, с которым они были связаны изначально. Комплекс святилищ с установленными каменными скульптурами или менгирами был отнесен к концу неолитической эпохи (началу III тыс. до н.э.) и назван тазминской культурой. Вопреки представлениям о наряженных и маскированных шаманах, доказано, что изваяния изображали мифы о возникновении и существовании Вселенной и воспроизводили образы первобытных божеств. Как бы в дальнейшем ни шло изучение их символики, в этой главной позиции исследователи отныне будут последователями Хакасской экспедиции. Ученые, продолжающие числить изваяния окуневскими, так и не рассмотрели 11 доводов об их ранней принадлежности, приведенных в книге Л.Р. Кызласова "Древнейшая Хакасия" (М., 1986). О серьезной проверке новых данных нельзя говорить, поскольку в литературе сохраняются прежние источниковедческие подходы: раз за разом исследуются только случаи вторичного использования в окуневских захоронениях плит с подобными изображениями. За прошедшие 30 лет ни один археолог не копал тех комплексов-святилищ, в которых, как установлено Хакасской экспедицией, эти изваяния и менгиры доподлинно находятся in situ. Прочие экспедиции, занимаясь лишь спасательными раскопками, работают не по научным планам. Ряд археологов, выросших в договорных экспедициях, не только не умеет, но и не знает, что нужно работать иначе. Наука не может развиваться в условиях бесплановых, случайного пополнения источников, целиком подчиняя свои программы проектам землеустроителей.

Осознанно восполняя пробелы в истории Хакасии, экспедиция проводила исследования не только привычных (афанасьевских, окуневских, карасукских), но и необыкновенных, непонятных до раскопок памятников бронзового века. Таков единственный на Среднем Енисее курган в кромлехе – 81-метровой дуге из гранитных менгиров с дополнительными осями, отмеченными стоянками. Памятник, полностью раскопанный в 1984–1985 гг., кроме центрального ямного захоронения (обставленного плитами с резными изображениями), содержал погребальные каменные ящики, установленные на древней поверхности, и принадлежал, судя по находкам, к концу III тыс. до н.э., а по радиоуглеродному анализу человеческих костей из ящика 5 – к последней трети этого тыся-

[1] Список печатных работ проф. Л.Р. Кызласова и аннотированный перечень проведенных им полевых исследований по годам см.: Архипов Н.Д. Выдающийся сын земли Сибирской. К 75-летию профессора Л.Р. Кызласова. М., 1999. С. 52–82.

челетия (2290 г. до н.э., определение Л.Д. Сулержицкого, ГИН РАН). Символика объекта осмыслена с привлечением данных палеоастрономии. Другие редкие изученные памятники – захоронение раннеандроновской эпохи, открытое на самой вершине горы Самохвал в устье Абакана (1984 г.), круглые курганы карасукской культуры (ст. Ербинская, 1971 г.), захоронения колесничего и его убитого слуги IX–X вв. до н.э. (могильник Узун-харых, 1985–1986 г.).

Совершенно новыми по форме надмогильной конструкции и обряду сожжения погребальной камеры явились тагарские курганы IV–III вв. до н.э. (урочище Сыхпа на р. Тёя, 1985–1986 гг.). Уникальна гробница грунтового таштыкского Оглахтинского могильника (1969 г.), содержавшая кроме двух скелетов две погребальные куклы с прахом сожженных, полностью сохранившиеся зимние одежду и обувь, кожаные, шерстяные, шелковые и деревянные изделия, гипсовые погребальные маски. Раскопки прояснили, наконец, обрядовые особенности, отмечавшиеся ранее по незначительным остаткам в сожженных погребальных склепах – мешочки с прахом зашивались в специально создаваемые в полный рост куклы-манекены: внешне погребалось тело, а по сути вершился обычай трупосожжения. Таким образом, для раннего этапа таштыкского развития прослежены археологические следы редчайшего в человеческой культуре явления – слияния в консервативных канонах погребальных ритуалов давних местных (погребения мумий) и новых пришлых особенностей (сожжение тела на стороне). Уникальное соединение этих черт явно указывает на произошедшее смешение коренного населения (динлинов) с переселенцами (кыргызами-гяньгунями), которое названо китайскими летописями причиной формирования нового народа – древних хакасов. Значителен вклад экспедиции в систематику и хронологию древностей центральноазиатских гуннов.

Именно Хакасская экспедиция обосновала (1953 г.) существование особого тагарско-таштыкского переходного этапа (II – первой половины I в. до н.э.), выяснив новое историческое и культурно-эволюционное значение этого периода, целиком принадлежащего ко времени гуннского владычества в Южной Сибири. Ранее его памятники (пережиточно и сегодня – под названием тесинского этапа) понимались как последний этап тагарской культуры. Неоспорим новаторский вклад в постижение особенностей таштыкской археологической культуры на Енисее (вторая половина I в. до н.э. – V в. н.э.) в разработку ее периодизации и хронологии (Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960). За прошедшие 40 лет ни одна из культур или эпох Южной Сибири все еще не описана с такой полнотой. Ныне нередки попытки отнести таштыкские древности к более позднему времени. Однако они или не учитывают подтверждения прежней хронологии новыми радиоуглеродными данными, временными характеристиками новых гуннских материалов и прочих возросших сравнительно-типологических аналогий, или построены на датировке отдельных категорий инвентаря без анализа всех внутренних связей материальной культуры. Ошибочно рассматривать таштыкские древности как отдельное явление, вырывая их из сложной системы предшествующих и последующих культур, представления о преемственных связях которых не могут быть изменены.

С полным историческим основанием таштыкская эпоха называется Л.Р. Кызласовым "Сибирская античность". Познание развившейся на ее основе средневековой цивилизации Южной Сибири обогащено экспедицией изучением культуры чаатас и, главное, открытием и исследованием ранее неведомых средневековых хакасских древностей – тюхтятской (IX–X вв.) и аскизской (вторая половина X–XVII вв.) культур. Носители их, возглавляемые династийным родом Хыргыз (Кыргыз), сыграли чрезвычайно важную роль не только в истории дорусской Сибири, но и, особенно в предмонгольское время, в истории всей лесостепной Евразии – от Восточной Европы до Восточной Сибири. Именно для аскизских памятников впервые в отечественной медиевистике выработана хронологическая шкала, позволяющая датировать захоронения с точностью до четверти века. Трудами экспедиции древности Хакасии были соединены с материалами этнографии – традиционной культурой современного хакасского народа.

Одновременно с работами на Среднем Енисее экспедиция с 1955 г. вела широкое археологическое обследование Тувинской котловины (и именовалась Тувинской или Хакасско-Тувинской). Благодаря целенаправленности и интенсивности работ уже через три года была впервые в науке создана шкала всех древних культур, через пять лет – раннесредневековых, а через девять – всех средневековых культур Тувы. Систематизация и периодизация многообразных археологических источников региона завершилась в 1964 г. характеристикой курганных захоронений тувинцев XIX в. Закрыв до того зияющее белое пятно на исторической карте Южной Сибири, экспедиция продемонстрировала сохранение того уровня высокого профессионального мастерства, который был присущ лучшим представителям археологической науки предшествующего поколения – выделение археологических культур Хакасии было проведено С.А. Теплоуховым за девять лет (1920–1929 гг.). Соединение археологии со сводом письменных свидетельств привело к написанию Л.Р. Кызласовым "Истории Тувы в средние века" (1969). Подобной книги до сих пор нет ни для одного другого региона Сибири.

II. Работы Хакасской экспедиции привели к формированию нового направления исследований – к созданию *этноархеологии*. И хотя экспедицией задолго до возникновения осознанного интереса в других научных коллективах (скажем, в Омске) проводилось изучение этнографических памятников археологическими методами, издавались специальные работы, обосновывающие правомерность такой ученой деятельности и необходимость смыкания археологических материалов с данными этнографии[2], не эта область (вопреки принятому вслед за Западом) понимается докладчиком под термином этноархеология. По нормам русской речи (вслушаемся) этно-археология – это не этнографическая археология (этнографоархеология), как следовало бы именовать названные исследования, а этническая археология, т.е. определение этнической принадлежности конкретного круга древностей. Необходимость такой научной работы легко понять, если взять пример распространенного, но ложного обозначения всех культур раннего железного века Южной Сибири скифскими. Этноархеология, в приведенном истинном значении термина, вырастая в трудах Хакасской экспедиции в отдельное направление нашей науки, в собственно археологической части явилась продолжением традиции В.А. Городцова и, поскольку она немыслима без привлечения письменных источников, С.В. Киселева (воспринявшего историзм второго своего наставника С.В. Бахрушина). Л.Р. Кызласовым уже в 50-е годы впервые в сибирской археологии осуществлено этническое членение одновременных археологических памятников (культур) одной территории: от раннего железного века до средневековья включительно. Методика отработана на древностях Тувы, создана подчиненная ей форма типолого-хронологических таблиц. Этноархеологический подход, признающий сосуществование разных культурных традиций (следовательно, неоднородного по происхождению населения), сменил господствующий до того в сибиреведении эволюционистский принцип осмысления материалов (ср. текст и таблицы шкал С.А. Теплоухова, М.П. Грязнова и других исследователей). Ныне он общепринят, воспринимается как само собою разумеющийся взгляд на материальные остатки любой эпохи. Не забудем, однако, что благодаря ему Хакасской экспедицией выявлены древности целых народов (чиков тюркского и уйгурского периодов, тюрок древнехакасского и средневековых хакасов монгольского этапа истории Южной Сибири и т.п.), до того скрытые за обобщенно подаваемыми культурами господствующих общностей. С другой стороны, этот подход впервые выявил и межэтнические государственные культуры, нивелирующие важные области внешнего быта пестрого по крови и языку населения. Например, в едино воспринимаемых древнетюркских изваяниях впервые были выделены памятники I Тюркского и последующего Уйгурского каганатов. Оба государства приобрели набор отличительных археологических признаков: первое – трупоположения с конём, поминальные оградки и изваяния определенного канона, второе – города характерного облика, могилы с подбоями, изваяния иного типа и отсутствие поминальных оградок. Благодаря Хакасской экспедиции наука уяснила назначение древнетюркских изваяний, изображающих умерших, характер поминальных оградок, содержание термина "балбал" и других понятий. Тот же подход привел к выделению памятников древнехакасских культур. Трудами Хакасской экспедиции археологические материалы впервые становятся источником познания живого общения разных народов прошлого, сложных этногенетических и политических процессов древности и средневековья. Благодаря этноархеологическому подходу могут быть ныне сформулированы новые задачи поиска истоков культуры конкретных раннесредневековых народов или целых языковых семей.

Наибольшее продвижение здесь можно ожидать от привлечения историко-культурной лингвистики – историко-этимологического анализа исконной и заимствованной лексики. Соотнесение данных двух гуманитарных дисциплин (языкознания и этноархеологии) уже проделано Хакасской экспедицией в отношении монголоязычных народов (1975 г.). Ныне оно начато в тюркологии (1996 г.). Получаемые в этой области результаты порождают новый взгляд на сведения письменных источников раннего средневековья.

Другим новым направлением, успешно развиваемым Хакасской экспедицией в продолжение традиций С.В. Киселева стала *городская археология*. Вопреки старым взглядам на извечную для Сибири кочевую стихию, экспедиция обнаружила и с различной полнотой исследовала городские памятники тюргешей и карлуков (VII–IX вв.), 17 городов уйгуров (VIII – первая половина IX вв.), 2 города и ряд каменных крепостей средневековых хакасов (середины VIII–начала XIII в.), 6 городов древних монголов (XIII–XIV вв.). Этим открыт новый этап в истории южносибирской археологии, преимущественно изучавшей погребальные памятники. Опыт городских раскопок (только древнехакасские храмы раскапывались 10 лет) привел к полевому постижению давно известных кольцевых городищ Хакасии II–I вв. до н.э., оказавшихся древнейшими памятниками сырцового кирпичного строительства на Енисее. История архитектуры Южной Сибири насчитывает не менее 22 веков.

[2] Кызласов Л.Р. Роль археологических источников для изучения истории малых народов Сибири // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973 (то же // История СССР. 1975. № 6); Кызласов Л.Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск, 1992. С. 179–187.

Сегодня ясно, что жилые постройки здесь всегда были наземными и деревянными. Такое домостроительство подтверждено раскопками поселений переходного тагарско-таштыкского этапа, таштыкской, тюхтятской и аскизской культур, а другими экспедициями – для эпохи бронзы (афанасьевская, карасукская), а также тагарской и таштыкской культур. Полевое изучение постоянных поселений – первоочередная задача археологии Саяно-Алтая. Поселки не имели укреплений и должны быть отысканы и систематизированы с применением аэросъемки.

Давно высказанная мысль М.П. Грязнова о курганах как остатках особого рода архитектуры воплотилась в систему раскопок, что позволило Хакасской экспедиции впервые установить единицы длины, используемые древними строителями, т.е. заложить основы саяно-алтайской метрологии. Тагарской культуре присуща "метрическая" величина, равная 100 см. Вероятно, она составлена из трижды взятых отрезков по 32.5–33 см каждый – "динлинской стопы", послужившей модулем при сооружении кольцевых I и II Троицких и Знаменского городищ. Архитектурным модулем средневековых зодчих явился "древнехакасский локоть", равный 40 см.

Изучение многочисленных каменных крепостей открыло местную фортификационную школу раннего средневековья – подавляющее большинство их сооружено с соблюдением единых архитектурных норм и применением "древнехакасского локтя". Исследователям, относящим эти объекты к первобытности, предстоит объяснить четыре группы фактов: разновременность сделанных в однотипных сооружениях находок (принадлежащих к афанасьевской, окуневской и карасукской культурам); распространение крепостей в Туве, Монголии, на Горном Алтае и в Прибайкалье, т.е. за пределами той окуневской культуры, с которой они их увязывают; архитектурно-строительное тождество малых (с длиною стен в несколько десятков метров) и огромных крепостей, укрепления которых тянутся от 2 до 25 километров; военное применение якобы не предназначенных для боев сооружений вплоть до XVIII в. Все это вполне объяснимо при учете местной средневековой истории. Увлекаясь предположением о сакральной фортификации эпохи бронзы, раскопщики крепостей прошли мимо сделанного ими действительного открытия – обнаружения нагорных культов и приношений II тыс. до н.э. Много позднее на тех же вершинах были сооружены древнехакасские укрепления.

Раскопки городских центров привели Хакасскую экспедицию к одному из крупнейших открытий в современном востоковедении – к обнаружению и раскопкам серии манихейских храмов и святилищ VIII–XII вв. (1971–1981 гг.). Сомнения в религиозной принадлежности выстроенных из кирпича монументальных культовых зданий устраняются совпадениями археологических и архитектурно-строительных данных со свидетельствами трех независимых наук: истории, эпиграфики и филологии. Только в описанной Марвази, Шахристани и Демишки сабейской архитектурно-планировочной символике получают объяснения все особенности раскопанных сооружений. Среди енисейских рунических надписей ныне выделены 42 текста манихейского содержания, широко встречена и специфическая религиозная лексика. Открыты особые орфографические нормы, отличавшие манихейское письмо рунами, свойственные и ряду енисейских надписей. Существование и официальный статус в Древнехакасском государстве манихейства не только коренным образом изменяет наши знания о духовном развитии раннесредневекового общества, но и объясняет многие особенности культуры, отмеченные наукой у современных народов Южной Сибири и Центральной Азии.

III. Таким образом, исследование городов закономерно породило еще одно направление, впервые археологически разрабатываемое Хакасской экспедицией, – историю мировоззрения и мировых религий. Распределяя открытые памятники по хронологии, получим следующий список открытий: 1) первый и ранний буддийский храм в Средней Азии (Киргизия, Ак-Бешим), конец VII в. (датировка ныне подтверждена итальянкой, изучившей в Японии китайские рукописи); 2) первая несторианская церковь в Средней Азии (Ак-Бешим); 3) первые и едва ли не единственные археологически изученные манихейские храмы (12 объектов, Хакасия, 60-е годы, VIII – рубеж XII–XIII вв.), манихейское кладбище в Семиречье (Ак-Бешим); 4) буддийские храмы XIII–XIV вв. и скальная кумирня этого времени (Тува, Межегей, Дён-Терек, Чаа-Холь); 5) два мусульманских кладбища XIII–XIV вв. (Тува, Элегест, Саадак-Терек); 6) ламаистская кумирня XVII в. (Хакасия, Тутатчиков) и ламаистские памятники тувинцев XVIII–XIX вв.; 7) культовые наскальные рисунки хакасов (среди них – шаманистские по содержанию), археологические проявления поклонения древним изваяниям в XVIII–начале XX в.

Для изучения буддизма экспедицией впервые привлечены письменные источники о существовании средневековых хакасов-буддистов (X в., Дуньхуан), выделена буддийская санскритская лексика в енисейских рунических надписях. Несторианство затронуто публикацией единственной надписи Южной Сибири, выполненной письмом эстрангелло на монете. С выделением енисейских рунических надписей манихейского содержания перед рунологией встает задача вычленения доманихейских текстов ради постижения особенностей предшествующего мировоззрения Саяно-Алтая.

Разработка мировоззренческих основ поклонения горам у хакасов привела к постижению духовного содержания многих категорий древних памятников: курганов, пещерных святилищ, поминальных стел и изваяний.

Заслуги экспедиции в изучении первобытного мировоззрения состоят в открытии восходящих к мезолиту святилищ с изваяниями и менгирами, в постижении их символики, семантики тагарских курганов и таштыкских поминальных стел, в выделении писаниц гунно-сарматского времени. Открыто огнепоклонство для завершающего этапа тагарской культуры (посмертные сожжения в урочище Сыхпа), раскопаны круглые храмы-святилища неведомой религии, относящейся к тагарско-таштыкскому переходному этапу. Уникальны находки погребальных кукол – манекенов в полный человеческий рост и доказательства таштыкской принадлежности наиболее раннего на сегодня наскального изображения шамана с бубном на оз. Тус.

Важнейшим источником постижения особенностей сибирского средневекового общества являются местные рунические надписи – область *эпиграфики*. Экспедицией много сделано для превращения рунологии в науку: постоянно добываются источники – открыто, переведено и опубликовано весьма значительное их число (только в 1994 г. найдено 10 текстов); в исследование памятников на месте привнесены специальные источниковедческие процедуры – методы натуральной прорисовки надписей-граффити (полученные копии используются тюркологами, начиная с С.Е. Малова); проделана палеографическая систематизация надписей Евразии (1990 г.), выявившая ряд самостоятельных рунических алфавитов (для Южной Сибири – енисейского, орхонского и южноенисейского) и их локальные варианты (три разновидности енисейского письма); заложены основы историзма в палеографии (1960 г.) – определены датировка и этническая принадлежность памятников енисейской письменности, в корне изменившая восприятие азиатских надписей филологами; выработаны признаки этнокультурной принадлежности каждого енисейского письменного памятника (с их публикацией будет положен фундамент изучения особенностей раннесредневековых тюркских языков Саяно-Алтайского нагорья). Разработана новая гипотеза происхождения и древнейших особенностей развития азиатской рунической письменности. На очереди обобщение полученных данных и сводное издание письменных памятников.

Важнейшие достижения принадлежат к области южносибирской истории. Хакасской экспедицией впервые собраны и обобщены многочисленные летописные свидетельства о Сибири и Центральной Азии: китайские, персидские, арабские, тюркские, греческие, западноевропейские и русские. По полноте собрание таких сведений по истории Хакасии и Тувы значительно превосходит историографию иных сибирских территорий. Совокупность археологических и исторических данных привела к отказу от готовых умозрительных схем, столь присущих предшествующему сибиреведению и кочевниковедению. Древняя и средневековая Сибирь впервые предстала перед миром как центр исторической активности народов с богатейшей культурой, письменностью, городской цивилизацией, комплексным хозяйством, основанном на бурном развитии металлургии, орошаемого земледелия, скотоводства. Открытые экспедицией древнейшие культурные связи региона (Великий нефритовый путь эпохи бронзы) показывают, что так называемое скифо-сибирское единство и последовавшие за ним гуннское, тюркское, а затем и славянское глобальное распространение были закономерными, но частными случаями постоянно проявляющейся общности евразийского масштаба. Оказалось, что родовой строй в Южной Сибири окончился еще в бронзовом веке, государственность сложилась в конце раннего железного века и уже тогда отличалась космополитизмом знати и разветвленной жреческой культурой. Комплексное хозяйство Тюркского и городская культура Уйгурского каганатов сменили строго продуманное государственно-административное устройство гуннского общества. Важнейшим достижением явилось фактическое открытие Древнехакасского государства – одной из наиболее развитых средневековых стран лесостепной зоны Евразии. Эта мировая держава, возглавлявшаяся династийным родом Кыргыз, – закономерный результат развития саяно-алтайской цивилизации. Она более пяти веков не только объединяла в политическом, экономическом и культурном отношении многочисленные народы Южной Сибири, но и проводила активную внешнюю политику, осуществляя связи со странами Дальнего Востока и Средней Азии. Экспедицией открыты прямые связи Саяно-Алтайского нагорья с Восточной Европой (Волжской Болгарией и Русью), существовавшие задолго до монгольского нашествия. Столетнее сопротивление, оказанное южносибирской страной этому вторжению, имело для нее гибельные последствия, однако ее накопленная экономическая мощь и отлаженная государственная система продолжали определять судьбу Сибири от Оби до Байкала вплоть до включения этих земель в Российское государство в начале XVIII в. Одним из результатов исследований стал впервые разработанный экспедицией проблемный лекционный курс "История культуры тюркоязычных народов в домусульманский период", читаемый с 1991 г. в различных университетах страны.

Докладчик считает, что объективным показателем значительных исследовательских успехов

Хакасской экспедиции является также ее эпигонство, сложившееся в целое внешне солидное направление. И в Европейской, и в Азиатской России возникло немало специалистов по размену любых достоинств на искомые или даже заданные недостатки. Недоброжелатели отличаются методом "трусливой историографии" – умалчивая источник своих знаний, они заменяют термины предшественников и перелагают их открытия и идеи; двигаясь по пятам, они старательно заменяют в библиографиях творческие работы своими многочисленными, но лишенными оригинальных мыслей публикациями.

Коллекции, полученные Хакасской экспедицией при раскопках, стали заметным вкладом в экспозиции местных и центральных музеев России. Экспедицией обучены сотни студентов-историков, подготовлены десятки первоклассных специалистов-археологов, многие из которых стали кандидатами и докторами наук. Особо значима также постоянная и многообразная просветительская деятельность, отличающая Хакасскую экспедицию. Труды экспедиции изданы на 20 языках народов мира.

Д.М. Карачаков (ХакНИИЯЛИ) назвал постоянной отличительной чертой Хакасской экспедиции работу в тесном контакте с Хакасским НИИЯЛИ. Трудами экспедиции во многом обеспечены успехи в изучении древней и средневековой истории Южной Сибири – именно ею предоставлены неоспоримые доказательства того, что эти земли стали важным очагом человеческой цивилизации. И, наконец, во многом благодаря многолетней последовательной работе этой экспедиции хакасский народ восстановил свою историю. Затем в докладе "Некоторые штрихи к портретам ученых-археологов, изучавших Южную Сибирь" он, подчеркивая необходимость осознания индивидуальности в научном творчестве, особо выделил и конкретными примерами обосновал стойкую традицию демократизма, доступности, открытости и особой душевной близости заботам коренного населения, привнесенных в Хакасию чл.-корр. АН СССР С.В. Киселевым. Ее в полной мере продолжил Л.Р. Кызласов, деятельность которого во всем наполнена любовью к родине. Такое поведение далеко не всегда отличает иных специалистов, приезжающих на Енисей из центральных или сибирских учреждений.

В.Е. Майногашева (ХакНИИЯЛИ) в своем выступлении также прежде всего уделила внимание человеческим качествам создателей московской археологической школы сибиреведения. Она особо отметила присутствие силы духа у исследователей школы С.В. Киселева. Энергия и могучий интеллект Л.Р. Кызласова, по ее мнению, привели к тому, что труды Хакасской экспедиции служат примером разрешения многих сложнейших вопросов для ученых, работающих над историей соседних сибирских народов.

О.В. Субракова (ХакНИИЯЛИ) отметила, что другой отличительной чертой Хакасской экспедиции являются постоянные исследования памятников древнетюркской рунической письменности и в докладе "Отношение хакасского языка к языку древнетюркской письменности" на конкретном материале показала возможности решения одного из основных вопросов исторической тюркологии – определения места языка рунических надписей в эволюционном ряду тюркских языков. Обсуждение доклада сосредоточилось на возможности прямого сопоставления современного разговорного языка с литературным письменным языком древности. Следует заметить, что язык рунических памятников уже в ту эпоху мог принадлежать к законсервированной внутри образованной тюркоязычной среды архаичной форме нормированной письменной речи (первоначально, вероятно, сакральной). Эта "древнетюркская латынь", как показывают енисейские надписи, не соответствовала по крайней мере фонетическим особенностям конкретных живых языков Саяно-Алтая VIII–XIII вв.: разговорная речь древних хакасов, например, принадлежала к так называемым мен-диалектам и з-языкам, а речь чиков Тувинской котловины отличало звонкое начало (гадаш вместо кадаш и т.п.).

С.Н. Леонтьев (Минусинский музей) в докладе "Образ мужского божества в мелкой пластике окуневской культуры", основываясь на собственных раскопках, по-новому истолковал одну из разновидностей мелкой пластики, специально рассматривавшейся в исследованиях Хакасской экспедиции в 1956 и 1986 гг. В отличие от предшественников исследователь считает стержневидные изделия, завершающиеся человеческой головкой, мужскими изображениями.

В.В. Горбунов (Музей археологии Алтайского госуниверситета) в обширном, хорошо иллюстрированном докладе "Оборонительное вооружение Лесостепного и Горного Алтая в III–XIV вв." впервые преодолел отличавшую тему былую источниковедческую узость и схематизм подхода и на основании вещественных, изобразительных и, в меньшей мере, письменных источников показал длительную историю доспеха и человека, и коня. Справедлив вывод исследователя о регулярности армии, снаряженной таким образом, и, следовательно, о развитой централизованной власти, существовавшей в Южной Сибири на всем рассмотренном промежутке времени. Дополнительные изыскания, однако, необходимы для уточнения датировки ряда привлекаемых наскальных рисунков: изображения позднего средневековья и нового времени, на наш взгляд, не достаточно явно

отчленяются докладчиком от изображений раннего средневековья.

Б.Б. Дашибалов (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН), начиная доклад "Среднеазиатские купцы в Баргуджин-Токуме", отметил, что первые мусульманские древности, свидетельствующие о пребывании среднеазиатских купцов в Южной Сибири в XIII–XIV вв., были выделены Л.Р. Кызласовым на территории Тувы (кладбища Саадак-Терек и Элегестского городища), Прибайкалья и Забайкалья (Унгинское и Темниковское поселения). Затем, опираясь на материалы все еще не опубликованного Темниковского поселения, докладчик на новых находках надежно обосновал факт более широкого проникновения таких купцов в Забайкалье – среди материалов Баргузинского и Шохтойского поселений представлены и характерная керамика, и типичные светильники-чираги. Особенно интересно, что практически на каждом из степных участков Прибайкалья и Забайкалья ныне обнаружена такая мусульманская колония XIII–XIV вв. Автор убедительно связывает это с государственной организацией торговли в монгольской державе и особой официальной протекцией, оказываемой в ней мусульманскому купечеству.

Т. Бямбадорж (Музей Увс сомона), сделавший подробный "Очерк исследования культурно-исторических памятников на территории Увс сомона", щедро представил в различных иллюстрациях наиболее распространенные виды древностей различных эпох: наскальные рисунки, оленные камни и раннесредневековые изваяния, курганы-керексуры. Мысль докладчика о необходимости изучения тех представлений и обрядов коренного населения, которые связаны с исследуемыми археологией памятниками, несомненно, заслуживает и внимания, и поддержки. Результаты раскопок одного из керексуров, продемонстрированные ученым, по мнению собравшихся, показали наличие в этом древнем памятнике впускного погребения XVIII–XIX вв.

А.А. Тишкин (Алтайский госуниверситет), полагая, что результаты полевых работ последних лет позволяют обсудить "Перспективы изучения монгольского времени на Алтае", представил конференции обзор историографии и состояния источников, а главное, серию захоронений, относимых исследователем к XIII–XIV вв., и предложил методы, облегчающие их распознание и поиски. Обсуждение доклада было направлено на отчленение обрядовых признаков собственно монгольских захоронений, достоверно известных лишь благодаря раскопкам С.В. Киселева в Забайкалье (Окошко), Л.Р. Кызласова в Туве (Чурумал), В.В. Волкова в Монголии (Каракорум) и до сих пор не имеющих подобия на Алтае, от памятников той же эпохи, но оставленных иными народами. К последней категории принадлежат продемонстрированные докладчиком погребения.

С.М. Тотышев (ХакНИИЯЛИ), отметив, что исследования Хакасской экспедиции распространяются и на анализ письменных источников XVII – начала XVIII в., а общественная деятельность затрагивает проблемы сегодняшней Республики Хакасия, посвятил свой доклад теме "Присоединение Хакасии к России и национально-государственное строительство хакасского народа". Выступление носило скорее публицистический характер. Автор справедливо продемонстрировал существование давней традиции Российского государства не принимать во внимание особенностей восприятия родной земли коренным населением Хакасии, приводящей сегодня в процессе активной арендной политики к попранию как исстари почитаемых мест, так и исконных земельных прав жителей в целом. При обсуждении доклада собравшиеся особо подчеркивали необходимость строгой аргументации каждого положения, высказанного от лица науки.

Затем конференция обсуждала новые полевые и методические материалы.

Э.Н. Киргинеков (Хакасский госуниверситет) в докладе "К вопросу об охране памятников Хакасии" изложил принципы восстановления облика разрушенных людьми и временем курганов тагарской культуры. Активное обсуждение вопроса сформировало общее мнение: наука обязана строжайшим образом различать подлинное и имитированное. Водружать упавшие плиты тагарских курганных оград, как и восполнять новыми несохранившиеся следует только в случае чрезвычайной степени разрушения памятника на окраинах или в самих деревнях. Только тогда в воспитательных и культурно-просветительных целях оправдано такое создание макетов в натуральную величину, каковыми на деле будут подобные сооружения. В идеале эти музеефицируемые курганы должны быть изучены раскопками. В остальных случаях своевольное вмешательство в состояние реального древнего памятника, невольное, но неизбежное искажение подлинного археологического источника недопустимо. Реконструкция тагарских курганов предполагает целую программу детального изучения облика их каменных оград и менгиров, исследования техники и приемов их строительства, выявления применявшихся мер и пропорций, особенностей ориентации сооружения, закономерностей размещения переиспользованных древних изваяний и сюжетного своеобразия высекавшихся на плитах рисунков и изображений, тщательной систематизации всех подобных данных, а также поиска каменоломен, поставлявших камень для каждого могильника или объекта и тому подобных изысканий. Особого осмысле-

ния требуют и семантика, и символика тагарского кургана.

Е.Д. Паульс (Институт истории материальной культуры РАН) выступил с обширным по проблематике и тонким по подходу эссе "Изобразительная аллегория в образе пантеры и оленя (ранний железный век)", направленном на осознание опасности привнесения современных воззрений в восприятие смысла древних памятников. Таковые докладчик видит во всех сферах осмысления археологических материалов: от сюжетов декоративно-прикладного искусства до формы курганных сооружений. И хотя многими присутствующими такая позиция была воспринята как чрезмерно скептическая или даже нигилистическая (действительно, конкретные интерпретации должны и могут быть проверены соответствующими источниковедческими процедурами), нельзя не признать общеизвестную ограниченность нашего познания, обусловленную особенностями самого археологического материала. Докладчик приветствовал также включение древних образов в современную национальную символику, использование их в гербах и на флагах. Заметим, однако, что такая процедура должна проводится без спешки и с тщательным соблюдением присущих геральдике законов.

А.А. Тишкин (Алтайский госуниверситет) в докладе "Березовая Лука – памятник рубежа III–начала II тыс. до н.э." познакомил конференцию с интереснейшим памятником протогородской культуры, открытым и широко изучаемым в бассейне р. Алей. Отмечая высокий уровень производимых работ и многосторонность анализа получаемых материалов, следует пожелать автору и его коллегам дальнейших успехов в исследованиях, открывающих совершенно новую и чрезвычайно важную страницу истории Южной Сибири.

В.В. Горбунов (Музей археологии Алтайского госуниверситета) в докладе "Памятники могильника Филин" познакомил с результатами спасательных раскопок курганов сросткинской культуры, содержащих весьма интересные особенности погребальной конструкции и обряда, а также богатый и разнообразный инвентарь. В составе находок из кургана 1 могильника Филин-I присутствуют бронзовые бляхи и наконечники ремней, по нашему мнению, тюхтятской культуры, попавшие на Обь в результате контактов с древними хакасами. Эти изделия позволяют относить захоронение не ко второй половине X – первой половине XI в., как полагает автор работ, а к несколько более раннему времени, – ко второй половине IX–X в.

В.И. Дьяков (Дальневосточный центр палеоэкологии) в докладе "Исследования памятников на реке Петровке (Шитухе)" поделился результатами изучения весьма редкой для Приморья категории древностей – курганных насыпей (памятник Петровка-9), культурную принадлежность которых установить еще предстоит. Второй объект (Петровка-5), раскопанный ученым в настоящем сезоне, также привлек общее внимание: он оказался остатками буддийской кумирни XII в.

Полевой семинар "Особенности изучения древностей Южной Сибири" (30–31 августа, 2–5 сентября) имел цель ознакомить профессиональных археологов различных научно-исследовательских, университетских и музейных центров Сибири, Дальнего Востока и Монголии со всеми категориями древних памятников, существующих на хакасских землях: курганами и грунтовыми захоронениями, пещерными стоянками и открытыми поселениями, глинобитными и каменными крепостями, наскальными рисунками и надписями, менгирами и изваяниями, местами добычи строительного камня и возведенными из кирпича храмами, а также методами их исследования, применяемыми Хакасской экспедицией.

Были продемонстрированы памятники всех археологических эпох: мустье, тазминской (изваяния, переиспользованные на тагарских, тагарско-таштыкских переходных курганах и мавзолеях чаатасов), афанасьевской, окуневской, андроновской, карасукской, тагарской, тагарско-таштыкского переходного этапа, таштыкской, чаатас, тюхтятской и аскизской.

Экскурсии проводились в окрестностях г. Абакан и в двух отдельных направлениях: по долине Енисея и по долине Абакана. Они охватили как Южную (до рек Уйбата и Камышты), так и Северную Хакасию (до Черного Июса). Пройдены маршруты: чаатас и тагарские курганы на оз. Кызыл-куль; крепости и рисунки на горе Куня; Оглахтинская крепость – Оглахтинский могильник, карасукские и тагарские курганы Саргова лога – грот Двухглазка – тагарские курганы на р. Толчея – Копёнский чаатас – рисунки тагарско-таштыкского этапа на курганах по р. Тесь – Большая и Малая Боярские писаницы – Боярская писаница над с. Троицким – кольцевое I Троицкое городище – могильник в логу Мангырном (тагарско-таштыкские курганы с изваяниями, таштыкский грунтовой могильник и склепы, поминальный ряд) – афанасьевский, андроновский и карасукский могильники близ с. Соленоозерного – Сулекская писаница, тамги и рунические надписи – крепости, разновременные рисунки, руническая надпись на г. Озерной – крепость на г. Хызыл-хая на р. Черный Июс – таштыкские писаницы у с. Подкамень; курганы, парные менгиры ("ворота"), рисунки и руническая надпись в Салбыкской степи, Большой Салбыкский курган – тагарская каменоломня в г. Хызыл-хая; тагарский курган Узуноба, рисунки и надписи на его стелах (р. Уйбат) – тагарский Хара-курган, рисунки и руническая над-

пись (р. Уйбат) – Абаканский чаатас – изваяние близ бывшего улуса Кулагашева (р. Абакан) – руины манихейских храмов VIII–XII вв. близ улуса Тутатчикова.

По ходу движения и при ознакомлении с объектами шли интенсивные обсуждения основных проблем полевой археологии и применяемых в ней методов. Особенно горячо обсуждалась проблема охраны и истинно культурного использования древностей. Работа полевого семинара, как и ожидалось, оказалась весьма полезной не только для приезжих археологов, но и для сотрудников Хакасской экспедиции.

Итоги юбилейных мероприятий были подведены на пресс-конференции, участники которой призвали Республику Хакасия максимально беречь и использовать для культурной и научной деятельности свои уникальные древние богатства, имеющие международное значение и давно ставшие классическими для археологической науки. Они должны войти в народное сознание, необходима разработка направленной на это особой государственной программы. Рекомендовано также, используя достижения Хакасской экспедиции, множить квалифицированные археологические кадры и проводить подобные полевые семинары, повышающие уровень знаний участвующих в них археологов-профессионалов.

Четвертым разделом юбилейной программы стало ознакомление участников с экспозицией и археологическими фондами Хакасского республиканского и Минусинского межрайонного краеведческого музеев (30 августа, 6–7 сентября – г. Абакан, 6 сентября г. Минусинск).

Неожиданным и очень приятным оказалось значительное число людей и организаций, содействовавших исследованиям 2000 г. и юбилейным мероприятиям Хакасской археологической экспедиции, – всем им и Правительству Республики Хакасия экспедиция приносит искреннюю благодарность.

И. Л. Кызласов, Л. П. Мылтыгашева

Институт археологии РАН, Москва
Хакасский республиканский краеведческий музей

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 182–183

ХРОНИКА

40-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Новосибирск, 2000)

С 1 по 6 февраля 2000 г. в Новосибирском государственном университете состоялась 40-я, юбилейная, археолого-этнографическая студенческая конференция "Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии". Эти конференции начали проводиться в вузах Сибири и Дальнего Востока с 1960-х гг. для привлечения к научной деятельности студенческой молодежи и для отбора лучших докладов на Всесоюзные археологические студенческие конференции, которые проходили в Московском университете. С первый лет работы региональные студенческие конференции превратились в настоящую школу для студентов, многие из которых стали впоследствии квалифицированными специалистами-археологами, преподавателями и организаторами науки в академических институтах, университетах, пединститутах, музеях и других учреждениях культуры. Среди них академик В.И. Молодин, доктора наук и профессора Ю.Ф. Кирюшин, Н.И. Дроздов, А.Н. Алексеев, М.В. Константинов, В.И. Соболев, В.Е. Медведев, О.В. Дьякова, В.В. Бобров, С.В. Цыб, Н.В. Полосьмак, И.Г. Глушков и многие другие.

В конце 1960 – начале 1970-х гг. НГУ трижды проводил региональную конференцию. В организации 40-й РАЭКСК деятельное участие принимала кафедра археологии и этнографии гуманитарного факультета и лаборатория гуманитарных исследований НГУ, Институт археологии и этнографии СО РАН, совместный сибиреведческий учебно-научный центр НГУ и ИАЭТ СО РАН. В состав оргкомитета были включены академики А.П. Деревянко и В.И. Молодин, Ю.С. Худяков и И.Н. Гемуев, О.И. Новикова и С.Г. Скобелев, С.В. Алкин, А.Ю. Борисенко, Юй Су-Хуа, Т.И. Полищук. Большую помощь в работе оргкомитету оказали многие сотрудники, аспиранты и студенты НГУ, сотрудники и аспиранты ИАЭТ СО РАН. Проекты организации конференции получили поддержку у Института "Открытое Общество" и Российского Гуманитарного Научного Фонда. Это позволило своевременно издать программу и тезисы конференции, обеспечить рассылку приглашений, аренду помещений и оборудования, частично компенсировать участникам конференции расходы на проезд, проживание и питание, организовать культурную программу, бесплатно обеспечить всех участников и каждую делегацию материалами конференции, отметить лучшие доклады вручением книг, дипломов, сформировать сборник материалов из лучших докладов.

В работе конференции приняло участие 243 участника из 50 учреждений из 27 городов России и Казахстана. Из них 81 из Новосибирска и 162 из других городов. В заседаниях участвовали известные специалисты из ИАЭТ СО РАН, Томского, Кемеровского, Алтайского университетов, молодые ученые, аспиранты и студенты из университетов, педуниверситетов, технических университетов, пединститутов, академических институтов, музеев, центров по сохранению историко-культурного наследия из Абакана, Барнаула, Бийска, Благовещенска, Владивостока, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Кургана, Магадана, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Сургута, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинска, Читы, Якутска из России и Актобе, Алматы, Кустаная, Туркестана из Казахстана. На конференцию приехали школьники из Красноярска, Улан-Удэ, Борзи и Нерчинска.

На пленарном заседании в Доме Ученых выступили председатели оргкомитета, д.и.н. *Ю.С. Худяков* и к.и.н. *О.И. Новикова*, ректор НГУ чл.-корр. РАН *Н.С. Диканский*, директор ИАЭТ СО РАН, академик *А.П. Деревянко*, заместитель председателя Президиума СО РАН, академик *В.И. Молодин*. Академик *А.П. Деревянко* сделал научный доклад о проблемах изучения памятников палеолита на Алтае, в Монголии, в Казахстане и Средней Азии. Дальнейшая работа конференции проходила по пяти секциям. Заседания секций открыли доклады известных ученых, ведущих специалистов в области палеолитоведения – *М.В. Константинова* и *М.В. Шунькова*, бронзового века – *В.И. Молодина* и *В.В. Боброва*, раннего железного века – *Ю.С. Худякова*, средневековья – *В.Е. Медведева*, этнографии – *Н.А. Алексеева*. На каждой секции было заслушано по 33–44 доклада.

На секции "Культуры каменного века Северной и Центральной Азии" определилось несколько направлений, которым были посвящены доклады. Среди них реконструкция хозяйственной деятельности и адаптация древнего населения к условиям среди обитания, эволюция культур палеолита и неолита, изучение духовной культуры и искусства. Лучшие доклады на этой секции сделали аспиранты из Института археологии и этнографии СО РАН, Института монголоведения, буддологии

и тибетологии СО РАН, Института истории и археологии Уро РАН; аспиранты и студенты из Дальневосточного, Иркутского, Якутского университетов; Забайкальского, Красноярского педуниверситетов; Нижне-Тагильского пединститута.

На секции "Материальная и духовная культура населения Северной и Центральной Азии в эпоху бронзы" доклады студентов и аспирантов были посвящены проблемам изучения керамики, анализа погребального обряда и планиграфии могильников эпохи бронзы Западной Сибири. Лучшие доклады сделали аспиранты из Института археологии и этнографии СО РАН; аспиранты и студенты из Алтайского, Кемеровского и Новосибирского университетов; Красноярского, Забайкальского педуниверситетов; Сургутского пединститута.

На секции "Материальная и духовная культура населения Северной и Центральной Азии в эпоху раннего железа" основными направлениями были: изучение культур скифского времени и искусства звериного стиля в Южной Сибири, изучение культур раннего железного века в лесостепной и лесной зонах Западной и Средней Сибири, изучение культур хуннского и сяньбийского времени в Забайкалье, Внутренней Монголии и Маньчжурии. Отдельные доклады были посвящены историографии археологической науки в Сибири, анализу трудов немецких ученых XVIII века, исследовавших сибирские древности. Лучшие доклады сделали аспиранты из Института археологии и этнографии СО РАН; аспиранты и студенты из Алтайского, Новосибирского, Томского, Тюменского, Хакасского университетов, Забайкальского педуниверситета.

На секции "Средневековая археология и проблемы этно- и культурогенеза Азии" основным направлением было изучение памятников, относящихся к периоду развитого средневековья. Период позднего средневековья был освещен в докладах в меньшей степени. Большинство докладов носило информационный характер. Выступлений, в которых затрагивались проблемы реконструкции средневековых обществ, процессов этнокультурогенеза, анализировался большой массив источников, было немного. Секция сформулировала по итогам своей работы несколько рекомендаций. В их числе предложено при подготовке специалистов по археологии расширить тематику с включением периода позднего средневековья, а при отборе докладов на РАЭСК отдавать предпочтение докладам обобщающего, интерпретационного характера. Лучшие доклады сделали аспиранты и студенты Алтайского, Актюбинского, Бурятского, Омского, Новосибирского, Томского, Якутского университетов; Красноярского и Новосибирского педуниверситетов; Восточно-Сибирского технического университета.

На секции "Этнографическое изучение традиционных культур Сибири и Дальнего Востока. Проблемы сохранения культуры русского населения Сибири и взаимодействия культур региона" большая часть докладов была посвящена этнографии коренных народов, изучению шаманизма, традиционной материальной культуре русских старожилов. Лучшие доклады сделали аспиранты Института археологии и этнографии СО РАН; молодые научные сотрудники Омского историко-краеведческого музея; аспиранты и студенты Кемеровского, Новосибирского, Хакасского университетов; Барнаульского, Красноярского педуниверситетов; Читинского технического университета; Бийского пединститута; Восточно-Сибирской академии культуры и искусства.

На конференции состоялся круглый стол "Преподавание археологии и этнографии в вузах, методология и методика изучения и сохранения культурного наследия", на котором выступили представители Новосибирского и Якутского университетов, Красноярского педуниверситета, Восточно-Сибирской академии культуры и искусства. На заключительном пленарном заседании авторам лучших докладов и представителям делегаций были вручены дипломы и книги. В ходе обсуждения было предложено провести следующую конференцию в Барнауле. Представителям Алтайского университета был вручен переходящий кубок РАЭСК.

40-я РАЭСК стала заметным событием в научной жизни студентов, аспирантов и молодых ученых. Она продемонстрировала устойчивый интерес среди молодежи к изучению древней истории и культуры региона Северной Азии, высокий уровень большинства докладов. Наиболее высокую подготовку продемонстрировали докладчики из ИАЭТ СО РАН, НГУ, АГУ, КГПУ, ЗабГПУ, ТГУ. Участие студентов в научной деятельности по археологии и этнографии существенным образом повышает действенность учебного процесса в вузах и способствует развитию научных исследований.

Конференция оставила у большинства участников самое благоприятное впечатление. Все разъезжались с надеждой на встречу в Барнауле в следующем году.

Новосибирский государственный университет
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск

А.Ю. Борисенко
Ю.С. Худяков

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 184–187

ХРОНИКА

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ ГОРБУНОВОЙ (1927–2000)



11 сентября 2000 г. в Санкт-Петербурге скончалась известная исследовательница древностей Средней Азии, заведующая сектором лесной и лесостепной зоны Восточной Европы Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук Наталья Григорьевна Горбунова. Человек яркий, с многогранными интересами, она посвятила свою жизнь служению археологии. Наталья Григорьевна была предана интересам Эрмитажа, в котором трудилась на протяжении многих десятилетий, вплоть до последнего дня.

Наталья Григорьевна Горбунова (Кершнер–Горбунова) родилась 2 марта 1927 г. в Ленинграде. Рано потеряв родителей (отец умер в блокаду, мать – вскоре после окончания войны), она испытала на себе все житейские тяготы тех лет.

Еще в эвакуации в Ташкенте в 1943 г., следуя семейной традиции (мать – музыковед), она поступила в музыкальный техникум при Ленинградской консерватории и продолжала учиться в нем после возвращения в Ленинград. Одновременно с занятиями в техникуме она училась и в общеобразовательной школе.

Со временем неодолимая тяга к историческим дисциплинам, особенно к древней истории Средней Азии, которой она увлеклась еще в Ташкенте, победила. Окончив три курса техникума, она оставляет его и в 1946 г. поступает на исторический факультет Ленинградского государственного университета, где на кафедре археологии специализируется по древней истории Средней Азии. Ее учителем и руководителем был выдающийся историк-востоковед и археолог А.Н. Бернштам. Наталья Григорьевна постоянно участвует в руководимых им экспедициях – Памиро-Алайской, Тяньшанской, Памиро-Ферганской.

В 1951 г., окончив университет, Н.Г. Горбунова уезжает в г. Фергану и работает в областном краеведческом музее в должности заместителя директора по научной части, занимается научной обработкой фондов, созданием новых экспозиций, ведет обширную научно-просветительскую работу. С этого же времени начались ее самостоятельные раскопки в Ферганской долине, которые продолжались на протяжении почти трех десятков лет.

С ее поколением археологов связан переход от разведывательных раскопок, которые вели пионеры исследования Ферганы Т.Г. Оболдуева, Б.А. Латынин, А.Н. Бернштам, к планомерному изучению могильников и особенно поселений. Археология Ферганы начиналась в основном с изучения погребальных памятников, поэтому их поиски становятся для Натальи Григорьевны первоочередной задачей. В результате на юге долины ею самостоятельно и совместно с другими археологами было раскопано несколько могильников, что заложило основу будущих исследований в этой области. С годами у нее все больше проявляется интерес к памятникам земледельцев. Она раскопала целую серию укрепленных поселений первых веков н.э. В результате этих исследований был получен яркий и разнообразный материал, характеризующий высокую культуру древнего населения Ферганы.

Уже с первых шагов Н.Г. Горбунова стремилась исследовать памятник целиком, подходя к каждому из них как к комплексному источнику. Больше всего ее привлекало изучение эпохи раннего железа, но тематика ее полевых археологических исследований оказалась значительно шире – от эпохи бронзы до раннего средневековья включительно, что и нашло отражение в ее научных статьях.

Очень важной и знаменательной для Натальи Григорьевны стала встреча с Б.А. Латыниным в 1956 г., когда он смог приехать в Фергану после

арестов и длительных ссылок. Знакомство с ним во многом определило ее дальнейшую судьбу. На всю жизнь он стал для нее наставником и старшим другом. По его настоянию Н.Г. Горбунова возвращается в Ленинград и в 1957 г. поступает в аспирантуру Эрмитажа. Ее научным руководителем становится М.П. Грязнов, у которого она прошла прекрасную школу полевых исследований.

В 1961 г. состоялась защита ее кандидатской диссертации "Культура Ферганы в эпоху раннего железа", написанной главным образом на добытых ею самой материалах. В ней впервые дана обобщенная характеристика ферганских поселенческих и погребальных комплексов VI–IV вв. до н.э. и предложено их хронологическое членение. Многие положения диссертации явились отправными моментами дальнейших исследований. В частности, весь круг вопросов, связанных с изучением красноангобированной керамики, найдет воплощение во многих статьях Н.Г. Горбуновой, посвященных обстоятельным разработкам ее типологии и хронологии.

В 1961 г. Наталья Григорьевна была зачислена в штат научных сотрудников Эрмитажа и с этих пор прочно связала с ним свою жизнь. Эрмитаж был для нее не просто музеем, в котором она работала, а поистине родным домом, в котором жила. В музейном деле для нее не существовало большого и малого, все было одинаково значимым. Она постоянно заботилась о нуждах не только собственного археологического отдела, но и других подразделений музея. Все касалось ее лично, во всем она принимала деятельное участие. Занимая на протяжении многих десятков лет различные административные и общественные посты, она знала всех и все знали ее, знали, к кому можно обратиться за помощью. Эрмитаж по достоинству оценивал ее труд, она имела много наград, но последнюю – орден Почета – ей вручить уже не успели.

Н.Г. Горбуновой удавалось успешно совмещать музейную работу с полевыми исследованиями. Каждый год она вела раскопки в Фергане, открывала новые поселения и могильники, расширяла и углубляла базу археологических источников. В отношении к материалам, полученным в результате раскопок, в полной мере проявилось так свойственное ей чувство долга. Она принадлежит к числу немногих археологов, которые сумели опубликовать практически все раскопанные ими памятники.

В изучаемых древностях железного века Н.Г. Горбунова выделила две культуры – эйлатанско-актамскую (VI в. до н.э. – II в. н.э.) и кугайско-карабулакскую (II–VI вв. н.э.) и наметила этапы их развития. Она неоднократно уточняла собственную хронологическую шкалу и с этой целью уделяла большое внимание изучению различных категорий вещей: перстней, наконечников стрел, зеркал и т.д.

Итоги обобщающих исследований Ферганы, охватывающие значительный период с VI в. до н.э. по VI в. н.э. включительно, изложены ею в монографии "The Culture of Ancient Ferghana", опубликованной в Великобритании в 1986 г. В этом труде удачно сочетаются широта охвата материалов, историчность интерпретации и публикационная документальность. По всем затронутым в монографии вопросам она имела возможность опираться прежде всего на собственные полевые и камеральные разработки.

Н.Г. Горбунова постоянно интересовалась контактами оседлого земледельческого населения Ферганской долины со скотоводами, изучая их проявления с начала сакской эпохи. В последнее десятилетие своей жизни она активно включилась в разработку проблемы связей среднеазиатских скотоводов с сарматами, причем оригинальность ее подхода выразилась в привлечении этнографических данных по сезонным перекочевкам, в значительной степени определенных физической географией регионов. К сожалению, ее большая работа на эту тему – "Скотоводы Бактрии, Согда и Центральных Кызылкумов" – теперь уже будет опубликована посмертно. В общей сложности ею было написано более 130 работ и некоторые из них еще находятся в печати.

В горячей и страстной душе Натальи Григорьевны удивительным образом переплетались твердость жизненной позиции с мягкостью по отношению к друзьям, к коллегам и просто к людям, идущим к ней за поддержкой. Умная, ироничная, с тонким юмором и острым языком, она обладала редким даром сопереживания, умением проникнуть в чужую боль, чтобы попытаться если не снять, то хотя бы облегчить ее.

Одной из основных черт, определявших ее человеческую сущность, было постоянное стремление к борьбе за справедливость. Всегда прямо и открыто она выражала свое несогласие, не разбирая "чинов и званий", упорно добивалась отмены неправедных решений. Это не раз негативно отражалось на карьере, но ничто не могло ее остановить.

Жизнь не баловала Наталью Григорьевну, но, как обычно и бывает в таких случаях, наградила стойкостью и мужеством. Эти качества много раз выручали ее в трудных ситуациях, но более всего пригодились в последние годы, когда долгая тяжелая болезнь отнимала ее силы, но не могла до конца сломить, оторвать от любимых дел.

СПИСОК ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н.Г. ГОРБУНОВОЙ

1. Ак-Тамский могильник // КСИИМК. 1957. Вып. 69. С. 78–90. Ил. (в соавт. с Б.З. Гамбургом).

2. Археологические работы Ферганского обл. краеведческого музея в 1953–1954 гг. (Краткий отчет) // ИМКУз. 1959. Вып. 1. С. 5–21. Ил. (в соавт. с Б.З. Гамбургом).
3. Культура Ферганы в эпоху раннего железа. Автореферат дис.... канд. ист. наук. Л., 1961. 16 с.
4. Кунгайский могильник // АСГЭ. 1961. Вып. 3. С. 171–194. Ил.
5. Археологические работы в Фергане // СГЭ. 1962. Вып. 22. С. 59. Ил.
6. К истории Ферганы в эпоху раннего железа (По материалам Ак-Тамского и др. могильников) // СА. 1962. № 4. С. 37–48. Ил.
7. Культура Ферганы в эпоху раннего железа // АСГЭ. 1962. Вып. 5. С. 91–122. Ил.
8. О датировке ферганской керамики с красным ангобом // Проблемы археологии Средней Азии. Л., 1968. С. 39, 40.
9. Фергана в эпоху Кушанского государства (В связи с вопросом о его границах) // Тез. докл. совещания сов. учен. (Междунар. конф. по истории, археологии и культуре Центр. Азии в кушанскую эпоху). М., 1968. С. 13–15.
10. Суфанский могильник // АСГЭ. 1969. Вып. 11. С. 72–91. Ил.
11. О датировке ферганской керамики с красным ангобом // КСИА. 1970. Вып. 122. С. 81–85. Ил.
12. О локальных особенностях в культуре древней Ферганы // СА. 1970. № 1. С. 77–86. Карты.
13. Ferghana in the time of the Kuschan Kingdom (The question of its borders) // Kuschan Studies in USSR. Calcutta, 1970.
14. Некоторые вопросы хронологии ферганской керамики с красным ангобом // АСГЭ. 1971. Вып. 13. С. 73–93. Ил.
15. Сым-Тепе – поселение в Фергане // АСГЭ. 1974. № 16. С. 95–104. Ил. (в соавт. с В.И. Козенковой).
16. Раскопки курганов в Ферганской обл. // УСА. 1975. Вып. 3. С. 29–33. Ил. Библиогр.: С. 32, 33.
17. Фергана в кушанское время // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. 2. М., 1975. С. 50–55. Карты.
18. Фергана по сведениям античных авторов // История и культура народов Средней Азии: Древность и средние века. М., 1976. С. 26–30. Библиогр.: С. 29, 30.
19. К вопросу о датировке комплексов с шурабашатской керамикой в Восточной Фергане // АСГЭ. 1977. Вып. 18. С. 52–56.
20. Поселения Ферганы первых веков нашей эры: Некоторые итоги исследований // СА. 1977. № 3. С. 107–120. Ил. Карты.
21. Итоги исследования археологических памятников Ферганской области (к истории культуры Ферганы) // СА. 1979. № 3. С. 16–34. Ил. Карты.
22. Керамика поселений Ферганы первых веков н.э. // ТГЭ. 1979. Т. 20. С. 114–116. Ил.
23. О раннесредневековой керамике Ферганы // УСА. 1979. Вып. 4. С. 67–71. Ил.
24. Бронзовые зеркала кугайско-карабулакской культуры: К вопросу о культурных связях Ферганы II в. до н.э. – VI в. н.э. // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье. Тез. докл. конференции. М., 1981. С. 40, 41.
25. Древний ферганский косметический прибор // Культура и искусство Хорезма. М., 1981. С. 178–183. Ил.
26. О типах ферганских погребальных памятников первой половины I тыс. н.э. // АСГЭ. 1981. Вып. 22. С. 84–99. Ил.
27. Дамкульский могильник в Фергане // Древние памятники культуры на территории СССР. Л., 1982. С. 78–92. Ил.
28. Женские украшения кугайско-карабулакской культуры Ферганы // Культура и искусство Киргизии. Тез. докл. Всесоюзной науч. конф. Вып. 1. Л., 1983. С. 55, 56.
29. Кугайско-карабулакская культура Ферганы // СА. 1983. № 3. С. 23–46. Ил. Карты. Библиогр.: С. 45, 46.
30. Об одной группе ферганских перстней // СГЭ. 1983. Вып. 48. С. 26–28. Ил.
31. Основные этапы развития культур древней Ферганы // ИБ МАИКЦА. 1983. Вып. 5. С. 34–42. Ил.
32. Железные наконечники стрел из Ферганы // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 28–36. Ил. (в соавт. с Г.А. Брыкиной).
33. Некоторые особенности формирования древних культур Ферганы // АСГЭ. 1984. Вып. 25. С. 99–107. Ил.
34. Памятники Керкидонской группы в Южной Фергане // АСГЭ. 1985. Вып. 26. С. 45–70. Ил.
35. Зортепинский могильник в Фергане // Древние памятники культуры на территории СССР. Л., 1986. С. 76–86. Ил.
36. The culture of ancient Ferghana VI centuty B.C. – VI century A.D. // BAR. Intern. Ser. 1986. № 281. 365 p. Bibliolgr.: P. 216–246. Il. Map.
37. Памятники Керкидонской группы в Южной Фергане (Мыкты-Курган и Чун-Тепе) // АСГЭ. 1987. Вып. 28. С. 71–102. Ил.
38. Монеты ушу из могильников Ферганы // СГЭ. 1988. Вып. 53. С. 45–50. Ил. (в соавт. с Н.В. Ивочкиной).
39. Поселение Арал-Тепе // АСГЭ. 1988. Вып. 29. С. 82–96. Ил. (в соавт. с Т.Г. Оболдуевой).
40. К вопросу о древних скотоводах Южной Ферганы // Итоги работ археологических экспедиций Гос. Эрмитажа. Л., 1989. С. 80–88. Карты.
41. Бронзовые зеркала кугайско-карабулакской культуры Ферганы // Культурные связи народов Средней Азии и Кавказа: Древность и средневековье. М., 1990. С. 45–50. Ил.
42. Роль традиционных путей передвижения скотоводческих племен и сезонных перекочевок в сложении торговых путей древности // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. Тез. докл. Ташкент, 1990. С. 33–35.
43. Ферганский могильник Хангиз I // СА. 1990. № 1. С. 178–198. Ил.
44. Могильник Хангиз II в Фергане // АСГЭ. 1991. Вып. 31. С. 107–120. Ил.
45. О подбойно-катакомбных погребениях ранних кочевников Средней Азии: Конец I тыс. до н.э. – первая пол. I тыс. н.э. // СА. 1991. № 3. С. 20–30. Карты.

46. Сарматы и скотоводы Средней Азии: Состояние проблемы соотношения культур // Археологические культуры Евразии и проблемы их интерпретации. Тез. докл. науч. конференции. СПб., 1991. С. 18–21.

47. Строительная техника Древней Ферганы // Древние памятники культуры на территории СССР. СПб., 1991. С. 31–48. Ил.

48. К вопросу о связях ферганцев с сарматами Южного Приуралья // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. докл. СПб., 1992. С. 191, 192.

49. Общие сведения о ранних кочевниках Средней Азии и их группировках // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 13–21 (в соавт. с А.М. Мандельштамом).

50. The early cattle breading tribes of Central Asia in the first half of the I millennium A.D.: The present state of the problem / University of Southern California. Los Angeles, 1992.

51. Traditional monument of nomadic pastoralists and the role of seasonal migration in the formation of ancient trade routes in Central Asia // Silk Road art and archaeology. The Institute of Silk Road Studies. Kamakura (Japan), 1993/94. № 3. P. 1–10.

52. Поселение Арк-Тепе в Южной Фергане // РА. 1994. № 4. С. 191–206. Ил.

53. Скотоводы Бактрии и Согда и сарматы // Проблемы истории и культуры сарматов. Тез. докл. междунар. конференции. Волгоград, 1994. С. 59–61.

54. О культуре степной бронзы Ферганы // АСГЭ. 1995. Вып. 32. С. 13–30. Ил.

55. Древние связи скотоводов Ферганы и соседних территорий // Краеведение Ферганы. Фергана, 1996. С. 138–150.

56. Женские украшения кугайско-карабулакской культуры Ферганы // Древний и средневековый Кыргызстан. Бишкек, 1996. С. 77–92. Ил. Карты. Библиогр.: С. 90–92.

57. Некоторые данные о культах населения древней Ферганы // Верования и культы домусульманской Средней Азии. Тез. докл. М., 1997. С. 25–27.

58. Культура скотоводов в среднеазиатском междуречье // История таджикского народа. Т. 1. Шунабе [Тегеран], 1998. С. 459–463.

59. Погребальные каменные постройки юго-западной Ферганы // АСГЭ. 1998. Вып. 33. С. 90–109. Ил.

60. Ранние саки Центральной (Средней) Азии // Древние цивилизации Евразии. История и культура. Тез. докл. междунар. науч. конференции. М., 1998. С. 36–39.

61. Талмазарский и Урюкзорский могильники в Фергане // АСГЭ. 1999. Вып. 34. С. 115–133. Ил.

62. О вооружении среднеазиатских скотоводов (II (III ?) в. до н.э. – V в. н.э.) // РА. 2000. № 2. С. 40–51. Ил. Карты.

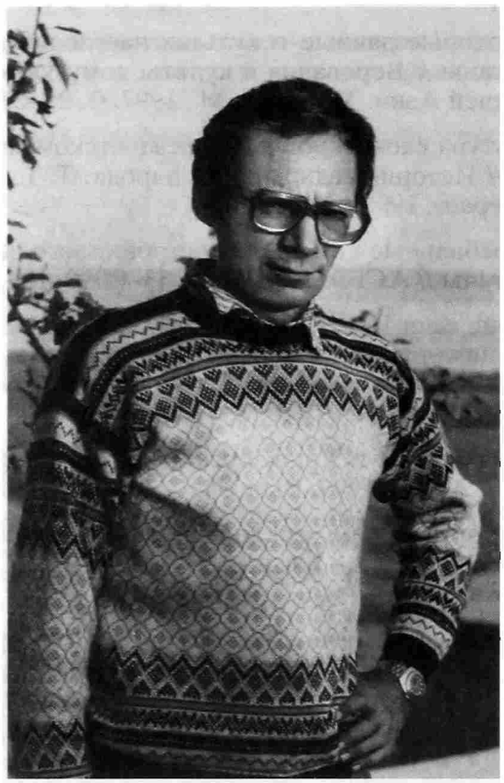
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург
Институт археологии РАН,
Москва

Б.И. Маршак
Н.К. Качалова
Г.А. Брыкина
В.И. Козенкова

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 188–189

ХРОНИКА

ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА ДОЛГОРУКОВА (1940–2001)



8 января 2001 г. трагически оборвалась жизнь Владислава Серафимовича Долгорукова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела классической археологии Института археологии РАН.

В.С. Долгоруков родился 8 июля 1940 г. в Москве в семье военного. В 1958 г. он закончил среднюю школу и поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1963 г. по специальности археология. С 1964 г. В.С. Долгоруков работал в Государственном историческом музее в должности научного сотрудника в отделе научной пропаганды, где он отточил свое лекторское мастерство настолько, что его экскурсии были одинаково понятны и интересны людям разного возраста и профессий. В 1966 г. поступает в аспирантуру Института археологии АН СССР, по окончании которой в 1969 г. зачислен на должность младшего научного сотрудника в сектор античной археологии Института.

В 1970 г. им была блестяще защищена кандидатская диссертация по теме "История эллинского градостроительства".

Свои полевые изыскания В.С. Долгоруков начал с первого курса университета в Таманской археологической экспедиции. Именно эта экспедиция стала смыслом его жизни и научной деятельности.

С 1970 г. становится заместителем начальника Фанагорийской экспедиции, а с 1975 г. возглавляет ее до 1991 г. С 1972 по 1975 г. принимал участие в совместной Советско-Афганской археологической экспедиции АН СССР, куда он был направлен как опытный и знающий полевой исследователь.

За время его руководства Фанагорийской экспедицией увеличилась исследуемая площадь городища и некрополь, кроме того, организовывались выездные отряды с целью поиска близлежащих памятников, расположенных на хоре Фанагории. По количеству и масштабности раскопок В.С. Долгорукого можно без преувеличения назвать крупнейшим исследователем этого памятника, благодаря чему выявилась цельная картина планирования и застройки города и этнический состав его населения. Приняв эстафету от своих учителей – Н.И. Сокольского и М.М. Кобылиной, он передал ее дальше, сохраняя преемственность поколений. Многие археологи, продолжая полевые исследования, опираются на школу Фанагорийской экспедиции.

Накопленный за годы исследования Фанагории археологический материал дает источниковедческую базу для многопрофильного изучения истории Фанагории.

Человеческое обаяние Владислава Серафимовича, его коммуникабельность и дар рассказчика помогли ему войти в контакт с местным руководством и населением, что позволило наладить успешную работу экспедиции.

Своего начальника мы за глаза называли "Слава". Фанагорийская экспедиция славилась во всем Северном Причерноморье. Фигура начальника экспедиции была настолько значима, что большинство фольклора, сложенного ее участниками, так или иначе касалось В.С. Долгорукого. Большое количество простых людей, в разное время работавших в Фанагории, вспоминают о времени, проведенном там, с большой любовью. Всех потрясла весть о том, что ушел из жизни человек, с которым были связаны их самые теплые воспоминания о совместной работе в Фанагорийской экспедиции.

Экспедиция начала 80-х годов продолжалась полгода. В поле В.С. Долгоруков узнал о рождении своего сына. В его отсутствие ушел из жизни отец.

Помимо основной научной работы В.С. Долгоруков проводил большую работу по популяризации античной археологии. Постоянно руководил детским археологическим кружком в г. Троицк и на базе одной из московских гимназий. В поле он постоянно проводил разъяснительную работу среди населения.

Коллеги и друзья запомнят его веселым, остроумным, человеком большой эрудиции и таланта. Нам всегда будет его не хватать.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ДОЛГОРУКОГО В.С.

1. Позднеантичное поселение на городище Батарейка // КСИА. 1967. Вып. 109.
2. Северопонтийские античные военные механизмы // Сб. докладов на IX–X Всесоюзной студенческой конференции. М., 1968.
3. Эллинистическая агора // СА. 1969. № 2.
4. История эллинского градостроительного искусства VIII–II вв. до н.э. Автореферат дис.... канд. ист. наук. М., 1970.
5. Раскопки в западной части Фанагории // Тез. докл. на археологич. сессии. М., 1971.
6. О работах Таманской археологической экспедиции // АО–1970. 1971 (в соавт. с Сокольским Н.И., Сорокиной Н.П., Стручалиной Р.А.).
7. Научная конференция памяти Б.В. Фармаковского // СА. 1971. № 4 (в соавт. с Цветаевой Г.А.).
8. Фанагорийская винодельня I–II вв. н.э. // АО–1971. 1972.
9. Раскопки Фанагории // АО–1973. 1974.
10. Охранные работы Фанагорийской экспедиции в 1974 г. // АО–1974. 1975.
11. Исследования береговой части Фанагории в 1971–1972 гг. // КСИА. 1975. Вып. 143.
12. Фанагорийская винодельня I–II вв. н.э. // КСИА. 1976. Вып. 145.
13. Градостроительный план Фурий // История и культура античного мира. М., 1977.
14. Раскопки Фанагории в 1976 г. // АО–1976. 1977.
15. Раскопки Фанагории в 1977 г. // АО–1977. 1978.
16. Этапы существования оборонительных сооружений // Тез. докл. на конференции "Античная культура Средней Азии и Казахстана". Самарканд, 1978.
17. Оборонительные сооружения Дильберджина // Древняя Бактрия. Вып. 3. М., 1984.
18. Укрепление раннегреческого города // Археология старого и нового света. М., 1982.
19. Литейная форма из Фанагории // Проблемы античной культуры. М., 1986.
20. Исследование Фанагории // Комсомолец Кубани. 1984.
21. Раскопки в Фанагории // АО–1983. 1984.
22. Раскопки в Фанагории // АО–1984. 1985.
23. Некоторые вопросы истории и топографии древней Фанагории // Тез. докл. III чтений, посвященных памяти профессора В.Д. Блаватского М., 1989.
24. Новые данные о строительных комплексах Фанагории (совместно с А.Б. Колесниковым) // Тез. докл. III чтений, посвященных памяти профессора В.Д. Блаватского. М., 1989.
25. Раскопки Фанагории в 1986–1988 гг. // Тез. докл. конфер. "Археологические исследования на Кубани". Краснодар, 1989.
26. Некоторые вопросы истории и топографии древней Фанагории // КСИА. 1990. Вып. 179.
27. Охранные раскопки на современном этапе // Тез. докл. конфер. "Работы новостроичных и охранных экспедиций". М., 1990.
28. Фанагория во второй половине VI–V вв. до н.э. // Археология и история Боспора. М., 1992.
29. Новый тип греческого дома // СА. 1993. № 1 (в соавт. с Колесниковым А.Б.).

Группа товарищей

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2001, № 3, с. 190–192

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал "Российская археология" публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологические материалы, представляющие большой интерес, критические статьи и рецензии на новые публикации по археологии.

Направляемые в журнал материалы должны быть оформлены в соответствии с правилами, принятыми в журнале.

1. Содержание рукописи должно соответствовать тематике журнала, относясь к одному из разделов: статьи, публикации, дискуссии, история науки, критика и библиография, хроника. Иные материалы (письма в редакцию, заявления и пр.) публикуются только по специальному решению редакции и редсовета.

2. Рукопись представляется в 2-х экземплярах, набранных на компьютере с соответствующим шрифтом (рекомендуется Times New Roman Cyr.) и размером (14-й кегль) и распечатанных на принтере (класса LQ-100 и выше) на белой бумаге (формат 290 × 210) с одной стороны листа. К тексту рукописи прилагается дискета. В виде исключения в течение всего 2001 г. будут приниматься статьи, отпечатанные на стандартной пишущей машинке. Текст должен занимать 29–30 строк на странице. Поля вокруг текста должны быть: слева от текста – 25 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 25 мм. Материалы, напечатанные на портативной машинке либо принтере мелким, курсивным либо иным другим шрифтом, редакцией не принимаются. Не допускаются поправки от руки в тексте статьи. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы подряд, включая список литературы, подрисуночные подписи и резюме.

3. Присылаемые для публикации материалы должны состоять из: основного текста, списка литературы, списка подрисуночных подписей, резюме, списка сокращений, иллюстраций (если они необходимы), сведений об авторах. Резюме обязательно только для материалов, проходящих по разделам статьи, публикации, дискуссии. Все указанные части рукописи должны начинаться с новой страницы.

4. Начало статьи оформляется по образцу: название, автор(ы), полное название учреждений, в которых выполнялось исследование. Например:

ПРИРОДНАЯ СРЕДА ВЕРХОВЬЕВ ХАБУРА

Ш. Н. Амиров

Институт археологии РАН, Москва

5. Общий объем представляемой рукописи не должен превышать 20 машинописных страниц и 8 иллюстраций; для раздела "Заметки" – не более 8 страниц и не более 3 иллюстраций. В объем рукописи включается: основной текст, список литературы, список подрисуночных подписей, резюме, цифровые (математические, статистические и другие не рисованные) таблицы.

6. Все буквенные обозначения должны быть набраны на компьютере (или впечатаны на машинке с латинским шрифтом, или вписаны от руки черными чернилами или тушью разборчиво и крупно).

Необходимо:

– прописные и строчные буквы всех алфавитов, имеющие одинаковое начертание, подчеркивать простым карандашом: большие – двумя чертами снизу (например, S, P), маленькие – двумя чертами сверху (например, s, p);

– буквы греческого алфавита подчеркивать красным карандашом, готические – синим; эти буквы выносятся на поля и поясняются (например, (кси));

– для похожих по начертанию букв, если они вписаны от руки, давать пояснения простым карандашом на полях (например, е (не эль); l (эль)).

7. Рисунки и чертежи должны быть представлены в двух экземплярах. Оформление буквенных обозначений на рисунках – см. пункт 5. Каждый рисунок представляется на отдельном листе вычерченным тушью на ватмане (кальке) либо отпечатанным на лазерном принтере, а также в виде четких фоторепродукций (ксерокопии не до-

пускаются). Фотографии представляются только глянцевые в 2-х экземплярах каждая. Наклеивать фотографии на бумагу или картон не разрешается. На оригиналах иллюстраций с неясной ориентацией необходимо написать "верх" или "низ". Размер авторских оригиналов иллюстраций должен быть в полтора–два раза больше размера иллюстраций в журнале. Следует максимально сокращать пояснения на рисунке, переводя их в подрисуночные подписи. В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все условные обозначения на иллюстрации. Необходимо тщательно следить за точным соответствием обозначений и нумерации в тексте, подрисуночных подписях и на рисунках.

Иллюстрации должны быть пронумерованы в соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. Для всех видов иллюстраций дается общая нумерация. Фрагменты (части 1, 2; а, б) одного рисунка должны быть обязательно скомпонованы с учетом их последующего уменьшения в журнале. Нескомпонованные части рисунка будут считаться самостоятельными рисунками при подсчете общего количества иллюстраций к статье. На обороте каждой иллюстрации мягким карандашом следует написать фамилию автора, название статьи и номер рисунка.

8. Подписи к рисункам даются на отдельном листе (см. пункт 3). В тексте нужно обозначить на полях место, где должен быть заверстан рисунок.

9. Таблицы, напечатанные на отдельных страницах, подкладываются по тексту при первом упоминании о них. Они должны иметь тематический заголовок и номер. Текст заголовка в таблицах пишется кратко, все слова даются без сокращений. Диагональные линейки в головке не допускаются. Колонки должны отделяться вертикальными линиями и нумероваться только в тех случаях, когда на них даются ссылки в тексте (но не для замены головки при переходе таблицы на следующую страницу).

10. Текстовые пояснения (сноски) даются через два интервала внизу на соответствующей странице под цифрой; нумерация сквозная: 1, 2...

11. В тексте статьи в круглых скобках указывается фамилия автора цитируемой работы (без инициалов, за исключением работ однофамильцев) или сокращенное название (если издание автора не имеет), через запятую – год издания работы, далее – через точки (если есть необходимость) – страница (С.), рисунок (Рис.), таблица (Табл.) и т.д. Если работа имеет двух авторов, указываются фамилии обоих, если более двух – указывается фамилия первого автора и сокращение "и др.".

12. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. Названия отчетов о полевых исследованиях включаются в соответствующую часть. За фамилией и инициалами автора указывается название работы и выходные данные: место, год издания. Если указываемая работа опубликована в сборнике статей, журнале или ином периодическом издании, то от их названия она отделяется двумя косыми чертами. Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. При ссылке на разные работы одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке русского алфавита. Если число авторов работы превышает три, то даются фамилии трех первых авторов и сокращение "и др.".

Источником библиографического описания является титульный лист издания.

Мелюкова А.И. Вооружение скифов // САИ. 1964. Вып. Д1–4.

Псковские летописи. Т. 1. М.; Л., 1941.

Смирнов К.Ф. Савроматы. М., 1964.

Амиров Ш.Н. Природная среда верховьев Хабура // РА. 2000. № 3.

Чернов С.З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. // Архив ИА РАН. 1977. Р–1, № 6695.

Ссылки на источники – оригинальные работы древних авторов, архивные материалы (кроме полевых отчетов), музейные коллекции – приводятся в скобках в тексте и в список литературы не включаются.

В тексте и списке литературы следует использовать только общепринятые сокращения, список которых публикуется в журнале.

13. К статье помимо списка сокращений необходимо приложить и русский текст резюме (краткое содержание статьи) объемом не более 1 страницы машинописного текста). Для облегчения перевода резюме на английский язык необходимо: а) при употреблении названий периодов, типов, культур, произведенных от географических названий, дать последние в именительном падеже единственного числа (например: кушнаренковский тип от Кушнаренково); б) наиболее специфические термины давать или в переводе, или с пояснением. Помимо русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского текста резюме (summary) в целом.

14. Тексты, присылаемые в редакцию для публикации, должны быть тщательно проверены и подписаны автором. На отдельном листе прила-

гаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и отчества, полного почтового домашнего (по возможности – и электронного) адреса, места работы и рабочего адреса, телефонов и даты отправления. При наличии нескольких авторов статья подписывается всеми авторами.

15. Статьи, отправленные авторам для доработки, должны быть возвращены с доработки не позднее, чем через 2 месяца. Статьи, полученные позже указанного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.

16. Книги и журналы, присланные в редакцию для рецензирования, не возвращаются. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению не принимаются.

Сдано в набор 09.04.2001 г. Подписано к печати 18.06.2001 г. Формат бумаги $60 \times 88^{1}/_{8}$
Офсетная печать Усл. печ. л. 24.0 Усл. кр.-отт. 24.8 тыс. Уч.-изд. л. 25.9 Бум. л. 12.0
Тираж 1012 экз. Зак. 2307

Свидетельство о регистрации № 0110154 от 04.02.93 г. в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт археологии РАН

Адрес издателя: 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6
Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 952000 – журналы